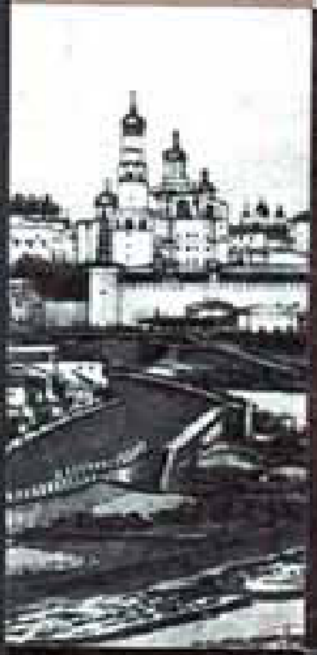
ЧААДАЕВ



Борис Тарасов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Жизнеописание выдающегося русского мыслителя Петра Яковлевича Чаадаева основано на архивных материалах. Автор использует новые тексты (письма, статьи, заметки, записи на полях книг), черновики и рукописи философа, а также неизданную переписку его современников и неопубликованные дневники его брата. Сложный и противоречивый путь нравственных исканий Чаадаева раскрывается в контексте идейных, литературных и социальных течений первой половины XIX века.

- Борис Тарасов
  - I глава
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
  - II глава
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
  - III глава
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
  - IV глава
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

○ V глава
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

○ VI глава
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

○ VII глава
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

        - 16
        - 17
        - 18
        - 19
        - 20
        - 21
        - 22
        - 23
        - 24
        - 25
        - 26
        - 27
        - 28
    - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА П. Я. ЧААДАЕВА
    - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
    - Иллюстрации
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26

- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38

Борис Тарасов
ЧААДАЕВ

Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине.

П. Я. Чаадаев

Я любил мою страну по-своему, вот и все, и прослыть за ненавистника России было мне тяжелее, нежели могу вам выразить.

П. Я. Чаадаев

I глава
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

1

В «Родословной книге князей и дворян российских и выезжих», называемой также «Бархатной книгой», записано: «Чаадаевы. Выехали из Литвы. Название получили от одного из потомков выехавшего и прозывавшегося Чаадай, но почему, неизвестно». В «поколенной» росписи дворян Чаадаевых родоначальником назван «Левкей прозвище Субота», внук которого Иван Артемьевич, по писцовым арзамасским книгам 1621–1622 годов, владел селом Своробоярским «с деревнями и пустошами». Имение Ивана Артемьевича постепенно расширялось: по вотчинной грамоте 1625 года, пожалованной царем Михаилом Федоровичем, он числился владельцем «полсела Стригина на пруде» в Муромском уезде, в 1649 году приобрел «сельцо Дубцы с деревнями Фурсово и Кузнецово» и в 1653 году — село Хрипуново. Прослужив несколько лет воеводой в Сибири, Иван Артемьевич вышел в отставку и в 1654 году «справил» все свои владения единственному сыну Ивану Ивановичу.

Иван Иванович, прапрадед Петра Яковлевича Чаадаева, один из значительных и многосторонних деятелей второй половины XVII века, проявил себя и как справедливый воевода, и как искусный дипломат. В 1649 году «государь пожаловал его из житья в стряпчие». В первые годы службы стряпчим он участвовал почти исключительно в выездах царя и в придворных церемониях, а с 1658 по 1666 год находился на юге России, где сначала стольником, а затем думным дворянином занимал должность воеводы в Нежине, Переяславле и Киеве в сложный период войны с Польшей и восстания Богдана Хмельницкого. Все это время Иван Иванович истово и честно, невзирая на лица и сословия, защищал интересы как государства, так и подвластного ему населения, чем снискал (особенно в Киеве) любовь и уважение жителей. Пробыв несколько лет воеводой в Архангельске, Иван Иванович перешел на дипломатическое поприще и приобрел широкую известность сначала в звании думного дворянина, а затем окольничего и ближнего окольничего. Чаадаев несколько раз ездил в Варшаву и «в товарищах» и «великим полномочным послом», побывал у «Леопольда Цесаря Римского», в Вене и Венеции. Особенно заметны его заслуги в улучшении взаимоотношений между Россией и Польшей. При непосредственном участии Чаадаева был заключен «вечный» мир России с Польшей, по которому последняя навсегда отказывалась от Киева.

Жизнь единственного сына Ивана Ивановича, Василия

Ивановича, капитана лейб-гвардии, гораздо менее примечательна. Правда, Василий Иванович в отличие от отца имел четырех сыновей, один из которых, Петр (дед Петра Яковлевича Чаадаева), также пошел по военной части и служил офицером в лейб-гвардии Семеновском полку. В чине капитана этого полка он был послан из Петербурга в Москву с манифестом о вступлении на престол Елизаветы Петровны, а в 1743 году отправился по приказу в одну из российских губерний для производства ревизии о числе душ, после чего с ним случилось подлинное или мнимое помешательство. Сумасшествие Петра Васильевича, как замечала Екатерина II в своих «Записках», заключалось в том, что он считал себя персидским шахом. «Персидского шаха» поместили в заведение для душевнобольных, но лечение не помогло ему избавиться от мании величия. Тогда представители духовенства убедили императрицу позволить им изгнать из «персидского шаха» злого духа. Елизавета Петровна сама присутствовала при этой процедуре, которая также оказалась бесполезной. Как писала Екатерина II, находились сомневавшиеся в сумасшествии Чаадаева, поскольку во всем остальном Петр Васильевич отличался отменным здравомыслием. Ходили слухи, что он притворялся сумасшедшим, дабы отвлечь от себя подозрения во взяточничестве во время упомянутой ревизии. (Через много лет, словно по наследству, станут распространяться слухи о повреждении рассудка его внука, Петра Яковлевича Чаадаева.)

Сыновья Петра Васильевича еще детьми, как и многие другие представители аристократии, были записаны в лейб-гвардии Семеновский полк, где и служили затем до определенного времени. Один из них, Иван Петрович, родной дядя Петра Яковлевича Чаадаева, выйдя в отставку, занимался административной и литературной деятельностью. В 1767 году его выбрали депутатом от дворянства Муромского уезда в комиссию по выработке новых законов. В этой комиссии Иван Петрович выступил ревностным защитником привилегий родового русского дворянства и противником улучшения положения крепостных крестьян, найдя мощного союзника в лице известного публициста и историка Михаила Михайловича Щербатова, с которым одно время вместе служил в Семеновском полку.

Младший брат Ивана Петровича, Яков Петрович, отец Петра Яковлевича Чаадаева, в составе лейб-гвардии Семеновского полка участвовал в Шведской кампании и получил Георгиевский крест. Выйдя в отставку в чине подполковника, он служил советником Нижегородской уголовной палаты, где сталкивался со

злоупотреблениями должностных лиц. Особенно возмущало его поведение управляющего коллегией экономии в Нижегородской губернии Петра Ивановича Прокудина. Совладать с влиятельным чиновником законным путем оказалось невозможно и, наверное, небезопасно. Поэтому советник уголовной палаты прибегнул к… литературе.

В 1794 году, в год рождения Петра Яковлевича Чаадаева, в Москве в университетской типографии «у Ридигера и Клаудия» была напечатана небольшая комедия «Дон Педро Прокодуранте, или Наказанный бездельник». На титульном листе обозначалось, что ее автором является Кальдерон де ла Барка, что переведена она с «Гишпанского на Российский язык» в Нижнем Новгороде. Имя же ее переводчика на книге не указывалось. Известный историк литературы и один из биографов Петра Яковлевича Чаадаева — М. Н. Логинов писал, что «пьеса эта не перевод с испанского, а оригинальное сочинение Я. П. Чаадаева. В ней выведены злоупотребления должностного лица — экономии директора, носившего фамилию, имевшую сходство с именем Прокодуранте. Фамилия этого должностного лица — Прокудин… Автор комедии был из числа многих лиц, негодовавших на его поступки, и написал эту пьесу для его осмеяния, сделав указание на малоизвестного тогда Кальдерона, чем отклонял до некоторой степени подозрения личности… Когда «Дон Педро» был прочитан, изображенный в нем экономии директор пришел в ужасный гнев и отчаяние и придумал решительную меру для уничтожения обличительной для него книги. Он скупил через своих агентов все экземпляры комедии, сколько было возможно, и истребил их».

Разоблаченный герой потрудился настолько изрядно, что комедия стала величайшей библиографической редкостью. Сам Петр Яковлевич Чаадаев, большой знаток и любитель книг, смог познакомиться с ее текстом благодаря М. Н. Лонгинову лишь к концу своей жизни. Следует добавить, что предприятие Якова Петровича, писательские склонности и сатирический талант которого своеобразно преломятся в литературной деятельности его сына Петра, носило, надо полагать, секретный характер, ибо многие современники верили, что авторство этого текста действительно принадлежит Кальдерону, несмотря на «нижегородский колорит» и русские выражения, немыслимые в устах испанцев.

Когда Яков Петрович женился на Наталье Михайловне Щербатовой, дочери М. М. Щербатова, род Чаадаевых соединился с одной из древнейших и именитейших русских фамилий, ведущей свое происхождение от святого князя Михаила Черниговского. Среди представителей этой фамилии были и

государственные деятели, и офицеры, и монахи. Но особо следует сказать о деде Петра Яковлевича Чаадаева, поскольку их обоих занимали сходные проблемы, решаемые, правда, не всегда одинаково.

Как и многих Чаадаевых, Михаила Михайловича Щербатова, сына одного из сподвижников Петра I — М. Ю. Щербатова, еще в раннем возрасте записали в лейб-гвардии Семеновский полк. В 1762 году по объявлении манифеста «о вольности дворянской» он закончил военную карьеру и в возрасте 29 лет в чине капитана вышел в отставку.

В 1767 году ярославское дворянство послало Щербатова депутатом в ту самую комиссию о сочинении проекта нового Уложения, в работе которой, как говорилось, принимал участие и дядя Петра Яковлевича Чаадаева Иван Петрович (возможно, тогда и произошло закрепление начатого еще в Семеновском полку знакомства чаадаевского и щербатовского семейств). Как и Иван Петрович, Михаил Михайлович с особой энергией защищал привилегии сословия, к которому принадлежал. Он выступил застрельщиком прений против тех законов Петра I, в которых стиралась грань между родовитым и чиновным дворянством и отдавалось предпочтение последнему.

Князь Щербатов обучался в родительском доме «французскому и итальянскому языкам и разным наукам», постоянно пополнял свое многостороннее образование (его библиотека насчитывала около 15 тысяч томов). Особенно увлекало его написание «Истории российской с древнейших времен», которая стала выходить с 1770 года (всего напечатано 18 книг). Екатерина II, втайне недолюбливавшая многознающего князя, вместе с тем испытывала уважение к его учености, присвоила ему титул историографа (он был также почетным членом Академии наук, сенатором и президентом коммерц-коллегии), поручила ему разбор бумаг Петра I и предоставила доступ в патриаршую и типографскую библиотеки. Работа эта требовала больших трудов и крепкого здоровья, но Щербатова поддерживало чувство ее нужности и полезности, ибо «изучение истории своей страны необходимо для тех, кто правит, и те, кто освещает ее, приносят истинную пользу государству. Как бы то ни было, даже если я не буду вознагражден за мои мучения, надеюсь, что потомство отдаст мне справедливость».

Углубляясь в архивы Петра I, Щербатов обнаруживал противоречивое воздействие его реформ на духовное разитие русского общества. «Воззрим же теперь, — писал он в одном из самых значительных своих философско-публицистических произведений «О повреждении нравов в России», — какие

перемены учинила в нас нужная, но, может быть, излишняя перемена Петром Великим, и как от оныя пороки зачали закрадываться в души наши», усиливаясь от царствования к царствованию. Благодаря Петру Великому заметно усовершенствовались науки, художества, ремесла, бойчее стала торговля, возросла военная мощь государства, и Россия «приобрела знаемость в Европе и вес в делах». Все это помогало ввести «таковую людскость, сообщение и великолепие», которые изменяли бытовой уклад и нравственно-психологическую атмосферу повседневной жизни. Входили в моду изысканные наряды, утонченные напитки, эпикурейское времяпрепровождение. И «преобразовались россияне из бородатых в гладкие, из долгополых в короткополые», стали сообщительнее и галантнее. «Мы подлинно в людскоскости и в некоторых других вещах, можно сказать, удивительные имели успехи и исполинскими шагами шествовали к поправлению нашей внешности, но тогда же, гораздо с вящей скоростью, бежали к повреждению наших нравов».

Подобный парадокс Щербатов объяснял тем, что огромные усилия, затрачиваемые «на поправление нашей внешности», не искореняли, а, напротив, утончали и укрепляли один из главных пороков человеческой натуры — сластолюбие, которое «рождает беспорядочные хотения и обоживает охулительные страсти, отвлекает от закона божия и от законов своей страны». «Вкус, естественное сластолюбие и роскошь» приводят к несоответствию доходов и расходов, заставляют первосановников и дворян и их завистливых подражателей привязываться к государю как к источнику богатства и вознаграждений — «привязанность сия учинилась не привязанностью верных подданных, любящих государя и его честь, и соображающих все с пользою государства, но привязанность рабов наемников, жертвующих все своим выгодам и обманывающих лестным усердием своего государя. Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестью и самством наполнилось. Оттуда произошло раболепство, презрение истины, обольщение государя и прочие золы, которые днесь при дворе царствуют и которые в домах вельможей вогнездились».

Сама императрица Екатерина II, замечает суровый критик, подает подчиненным худой пример торжества сластолюбия и роскоши. «Дружба чистая никогда не вселялась в сердце ее», а мораль ее построена «на основании новых философов», а не на «твердом камени закона божия».

Исправить поврежденные нравы, но убеждению Щербатова, можно тогда, когда «мы будем иметь государя, искренне

привязанного к закону божию, строгого наблюдателя правосудия, начавши с себя; умеренного в пышности царского престола, награждающего добродетели и ненавидящего пороки, показующего пример трудолюбия и снисхождения на советы умных людей…»

Своеобразие исторического сосуществования и взаимодействия России и Европы, противоречивость социальных реформ Петра I — эти и подобные темы, освещаемые и рассматриваемые в иной плоскости, составят важный узел философско-исторических размышлений Петра Яковлевича Чаадаева, который не застал своего деда в живых, но наверняка должен был много знать о его деятельности и трудах но рассказам родственников, по оставленным им рукописям и книгам[1].

2

К сожалению, ничего не известно о младшей дочери Михаила Михайловича Щербатова, Наталье Михайловне, которая, выйдя замуж за Якова Петровича Чаадаева, родила ему двух сыновей — 24 октября 1792 года Михаила и 27 мая 1794 года Петра. В метрической книге духовной консистории при московском губернском правлении записано, что воспреемником при крещении старшего сына стали действительный тайный советник и кавалер граф Федор Андреевич Остерман (бывший одно время московским генерал-губернатором и сенатором, слывший любителем наук, искусств и знатоком латинского языка, на котором вел переписку с митрополитом Платоном) и вдовствующая бригадирша Марья Ивановна Чаадаева, а младшего — тот же граф Остерман и вдовствующая княгиня Наталья Ивановна Щербатова. Братья родились в Москве, но вскоре после рождения оказались в селе Хрипунове Ардатовского уезда Нижегородской губернии, где находилось родовое имение их отца, умершего, когда Петру еще не исполнилось и года. А через два года, в марте 1797-го, скончалась и их мать.

Согласно документальным сведениям малолетние наследники оказались владельцами имений во Владимирской и Нижегородской губерниях с 2718 душами обоего пола и дома в Москве. Племянник и биограф Чаадаева Михаил Иванович Жихарев добавляет к указанному еще какой-то денежный капитал и оценивает состояние обоих братьев примерно в один миллион ассигнациями.

Опекун сирот, родной брат их матери, князь Дмитрий Михайлович Щербатов, взял на себя заботу об их имущественных делах. Воспитанием же их занялась тетка княжна Анна Михайловна Щербатова. Узнав о кончине своей младшей сестры, она тотчас же отбыла из Москвы в Хрипуново, с опасностью для жизни переправилась в половодье через Оку и Волгу, быстро добралась до места и увезла малюток в свой небольшой дом, находившийся где-то возле Арбата. Анна Михайловна, всю свою долгую жизнь остававшаяся в девицах, как могла, старалась заменить сиротам мать. Много позднее, когда ее «малюткам» было уже за сорок, она писала Михаилу Яковлевичу Чаадаеву: «В вас нахожу не племянников, но любезных сыновей; ваше благорасположение доказывает мне вашу дружбу, но и я, будьте уверены, что я вас люблю паче всего; нет для меня ничего любезнее вас, и тогда только себя счастливою нахожу, когда могу делить время с вами». О трогательных материнских чувствах

тетки свидетельствует и следующий эпизод, приводимый биографами Чаадаева. Однажды, находясь с племянниками в церкви, она услышала крик прибежавшего слуги: «У нас несчастье!» Оказалось, что в их доме случился пожар. «Какое же может быть несчастье? — спросила спокойно слугу Анна Михайловна. — Дети оба со мной и здоровы».

Тетка, которая, по словам Жихарева, была «разума чрезвычайно простого и довольно смешная, но, как видно из ее жизни, исполненная благости и самоотвержения», баловала своих питомцев и воспитывала их в тепличной атмосфере барского быта.

Когда дошло до учителей, то здесь, как и в имущественных вопросах, дело взял в свои руки Дмитрий Михайлович Щербатов. Как и его знаменитый отец, Дмитрий Михайлович служил в лейб-гвардии Семеновском полку, выйдя в отставку в чине полковника. Михаил Михайлович дал сыну и европейское образование, отправив его учиться в Кенигсбергский университет. Ни о своей военной службе, ни о заграничном учении Дмитрий Михайлович рассказывать не любил и вел достаточно замкнутый и уединенный образ жизни. По словам Жихарева, «он был умен, богат, мало честолюбив, очень самостоятелен, донельзя своенравен и своеобычен, очень самолюбив, чрезвычайно капризен, барски великолепен в замашках и приемах, отчасти склонен к похвальбе и превозношению…»

Забегая вперед, скажем, что некоторые черты духовного облика своего дяди как бы унаследует племянник Петр Чаадаев.

Рано овдовев, князь Щербатов все свое время проводил в тесном семейном кругу, с единственным сыном Иваном и двумя дочерьми Елизаветой и Наталией и старался дать им, по словам Жихарева, «образование совершенно необыкновенное, столько дорогое, блистательное и дельное, что для того чтобы найти ему равное, должно подняться на самые высокие ступени общественных положений. Не говоря об отличнейших представителях московской учености, между наставниками в его доме можно было указать на два или три имени, известные европейскому ученому миру».

Одним из самых известных преподавателей, занимавшихся с питомцами Дмитрия Михайловича Щербатова, считался бывший профессор Геттингенского университета, большой знаток богословия, философии и классической литературы И. Т. Буле, который к тому же хорошо знал греческий, латинский, еврейский и владел главными новоевропейскими языками. Своими знаниями Буле щедро делился как на лекциях в Московском университете, так и на частных уроках.

3

Петр и Михаил Чаадаевы вместе с двоюродным братом Иваном Щербатовым поступили в Московский университет в 1808 году, в период его расцвета. Товарищ министра народного просвещения М. Н. Муравьев, являвшийся попечителем университета, существенно пополнял книжные фонды, энергично закупал недостающее оборудование и приборы.

В 1805 году при университете был создан Музей натуральной истории, занимавший шесть больших зал и галерею и доступный для широкой публики. В этом же году устроили ботанический сад с двумя оранжереями, теплицей и каменной залой для чтения лекций, открыли клиническую и глазную больницы, а в следующем — повивальный институт и родильный госпиталь.

На тот же 1805 год приходится и создание двух научных обществ (истории и древностей российских и испытателей природы), к которым через год добавилось третье — соревнователей врачебных и физических наук. Несколько позднее, в 1811 году, образовалось Общество любителей российской словесности.

Студенты-новички Петр и Михаил Чаадаевы 30 июня 1808 года присутствовали на торжественном собрании, которое открылось в 9 часов утра литургией и проповедью настоятеля университетской церкви «О предопределении человека к жизни вечной». Затем, как писалось через несколько дней в «Московских ведомостях», по прибытии «Попечителя сего Университета, Его Сиятельства, Господина Действительного Тайного Советника, Действительного Камергера и Кавалера Ордена Св. Александра Невского, Графа Алексея Кирилловича Разумовского и приглашенных почтенно программами Знаменитейших в здешней древней Столице Особ, также и других Любителей Учености как Духовного, так и Светского состояния и многочисленных Посетителей обоего пола» торжество продолжилось «громкою симфонией» и чтением профессором права Стельцером рассуждения на латинском языке: «De apto vulnerum quantitatem definiendi modo, ad corpus delicti constituendum et imputationem decernendam»[2]. Потом, читаем далее в «Московских ведомостях», зазвучал «огромный и превосходный вокальный и инструментальный хор, коего музыка сочинена Университетским Учителем Гм. Кашиным, который хор и продолжаем был, при каждом отдельном действии». В следующем действии торжественного собрания доктор философии и профессор красноречия Мерзляков произнес слово «О духе, отличительных

свойствах Поэзии первобытной и о влиянии, какое имела она на нравы, на благосостояние народов».

А далее профессор эстетики Сохацкий стал называть студентов, защитивших «дипломы на ученые достоинства» и награжденных за лучшие «по задачам сочиненные диссертации» золотыми и серебряными медалями. Среди произносимых фамилий были и имена будущих университетских друзей Петра Чаадаева: Дмитрий Облеухов производился в магистры, Владимир Лыкошин и Александр Грибоедов — в кандидаты.

Наконец дошла очередь до объявления только что поступивших студентов, и Петру и Михаилу Чаадаевым вместе с другими новичками профессор Рейнгард вручил по традиции шпаги. После этого профессор римского права Баузе произнес «приличную на Латинском языке Речь» по случаю снятия с себя полномочий ректора, которые на следующий академический год принимал профессор статистики Гейм. При сем будущий ректор получил от бывшего большую университетскую печать и, в свою очередь, произнес «Речь на Российском языке и изъявил от имени Университета благодарность всему собранию. В заключение, по окончании хора играна была пьеса на органах, подаренных университету его благотворителем П. Г. Демидовым, розданы в награждение книги прилежным и отличным по благоповедению ученикам университетской гимназии и публично открыт «редкий в Европе» университетский музей. «Ввечеру, — заканчивают свое сообщение о торжественном собрании «Московские ведомости», — Университет был иллюминован».

В такой приподнятой атмосфере принимали братьев Чаадаевых в студенты «по надлежащем испытании», о содержании и характере которого ничего не известно. А вот как описывает свои вступительные «экзамены» в Московский университет упомянутый на торжествах Владимир Лыкошин, которого мать вместе с братом Александром и гувернером Мобером привезла в древнюю столицу: «Профессор Маттеи согласился принять нас к себе в дом пансионерами с нашим гувернером за 1200 р. ассигнациями в год. В назначенный день съехались к нам к обеду профессора: Гейм, Баузе, Рейнгард, Маттец и три или четыре других, помню один эпизод этого обеда: пирамида миндального пирожного от потрясения стола разрушилась, тогда Рейнгард, профессор философии, весьма ученый, но молчаливый немец, впервые заговорив, возгласил; «Ainsi tombera Napoléon»[3]. Это было во время Аустерлицкой кампании. За десертом и распивая кофе профессора были так любезны, что предложили Моберу сделать нам несколько вопросов; помню, что я довольно удачно отвечал, кто был Александр Македонский и как именуется

столица Франции и т. п. Но брат Александр при первом сделанном ему вопросе заплакал. Этим кончился экзамен, по которому приняты мы были студентами, с правом носить шпагу; мне было 13, а брату 11 лет».

Трудно сказать, так или иначе проходило «надлежащее испытание» братьев Чаадаевых. Внешнее сходство в их университетской жизни с братьями Лыкошиными, ходившими на лекции с гувернером-французом, обнаруживается в том, что Петр и Михаил также слушали своих профессоров вместе с гувернером-англичанином. (Последний научил своих воспитанников изрядно английскому языку, а Петра вдобавок пить грог…)

В это время в Московском университете было четыре отделения — физических и математических, врачебных или медицинских, нравственных и политических, а также словесных наук. Неизвестно, на каком отделении учились братья Чаадаевы, скорее всего на словесном или этико-политическом. Судя по всему, они посещали лекции этих отделений, как и их товарищ Александр Грибоедов, приходивший в университет с гувернером Петрозилиусом.

На словесном факультете Маттеи разбирал речи римских историков и греческие эклоги, Качеповский читал историю красноречия, Сохацкий — эстетику, Мерзляков — теорию поэзии, Черепанов — всеобщую историю, Гаврилов — критическое чтение сочинений в стихах и прозе. Гейм преподавал статистику главнейших европейских государств и Российской империи, Снегирев давал общие понятия о философии и антропологии, а Буле объяснял мифологию и археологию, историю древней живописи, скульптуры и архитектуры.

На этико-политическом отделении Цветаев читал теорию и историю законов, Баузе — римское право, Брянцев — логику, метафизику и эмпирическую психологию. Шлецер преподавал элементы политики и политическую экономию, Рейнгард — практическую философию и этику, а также историю европейских государств (на немецком языке) и историю XVIII века (на французском языке). Особенно был загружен Буле: кроме разъяснения естественного права, критической метафизики и разбора философских систем Канта, Фихте и Шеллинга, он читал приватные лекции по теории и истории изящных искусств, по греческой и римской литературе.

Философское умонастроение, обширные познания и тесное знакомство по домашним урокам особенно привлекали молодых Чаадаевых к обычно читаемым на немецком языке лекциям Буле, который выделял Петра как одного из самых одаренных учеников. Надо полагать, что не без помощи Буле Петр Чаадаев уже на

университетской скамье глубоко усвоил систему Канта и начальное творчество Шеллинга; критическое осмысление их философии займет впоследствии важное место в собственных построениях русского мыслителя.

Материал для своих будущих размышлений Петр Чаадаев получал и на занятиях кантианца Рейнгарда, того самого «ученого, но молчаливого немца», который при «надлежащем испытании» братьев Лыкошиных предсказал на примере разрушенной пирамиды миндального пирожного падение Наполеона и который вручал шпаги братьям Чаадаевым на торжественном заседании. Одна из лекций Рейнгарда, прочитанная по-французски, сохранилась среди бумаг Михаила Чаадаева. В ней лектор стремится определить предмет философии на сравнительном фоне других наук — физики, истории, антропологии, которые изучают соответственно свойства и отношения материальных тел, фактов и событий, ощущений, чувств и мыслей человека. При всей разнице между этими науками в них есть нечто общее — они основаны на опыте и имеют дело с наблюдаемыми объектами, подчиняющимися определенным законам. Однако, продолжал лектор, при исследовании и чисто физических явлений, и исторических процессов, и феноменов человеческой психики встают проблемы и возникают идеи, которые находятся вне наблюдений и опыта и, стало быть, выходят за пределы указанных отраслей знания. К таким идеям и проблемам относятся общая идея бытия и существования, вопросы, связанные с изучением природы человеческой души, свободы воли, высшей цели наших действий и т. п. Метафизические идеи и проблемы, истинность которых удостоверяется не ощущениями и экспериментами, а глубинными отвлеченными размышлениями и которые вместе с тем возвышают сердце и ум человека, и составляют предмет философии.

Слушая лекции Буле и Рейнгарда, Петр Чаадаев учился и дисциплине мышления, и пониманию конкретных отраслей знания, и вниманию к общим идеям и проблемам бытия.

Одним из любимых преподавателей Петра был профессор кафедры права Баузе. Законоведение, учил Баузе своих студентов, не есть сухая и тщедушная ученость начетчиков, удерживающих в памяти лишь слова и не понимающих их подлинного смысла и значения. Не есть оно и увертливое, коварное искусство крючкотворцев, склоняющих по желанию букву закона в любую выгодную им сторону. Что же достойно имени юриспруденции, задавал профессор риторический вопрос и отвечал: «То, что древние Римляне, создатели всякого права и законов, называли

познанием вещей божественных и человеческих, справедливого и несправедливого, честного и бесчестного. Юриспруденция так обширна, что ее нельзя ограничить тесным кругом дел судебных; она стоит так высоко, что недоступна для людей легкомысленных и бесчестных. Как дело врача — заботиться о здоровом состоянии тела человеческого и всех его частей, так дело законоведца — заботиться о здоровье тела общественного и всех его частей, то есть государства и его граждан».

Теоретические положения юридической науки словоохотливый профессор обильно иллюстрировал описаниями нашумевших судебных процессов и тяжб, а иногда для отдыха студентов рассказывал им о своих новых приобретениях древнерусских рукописей, старопечатных книг и разнообразных старинных вещей, страстным коллекционером которых он стал после переселения из Германии в Москву, По отзыву современника, его собрание российских древностей было «едва ли не единственным в своем роде». Это увлечение Баузе пробудило его интерес к русской истории, и темой одной из своих публичных речей он выбрал вопрос о состоянии просвещения в России до Петра Великого.

Признавая необходимость и значительность реформаторской деятельности русского императора, автор речи вместе с тем, подобно деду Петра Чаадаева М. М. Щербатову, показывал и сопутствующие ей отрицательные последствия. Нововведения Петра I способствовали, по его мнению, распространению в России «философии торгующего ума, который только измеряет, взвешивает, исчисляет выгоды физического человека и упускает из виду нравственное его состояние». А увлечение такими выгодами породило в имущем классе неестественные нужды и наслаждения, для удовлетворения которых стали развиваться «искусства *человеческой промышленности*», производящей ценой больших затрат и усилий «игрушку для минутного увеселения богатого человека, страждущего бесчувствием под *тяжестью своего* избытка».

Предки же современных поколений, размышлял Баузе, занимались более «образованием сердец, нежели *украшением* голов пустыми идеями, знаниями ничтожными и вредными для внутренних достоинств благонравного человека».

Тема, привлекшая внимание Баузе, станет для его ученика принципиально важной в духовном самоопределении и в философском осмыслении общего хода мировой истории…

Еще один профессор должен был живо заинтересовать Петра Чаадаева — Маттеи, пользовавшийся величайшим уважением во всей ученой Европе. Издание и критическое исследование

памятников древней словесности составляло основной предмет его научной деятельности. Любимая работа Маттеи заключалась в изучении еще не исследованных рукописей Нового Завета. Поселившись в Москве, он долго трудился над описанием греческих манускриптов библиотек Святейшего синода и синодальной типографии. На занятиях со студентами он делился своими впечатлениями о найденных рукописях Священного писания, житий святых, поучений отцов церкви, рассказывая им вместе с тем на хорошо поставленном латинском языке о многих греческих и римских писателях, принадлежащих к разным культурным эпохам.

Слушая Маттеи, Петр Чаадаев поражался духовному контрасту между христианством и язычеством, в котором он в противоположность первому обнаруживал, по его позднейшему выражению, отсутствие укорененности «в недрах морального мира» и «хаотическое смешение всех нравственных элементов». Когда же профессор Сохацкий, считавший Грецию образцовой в эстетическом отношении страной, рассуждал о гармонии и стройности как существенных признаках красоты, пытливый студент должен был спрашивать себя: а какова природа такой красоты, не связанной с понятиями о Добре и Истине? В поисках ответов на подобные вопросы, вытекавшие из противопоставления классической древности и христианства, вырастут впоследствии важные темы чаадаевской мысли.

Судя по созданным много позднее «Философическим письмам», в которых в метафизическом плане рассматриваются математика, физика и естественнонаучное знание в целом, можно предположить, что Петр Чаадаев посещал лекции и других (кроме упомянутых) отделений. Такое «универсальное» посещение по выбору курсов, читаемых на всех факультетах, было, по-видимому, распространенным явлением.

Однако преподаватели не всегда могли удовлетворить ученого отрока, который с ранних лет поражал окружающих необыкновенным умом, многосторонней начитанностью и стремлением к постоянному самообразованию. «Только что вышедши из детского возраста, — пишет о Петре Чаадаеве Жихарев, — он уже начал собирать книги и сделался известен всем московским букинистам, вошел в сношения с Дидотом (представителем старинной семьи французских печатников и книгопродавцев. — *Б. Т.*) в Париже, четырнадцати лет от роду писал к незнакомому тогда князю Сергею Михайловичу Голицыну о каком-то нуждающемся, толковал с знаменитостями о предметах религии, науки и искусства, словом, вел себя как обыкновенно себя не ведут молодые люди в эти годы и как почти

всегда себя показывают люди, что-нибудь особенное обещающие».

Многообещающий студент сумел собрать богатую библиотеку, где имелись редчайшие экземпляры. В 1813 году вышел «Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений и переводов, написанных на Словенском и Российском языках от начала заведения типографий до 1813 года». В одном из разделов «Опыта…», автором которого являлся Василий Сопиков, рассказывается о книге «Апостол, или Деяния и послания Апостольские, переведены с Латинского перевода, именуемого Вулгата, Доктором Франциском Скориною из Полоцка, в Вильне, 1525». В сопроводительном комментарии говорится, что книга эта известна в России только в двух экземплярах — один находится в библиотеке профессора Московского университета Ф. Г. Баузе, а другой — в библиотеке П. Я. Чаадаева.

Петр Чаадаев не был библиотафом (согласно этимологии, замечает Василий Сопиков, библиотаф есть зарыватель книг, то есть человек, не дающий их другим: «сии чудаки в рассуждении книг суть тоже, что скупые в рассуждении денег. На их сокровище нельзя взглянуть, не оскорбляя их») и охотно делился своими постоянными приобретениями с профессорами и студентами, сам, в свою очередь, пользуясь имевшимися у них нужными изданиями.

Делился он и своими знаниями с университетскими товарищами, среди которых были его двоюродный брат Иван Щербатов, Александр Грибоедов, будущие декабристы Иван Якушкин, Артамон и Никита Муравьевы, Василий и Лев Перовские.

Петра Чаадаева с Иваном Щербатовым и Александром Грибоедовым сближала, помимо общих научных интересов, привязанность к профессору Буле, который выделял их среди прочих учащихся, а последнему даже подарил французскую книгу Дежерандо «Сравнительная история философских систем».

На своих собраниях студенты разбирали самые разные философские, исторические, естественнонаучные и социальные проблемы. Увлекавшийся Древней Грецией Михаил Чаадаев на собраниях раскрывал своеобразие ее истории. Сохранился также текст его сообщения, в котором он делал опыт характеристики знаменитого французского оратора и историка Боссюэ. Последний, размышлял докладчик, был истинно красноречивым оратором, поскольку неотвлеченно и живо исследовал свой предмет, органично и последовательно раскрывая чувство за чувством, идею за идеей. Его рассказ увлекал слушателей непреоборимою силой и поражал их души величественной

гармонией жизни. Казалось, будто оратор стоит над миром, откуда он хорошо видит великие исторические события, происходящие перед его глазами, и рассказывает о них находящимся внизу людям. Мысли, связанные с жизнью, смертью и вечностью, продолжал Михаил Чаадаев, переводят внимание слушателей от мира видимостей в некую беспредметную область, где воображение теряется и приобретает нечто вроде священного ужаса, который вселяет в душу набожные чувства и возбуждает в уме бесчисленное множество возвышенных идей…

За юношеской риторикой сообщения только что поступившего в университет студента чувствуется интерес к целостному взгляду на историю, к ее рассмотрению с «высокого места», с точки зрения общих и возвышающих душу идей. Интерес этот (без которого немыслима философия истории П. Я. Чаадаева) разовьется и станет характерной чертой творческого облика и брата Михаила — Петра.

Умение видеть значение фактов и событий не только с «высокого места» сблизило Петра Чаадаева с будущим автором «Горя от ума». «Крайне огорчен, князь, — писал в одной из записок Александр Грибоедов Ивану Щербатову, — быть лишенным удовольствия присутствовать на Вашем собрании, тому причина мое недомогание. Рассчитываю на Вашу любезность, надеюсь, что Вы доставите мне удовольствие отужинать у нас сегодня вечером. Вы меня очень обяжете, согласившись на мое приглашение, так же как Ваши кузены Чаадаевы, члены собрания…»

Дружба, основанная не только на научных интересах, но и на чисто человеческих симпатиях, связала с университетской скамьи братьев Чаадаевых и с Иваном Якушкиным, который с большим интересом изучал античную историю и любил выделять в ней в студенческих разговорах черты демократического республиканского правления.

С каждым годом все заметнее становились для окружающих выдающиеся интеллектуальные качества и многосторонняя ученость Петра Чаадаева, в которой был, однако, недостаток, характерный для всей системы просвещения этого времени в целом. В 1811 году журнал «Вестник Европы», рассуждая о постановке обучения в Московском университете, выражал надежду, что скоро должно наступить время, «когда университет будет иметь своих кандидатов по всем частям учености, а следовательно, и не будет принужден вызывать чужестранных наставников для преподавания наук российскому юношеству на чужестранных языках». Но не только университетские, а часто даже и публичные лекции читались на иностранных языках, что

приводило к определенным противоречиям. Так, прекрасно владея основными европейскими языками, свободно читая по-гречески и по-латыни, Петр Чаадаев, как и многие его современники, совершенно не изучал в университете русского языка. Позднее он, говоря о себе, что ему легче излагать свои мысли по-французски, чем по-русски, видел в таком положении результат «несовершенства нашего образования».

Но не только философия, история и другие науки занимали одаренного студента. Молодой человек частенько менял наряды, платя большие деньги портным, сапожникам и шляпных дел мастерам. «Одевался он, — замечает Жихарев, — можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы одежда его была дорога, напротив того — никаких драгоценностей, всего того, что зовут «bijou», на нем никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видал никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы столько достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью. Я не знаю, как одевались мистер Бруммель и ему подобные, и потому удержусь от всякого сравнения с этими исполинами всемирного дандизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения».

По словам того же Жихарева, красавец Петр Чаадаев слыл одним из наиболее светских, даже самым блистательным из молодых людей в Москве, Он пользовался также репутацией «лучшего танцевальщика в городе по всем танцам вообще, особенно по только что начинавшейся вводиться тогда французской кадрили, в которой выделывал «entrechat» не хуже никакого танцмейстера».

Явное благоговение перед его личностью впечатляло и самого Петра Чаадаева, отделяло его в собственном мнении от окружающих и развивало в нем черты «жестокого, немилосердного себялюбия, которые, конечно, родились вместе с ним, конечно, могли привиться и расцвести только при благоприятных для них естественных условиях, но которые, однако же, особенно тщательно были в нем возделаны, взлелеяны и вскормлены сначала угодливым баловством тетки, а потом и баловством всеобщим». Интеллектуальное развитие Петра Чаадаева, соединенное со светской «образованностью», не дополнялось сердечным воспитанием, цель которого заключается в преодолении духовного эгоизма для братского единения «в высшем синтезе» с другими людьми, со всем миром. Такая односторонность будет им мучительно переживаться, окажется одним из источников своеобразия и подвижности его

философских размышлений. Пока же красивый, элегантный, обаятельный, а вместе с тем тщеславный и самолюбивый молодой человек, обладающий незаурядным умом и обширными знаниями, особенно не задумывается о недостатках своего развития. Ведь впереди его ожидает блестящая карьера, направляющая мысли в совсем иное русло.

4

После завершения университетского курса братья Чаадаевы оказались перед выбором дальнейшего жизненного пути. Предстоящий выбор облегчался семейной традицией — многие родственники Михаила и Петра как по отцовской, так и по материнской линии в разное время служили в лейб-гвардии в Семеновском полку, основанном еще Петром I и прославившемся во многих военных походах, начиная с Северной войны. В первых десятилетиях XIX века это был, по выражению современника, «государя любимый гвардейский полк, где лучший корпус офицеров по выбору самого царя» и где пополнение осуществлялось в основном за счет камер-пажей и молодых дворян из самых титулованных фамилий. Сам будущий государь командовал полком, а затем стал его шефом.

Щербатовские связи молодых Чаадаевых легко устраняли различные внешние препятствия, и вскоре после окончания университетских занятий они вместе с теткой поехали в Петербург, куда несколько ранее в тот же Семеновский полк отправился их двоюродный брат Иван Щербатов.

«Любимейший брат Иван Дмитриевич, — писал ему из Москвы Петр Чаадаев 7 декабря 1811 года, — наконец мы собрались в путь и, кажется, поедем недели через полторы. Я очень рад наконец получить основательное определенное бытие после почти целого года, проведенного в неизвестности судьбы своей. Я Вас уверяю, что это точно как будто я вижу конец весьма скучного путешествия. Но больше всех обстоятельств мне приятно, что я Вас в скором времени увижу. Впрочем, мне это не нужно было сказывать, так как, я знаю, Вы уверены в моей дружбе так, как я уверен в Вашей приязни, на которую полагаюсь…» Далее юный денди, истомившийся от студенческой жизни и жаждущий основательного места в общественной иерархии, просит двоюродного брата нанять «покои комнат в семь, каковые побольше и почище… в веселой части города». Привыкшему к комфорту юноше также хотелось бы, чтобы покои эти были «с меблями» и заранее истоплены к приезду их жильцов.

Пока Иван Щербатов исполнял поручение родственника, будущие офицеры сделали небольшую остановку в Твери и повидались там с профессором Буле, который (он теперь служил библиотекарем у великой княгини Екатерины Павловны) отговаривал их от избранного пути: «Не ходите, господа, в военную службу, вы не знаете, как она трудна».

Молодые люди, конечно же, не знали грядущих трудностей,

но и отдавали себе отчет в возможных испытаниях. Свой выбор они сделали тогда, когда предчувствие неотвратимости нашествия Наполеона, разногласия с которым у русского правительства постепенно усиливались после Тильзитского мира, разливалось по всей России. «Кто не жил во времена Наполеона, — писал участник Отечественной войны 1812 года, — тот не может вообразить себе степень его нравственного могущества, действовавшего на умы современников. Имя его было известно каждому и заключало в себе какое-то безотчетное понятие о силе без всяких границ».

Реальность надвигающейся беды становилась все более очевидной, и братья, именовавшиеся в военных распоряжениях соответственно возрасту «Чаадаев 1» и «Чаадаев 2», не успели еще обжиться в просторных покоях «с меблями», пройти достаточную военную подготовку и сдать требуемые экзамены, как в марте 1812 года вместе с однополчанами должны были оставить Петербург. Семеновский полк в составе гвардейской пехотной дивизии генерала А. П. Ермолова, которая входила в гвардейский корпус под командованием великого князя Константина Павловича, двигался к западным границам.

Не успев выполнить одну из просьб Дмитрия Облеухова, своего московского друга-математика, и перепоручив ее другому лицу, Петр Чаадаев перед самым походом писал в Москву: «Сколь мне было приятно получить от Вас поручение, столь же мне прискорбно, что я не мог его исполнить. Удивительное дело — в Петербурге, где столько людей думают, что понимают Канта, не мог я найти его главнейших сочинений. Однако же не отчаивайтесь, я поручил его искать при моем отъезде и надеюсь, в непродолжительном времени получите Вашу книгу. Для меня будет весьма приятно, что я тому чем-то способствовал».

С отъездом из Петербурга Петру Чаадаеву пришлось забыть и о Канте, и о балах, и об изяществе нарядов. 12 мая 1812 года на бивуаке неподалеку от местечка Лынтуны за Десной в Семеновском полку был отдан приказ: «По предписаниям дивизионного командира г-на Артиллерии Ген.-Майора Ермолова последовавшим по команде недоросли из дворян Михайла и Петр Чаадаевы определяются в полк Подпрапорщиками и приписываются в 3-ю гренадерскую роту, коих и привести к присяге оной роты г. капитану Костомарову». Через две недели Чаадаевы уже участвовали в показательных маневрах в Вильно, на которых присутствовал царь.

А еще через две недели, 12 июня, Наполеон, заявлявший, что он вскоре станет «господином мира», вошел в пределы России, порабощение которой он считал важнейшим этапом для

достижения своих тщеславных претензий. Говоря о наполеоновских амбициях, друг П. Я. Чаадаева генерал-майор М. Ф. Орлов, участвовавший в 1814 году в подписании капитуляции Парижа, писал: «Он приносил все в жертву пламенному честолюбию своему, оно составляло для него источник коварной политики, сообщало ему характер непоколебимости и дикого свирепства… Приучаясь на сражениях видеть равнодушно уничтожение рода человеческого, он пользовался неограниченно Францией как завоеванной землей. Он выковал из нее оружие на своих противников, цепи для порабощения мира своей владычествующей идее».

Теперь, в начале лета 1812 года, Наполеон сосредоточил у русских границ более чем 600 тысяч своих войск. «Я иду в Москву, — говорил он архиепископу Прадту, — и в одно или два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира». Французский полководец оказался, как известно, недальновидным стратегом, ибо учитывал, даже в психологическом плане, лишь «арифметические» факторы: количество войск и вооружения, боевой авторитет и выучку личного состава, привычку побеждать и корыстолюбие наемников. Но захватчик и защитник отечества находятся заведомо в неравном положении: если первый при достойном сопротивлении заранее обречен на потерю мужества и смелости самой неправедностью завоевания, цепляется за жизнь и бежит с поля боя, то святость оборонительного дела укрепляет отвагу второго и располагает его к бесконечному самопожертвованию. К тому же в истории России стойкая защита родины от могущественного врага, когда забываются на время внутренние раздоры и сословные противоречия, стала национальной традицией, которую также просмотрел Наполеон.

И именно к этой традиции, к патриотическому чувству каждого гражданина обратилось, как и всегда в таких случаях, беспомощное без народной поддержки правительство, манифест которого в июле 1812 года зачитывался по всей стране, в том числе и в районе Витебска, куда тогда отступил вместе с русской армией Семеновский полк. «Мы уже воззвали, — слушали братья Чаадаевы вместе с однополчанами призывные слова, — к первопрестольному граду нашему Москве, а ныне взываем ко всем Нашим верноподданным, ко всем сословиям и состояниям, духовным и мирским, приглашая их вместе с Нами единодушно и общим восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений. Да найдет он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина… Народ русский! Храброе потомство храбрых славян! Ты

неоднократно сокрушало зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров; соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют».

Урочный час побед еще не пробил, и «силы человеческие» наполеоновской орды теснили русские войска к центру страны, разрушая поселения, попирая достоинство мирных жителей. Так, в Семеновском полку побывали два священника, которые ездили по воинским частям и рассказывали о надругательстве неприятеля: солдаты противника связали их бороды вместе, лицом к лицу, напоив рвотным камнем (впоследствии Кутузов, узнав об этом, велел им ездить по деревням и делать гласным поругание). Подобные издевательства умножали справедливый гнев обороняющихся. Семеновцы, как и воины других полков, с нетерпением ожидали решающей схватки с врагом, но армия все отступала, не вводя в действие крупные силы. Лишь авангард ввязывался то в убийственные, то в менее кровопролитные, но всегда кратковременные стычки с французскими отрядами.

Наконец под Смоленском произошло крупное сражение. Но надежды семеновцев принять участие в бою опять не оправдались: они стояли в резерве в трех верстах от города и могли только слышать мощный беспрерывный гул орудий, да видеть нескончаемый поток раненых — свидетельства напряженности боя. Вскоре город, запылавший со всех сторон, был оставлен.

18 августа, всюду радостно встречаемый, лагерь семеновцев посетил новый главнокомандующий русской армии М. И. Кутузов, и Петр Чаадаев всматривался в народного любимца, который внешне нисколько не походил на грозного полководца. Тучный и немного сонный старик ехал, чуть согнувшись, на маленькой, но бодрой лошадке верхом, в мундирном сюртуке и белой фуражке, с шарфом в виде перевязи. Время от времени лошадка останавливалась, и главнокомандующий слезал с нее, становясь на скамейку, которую вез за ним казак.

По мере приближения к Москве война вовлекала в свое горнило все больше мирных жителей. Крестьяне окрестных деревень поджигали свои дома, уводя женщин, детей и скот в леса. Мужики, отбивая оружие у французов, наносили внезапные чувствительные удары по их частям. Героизм крестьянства вносил смятение в стан врага и вдохновлял русских воинов. Так, капитан П. С. Пущин, командир роты, в которую еще в июне был переведен Петр Чаадаев, записал в своем дневнике за несколько дней до Бородинского сражения: «Стало известно, что вчера французский отряд в 200 человек напал на крестьян князя Голицына в лесу, куда они от него спрятались. Крестьяне отбили атаку эту, убили у неприятеля 45 человек, а 50 взяли в плен.

Замечательно, что даже женщины дрались с ожесточением. Между убитыми одна девушка 18 лет, особенно храбро сражавшаяся, которая получила смертельный удар, обладала настолько присутствием духа и силой, что вонзила нож французу, выстрелившему в нее, испустила дух, отомстив».

Подобные примеры были особенно важны перед Бородинской битвой. Уже 24 августа часть русской армии под начальством князя Багратиона завязала бой, который продолжался до ночи. Пока шел этот бой, в расположении Семеновского полка служили молебен о даровании победы русским войскам. Воины надевали белые рубахи, готовясь к верной смерти. «Вам придется, — обращался к ним объезжавший войска Кутузов, — защищать землю родную, послужите верой и правдой до последней капли крови».

Наступило 26 августа. Было еще темно, когда неприятельские ядра стали долетать до расположения Семеновского полка. Став в ружье по первому же выстрелу, семеновцы с самого начала сражения находились под неприятельским огнем, но до полудня непосредственного участия в битве не принимали. В то самое время, когда на левом фланге русская армия героически сражалась с превосходящими силами неприятеля, в центре обороны важную по своему ключевому положению высоту мужественно защищали солдаты генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского, выдерживавшие огонь вчетверо большего числа орудий. Слегка продвинувшись вперед, войска противника стремились обойти левое крыло оборонявшихся и занять центральную высоту. Для предотвращения этой угрозы Барклай де Толли выдвинул в первую линию четвертый корпус, а за ним, позади селения Князькова, за центром боевого порядка, в резерве поставил отборные гвардейские полки — Преображенский, Семеновский, батальоны которых стояли в колоннах к атаке.

Чтобы при необходимости задержать дальнейшее продвижение противника, семеновцы вынуждены были стоять на этой позиции под перекрестным огнем его артиллерии, лишь иногда переменяя свои места.

Курган, защищаемый корпусом генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского, несколько раз переходил из рук в руки. Вся отлогость холма от основания до вершины была усеяна трупами, а раненые воины сражались до тех пор, пока не падали от потери крови и истощения сил. Жар битвы становился все более чувствительным и для Семеновцев. Их стал достигать не только пушечный и картечный, но и ружейный огонь. Воздух выл непрерывно, земля дрожала, и братья Чаадаевы видели, как ядра рушили вокруг деревья и строения, валили с ног боевых товарищей.

Около трех часов пополудни атака французской пехоты сменилась действиями конницы, которая ударила по всем батареям левого фланга русских войск, но после многократных нападений была почти вся уничтожена кавалерией генерал-адъютанта И. В. Васильчикова и пушечным огнем артиллерии. Правда, отдельные отряды французской конницы прорвались до стоявшего в резерве Семеновского полка, воины которого встретили их штыками и обратили в бегство. На этом эпизоде и заканчивается участие семеновцев в Бородинском сражении, в котором, по выражению А. П. Ермолова, «французская армия расшиблась о русскую». Земля была полита потоками крови, усеяна обломками оружия, и везде, куда ни обращался взор, лежали груды человеческих трупов и убитых лошадей (по подсчетам военного историка А. И. Михайловского-Данилевского, после изгнания Наполеона из России на Бородинском поле сожгли более 58 тысяч человеческих тел и 35 тысяч конских трупов).

О чем мог думать, глядя на эти горестные картины, восемнадцатилетний подпрапорщик Петр Чаадаев, вплотную соприкоснувшийся со смертью? Противился ли мысленно возможности собственного уничтожения, переживал ли состояние невольного убийцы, поражался ли свирепой дикости и бессмысленному варварству взаимного истребления, в очередной раз обуявшего, несмотря на прогресс цивилизации, «человека разумного»? Но о чем бы ни думал он, а сражался отважно. За мужество и храбрость в Бородинском бою «Чаадаев 1» и «Чаадаев 2» вместе с двоюродным братом Иваном Щербатовым производились из подпрапорщиков в прапорщики. Хотя впоследствии ходили слухи, будто производство это произошло не без протекции адъютанта Барклая-де-Толли, полковника А. А. Закревского, служившего ранее у их далекого родственника по щербатовской линии, графа Каменского. Тем не менее основания для повышения в чине были, что и отмечено в приказе по Семеновскому полку от 10 сентября.

Пока же, сразу по окончании боя, Петр Чаадаев проводил ночь на поле сражения вместе с однополчанами, которые, как и все русские воины, готовились на следующий день атаковать неприятеля. Но опасность окружения определенной части войск заставила армию с рассветом отступить к Москве.

Решение сдать древнюю столицу опечалило русских воинов, но, повинуясь приказу главнокомандующего, который, по свидетельству его адъютанта, ночью сам плакал как ребенок, утром 2 сентября Семеновский полк вместе с кавалерией вступил вслед за обозом и артиллерией через Дорогомиловскую заставу в

Москву. Вид мирного города так сильно изменился, что Петр Чаадаев не узнавал родных мест. На одних улицах и площадях не было ни души, дома казались пустыми, на других, напротив, царило беспокойное оживление: тянулись нескончаемые ряды повозок с ранеными, подвод городской полиции, увозившей пожарное оборудование, партии пленных; встречались офицеры в мундирах ополчения, ратники в кафтанах. На Москве-реке сжигали барки с казенным имуществом и хлебом, топили порох, разрушали переправы, на винном дворе разбивали бочки с вином. Бросавшие в лавках свои товары купцы зазывали солдат и просили их брать приглянувшиеся вещи. Все улицы были завалены различным скарбом, замедлявшим продвижение войск. Повсюду слышался крик и плач. Раздавались упреки: почему сдали столицу без боя? Последние толпы покидавших город присоединялись к воинским колоннам. Множество карет, колясок, фур теснили друг друга в окрестностях города, спеша от захватчиков. Такие грустные картины наблюдали семеновцы, когда проходили через столицу на Рязанскую дорогу.

Но если проходивший через Москву вместе с Семеновским полком подпрапорщик Петр Чаадаев с трудом узнавал родной город, то через несколько дней, после долгого и сильного пожара, он его и вовсе бы не узнал. Его взору открылось бы необычное зрелище: на улицах, где находились деревянные дома, торчали одни высокие обгорелые трубы. Все кругом было черно, а в толстом слое пепла иногда попадались начинавшие разлагаться мертвые лошади и трупы людей. То там, то здесь встречались костры, сложенные из дорогой мебели, разорванных книг и картин. Возле костров на изящных стульях и обитых шелком диванах сидели темные от дыма солдаты и офицеры неприятеля. Часть из них сбросила обгоревшую форму и переоделась в награбленные костюмы.

Пока грабеж и распутство, оторопелость и нерешительность удерживали врага в Москве, русская армия в трудных условиях, проселочными путями совершила знаменитый фланговый марш-маневр, перейдя с Рязанской дороги на Калужскую.

Разворачивались военные действия партизан, или «летучих отрядов», которые под руководством отчаянно храбрых офицеров Давыдова, Сеславина, Фигнера и других постоянно терзали (даже в самой Москве) разрозненные части неприятеля. Петр Чаадаев вместе с другими однополчанами не мог не радоваться вестям об успехах «малой войны», которой главнокомандующий и другие военачальники придавали организованные формы и которая естественно сочеталась со стихийной борьбой крестьян. Стоя неподалеку от главной квартиры армии, семеновцы видели, как

каждый день туда приходят мужики, прося ружей и пороха. Многие жители сел и деревень приготавливали рогатины, выковывали острия копий, запасались топорами и делали вылазки на дороги, подстерегая рыщущих в поисках продовольствия французских солдат.

По пути движения неприятельских войск, при Малоярославце, 12 октября произошло одно из решающих сражений Отечественной войны 1812 года (Петр Чаадаев в составе лейб-гвардии Семеновского полка находился в резерве). Восемнадцать часов длился бой. Город восемь раз переходил из рук в руки, в результате армия Бонапарта вынуждена была отступить по той же самой опустошенной войной дороге, по которой она еще совсем недавно наступала на Москву, а теперь возвращалась по Бородинскому полю, где десятки тысяч лошадиных и человеческих трупов вот уже почти два месяца источали миазмы и наводили ужас на проходившие войска.

Преследуя врага вместе со своими боевыми товарищами, так же страдавшими от погодных и продовольственных трудностей, прапорщик Петр Чаадаев наблюдал самые разные проявления морального распада некогда «великой армии». Сначала попадались брошенные коляски, кареты, экипажи с награбленными «трофеями», среди которых был отбит и снятый по приказу Наполеона с колокольни Ивана Великого большой крест; затем все чаще стали встречаться партии пленных, одетых в лохмотья. Оставшиеся еще в живых солдаты и офицеры думали только о собственном спасении, бросая раненых на произвол судьбы.

В середине ноября неприятель стал переправляться через Березину. Наведенные мосты держались непрочно и рушились, когда на них оказывались толпы преследуемых. Еще не крепкий лед ломался, и люди вместе с лошадьми тонули. «Посмотрите на этих жаб», — цинично заметил наблюдавший за переправой Бонапарт.

В начале декабря 1812 года в сопровождении нескольких приближенных Наполеон покинул 30-тысячный остаток своей 600-тысячной армии и помчался на санях через Польшу и Германию, не теряя надежды на возрождение своих всемирно-деспотических притязании, для осуществления которых необходимо было новое пушечное мясо.

И декабря у дворцового подъезда в Вильно главнокомандующий в парадной форме, с почетным караулом лейб-гвардии Семеновского полка докладывал Александру I о выдворении завоевателя из пределов России. Так завершился для Петра Чаадаева шестимесячный круг неожиданных жизненных

испытаний. Ему, как и каждому прошедшему по этому кругу участнику Отечественной войны, была вручена медаль, на которой были выбиты слова: «Не нам, не нам, а имени Твоему». «Всяк из вас, — говорилось в приказе, — достоин носить на себе сей достопочтенный знак, сие свидетельство трудов, храбрости и участия в славе; ибо все вы одинакую несли тяготу и единодушным мужеством дышали… Враги ваши, видя его на груди вашей, да вострепещут, ведая, что под ним пылает храбрость, не на страхе или корыстолюбии основанная, но на любви к вере и Отечеству и, следовательно, ничем не победимая…»

Силы молодого прапорщика, почти сразу с университетской скамьи попавшего на поля сражений, не выдержали всех тяжестей пройденного пути, и вскоре он в каком-то польском местечке заболел горячкой. Однако к началу 1813 года, когда русские войска двинулись освобождать Европу от наполеоновского ига, он уже смог снова встать в боевой строй.

«Пройдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его, — слушали «Чаадаев 1» и «Чаадаев 2» вместе с однополчанами приказ Кутузова. — Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались святынею, и вы видели, как десница вышнего праведно отмстила их нечестие. Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружились против России».

Петр Чаадаев активно участвовал в главных сражениях на немецкой земле, особенно проявив себя в напряженных боях под Кульмом, когда русские приняли на себя всю тяжесть неприятельских ударов. «Недостаточны были одни распоряжения начальника, — вспоминал очевидец, — требовались личные, телесные усилия каждого офицера и солдата. Почти все гвардейские батальоны ходили в штыки». За храбрость в кульмской битве прапорщик Петр Чаадаев был награжден орденом Св. Анны 4-го класса, а за отличие в германской кампании 1813 года — Железным крестом.

В январе 1814 года союзники перешли Рейн, и война перенеслась непосредственно на французскую территорию. Теперь Наполеону приходилось не завоевывать чужие государства, а защищать свое, границы которого он присягал при коронации сохранить в неприкосновенности. Однако после более

чем двухмесячного сопротивления неприятельских войск союзная армия подошла к столице Франции. Волна народов, прокатившаяся в 1812 году с запада на восток до Москвы, отхлынула обратно и утром 19 марта 1814 года достигла стен Парижа. «Все горели нетерпением, — вспоминал участник события, — войти в город, долгое время дававший уставы во вкусе, модах и просвещении, где хранились сокровища наук и художеств, где соединены были все утонченные наслаждения жизни, где недавно писали законы народам и ковали для них цепи, откуда выступали ополчения во все концы Европы, одним словом, в город, почитавшийся столицею мира!»

Много позднее, работая над «Философическими письмами», Петр Яковлевич Чаадаев вспоминал о победном пребывании в «столице мира» и об огромном впечатлении, произведенном на него достижениями западной культуры. Впечатление это было усилено через десять лет трехгодичным его пребыванием в Западной Европе, что в известной степени привело автора «Философических писем» к преувеличению роли «просвещения», научных и художественных «сокровищ» в поступательном развитии человеческого рода. Впоследствии, переосмысляя некоторые положения своего труда, Чаадаев не мог не задуматься о том, что высокая западноевропейская культура не помешала Наполеону ковать «цепи» другим народам. Не мог он не вспомнить и о тех двух годах своей военной жизни, когда перед его глазами со всей очевидностью вставали картины отнюдь не благородного поведения завоевателей и незаметной самоотверженности защитников родины.

II глава
ПОИСКИ ИСТИНЫ

1

Триумфальными арками и иллюминацией, празднествами и балами встречал Петербург освободителей отечества и Европы. Многие из них, по воспоминанию Ф. Ф. Вигеля, носили по-заграничному фраки, поскольку еще действовало парижское разрешение царя надевать вне строя штатское платье. Но гвардейцев, пишет Вигель, можно было узнать и в штатском платье «по их скромно-самодовольному виду». В это время, говорит другой современник о первых послевоенных годах, на каждом шагу можно было встретить в столицах «двадцатипятилетних полковников гвардии, двадцатилетних камер-юнкеров и безбородых еще молодых людей, имеющих уже в петличке какой-нибудь крестик».

Одним из таких заметных молодых людей, перед которыми раскрывались радужные горизонты блестящей карьеры, был и Петр Чаадаев, который еще в заграничном походе неожиданно перешел из пехоты в кавалерию, из лейб-гвардии Семеновского полка в Ахтырский гусарский, находившийся вместе с другими кавалерийскими подразделениями в подчинении генерала И. В. Васильчикова. Что заставило Чаадаева перейти из гвардейской пехоты в «летучие» всадники? Жихарев туманно намекает на какие-то его неудовольствия. Хорошо знавший однополчанина семеновский офицер и будущий декабрист М. И. Муравьев-Апостол объясняет переход единственно желанием Чаадаева пощеголять в новом кавалерийском мундире. В Париже, замечает Муравьев-Апостол, Чаадаев поселился вместе с офицером П. А, Фридрихсом, «собственно, для того, чтобы перенять щегольский шик носить мундир. В 1811 году мундир Фридрихса, ношенный в продолжение трех лет, возили в Зимний дворец, напоказ».

Весной 1816 года Чаадаев был переведен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк (квартировавший в Царском Селе), что, видимо, считалось благоприятным для дальнейшего продвижения по службе. Впрочем, и новый мундир мог иметь для него, особо заботившегося о деталях собственной внешности, дополнительное значение. В 1815 году офицеры лейб-гусарского полка получили приказ носить шляпы с белой лентой вокруг кокарды (белую ленту впоследствии заменили серебряною). Бобриный мох на мундире, галун по ремням портупеи и золотые кисточки у сапог также служили своеобразным украшением. «В мундире этого полка, — свидетельствует небеспристрастный Вигель — всякому нельзя было не заметить молодого красавца, белого, тонкого, стройного, с приятным голосом и благородными

манерами. Сими дарами природы и воспитания он отнюдь не пренебрегал, пользовался ими, но ставил их гораздо других преимуществ, коими гордился и коих вовсе в нем не было, — высокого ума и глубокой науки. Его притязания могли бы возбудить или насмешку, или досаду, но он не был заносчив, а старался быть скромно величествен, и военные товарищи его, рассеянные, невнимательные, охотно представляли ему звание молодого мудреца, редко посещавшего свет и не придающегося никаким порокам. Он был первым из юношей, которые тогда полезли в гении…»

Через несколько месяцев после перевода в лейб-гвардии Гусарский полк Чаадаева произвели в поручики, а еще через год командир гвардейского корпуса И. В. Васильчиков борет его к себе в адъютанты. По воспоминанию Жихарева, дочь прославленного героя Отечественной войны Н. Н. Раевского, «знавшая как свои пять пальцев все тогдашние положения петербургского общества, сказывала мне, что в эти годы Чаадаев с своими репутацией, успехами, знакомствами, умом, красотою, модной обстановкой, библиотекой, значащим участием в масонских ложах, был неоспоримо, положительно и без всякого сравнения самым видным, самым заметным и самым блистательным из всех молодых людей в Петербурге».

В этой своеобразной характеристике замечательно пестрое соединение разноплановых понятий, по-своему свидетельствующих о духовной распыленности, неустойчивости и поверхностности тогдашнего Петра Чаадаева. Сам он признавался позднее Е. Г. Левашевой, одному из ближайших и преданнейших своих друзей, что был в то время блестящим молодым человеком, бегающим за всякими новыми идеями и слегка касающимся их, не отдаваясь им вполне и не имея ни одной прочной; он упрекал себя в непоследовательных мечтаниях и в отсутствии основательного мышления.

2

Самосознаваемые свойства личности молодого Чаадаева являлись особенным отражением той неопределенности и того искания истины, в состоянии которого находились в послевоенные годы мыслящие представители высшего русского общества. «Царство блестящего дилетантизма по всем предметам и вопросам, выдвинутым вперед европейской жизнью, никогда уже потом не достигало у нас до таких обширных размеров, как в 1815–1825 гг… — замечал П. В. Анненков. — Необычайная и страстная влюбчивость в идеи и представления, попадавшие на глаза, сделалась господствующей чертой нашего общества после заграничных войн и заменяла ему настоящее образование. Влюбчивость эта и была главной причиной водворения у нас почти всех явлений европейской мысли и цивилизации, потерявших на новоселье свои природные формы и краски…»

После антинаполеоновского похода, когда как бы вторично было прорублено окно в Европу, разнообразию мечтательных идеалов, казалось, не было предела. Снова оживились веяния рационализма, энциклопедизма, республиканизма, масонства, на которые причудливо наложились увлечения мистицизмом, католицизмом. По словам историка литературы А. Н. Пыпина, русским обществом овладели отголоски «европейского брожения», от крайнего пиэтизма до крайнего политического свободомыслия.

Пестрота идейных увлечений причудливо отразилась в переменчивой политике неустойчивого Александра I, которого как представителя этой эпохи также можно назвать блестящим дилетантом и мечтателем, испытавшим влияние многих перечисленных выше течений. Слушая своего наставника Лагарпа, он усвоил теоретические понятия о свободе, равенстве, общем благе. Но его республиканские грезы под воздействием иных влияний оборачивались фантомом военных поселений и «аракчеевщины». Безответственность сердца заставляла царя увлекаться непохожими друг на друга идеями и столь же разными людьми, как Сперанский, Аракчеев, А. Н. Голицын, Магницкий, Фотий, Шишков. Фавориты эти сходились в дружественные альянсы и враждующие группировки, в причудливой борьбе которых мешались собственные и государственные интересы, личные обиды и мировоззренческие вопросы.

При таком настроении умов и Чаадаев примерялся к разным модным идеям. Вступив в масоны в Кракове, в Петербурге он, как и другие известные и очень разные его современники — великий

князь Константин Павлович, министр Балашев, уже не раз упоминавшийся мемуарист Вигель, будущий шеф жандармов Бенкендорф, будущий автор «Горя от ума» Грибоедов, будущие декабристы Пестель, М. И. Муравьев-Апостол, И. А. Долгоруков и др. — принадлежал к ложе «Соединенных друзей» и достиг в ней высокой степени мастера.

В символике масонского ритуала выделяется главная цель: построение в душе «вольного каменщика» здания божественной премудрости, выступающей как известный предел нравственного совершенствования. Именно эта цель в ее различных вариациях формулируется как основная в многочисленных рукописях, оставшихся после работы масонских «мастерских» в России. Отождествление нравственного совершенствования с неким тайным знанием противопоставляло масонство традиционному христианству, где высшее духовное состояние человека понималось как открытая любовь к богу и ближнему. Эта масонская идея, в развитии которой самопознание опиралось не на личность Христа, а вытекало из отвлеченно-деистических понятий типа «вечное духовное Существо», «великий Архитектор», «космическая причина всему», естественно вела к разделению людей на «знающих» и «незнающих», «посвященных» и «профанов», «умных» и «глупых», «элиту» и «массу» и т. п. То есть не к нравственному совершенствованию, которое есть всегда развитие подлинно человеческого единения в мире, а к углублению отчужденности, непонимания, подозрительности, вражды.

Другой особенностью масонской деятельности является скрытность, строгая иерархия степеней посвящения в тайну и необходимость безропотно повиноваться вышестоящим «мастерам». Обладание тайной якобы высшего знания естественно отделяет не только от «профанов», но и от других «братии», чья воля становится орудием более посвященных гордых людей с духовной психологией «серого кардинала» или «великого инквизитора». Декабрист Батеньков вспоминал, что, приняв звание «ученика», он удивился необходимости отказаться от той самой свободы, которая только что ему была обещана. Его поразило, что без позволения мастера никто не может произнести ни слова и что все «движения должны иметь геометрическую правильность».

Таинственность, тщательная замаскированность деятельности масонов заставляла многих сомневаться в чистоте их намерений и деклараций, задавать уточняющие их проповеди вопросы наподобие следующего: «Зачем господа сии заходят к Богу с заднего крыльца?» Действительно, не существовали ли у

масонов какие-то иные цели, помимо познавательных, нравственных, просветительских, благотворительных? Ведь в Европе «вольные каменщики» ставили и антигосударственные и антицерковные задачи, участвовали в подготовке Великой французской революции и т. п. Однако о запутанной сложности и неоднозначности масонских программ говорит тот факт, что масонами были, например, не только Дидро, Вольтер, Руссо, но и Людовик XVI, Фридрих II Прусский, Наполеон.

Для русского масонства (исключение составляют декабристы) наличие политических и реформаторских задач не прослеживается документально, хотя после смерти Александра I в его кабинете была обнаружена сделанная супругой его брата копия записки с основными масонскими тезисами на французском языке, где недвусмысленно выражено спрятанное за рассуждениями о «божественной премудрости» содержание. Бог, говорится в записке, даровал людям естественную свободу, и никто не может ограничивать ее, не оскорбляя творца и его созданий. Однако государи и священники стесняют свободу людей и тем самым узурпируют величие их создателя. Поэтому их надо свергать, как настоящих тиранов, незаконно захвативших у бога власть. В исполнении такой благородной задачи, читаем дальше, могут участвовать язычники, магометане, протестанты, католики, деисты и даже атеисты. Ибо разнообразные верования, производящие столько волнений в мире, представляют собой суеверные изобретения тех, кто захотел похитить свободу у человека и власть у бога. Вступающие в союз «вольных каменщиков» становятся безразличными к своей вере, что способствует установлению прочного мира и совершенных законов.

Для разрушения государственности и священства, рекомендуется в следующем параграфе, надо подбирать среди окружающих выдающихся, многознающих, твердых людей и с их помощью продвигать в общество nihil contra legem, nihil contra religionem, nihil contra bones mores»[4]. Но подобные намерения и действия следует держать в ненарушаемой тайне с помощью самых абсолютных клятв, преступление которых грозит смертью. «И так как это тайна самого высокого градуса, — говорится в конце, — она должна храниться исключительно в пятой ложе, составленной из Архитекторов, призванных руководить воздвижением Храма Соломона. Остальным же будет сказано только, что в нашем обществе рекомендуется в особенности взаимная помощь и милосердие во всех необходимых случаях жизни».

Копия этой записки составлена рукой княгини Лович, супруги

великого князя Константина Павловича, который, как упоминалось, сам был «братом» в одной ложе с Чаадаевым. В 1822 году, когда царь издал указ о запрещении масонских лож и тайных обществ в России, его брат в числе первых дал подписку о пресечении всяких сношений с «вольными каменщиками». В 20-е годы они оба были обеспокоены состоянием умов в России и на Западе, и скорое всего Константин Павлович переслал Александру I к размышлению масонский документ из Польши, где он жил, или из других европейских стран, где часто путешествовал и много наблюдал.

Сочетание благородных помыслов и деклараций, таинственности, избирательности, театральности естественно влекло неопытных молодых людей в ложи. Помимо жажды герметического знания, их вела сюда и возможность налаживания связей, самоутверждения в социальном окружении.

Как ни старался Чаадаев, он не нашел никакой пользы (разве что связи нужные приобрел) в «Соединенных друзьях», о чем свидетельствует написанная им в 1818 году несохранившаяся речь о масонстве, где он, по его собственным словам, «ясно и сильно выразил мысль свою о безумстве и вредном действии тайных обществ вообще». Но такое отношение сформировалось позднее, хотя разнимающееся гордое индивидуалистическое самосознание Чаадаева не могло не находить себе пищи в элитарной структуре союза «вольных каменщиков». Поначалу же в ложу «Соединенных друзей», заседания которой проходили на французском языке, его влекло, вероятно, и суетное желание общения со знаменитыми людьми, с графами, князьями, герцогами и любопытство узнать «таинство».

Трудно сказать, чем конкретно занимался Чаадаев в ложе, основанной в Петербурге в 1802 году по полученному в Париже патенту. Официально полагались приемные, хозяйственные, учебные, праздничные и печальные собрания, проводившиеся в специально нанимаемом доме. Непонятно, к какому роду собраний можно отнести единственный протокольно зафиксированный факт заседания в январе 1817 года «брата» Чаадаева в комитете «мастеров», где высказывалось неодобрение новых ритуалов и изъявлялось желание возобновить прежние. Первому наместному мастеру Оде де Сиону препоручалось довести это желание до сведения Великой Провинциальной ложи. Среди 36 подписей стоят также имена «мастеров» П. Я. Чаадаева и П. И. Пестеля, уже прошедших к этому времени более низкие степени «ученика» и «товарища».

Вот как известный советский историк русской общественной мысли XIX века Н. М. Дружинин характеризовал общую

атмосферу в ложе «Соединенных друзей»: «Это была одна из первых масонских «мастерских», открывших свои «работы» с наступлением нового гуманного курса. Заполненная представителями дворянской знати, проникнутая настроениями салонного либерализма, она походила на оживленный столичный клуб, в котором звуки масонского молотка сменялись веселыми кантатами и непринужденными беседами. Официально здесь возвещали борьбу с фанатизмом и национальной ненавистью и напоминали о триедином идеале «Soleil, Science, Sagesse» (Солнце, Знание, Мудрость). Здесь охотно принимали иностранцев и отличались изысканною галантностью по отношению к дамам… Веселые «братские трапезы» оглашались пением жизнерадостных куплетов:

О сколь часы сии прелестны,
Составим купно громкий хор —
Вкушай веселие небесно,
Счастливой вольности собор!

Трудно искать серьезного направления в этой ложе, аристократической и пестрой по своему составу, одинаково чуждой и глубокого морального настроения, и сосредоточенной политической мысли».

Модная и шумная ложа вскоре перестала удовлетворять взыскательного офицера Чаадаева, как, впрочем, увидим дальше, и некоторых других. К тому же в 1817 году шло дело о переходе «Соединенных друзей» из Великой Провинциальной ложи в Союз Астреи, поводом для чего явилась скандальная продажа «братом» Дальмасом мастерской степени некоему Смирнову. Подобные обстоятельства вели к тому, что Чаадаев все реже посещал собрания «вольных каменщиков». По его теперешнему мнению, в масонстве «ничего не заключается могущего удовлетворить честного и рассудительного человека». А в 1821 году он совсем расстался с «братьями», заявив в соответствующем документе, что с ложей «Соединенных друзей» никакого впредь сношения иметь не намерен». Однако отголоски масонской атмосферы еще долго будут проявляться и в высокомерном индивидуализме Чаадаева, и в интеллектуальной холодности его мышления.

3

В свободное от службы время он все чаще теперь отдается любимым занятиям — чтению и размышлению. Впечатлениями от прочитанного делится со старыми университетскими товарищами, особенно с Д. А. Облеуховым, который, по отзыву И. Д. Щербатова, был «самым скромным, кротким, умным и ученейшим человеком». Даже во время войны Петр Чаадаев просил его о присылке книг, а вернувшись в Петербург, вступил с ним в переписку. Облеухов жалуется другу юности на внутреннюю неустроенность и неудовлетворенность внешней жизнью, рассказывает о своем намерении оставить Московский университет, в канцелярии попечителя которого он служит старшим письмоводителем. А друг юности огорчен таким намерением и назидательно советует ему преодолеть слабый характер и взять в собственные руки свою судьбу: «судьба в нас самих», неудачи же наши происходят от непонимания этой простой вещи. По мнению Чаадаева, обширные естественнонаучные и гуманитарные познания Облеухова, его способности необходимо использовать для общего блага и служения отечеству.

Однако и сам Петр Чаадаев испытывает неустроенность своей судьбы. В письме к Облеухову он называет себя «шатающимся по свету» и, противореча собственному совету, зовет московского приятеля в путешествие по Европе, которое он собирается, несмотря на затруднения, непременно осуществить. Но затруднения оказались неустранимыми, и желанную поездку пришлось отложить на целых восемь лет.

Пока же 22-летний Петр Чаадаев сближается и с другими университетскими товарищами, а также с бывшими однополчанами, офицерами Семеновского полка (некоторые из них также входили в ложу «Соединенных друзей»), привлекавшими его серьезным умонастроением.

По воспоминаниям современников, любимый Александром I полк, где продолжал служить брат Петра Чаадаева Михаил, заметно выделялся в гвардейской среде. Молодые офицеры Семеновского полка не только постигали отвлеченные науки (главным образом социально-политические). Именно четверо из них — Трубецкой, Якушкин, братья Муравьевы-Апостолы — вместе с двумя своими товарищами из генерального штаба родственниками Муравьевыми на учредительном собрании в феврале 1816 года положили основание тайным декабристским обществам и организовали «Союз Спасения, или Истинных и

Верных Сынов Отечества». (Самому молодому из них было девятнадцать лет, а самому старшему — двадцать пять.) Присоединившийся вскоре к Союзу и ставший его секретарем князь Шаховской, муж двоюродной сестры Чаадаевых Наталии Дмитриевны Щербатовой, был тоже семеновцем.

Надо сказать, что «Союз спасения» резко отличался от масонских организаций типа «Соединенных друзей» выдвинутыми на первый план, хотя и тщательно конспирируемыми, политическими и реформаторскими задачами (введение представительного правления и уничтожение крепостного права). Но для конспирации органично использовались знакомые и привычные масонские формы. Устав «Союза спасения» воспроизводил масонскую иерархию, ритуалистику, культ строжайшей тайны. Все члены делились на «братии», «мужей» и «боляр», и лишь последним открывалась «сокровенная цель».

Вместе с тем для сокрытия новой организации под оболочкой масонской ложи и для пропаганды своих идей большинство учредителей «Союза спасения» и ряд вскоре принятых в него членов постепенно внедрялись в ложу «Трех Добродетелей». Ее основали в январе 1816 года несколько гвардейских офицеров, будущих декабристов, которые отделились от ложи «Соединенных друзей», испытывая недовольство светской и аристократической обстановкой в ней. Чуть позже в нее вошел и Пестель, ставший вскоре не только членом «Союза спасения», но и «старейшиной» «Совета боляр» в нем. Петр Чаадаев, знавший, безусловно, о переходе ряда членов «Соединенных друзей», не решился на перемену ложи.

Не числясь формально в «Союзе спасения», преобразованном в 1818 году в «Союз благоденствия», братья Чаадаевы находились в тесном общении с его основателями, особенно с университетским и боевым товарищем Якушкиным. Последний был сторонником быстрых и результативных действий и проявлял недовольство перенесением в новое общество масонской ритуалистики. Якушкин считал одним из самых дорогих своих друзей Михаила Чаадаева, которому он много позднее, в 1854 году, писал из Сибири такие строки, говорящие об их ранней идейной близости: «Очень ты меня порадовал своим письмом, мой старый и добрый друг. Твой почерк напомнил мне былое, и я уверен из слов твоих, что если бы мы каким-нибудь образом увиделись с тобой, то нам не пришлось бы знакомиться вновь». В письмах молодого Якушкина к родственнику братьев Щербатову они постоянно упоминаются вместе с организаторами тайного общества. «…Обнимаю тебя, — писал он в августе 1816 года, — так же как Чаадаевых, Муравьевых и С. Трубецкого», а в сентябре

1818 года просил: «Если будешь в расположении сообщить мне что-нибудь о Чаадаевых, Трубецких, Муравьеве, то сделай мне удовольствие». Получив новости об интересующих его лицах, Якушкин отвечал своему корреспонденту: «Я благодарю тебя также за известия, которые даешь о Чаадаевых. Расскажи им многое обо мне…»

Вероятно, Михаил и Петр знали «многое», если не из самых «сокровенных» замыслов, то, во всяком случае, из идейной сферы деятельности декабристов. Деятельность эта, особенно с 1818 года, стала менее засекреченной, поскольку активность «Союза благоденствия», превратившегося из узкоконспиративной группы в широко разветвленную организацию, стала направляться на пополнение собственных рядов новыми членами и на формирование общественного мнения, «общее развержение умов».

Для Чаадаева конкретное жизненное самоопределение было связано, помимо прочего, и с осмыслением декабристских идей.

В основе увлеченности декабристов, которых Пушкин называл «лучшим цветом» поколения, новыми идеями и их возможным приспособлением к русской действительности лежали благородные побуждения уничтожить, по их словам, разные несправедливости и угнетения».

Несмотря на заблуждения, свойственные декабристам, которые, как писал В. И. Ленин, «страшно далеко» отстояли от народа, присущие им самоотвержение и совестливость заставляли их прежде всего возмущаться существованием крепостного права. Оно представлялось многим из них единственной преградой для сближения всех сословий и общественного благоденствия.

Патриотические чувства играли большую роль в умонастроении декабристов. Примеры засилья иностранцев в высшей администрации, лихоимства, нарушения судопроизводства, бесчеловечного обращения с солдатами в армии волновали благородные умы молодых офицеров. «К Отечеству любовь, — заявлял С. Г. Волконский, — не в одной военной славе, а должна бы иметь целью поставить Россию в гражданственности на уровень с Европой и содействовать к перерождению ее сходно с великими истинами».

Однако «великие истины» свободы, равенства, личного достоинства, необходимые для блага отечества, ассоциировались в сознании декабристов с республиканскими идеями и европейскими общественными формами, которые они в теории механически переносили на русскую действительность. Отвлеченность и умозрительность такого перенесения заключалась главным образом в том, что оно осуществлялось без

соотнесенности с историческим прошлым и национальными традициями, веками формировавшими социально-психологический уклад жизни. В тех случаях, когда происходило обращение к русской истории, толкование ее особенностей, например, веча или земских соборов, нередко смещалось в сторону парламентаризма. «История Великого Новгорода, — говорил на следствии Пестель, — меня также утверждала в республиканском образе мыслей».

Отождествление всего благородного с деятельностью «чистого» разума, с мудрым законодательством и успехами просвещения, в которых, по их мнению, заключалась «вся судьба правительств и народов», являлось общей чертой мировоззрения декабристов и сближало их с французскими просветителями XVIII века. «Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего… Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены, как старый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все прошлое достойно лишь сожаления и презрения…» — писал Энгельс о просветительской деятельности в XVIII веке, которая в XIX столетии привела, как он отмечал, к неожиданным результатам: «Установленные «победой разума» общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей».

Искренние упования декабристов на изменение внешнего административного строя, на правовой порядок как на панацею от всех бед вступали в объективное противоречие с благородными намерениями их рыцарской совестливости, поскольку вели к развитию и торжеству буржуазных эгоистических отношений. Так, ведущий идеолог декабризма Н. И. Тургенев связывал «усовершенствование системы представительства народного» с «усовершенствованием системы кредитной», поскольку «век кредита наступает для всей Европы». Он, кстати говоря, хорошо представлял себе основу всех подобных «усовершенствований». «Древние, — отмечал Н. И. Тургенев в 1818 году в своем дневнике, — достигли свободы и следственно счастия стезею Природы: чистым, природным влечением души человеческой. Новейшие народы идут к счастию грязною дорогою: выгодами эгоизма и корысти. К стыду рода человеческого, может быть, надобно признаться, что путь новейших народов вернее, да теперь другого и существовать не может — вернее и прочнее: созданное на сих неблагородных основаниях стоит, как кажется, тверже».

«Зазор» между благородными побуждениями и реальными действиями, свою «далекость» от народа чувствовали в ряде

собственных конкретных поступков и сами декабристы. Так, Якушкин признавался, что не очень понимал, как освободить своих крепостных и что из этого выйдет. Почти всю землю он предполагал оставить за собой, предназначив одну половину для обработки вольнонаемными людьми, а другую — для сдачи в аренду освобожденным им крепостным, которые в таком случае превращались бы в батраков у капиталовладельца. Узнав о таких намерениях барина, крестьяне заявили ему: «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому — мы ваши, а земля наша».

Противоречия неопределенного искания истины вносили в благородные мысли и чувства многих декабристов, несмотря на временами тесное общение и кипучую умственную деятельность, отпечаток меланхолии и тоски, были, так сказать, «горем от ума». Нравственная незаконченность идейных стремлений вызывала смутное ощущение неполноты существования, одиночества.

О роковом разрыве между просвещенными дворянами и «темным» народом проникновенно писал близкий к декабристам Грибоедов в статье «Загородная поездка»: «Родные песни! Куда занесены вы с священных берегов Днепра и Волги?.. Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот поврежденный класс полуевропейцев, к которому и я принадлежу. Им казалось дико все, что слышали, что видели: их сердцам эти звуки невнятны, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими!.. Народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки! Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно бы, заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами».

«Черное волшебство» полупросвещения, приводившего к индивидуализму и разнородным видам обособленности человека, у чуткого Грибоедова вызывало иной раз желание покончить с собой. Посещало такое желание и «меланхолического» Якушкина, и эпикурейски настроенного молодого Пушкина, впитывавшего атмосферу эпохи и служившего в эту пору, по словам Петра Вяземского, «эоловой арфой либерализма». По свидетельству одного из современников, наделенный диктаторскими способностями Пестель (он предлагал уничтожить всех членов царской семьи, а убийц затем казнить) намеревался, однако, после осуществления конституционно-республиканских планов «удалиться в Киево-Печерскую лавру и сделаться схимником». (А в дневнике Н. И. Тургенева имелся раздел под названием «Моя

скука».)

В кругу такого жизнеощущения и миропонимания, приводившего на свой лад, независимо от субъективных намерений, не к подлинной свободе, а к торжеству буржуазного эгоизма, оказался и Петр Чаадаев, подготовленный всеми жизненными впечатлениями к органическому восприятию декабристских идей. Позднее он будет стараться снять отмеченные противоречия в своей философии.

После поражения восстания декабристов Ф. И. Тютчев написал такие строки:

О жертвы мысли безрассудной!
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить.
Едва дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов:
Зима железная дохнула,
И не осталось и следов.

Поэт оказался не совсем прав. Оставшиеся «следы» будут влиять и на творчество Чаадаева, и на размышления славянофилов и западников, между которыми он займет весьма своеобразное место, а также на многих мыслящих людей последующих поколений. Пока же Чаадаев находился, хотя целиком не подчиняясь ему, в жизненном русле своих гвардейских друзей-декабристов, не пренебрегая, впрочем, и иными связями.

4

Как отмечала дочь Н. Н. Раевского, Екатерина Николаевна, ставшая женой декабриста М. Ф. Орлова, Петр Чаадаев был чрезвычайно заметен в петербургском обществе. Будучи адъютантом командира гвардейского корпуса, он находился в постоянном общении с великими князьями Константином и Михаилом Павловичами, милостиво к нему расположенными. Оказывал ему расположение и будущий царь, великий князь Николай Павлович.

Петр Чаадаев находился в достаточно коротких отношениях и с другими людьми, занимавшими высшие государственные должности и делавшими политику. Адъютант командира гвардейского корпуса, бывший офицер Семеновского полка, был замечен и самим царем Александром I.

Вместе с тем «le beau Tchaadaef»[5], как называли его гвардейские офицеры, отличался в петербургском высшем свете, по словам Д. Н. Свербеева, «не гусарскими, а какими-то английскими, чуть ли даже не байроновскими, манерами». Внимательно следя за собственным положением в обществе, он старался держаться без излишней чопорности и придавал иной раз своему поведению свойственный гусарам оттенок искусственной простоты. Так, по рассказу очевидца, молодой офицер Петр Чаадаев любил похвастаться интрижками, которых вовсе не имел. «Никто, — писал, как всегда, слишком усердный в акцентах, но проницательный по существу Вигель, — не замечал в нем нежных чувств к прекрасному полу: сердце его было слишком преисполнено обожания к сотворенному им из себя кумиру. Когда изредка случалось ему быть с дамами, он был только что учтив; они между собою называли его настоящим розаном, а он был нарцисс, смертельно влюбленный в самого себя…»

«Розан» в Петербурге почти совсем перестал танцевать, чем некогда отличался в своей московской юности, и лишь изредка вступал в превосходно исполняемую им мазурку. «Нарцисс» же, если верить мемуаристу А. И. Дельвигу, проявлялся иной раз весьма оригинальным образом. По его рассказу, Чаадаев зашел однажды в модный петербургский магазин (особенно часто он заходил в Английский магазин) за какой-то безделкой и не нашел должного и скорого интереса к своей особе, поскольку продавец торговал ценную вазу. Для привлечения к себе внимания офицер разбил вазу и тотчас же за нее заплатил.

Эта гусарская выходка Петра Чаадаева кажется необычной для него по грубой форме выражения, что, возможно,

обусловлено, помимо прочего, и самим местом происшествия. В кругу же ученых, писателей и художников, где он также часто бывал и где маститые творцы и ценители весьма и весьма прислушивались к его метким и неожиданным замечаниям, он держал себя изысканно непринужденно, спокойно и умно. Он был своим человеком в блестящем петербургском салоне президента Академии художеств А. Н. Оленина, где после встречи возвращающихся с учений бригад, наблюдений за работой саперных батальонов, исполнения других адъютантских обязанностей, после ужина в ресторане Фельета или игры в свайку с офицерами-приятелями «просвещенный гусар» рассуждал о значении искусства и о новейших идеях в кругу известных писателей.

5

Среди этих писателей находился и Николай Михайлович Карамзин, дом которого Чаадаев стал посещать еще в Царском Селе, когда находился там в составе лейб-гвардии Гусарского полка. «Во время пребывания Чаадаева с лейб-гусарским полком в Царском Селе, — замечал биограф, — между офицерами и воспитанниками Царскосельского Лицея образовались непрестанные ежедневные и очень веселые отношения. То было, как известно, золотое время Лицея… Воспитанники поминутно пропадали в садах державного жилища, промежду его живыми зеркальными водами, в тенистых вековых аллеях, иногда даже в переходах и различных помещениях царского дворца… Шумные скитания щеголеватой, утонченной, богатой самыми драгоценными надеждами молодежи очень скоро возбудили внимательное, бодрствующее чутье Чаадаева и еще скорее сделались целью его верного, меткого, исполненного симпатического благоволения охарактеризования. Юных разгульных любомудров он сейчас же прозвал «философами-перипатетиками», но ни один из них не сблизился столько с его творцом, сколько Пушкин».

Последний незадолго до знакомства с Петром Яковлевичем жаловался Вяземскому: «…время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. Целый год еще дремать перед кафедрой… это ужасно». «Ужасность» лицейского положения скрашивалась литературным творчеством. Первый успех множился, благосклонность публики росла, и к моменту сближения Чаадаева и Пушкина слава о талантливом поэте-лицеисте уже распространилась по Петербургу.

Потребность познания многообразия жизни находила у Пушкина выход в общении с гусарами. «Кружок, в котором Пушкин проводил свои досуги, — вспоминал его однокашник Корф, — состоял из офицеров лейб-гусарского полка. Вечером, после классных часов, когда прочие бывали у директора или в других семейных домах, Пушкин, ненавидевший всякое стеснение, пировал с этими господами нараспашку». Жизнь этих господ настолько увлекла юного поэта, что, когда стало приближаться время окончания Лицея, он начал добиваться у отца разрешения поступить в гусарский полк. Убеждал он и своего дядю, Василия Львовича, что нет ничего

…завидней бранных дней

Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров…

Но торжеству «гусарского» начала, составлявшего лишь одну из сторон сложной натуры Пушкина, препятствовало среди прочих обстоятельств и его общение с другими старшими товарищами. В ответ на приведенное выше замечание Корфа Вяземский заметил: «В гусарском полку Пушкин не пировал только нараспашку, но сблизился и с Чаадаевым, который вовсе не был гулякою; не знаю, что бывало прежде, но со времени приезда Карамзиных в Царское Село Пушкин бывал у него ежедневно по вечерам». Возлияния Бахусу и Венере на гусарских вечеринках не мешали, а может быть, по контрасту, и заставляли юношу удаляться в среду людей противоположного настроения. Находя высокий духовный материал в этой среде, он отвлекался не только от «не слишком мудрых усачей», но и от подражательного стихотворства. «Пушкин свободное время свое во все лето проводил у Карамзина, — писал в сентябре 1816 года один из лицеистов, — так что ему стихи на ум не приходили…»

Именно в доме Карамзиных в это лето и произошла первая встреча Чаадаева и Пушкина. В стихотворении «На возвращение господина императора из Парижа в 1815 г.», которое Грибоедов в одну из встреч хвалил Чаадаеву еще до знакомства последнего с лицеистом, Пушкин сожалел, что не находился на полях сражений вместе с бородинскими и кульмскими героями, не был свидетелем «великих дел». Корнет Чаадаев и был как раз таким свидетелем, обладавшим к тому же отменными духовными качествами.

Ко всем этим качествам, несомненно возвышавшим Чаадаева в глазах Пушкина, добавлялись редкие для гусарского офицера интеллектуальные достоинства, резко выделявшие его среди других военных приятелей поэта. Неудивительно, что вскоре после знакомства Пушкин попал под обаяние личности Чаадаева, занявшего положение своеобразного друга-учителя, которого привлекал в ученике несомненный поэтический талант.

Не надо доказывать, что значит Пушкин для русской культуры. Гораздо реже говорится о том, что сам он также многим обязан ее лучшим представителям, общение и забота которых спасали его от бесплодных треволнений мятежной молодости, названной им впоследствии потерянной, и способствовали постепенному углублению и преображению его самосознания, пониманию высокой природы собственного таланта. Но всяческие беседы и увещевания остались бы

морализаторством втуне, если бы в многотребовательной натуре Пушкина не было органичных начал к их восприятию и творческому усвоению. По словам Вяземского, в Пушкине «глубоко таилась охранительная и спасительная нравственная сила, еще в разгаре самой заносчивой и треволненной молодости, в вихре и разливе разнородных страстей он нередко отрезвлялся и успокаивался на лоне этой спасительной силы. Эта сила была любовь к труду…»

Немалую роль в духовном отрезвлении и нравственном становлении Пушкина сыграл и Петр Яковлевич Чаадаев, общение которого с ним в 1818–1820 годах было самым тесным.

Как отмечал Анненков, у Чаадаева, жившего в Демутовом трактире Петербурга, Пушкин «покидал свои дурачества». Их долгие беседы, «пророческие споры», как писал в одном из посланий к Чаадаеву Пушкин, воодушевляли поэта. Поэт читал ему свои сочинения, делился «волнением страстей», тревогами «мятежной младости», проходившей в «шумном кругу безумцев молодых», где «праздный ум блестит», а «сердце дремлет». Чаадаев знал сердце поэта «в цвете юных дней». «Всегда мудрец, а иногда мечтатель и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель» — так характеризовал поэт своего старшего друга — воспламенял в нем «к высокому любовь», помогал ценить «жажду размышлений» и «тихий труд», когда удерживается «вниманье долгих дум». По воспоминанию Я. В. Сабурова, влияние Чаадаева на Пушкина было «изумительно», «он заставлял его мыслить».

Впоследствии, вспоминая годы собственной молодости, Пушкин говорил, что «в области книг» Чаадаев «путешествовал больше других». Вскоре совместное чтение сделалось излюбленным занятием в их общении друг с другом. В так называемой «первой библиотеке» гусарского офицера, которой мог пользоваться поэт, преобладала литература исторического и политического характера, а также философские произведения французских рационалистов и английских эмпириков. «Чаадаев, — отмечал Анненков, — уже тогда читал в подлиннике Локка и мог указать Пушкину, воспитанному на сенсуалистах и Руссо, как извратили первые философскую систему английского мыслителя своим упрощением ее и как мало научного опыта и исследования лежит у второго в его теориях происхождения обществ и государств. Выводы и соображения, которые рождались из анализа этих предметов, конечно, должны были поразить Пушкина новостью и сделать в его глазах «мудрецом» самого их проповедника».

Возможно также, что «проповедник», чтивший в молодости Байрона и отличавшийся, как известно, «байроновскими

манерами», первым познакомил поэта, давая ему книги для изучения английского языка, с сочинениями лорда-писателя, от которых автор «Кавказского пленника», по его собственному позднему признанию, одно время «с ума сходил». Говоря в целом, «поворот на мысль», несомненно, уменьшал воздействие на Пушкина фривольно-грациозных влияний французской культуры и привлекал его духовное зрение к современной политической жизни, проходившей под знаком ожидания «минуты вольности святой».

Не без помощи Петра Яковлевича Чаадаева искал Пушкин общий язык с теми из участников тайного общества, с которыми был особенно близок ученый гусар. Так, он познакомился с Якушкиным именно у Чаадаева, к которому, по словам этого декабриста, Пушкин «имел большое доверие». Не без помощи Чаадаева и его друзей молодой поэт переосмыслял одно из важнейших понятий его художественного творчества — понятие свободы, отождествляемой им поначалу с благоприятными внешними условиями для беспрепятственного удовлетворения любых порывов человеческого естества среди пестрых впечатлений шумного столичного города.

Друзья декабристы, следившие внимательно за метаморфозами духовного развития Пушкина, стремились, по выражению С. И. Тургенева, «вдохнуть либеральность» в его талант. «Свободу лишь учася славить», поэт постепенно открывал для себя и ее декабристское содержание, связываемое, как известно, с конституцией и республикой, с просвещением в целом. В стихотворении «Деревня» Пушкин признается, что учится «свободною душой закон боготворить», и заканчивает его следующими словами:

> Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
> И рабство, падшее по манию царя,
> И над отечеством свободы просвещенной
> Взойдет ли наконец прекрасная заря?

После прочтения «Деревни» в рукописи Александр I повелел командиру гвардейского корпуса Васильчикову «благодарить Пушкина за добрые чувства». Когда царь заинтересовался причиной популярности пушкинских стихов, именно к своему адъютанту Петру Яковлевичу Чаадаеву обратился командир гвардейского корпуса с просьбой доставить какое-нибудь из них. Возможно, на выборе произведения с антикрепостническими мотивами сказалось и влияние Чаадаева. С ним поэт не раз размышлял над слагаемыми понятия «свободы просвещенной»,

особо выделяя среди них вслед за декабристами «сень надежную закона». В оде «Вольность», одном из самых значительных среди вдохновленных либерализмом этой поры стихотворении, Пушкин ставит выше власти и природы именно закон, способный, по его мнению, прекратить страдания народа, дать ему «вольность и покой».

Беседуя с другом на подобные темы, юный поэт восхищался соединением в нем воинственного свободолюбия, духовного артистизма, государственного мышления.

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.

Эти стихи были написаны Пушкиным к портрету Чаадаева, который в комнате последнего висел, если верить Вигелю, «под двумя лавровыми деревьями в кадках; справа находился портрет Наполеона, слева — Байрона». С легкой руки поэта имена любимых декабристами античных героев надолго пристали к Чаадаеву, которого А. О. Смирнова-Россет в «Записках» называет «Брутом-Периклом» и «Гусаром-Брутом». «Салон или кабинет, — вспоминал позднее современник, — в котором проходили утренние приемы у Чаадаева, этого Периклеса, как называл его друг Пушкин, был в некотором роде и в уменьшенном виде лицей, перенесенный из Афин к Красным воротам». О том же свидетельствует и сделанный в 40-х годах карандашный рисунок Э. А. Дмитриева-Мамонова, где ученый друг Пушкина изображен в образе обличающего и поучающего римского трибуна.

Выраженное в стихах (как и в рисунке) несоответствие личных качеств и притязаний адресата реальным обстоятельствам его существования, видимо, угнетало Чаадаева, охлаждало его «вольнолюбивые надежды» в «пророческих спорах» с Пушкиным. Более радикально настроенный поэт призывал друга отрешиться от сомнений и верить в наступление «минуты вольности святой»:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

6

«Вдыхая» либерализм в юного друга, сам Петр Чаадаев к концу 10-х годов пребывал в неопределенном состоянии относительно дальнейших жизненных перспектив. С одной стороны, «оковы службы царской» казались ему все более несовместимыми с «вольнолюбивыми надеждами», с духом «Рима» и «Афин», с надеждами на подрыв самодержавия, на развалинах которого Пушкин желал увидеть и его имя. С другой стороны — те же самые «оковы» виделись кратчайшим путем к вершинам социального самоутверждения, к укреплению привычного ощущения первенства среди окружающих людей. Сложность положения усугублялась и тем, что он не мог достаточно четко определить конкретный созидательный смысл своей деятельности ни в либеральном движении, ни на государственном поприще.

«Телега жизни» катилась сама собой, и по внешности дела ставшего в 1819 году ротмистром Петра Чаадаева развивались самым благополучным образом. Когда Александр I в знак расположения к гвардии изъявил желание сделать своим флигель-адъютантом (а звание это жаловалось очень редко) одного из адъютантов командира гвардейского корпуса, то выбор пал именно на Чаадаева, хотя тот был лишь третьим адъютантом у Васильчикова. Назначение намечалось весной 1820 года, в канун пасхи, но почему-то задерживалось. «О моем деле решительно ничего не слыхать», — сообщал Петр 25 марта в письме к брату Михаилу. Через три дня, во время пасхальной заутрени, Васильчиков обнадежил своего адъютанта, что его повышение есть дело, окончательно решенное государем. Но поездка Александра I летом 1820 года на конгресс Священного Союза в Троппау отложила «окончательно решенное» дело до его возвращения. Тем не менее Петр Чаадаев мог мысленно уже примерять новенький мундир с флигель-адъютантскими вензелями на эполетах, поскольку царь знал и ценил гвардейского ротмистра.

Однако в те же месяцы в сознании ротмистра туманно вырисовывались и совсем иные картины. В самом разгаре карьеры он почему-то опасается вынужденной отставки, лелеет мысль о собственном почине в этом деле. Подумывает о разделе имения с братом, об отдыхе на море, об исполнении давнишнего замысла поездки за границу. Петр радуется решению брата оставить военную службу и перестать «жить на карячках». «Я страх как рад, что ты выходишь в отставку», — пишет он Михаилу еще в январе

1820 года. Извещая о таком же решении одного из его однополчан, Петр добавляет: «Хвала тебе, если твое красноречие его к этому побудило». В то же время Петр сомневается в финансовых возможностях частного образа жизни, относя, безусловно, подобные сомнения и на свой счет: «Я не понимаю, чем ты будешь жить… хотя и не на карячках».

Вообще денежные вопросы станут отныне постоянным источником недоразумений и напряжения во взаимоотношениях братьев. К этому времени они еще не разделили между собой достаточно богатого наследства, ответственность за которое лежала, вероятно, на Михаиле как на старшем брате. В течение первой половины 1820 года Петр дважды обращается к Михаилу с просьбой о деньгах, сама возможность которой не укладывается в сознании последнего. «Твоя тупость и ошибки твоего непонимания неизвинительны», — резко выговаривает ему гвардейский ротмистр и объясняет большие расходы своим положением высокопоставленного офицера. «Если они меня сделают шутом, — пишет он, намекая, по-видимому, на ожидаемое флигель-адъютантство, — то мне нужно будет, кроме тех 2000, которые я должен князю, по крайней мере, 8, чтобы монтироваться и поставить себя в состояние жить на квартире».

Между тем 24 марта 1820 года майор Бородинского пехотного полка, куда он перешел в 1819 году из Семеновского, Михаил Чаадаев вышел в отставку «по домашним обстоятельствам» (среди них занимала место какая-то болезнь, которую брат расценивал как воображаемую, как «скуку»). «Итак, вы свободны, — пишет ему Петр, — весьма завидую вашей судьбе и воистину желаю только одного: возможно поскорее оказаться в том же положении». Но оказаться в том же положении, как он признается дальше, ему мешает гордость. «Если бы я подал прошение об увольнении в настоящую минуту, то это значило бы просить о милости; быть может, мне и оказали бы ее, но как решиться на просьбу, когда не имеешь на то права? Возможно, однако, что я кончу этим…»

Намерение кончить «этим» — в будущем ли престижном и «звучном» флигель-адъютантском звании или в настоящем своем положении — не приобретало в сознании Чаадаева твердой отчетливости. А «телега жизни» катила его и по колее декабристского движения, метаморфозы и повороты которого требовали, в свою очередь, принятия определенных решений.

7

В первоначальных планах «Союза благоденствия» не было прямого замысла военного восстания. Вопрос о восстании выдвинулся при обострении в Южной Европе 1819–1820 годов революционной ситуации. «Что почта, то революция», — восхищенно записывал в дневнике Н. И. Тургенев, с которым Петр Чаадаев особенно сблизился (даже собирался поселиться вместе с ним в подмосковном имении Тургеневых Княжеве, расположенном в Дмитровском уезде неподалеку от сельца Алексеевского, приобретенного в 10-х годах теткой Петра, Анной Михайловной Щербатовой). В письме от 25 марта 1820 года Петр сообщал Михаилу «большую новость», которая «гремит по всему миру»: «революция в Испании закончилась, король принужден был подписать конституционный акт 1812 года. Целый народ восставший, революция, завершенная в 8 месяцев, и при этом ни одной капли пролитой крови, никакой резни, никакого разрушения, полное отсутствие насилий, одним словом — ничего, что могло бы запятнать столь прекрасное дело, что вы об этом скажете? Происшедшее послужит отменным доводом в пользу революций. Но во всем этом есть нечто, ближе нас касающееся, — не сказать ли, доверить ли сие этому нескромному листку? Нет, я предпочитаю промолчать…»

Что же касалось так близко братьев Чаадаевых в испанской революции? Отсутствие в ней разрушительных моментов, ее мирный характер? Вероятно, в это время происходит их активная вербовка в тайное общество, и им необходимо сделать выбор. Как отнестись к усилению радикальных настроений на петербургских совещаниях декабристов в начале 1820 года, когда был поднят вопрос о цареубийстве? И. С. Гагарин, хорошо знавший Петра Яковлевича Чаадаева и первым издавший его избранные сочинения, замечал, что, разделяя либеральные идеи декабристов, тот «энергично отвергал мысль о революции или насильственном изменении образа правления». По мнению Д. Н. Свербеева, Чаадаев всегда оставался верным престолу, ибо был «врагом всякого потрясения, требующего крови».

От такого рода потрясений предостерегал Чаадаев и Пушкина, политический радикализм и дерзкое бретерство которого к началу 1820 года как-то причудливо совмещались и замыкались на личности Александра I. Когда однажды в Царском Селе сорвался с цепи медведь и чуть не бросился на царя, Пушкин сострил по этому поводу: «Нашелся один человек, да и тот медведь!» В январе Ф. И. Толстой пустил по Петербургу сплетню,

будто поэта отвезли в секретную канцелярию и высекли. Раненое самолюбие Пушкина подстрекает его либо к убийству самодержца, либо к самоубийству. Вместе с тем, признавался он позднее в неотправленном письме к Александру I, «я решился тогда вкладывать столько неприличия и столько дерзости в свои речи и в свои писания, чтобы власть вынуждена была, наконец, отнестись ко мне, как к преступнику: я жаждал Сибири или крепости как средства для восстановления чести…» Дерзкие замыслы поэта обильно воплощались в эпиграммах, экспромтах, экстравагантных выходках. Когда в Петербурге распространилось известие, что парижский рабочий-седельщик Лувель заколол наследника французского престола герцога Беррийского, Пушкин открыто показывал в театре портрет убийцы с надписью «Урок царям».

В таком состоянии привязанность Чаадаева служила для него неоценимой поддержкой и спасительным средством от безумных поступков. «Строгий взор», «совет», «укор» Чаадаева, как писал Пушкин в одном из посланий к другу, воспитывали в нем «терпение смелое» против клеветы. «Офицер гусарской» был «целителем душевных сил», спас его чувства и поддержал «недремлющей рукой» над «бездной потаенной».

Чаадаев оказывал Пушкину не только нравственную помощь. Весной 1820 года Карамзин писал И. И. Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч. и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются следствий». Пользуясь своим положением приближенного к высшему начальству офицера, Чаадаев в конце апреля через Н. И. Гнедича просит Пушкина срочно явиться к нему, с тем чтобы предупредить вновь возникающие слухи. Когда же возможность ссылки стала совсем реальной, Пушкин благодаря заступничеству поклонников его таланта, среди которых находился и Чаадаев, был сослан не в Сибирь или на Соловки, а на юг. Петр Яковлевич Чаадаев хлопотал за него перед своим командиром Васильчиковым, а в критическую минуту немедленно обратился к Карамзину, работавшему в это время над «Историей государства Российского». Узнав о состоянии дела, историк немедленно отправился в царский дворец, чтобы облегчить участь строптивого стихотворца…

Зайдя перед отъездом из Петербурга проститься с Чаадаевым, Пушкин не стал беспокоить спящего друга: «Мой милый, я заходил к тебе, но ты спал; стоило ли будить тебя из-за такой безделицы». Так прервались совместные чтения, беседы, споры

«молодого чудотворца», и «офицера гусарского». В эпилоге к «Руслану и Людмиле» Пушкин, имея в виду дружбу Чаадаева и других любивших его людей, признается:

…Я погибал… Святой хранитель
Первоначальных, бурных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду,
Ты сердцу возвратила мир;
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир.

8

Тем временем гвардейский ротмистр продолжал вести диалог с декабристами. «Вчерашний разговор, — замечал Н. И. Тургенев в письме к нему в марте 1820 года, — утвердил еще более во мне то мнение, что вы многое можете споспешествовать распространению здравых мнений об освобождении крестьян. Сделайте, почтеннейший, из сего святого дела главный предмет ваших занятий, ваших размышлений… Итак, действуйте, обогащайте нас сокровищами гражданственности».

Для обогащения соотечественников «сокровищами гражданственности» Петр Чаадаев («испытывавшийся еще для общества», как сказано в доносе М. К. Грибовского А. Х. Бенкендорфу), намеревался помогать вместе с Вильгельмом Кюхельбекером основанию легального политического журнала, а также вел соответствующие беседы в высших военных кругах, пользуясь опять-таки своим положением адъютанта Васильчикова.

Васильчиков в числе ряда высокопоставленных лиц обращался к царю с предложениями об отмене крепостного права и слыл либеральствующим генералом. В его доме рассуждали о внутренней политике и критиковали Аракчеева. Он также способствовал устройству при гвардейских полках библиотек, читален, ланкастерских школ взаимного обучения. В петербургском обществе ходили слухи, будто подобные заведения служат рассадником вредных учений и что командир гвардейского корпуса окружил себя неблагонамеренными людьми, к числу коих причисляли и управляющего ланкастерскими школами Н. И. Греча, дежурного штаб-офицера А. И. Казначеева, адъютанта П. Я. Чаадаева, пользовавшегося репутацией «демагога». «Неблагонамеренный» адъютант обсуждал с генералом и вопросы возможных либеральных реформ «сверху». «Сегодня за обедом, — замечает Н. И. Тургенев в июле 1820 года, — Чаадаев обрадовал меня рассказом разговора с Васильчиковым, из которого видно, что правительство хочет что-то сделать в пользу крестьян».

Об активной идейной жизни в этот период «неблагонамеренного» адъютанта упоминает А. И. Тургенев в письме к Вяземскому, где говорит о совместном чтении и обсуждении Д. Н. Блудовым, В. А. Жуковским и П. Я. Чаадаевым «казанской брошюры», автором которой был попечитель Казанского университета М. Л. Магницкий. В деятельности Магницкого и его сподвижника, попечителя Петербургского

университета Д. П. Рунича выражалось охранительное начало, как бы находившееся в отношении обратной симметрии к мировоззренческим установкам и либеральным идеям декабристов и их единомышленников.

По убеждению Магницкого, характерной чертой текущего времени является изобретение нового идола — человеческого разума; «богословие сего идола — *философия.* Жрецы его — *славнейшие писатели разных веков и стран.* Началось поклонение идолу разума». В написанной им инструкции директору Казанского университета Магницкий говорит о необходимости при изучении самых разных предметов доказательства вредных последствий такого поклонения, нелепости притязаний тщедушного разума перед верой, «чтобы дух вольнодумства ни открыто, ни скрыто не мог ослаблять учения церкви в преподавании наук философских, исторических или литературы». Курсы других наук также должны быть «соглашаемы с учением евангельским». Например, при изучении медицины «должно быть внушаемо, что святое писание нераздельно полагает искусство врачевания с благочестием». И вообще при изучении естествознания следует показывать «премудрость божию и ограниченность наших чувств и орудий для познания непрестанно окружающих нас чудес», объяснять, что непостижимое и обширное царство природы является только слабым отпечатком «того высшего порядка, которому, после кратковременной жизни, мы предопределены».

А. И. Тургенев отмечал, что чтение «казанской брошюры» вызывало среди обсуждавших смех, перемежаемый порывами возмущения. Конечно же, Чаадаеву, убежденному тогда в том, что «все зависит от человеков» и что силой автономного разума и научного просвещения можно очеловечивать общественные отношения, подобные клерикальные и антипрогрессистские рассуждения, сопровождаемые нелепыми действиями и небезупречным поведением их автора, казались смешными, архаичными и бесперспективными.

Наверняка должны были казаться ему таковыми и напечатанные в «Русском инвалиде» и получившие широкий резонанс антизападнические размышления Рунича, критиковавшего столь почитаемого Петром Яковлевичем Байрона. Почему, вопрошает Рунич, в этой предназначенной для русского воина газете напечатана переводная статья из французского журнала об «английском безбожнике стихотворце Бейроне»? Сей поэт имеет «мрачную и свирепую душу и изуродованный самолюбием разум». И какая польза в искусстве, представляющем преступление страстью и потребностью великих

душ? В ученом мире, продолжал Рунич, Байрон почитается гениальным писателем, несмотря на то, что «гений его уподобляется блеску зловредного метеора; что талант его обольщает душу, не успокаивая и не убеждая ее, и что в творениях его находятся одни только блуждающие огни, мерцающие над глубокою пропастью!

Кто заразится бреднями Бейрона, такой погиб навеки; подобные впечатления, особенно в юных сердцах, с трудом изглаживаются. Поэзии Бейронов и приписываемое им достоинство гениев и истинных поэтов родят Зандов и Лувелей!» Вряд ли Чаадаев видел причинную зависимость между Байроном, которого он пропагандировал юному Пушкину, и Лувелем, чей пришедшийся по душе его другу-стихотворцу поступок он не мог не порицать. Байрон был интересен ему прежде всего резко выраженной индивидуальностью, ярким и сильным характером, привлекал ореолом громкой славы.

Вопрос о славе, как бы венчающей гордые индивидуалистические притязания и по-своему связывающей их с общественной жизнью, сильно занимал в эту пору ум Петра Яковлевича. О путях к славе спорит он с Облеуховым, и последний в одном из писем в августе 1820 года посылает ему и рекомендует к размышлению свой перевод изложения мнений Цицерона по сему предмету. «Ваша дружба, — заявляет Облеухов, — позволяет мне надеяться, что вы используете его на надлежащем пути…»

9

Еще весной 1820 года в конце письма к брату Чаадаев написал слова, о конкретном значении которых для своей дальнейшей судьбы он тогда никак не мог подозревать: «Вам, может быть, было бы любопытно узнать, как чувствует себя ваш Семеновский после злой шутки (Шварц), но об этом в другой раз». Назначение полковника Шварца в апреле 1820 года командиром Семеновского оказалось действительно «злой шуткой», которая через цепь событий привела к печальному для полка концу, ускорившему и внутреннее созревание Чаадаева для выхода в отставку.

Как уже упоминалось, после возвращения из антинаполеоновского похода в Семеновском полку создались особые умонастроения, необычная атмосфера. По рассказу Якушкина, «после обеда одни играли в шахматы, другие громко читали иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе, — такое времяпрепровождение было решительное нововведение. В 1811 году, когда я вступил в Семеновский полк, офицеры, сходившись между собою, или играли в карты, без зазрения совести надувая друг друга, или пили и кутили напропалую». Преданные своему долгу офицеры полка, соединенные товариществом и взаимным уважением, занимались теперь самообразованием и обучали грамоте солдат, заботились об их повседневных нуждах и вывели из употребления телесные наказания. Ни на учениях, ни в казармах не было слышно брани и грубых слов. Человеческое обращение с подчиненными не мешало дисциплине, и командир полка, храбрый и добрый генерал А. Я. Потемкин поддерживал его.

Однако это не всем приходилось по душе. Еще в 1815 году переменчивый в настроениях Александр I говорил о собраниях офицерской артели в его любимом Семеновском полку как о ненравящихся ему сборищах. Аракчеев же был настроен более решительно. «Надо выбить дурь из голов этих молодчиков», — говаривал суровый Сила Андреевич, но долго не решался прямо сказать чего-либо подобное государю об усыновленном им полку», — писал историк царствования Александра I М. А. Богданович. В 1819 году великий князь Михаил Павлович возглавил бригаду, в которую входили Семеновцы, вызывавшие его неудовольствие щеголеватой внешностью и утонченным образованием, излишними, как он полагал, для учений и караулов. Аракчеев и новый командир бригады, замечает Богданович, нашли общий язык: «Чтобы исправить полк, вовсе не

требовавший исправления, назначили командиром его одного из тех немцев, которые, родясь и живя весь свой век в России, не знают ни русского, ни немецкого языка. Полковник Шварц соединял в себе грубое невежество с необыкновенной вспыльчивостью и крутым характером. Он ничего не знал, кроме фронта: зато пред фронтом являлся в виде фанатика. На учениях он выходил из себя, бранился, ревел диким голосом, бросал шляпу оземь, топтал ее ногами; нередко случалось ему ложиться на землю, чтобы лучше видеть, хорошо ли на марше солдаты вытягивают носки — «игру носков», как выражался сам Шварц».

С назначением Шварца количество проводимых даже в воскресные и праздничные дни учений, где так своеобразно выражалась фрунтомания нового командира, значительно увеличилось. Проявляя болезненную заботу о внешности подчиненных, он приказывал увязывать солдат в ремни для выправки талий, заставлял их тратить скудное жалованье на бесконечное беление амуниции и на фабру для усов. Не имеющие же собственных усов обязывались наклеивать искусственные, отчего на лице появлялись болячки.

Недовольный учениями и непослушанием нижних чинов, Шварц стал усиленно внедрять телесные наказания, заставляя шеренги солдат бить друг друга по щекам и плевать в лицо, поколачивал их своеручно и дергал за губы тех, у кого усы за неимением натуральных были наклеены несимметрично. Кроме того, как вспоминал М. И. Муравьев-Апостол, он поочередно требовал к себе по десять человек и учил их, для своего развлечения, разнообразными истязаниями: «их заставляли неподвижно стоять по целым часам, ноги связывали в губки, кололи вилками и пр. Кроме физических страданий и изнурения, он разорял их, не отпуская на работы. Между тем беспрестанная чистка стоила солдату денег, это отозвалось на их пище, и все в совокупности породило болезни и смертность. К довершению всего, Шварц стал переводить красивых солдат, без всяких других заслуг, в гренадерские роты, а заслуженных старых гренадер без всякой вины перемещать в другие и тем лишать их не только денег, но и заслуженных почестей».

Жизнь рядовых в Семеновском полку, среди которых учащались побеги, становилась все тяжелее. Как писал флигель-адъютант Д. П. Бутурлин к начальнику главного штаба П. М. Волконскому, «Шварц в солдатах возбудил бóльшую ненависть, нежели жесточайший мучитель». Терпели оскорбления и офицеры, называвшие своего полкового командира «алчным зверем в человеческой гордой и благородной коже».

Когда 16 октября 1820 года во время очередного учения один

из рядовых встал в строй, не успев застегнуть пуговицы, Шварц плюнул ему в глаза, затем вывел из строя и приказал другим рядовым делать то же самое. В этот день получили телесное наказание награжденный Георгиевским крестом сержант и несколько нижних чинов.

Вечером того же дня солдаты первой роты первого батальона вызвали своего начальника, капитана Н. И. Кашкарова, и заявили ему, что не могут более переносить издевательств Шварца и хотят от имени всего полка довести до высшего начальства просьбу о новом командире. Кашкаров пытался было уговаривать солдат не поднимать шума, но поскольку те продолжали настаивать на своем, обещал исполнить их просьбу.

На следующий день известие о возмущении «государевой роты» дошло до Васильчикова. Он приказал начальнику штаба гвардейского корпуса А. Х. Бенкендорфу провести расследование и найти зачинщиков. Допросы не имели успеха, и в дело вступил бригадный командир, великий князь Михаил Павлович, увещевания которого также ни к чему не привели. Тогда Васильчиков приказал привести «государеву роту» в штаб, где собрались генералы и полковые командиры и куда он вечером того же дня, будучи больным, отправился вместе со своим адъютантом. «Чаадаев очень часто мне сказывал, — замечает Жихарев, — что Васильчиков и другие генералы, уговаривавшие солдат, могли бы достигнуть цели, если бы взялись за дело способнее и сведущее. Он сказывал, что, ехавши, на место с Васильчиковым, говорил ему в карете: «Генерал, чтобы солдат был взволнован, надо говорить с ним на его языке», на что получил ответ: «Будьте спокойны, мой друг, язык солдата для меня привычен. Я служил в авангарде», и что потом через час спустя, когда дело дошло до уговаривания, тот же Васильчиков и бывшие тут генералы, порывами неуместного гнева и языком солдату непонятным, только дело испортили и солдат пуще раздразнили».

Солдаты первой роты, состоявшей из ветеранов, не поддавались ни на уговоры, ни на угрозы генералов, заявляя, что они не думают бунтовать, готовы выполнить любое приказание и подвергнуться любому наказанию, нежели оставаться в подчинении у теперешнего полкового командира. Тогда Васильчиков приказал арестовать и отправить в Петропавловскую крепость «государеву роту», что вызвало волнение в остальных ротах и батальонах: солдаты стали собираться большими толпами, разбили стекла на квартире Шварца, спрятавшегося, по свидетельству М. И. Муравьева-Апостола, в навозной куче, а затем перебравшегося к знакомому офицеру из Измайловского

полка.

Ход событий в прославленном гвардейском полку переполошил весь Петербург и стал самым занимательным предметом разговора в тамошнем обществе. Возмущение в Семеновском полку произвело сильное впечатление и в Москве. Оно, выражал сочувственное мнение москвичей М. П. Погодин, «доказывает, что солдаты наши имеют тонкое чувство чести, умеют любить Отечество, знают свои обязанности. Ах, если бы умели обходиться с нашим народом».

Поползли слухи о политической подоплеке происходящего, не имеющие, как писал Петр Чаадаев недавно покинувшему город брату, никакого основания. Судорожно принимались самые срочные меры. Военные власти поспешили обратить внимание на другие полки. Через каждые полчаса, вспоминал современник, днем и ночью являлись квартальные в штаб-квартиру военного генерал-губернатора Петербурга М. А. Милорадовича, «через каждый час частные приставы привозили донесения изустные и письменные… отправляли курьеров, беспрестанно рассылали жандармов, и тревога была страшная…»

В такой нервозной обстановке командование приняло решение изолировать Семеновский полк от остальной гвардии и отправить его батальоны в разные крепости Финляндии, чему три тысячи человек покорно повиновались.

19 октября с первым донесением о принятом решении фельдъегерь отправился в Троппау, где Александр I все еще обсуждал вместе с европейскими монархами на конгрессе вопросы подавления революционного движения в Европе. В сущности происшествия, замечал Васильчиков в донесении, не заключено никакой опасности, поскольку единственной причиной возмущения солдат явилось «неблагородное и неосторожное» поведение Шварца. Он сообщал также, что зачинщики еще не открыты, а офицеры не проявили надлежащей в подобной ситуации твердости. Подробности происшествия он обещал изложить в ближайшее время через своего адъютанта Чаадаева.

10

Курьерская поездка, а затем внезапная отставка адъютанта стали предметом всевозможных слухов и домыслов, а в последующем — даже объектом специальных исследований, правда, мало проясняющих суть вопроса. Дело в том, что Петр Яковлевич Чаадаев никогда и никому не любил говорить об этих событиях, ограничиваясь в своих рассказах лишь некоторыми внешними деталями поездки и беседы с Александром I. Когда, например, один из наиболее близких к нему людей, М. И. Жихарев, спросил его однажды о причинах ухода с военной службы, тот ответил резко и с заметным неудовольствием: «Стало быть, мне так надо было». Скупые рассказы Чаадаева и являются основным источником описания этого важного эпизода его жизни в биографиях и воспоминаниях хорошо знавших его людей. Что же касается слухов и домыслов, то и они имеют определенное значение, поскольку не только с известной стороны характеризуют окружающих Чаадаева людей и его эпоху, но и по-своему отражают особенные черты его личности.

Вот как гораздо позднее сенатор А. И. Казначеев (а в описываемое время «неблагонамеренный» штабной полковник) рассказывал издателю «Русского Архива» П. И. Бартеневу обстоятельства отправки Чаадаева в Троппау. Во время обеда у дежурного генерала А. А. Закревского командир гвардейского корпуса объявил своему адъютанту, что посылает его курьером к государю. После обеда Чаадаев отвел в сторону Казначеева и сказал ему, что сможет поехать только в коляске, посадив своего лакея вместе с собой, а не на козлах, где пусть едет сопровождающий фельдъегерь. Казначеев заметил в ответ, что, имея в виду дурные дороги, для быстрого исполнения столь важного поручения необходимо ехать не в коляске, а на перекладных. Петр Яковлевич же заявил, что иначе он не поедет, о чем просил сообщить Васильчикову.

В этом первоначальном жесте адъютанта выражался не только каприз и привычка к комфорту, свойства понятные и легко различимые в его облике, но и инстинктивная защитная реакция против столь деликатного поручения. Ведь ему следовало доставить письменные донесения и сделать необходимые устные разъяснения чрезвычайно огорчительного и неожиданного для Александра I события, которое, по мнению многих, могло вызвать гнев и суровые решения со стороны царя. В донесениях высшего начальства, помимо изложения фактов, говорилось о пассивности офицеров, враждебной настроенности к полковому командиру.

Только молодость и неопытность, писал дежурный генерал Закревский, могут служить для них снисхождением. «По той же причине могли они быть завлечены к неуважению начальства нынешними событиями в Европе, событиями, произведенными вольнодумством и так называемыми либеральными идеями. Сия зараза гнездится между офицерами и других гвардейских полков…» Вместе с тем надежды посылающих и сама логика поручения требовали от Чаадаева такой расстановки устных акцентов, которая оправдывала бы действия и распоряжения высшего начальства. Таким образом, он, сам бывший семеновец и приятель офицеров провинившегося полка, оказывался в достаточно ложном положении по отношению к своим товарищам. Кроме того, гнев царя мог как-то отразиться и на его будущей карьере.

Однако поручение открывало перед курьером и иные перспективы. Милостивое расположение Александра I к ротмистру, прошедшему с Семеновским полком по полям тяжелых сражений Отечественной войны, могло способствовать смягчению возможной суровости наказаний. Умный и обаятельный адъютант в личных разговорах с царем мог также сделать нужные ударения и воздействовать на него, чтобы защитить и даже спасти бывших однополчан.

В этой перспективе была и еще одна важная сторона, связанная с идейной вовлеченностью адъютанта в стихию декабристского движения. Примечательно, что в самый день его назначения курьером о поездке в Троппау стало известно Н. И. Тургеневу, который, возможно, обсуждал с посылаемым интересующие их аспекты поручения. Перед адъютантом открывалась возможность войти в доверив к Александру I, уяснить его умонастроение и причины наметившегося отхода от либеральной политики, попытаться убедить его отказаться от опоры на людей типа Аракчеева, Магницкого или Рунича. Успех же в подобных намерениях оказывался тем «надлежащим путем» к славе, который Чаадаев, как известно, заинтересованно обсуждал с Облеуховым. Причем этот успех естественно должен был способствовать личной карьере, что нисколько не расходилось с общими установками декабристов. «На вступающих в тайное общество, — замечал Якушкин, — возлагалась обязанность ни под каким видом не покидать службы, с той целью, чтобы со временем все служебные значительные места по военной и гражданской части были бы в распоряжении тайного общества».

Когда 21 октября Петр Яковлевич Чаадаев в богатой коляске отправился в Троппау, он, конечно же, понимал возможность худых последствий своего путешествия, но надеялся, видимо, на

лучший исход и потому не отказался от поручения. А по Петербургу вскоре пошли слухи, которые отразились в позднейших мемуарах. Так, Д. Н. Свербеев считал, что именно флигель-адъютантские вензеля маячили перед взором Чаадаева, когда тот собирался с непростым заданием в столь дальнюю дорогу. Того же мнения придерживался и болезненно неравнодушный к личности курьера Вигель: «Он (курьер. — *Б. Т.*) был уверен, что, узнав его короче, Александр, плененный его наружностью, пораженный его гением, приобщит его к своей особе и на первый случай сделает его флигель-адъютантом».

Петр Яковлевич хорошо понимал, что для благоприятных результатов короткого разговора с императором надобно торопиться. И он ехал, хотя и в богатой коляске, так же быстро, как и посланный несколькими днями раньше специальный фельдъегерь. Добравшись до Троппау, он остановился на квартире начальника канцелярии главного штаба А. С. Меншикова, слывшего либералом и атеистом и несколько лет назад сочувственно относившегося к проектам тайных обществ. Тотчас же доложили о прибытии курьера Александру I, который, чтобы не привлекать внимания, приказал ему явиться вечером во фраке. Не имея партикулярного платья, гвардейский ротмистр позаимствовал его у своего камердинера и в назначенное время предстал перед одетым в черный статский сюртук царем в узкой, освещенной свечами комнате.

Царь принял донесения и стал расспрашивать об обстоятельствах и подробностях происшествия. Курьер изложил причины и ход событий, передал устные сообщения Милорадовича и Васильчикова, рассказал о вздорных петербургских сплетнях, о проверке других полков и напрасных подозрениях в политическом бунте. Он сообщил также, что в настоящее время над первым батальоном производится суд, результаты которого будут представлены его величеству на утверждение. В остальных же полках никаких волнений не наблюдается, парады и учения идут своим чередом.

Выслушав курьера, царь, как передает свою беседу с Чаадаевым М. И. Муравьев-Апостол, спросил его сначала, смотрели ли иностранные посланники с балконов, когда вели отправляемые в Финляндию батальоны Семеновского полка. «Чаадаев отвечал: Ваше Величество, ни один из них не живет на Невской набережной. Второй вопрос: — Где ты остановился? — У князя А. С. Меншикова, Ваше Величество. — Будь осторожен с ним. Не говори о случившемся с Семеновским полком. Чаадаева поразили эти слова, так как Меншиков был начальником канцелярии главного штаба Его Императорского Величества».

Затем Александр I стал сокрушаться о происшествии, говорил Чаадаеву, что ему как бывшему семеновскому офицеру, вероятно, тяжело переживать случившееся, восхищался, несмотря на преступление, кротким поведением солдат. По его мнению, следовало бы найти более приличные формы обхождения с «государевой ротой», тогда в других ротах и батальонах сохранялось бы спокойствие. Но когда возмутились все три батальона, не оставалось делать ничего иного, как посадить их в крепость. Возмущение в его любимом полку, считал царь, задевает честь русской формы, подает дурной пример другим войскам на родине и в Европе, поэтому оставить его в прежнем составе было бы непростительной слабостью.

Перейдя к длинным рассуждениям о пагубных либеральных увлечениях современной молодежи, царь вопреки основному тону донесений и разъяснениям курьера, а также несколько противореча самому себе, стал высказывать подозрения в политической начинке солдатского волнения, считая почему-то главным виновником Н. И. Греча.

Последний в своих воспоминаниях говорил, что до семеновской истории он был «отъявленным либералом, напитавшись этого духа в краткое время пребывания во Франции… Да и кто из тогдашних молодых людей был на стороне реакции? Все тянули песнь конституционную». Видимо, песнь конституционная как-то отражалась на учебном процессе в гвардейских ланкастерских школах, которые при их создании сочувственно поддерживал Александр I и которыми управлял Н. И. Греч, что и вызнало такие серьезные обвинения. «Случилось так еще, — писал сам Греч, — что король прусский сообщил ему (царю. — *Б. Т.*) догадку свою о существовании в Швейцарии центрального комитета для возмущения Европы. Александр спросил у Чаадаева: «Знаешь ли ты Греча? — Знаю, Ваше Величество. — Бывал ли он в Швейцарии? — Был, сколько знаю, — отвечал Чаадаев по всей справедливости. — Ну, так теперь я вижу, — продолжал государь и прибавил: — Боюсь согрешить, а думаю, что Греч имел участие в семеновском бунте».

Курьер пытался разубедить царя относительно деятельности Греча и, как вспоминал Н. И. Тургенев, всю вину возложить на «абсурдное поведение» Шварца. Однако царь считал необходимым бдительно следить за управляющим ланкастерскими школами и его учениками, «будь то солдаты или маленькие девочки». Вообще Александр I был уверен, что подлинные вдохновители волнения находятся вне полка и принадлежат к тайным обществам, которые по имеющимся доказательствам, писал он Аркачееву, сообщаются между собою и

«коим весьма неприятно наше соединение и работа в Троппау».

Более часа продолжалась беседа Петра Яковлевича Чаадаева и Александра I. Ее содержание представлено здесь, как уже отмечалось, на основании рассказов самого курьера, прошедших через сознание мемуаристов, а также переписки царя и высокопоставленных лиц. О чем еще «мог так длинно говорить гвардейский ротмистр со всероссийским императором? — спрашивает Жихарев и овечает: — Серьезная сущность и самая занимательная, любопытная часть разговора, который Чаадаев имел с государем, навсегда останутся неизвестными, и это неоспоримо доказывает, что и нем было что-то такое, чего пересказывать Чаадаев вовсе не имел охоты». Выводы Жихарева остаются в силе и по сей день. Последними словами царя, как передают авторы воспоминаний, были «Adieu, monsier le libéral»[6], а также напоминание о том, что «мы скоро будем служить вместе».

В Петербург курьер возвращался медленнее, нежели ехал в Троппау, и в середине ноября привез высочайшие распоряжения о расформировании лейб-гвардии Семеновского полка. «Сначала государь дожидался дополнительных известии с Чаадаевым, — писал начальник главного штаба П. М. Волконский, — получив же оные, тотчас решился на уничтожение прежнего состава полка…» Нижние чины распределялись по разным полкам армии. Офицеры за неумение предупредить случившийся беспорядок, который они безуспешно пытались исправить, также переводились в армейские полки, но с сохранением выгод гвардейских чинов. Семеновский же полк повелевалось составить из рот гренадерских полков.

Экземпляры приказа, вызвавшего всеобщий интерес и большой шум в Петербурге, было трудно достать. «Многие дамы мне незнакомые присылали просить сей приказ, в чем я им не отказывал», — замечал Закревский в письме к П. М. Волконскому. В этом интересе и шуме царские распоряжения невольно ассоциировались с именем блестящего курьера. По возвращении Петра Яковлевича Чаадаева из Троппау, вспоминал Якушкин, кавалергардский офицер Д. А. Шеппинг, а также многие другие «поздравляли его с будущим счастьем, пророча, что он непременно будет флигель-адъютантом». Эти, порою весьма насмешливые, поздравления приятелей смешивались с прямыми обвинениями недоброжелателей, завистников, праздных болтунов; особую группу среди упрекающих составляла многочисленная родня пострадавших семеновских офицеров.

«Из всех этих элементов, — замечал М. Н. Лонгинов, — составился ревущий хор сплетен и толков, которыми были введены в заблуждение и восстановлены против Чаадаева и люди

добросовестные, но не имевшие случая узнать истину. Вот как формулировались обвинения против него: Чаадаев, мучимый честолюбием, сам напросился у своего начальника на поездку в Троппау, он был уверен, что будет пожалован за это флигель-адъютантом, на что старшие товарищи его имели больше прав, следовательно, он хотел интригою обойти их; для этого он решился предать целый полк, да еще тот, в котором сам прежде служил; он старался представить государю дело в самых черных красках и содействовал этим из личных видов кассированию полка и проч и проч. Иные говорили, что ему действительно была предложена награда».

Вместе с тем по городу ползла другая волна толков и сплетен, начавшаяся еще тогда, когда поехавший, по мнению судящих и рядящих, за флигель-адъютантскими эполетами курьер был еще совсем далеко от Петербурга, 8 ноября Ф. П. Шаховской писал в Москву И. Д. Щербатову: «Петр Чаадаев поехал в богатой коляске, и, как слышно, его обогнали два курьера, поехавшие целыми сутками после его». Быстро дошедший до Шаховского и непонятно из какого источника возникший слух о богатой коляске и опоздании адъютанта в Троппау со временем обрастал подробностями. Так, желчный Вигель писал: «Надобно еще знать, что гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка: по часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, притирался, мылился, холился, прыскался духами. Дорогой он продавался тем же упражнениям и оттого с прибытием опоздал двумя сутками». Сын Васильчикова, бывший секундантом Лермонтова на роковой дуэли, вспоминал рассказы отца о том, что вальяжный курьер «пил по утрам кофе, а вечером чай, брился и умывался несколько продолжительно, соблюдал правила чистоплотности, и ехал, как gentleman, в коляске». О том, что джентльмен в коляске проделал свое путешествие сибаритом, писали декабристы Н. И. Тургенев и Н. И. Лорер, авторы мемуарных записок Д. Н. Свербеев и М. А. Дмитриев упоминали офицеры А. И. Казначеев и Карцев.

Их свидетельства, различаясь в деталях, сходятся в главном результате такого комфортного передвижения: Чаадаев ехал медленнее, чем положено, его обогнал посланный из Петербурга курьер австрийского посла и сообщил о возмущении Семеновского полка находившемуся на конгрессе в Троппау австрийскому министру князю Моттерниху, от которого русский царь и узнал о печальном известии, что сильно раздосадовало Александра I. Достоинство монарха, передает А. И. Васильчиков рассказы отца, было глубоко оскорблено, и никогда уже он не сумел «забыть и простить своего смущения при выслушивании от

лукавого собеседника, Меттерниха, первого известия о возмущении любимого им гвардейского полка». Государь, продолжает А. И. Васильчиков, мог и не показать свои гневные чувства Чаадаеву, но его промедление имело неблагоприятные последствия и для ленивого курьера, и для пославшего его командира гвардейского корпуса. Лорер, Вигель, Свербеев говорят, напротив, о проявлении царем этих чувств. Последний пишет даже, что тот «запер на ключ курьера, взял ключ к себе в карман, через несколько часов сам отпер Чаадаева и тут же выпроводил его из Троппау, так, что несчастный не видел никого, кроме разгневанного императора. Вслед за этим Чаадаев был отставлен».

Более того, промедлению курьера приписывалось не только психологическое, но и политическое значение. Как рассказывал А. И. Васильчиков со слов отца, в промежутке между приездом австрийского и русского курьеров иностранные дипломаты преувеличенно представили волнение в гвардии в чисто политическом свете. Меттерних же, по мнению Д. Н. Свербеева, использовал это для аргументации против остаточных либерально-конституционных идей русского царя для его привлечения к подавлению революционного движения в Европе.

Версия об опоздании Чаадаева несостоятельна, поскольку первое известие о возмущении в Семеновском полку царь получил от фельдъегеря, посланного несколькими днями раньше курьера-джентльмена. К тому же последний, как доказано исследователями, ехал так же быстро, как и поднаторевший в скорой езде фельдегерь. Сверх того, Александр I сам сообщил о возмущении Меттерниху, который не придавал ему политического значения, считая случайной вспышкой, а не продуманным восстанием, и удивлялся противоположной реакции царя. В своих записках от 3 ноября 1820 года австрийский министр отметил это сообщение и рассуждения Александра I о несвойственности русскому народному характеру подобного неповиновения трех тысяч солдат. «Он воображает даже, что это дело радикалов, желавших устранить его и заставить возвратиться в Петербург. Я не согласен с ним. Это было бы уже слишком, если бы в России радикалы могли располагать целыми полками; но это доказывает, как изменился император». Таким образом, не опоздание Чаадаева и не козни в тот момент иностранных дипломатов, а сам факт возмущения в его любимом полку произвел на царя сильнейшее впечатление, по-своему повлиявшее на принятие предложений австрийского министра.

В декабре 1820 года Чаадаев неожиданно для всех подал в

отставку. Исходя из имеющихся в наличии сведений, среди ее причин сложно выделить какую-либо одну решающую. Не исключено, что после беседы с царем погасли надежды Чаадаева на «надлежащий путь» к славе, на соединение личной карьеры с государственными преобразованиями.

После возвращения из Троппау он уединяется и первое время избегает встреч с приятелями-декабристами. 26 ноября Н. И. Тургенев отметил в дневнике: «Ожидал к себе Чаадаева; но он не был». Конечно же, терзали его мнительное самолюбие и разговоры о флигель-адъютантских эполетах. По мнению Якушкина, он вышел в отставку, чтобы доказать, как мало дорожит такого рода наградами. Безусловно, ранили его и толки об исполнении им каких-то тайных инструкций, другими словами, о предательстве своих товарищей, хотя семеновские офицеры и не подозревали его в таком поступке и оставались с ним в постоянно дружеских отношениях. «Никто из нас, — замечал М. И. Муравьев-Апостол, — не думал сетовать на Чаадаева за то, что он повез донесение в Лайбах, исполняя возложенное на него поручение». Со своей стороны, чем-то испуганная Анна Михайловна Щербатова настоятельно просила племянника выйти в отставку, о которой, как известно, он подумывал уже давно.

2 января 1821 года Петр Яковлевич успокаивал тетушку сообщением об исполнении ее желания, добавляя: «Моя просьба (об отставке) произвела сильное впечатление на некоторых лиц. Сначала не хотели верить, что я серьезно домогаюсь этого, затем пришлось поверить, но до сих пор не могут понять, как я мог решиться на это в ту минуту, когда я должен был получить то, чего, казалось, я желал, чего так желает весь свет и что получить человеку в моем чине считается в высшей степени лестным. И сейчас есть еще люди, которые думают, что во время моего путешествия в Троппау я обеспечил себе эту милость и что я подал в отставку лишь для того, чтобы набить себе цену. Через несколько недель они убедятся в своем заблуждении. Дело в том, что я действительно должен был получить флигель-адъютанта по возвращении Императора, по крайней мере по словам Васильчикова. Я нашел более забавным презреть эту милость, чем получить ее. Меня забавляло высказывать мое презрение людям, которые всех презирают. Как видите, все это очень просто. В сущности, я должен вам признаться, что я в восторге от того, что уклонился от их благодеяний, ибо надо вам сказать, что нет на свете ничего более глупо высокомерного, чем этот Васильчиков, и то, что я сделал, является настоящей штукой, которую я с ним сыграл. Вы знаете, что во мне слишком много истинного

честолюбия, чтобы тянуться за милостью и тем нелепым уважением, которое она доставляет. Если я и желал когда-нибудь чего-либо подобного, то лишь как желают красивой мебели или элегантного экипажа, одним словом — игрушки; ну что ж, одна игрушка стоит другой. Я предпочитаю позабавиться лицезрением досады высокомерной глупости».

Внезапным жестом отставки (вспомним грибоедовские строки: «чин следовал ему: он службу вдруг оставил») Петр Яковлевич разрубил одним ударом туго затянувшийся узел внешних неприятностей, внутренних противоречий и исчерпанных реальностей, хотя и не видел в своем «истинном честолюбии» положительного начала для дальнейшей жизни. В том же письме к тетке он туманно намекает, что ему по многим причинам невозможно оставаться в России и что после короткого пребывания в Москве он намерен навсегда удалиться в Швейцарию.

Немаловажное значение для решительности гвардейского ротмистра имело и то, что сейчас прошение об отставке в его гордом сознании выглядело не просьбой о милости, как он писал весной брату, а презрением к ней.

Удивлены же были, помимо прочих, и «высокомерно глупый» Васильчиков, и Александр I. «Государь, — замечает Жихарев, — был крайне удивлен и недоволен его отставкой. Он даже присылал от себя очень значительное лицо спросить, «для чего он выходит, и если чем недоволен или в чем имеет нужду, так чтобы сказал. Коли, например, нужны ему деньги, то государь приказал ему передать, «что он сам лично готов ими снабдить». На сделанный царем через начальника главного штаба запрос о причине отставки его адъютанта Васильчиков отвечал от 4 февраля 1821 года: «Вот та, которую он заявляет, у него старая тетка, которой он очень много обязан, требующая, чтобы он вышел в отставку и поселился возле нее. Я сделал все, что мог, чтобы его удержать; я ему даже предлагал четырехмесячный отпуск; но он твердо стоит на своем, и я думаю, что всего лучше исполнить его желание».

В ответ на разъяснительное письмо Васильчиков получил через несколько недель из Лайбаха, куда переместился конгресс из Троппау, секретное послание П. М. Волконского, в котором передавался приказ царя дать адъютанту испрашиваемую отставку, но без пожалования следующего положенного ему чина, так как в последние дни «Государь получил сведения весьма не выгодные для него. Эти сведения его величество предоставляет себе вам показать по своем возвращении в Петербург. Государь желал бы, чтобы вы не говорили Чаадаеву о том, что я вам пишу,

но скажите ему следующую причину, если он вас об ней спросит: что находят его слишком молодым и здоровым, дабы отставлять службу, — на что он мог решиться только от лени, и потому он не имеет права ни на какую награду. Храните это для себя, и вы удивитесь тому, что вам государь покажет…»

Нельзя сказать определенно, какие «удивительные» сведения разрушили благорасположение царя к гвардейскому ротмистру. Возможно, Александр I получил какие-то известия о его «вольнодумных» идеях из перлюстрированных писем или из доноса Грибовского. Так или иначе, получение отставки без повышения в чине оказалось для Петра Яковлевича неприятной неожиданностью. И поскольку его начальник хранил «это для себя», адъютант поверил в предложенную царем мотивировку. До конца жизни, вспоминал Жихарев, его дядя имел смешную слабость горевать о пропущенном чине, «утверждая, что очень хорошо быть полковником, потому, дескать, что «полковник — un grade fort sonore»[7].

Неделю спустя после приказа об отставке Чаадаев получил письмо от юного подпрапорщика Михаила Бесстужева-Рюмина, сосланного на службу из Петербурга в провинцию вместе с другими семеновскими офицерами. Подпрапорщик жаловался на свою тяжелую жизнь в Кременчуге («превыше всякой силы человеческой выносить вытягивание поджилок по 7 часов в день»), умолял старшего товарища оказать содействие в обратном переходе в гвардию и просил его написать, есть ли такая надежда: «Нас настоящее страшит, коль не окрашено оно грядущим». Бестужев-Рюмин, который будет повешен в числе пяти приговоренных к смертной казни декабристов, не подозревал тогда, конечно, что его грядущее составляет всего несколько лет. Не знал он и того, что влиятельный адъютант Васильчикова, оказывавший ему расположение в Петербурге, стал частным лицом и ничем не может помочь.

11

В то самое время, когда Чаадаев ожидал отставки, в начале 1821 года состоялось важное московское совещание, решившее распустить «Союз благоденствия» и перестроить тайное общество для отсечения как ненадежных, так и наиболее радикально настроенных членов. С этой целью, а также для лучшей конспирации в связи с тем, что до правительства все чаще доходили сведения об их деятельности, декабристы приняли на съезде другой устав. По доносу уже упоминавшегося Грибовского, предполагалось создать руководящую группу «невидимых братьев», а прочих разделить на языки (по народам: греческий, еврейский и пр.), которые как бы лучи сходились к центру и приносили дани, не ведая кому». Вместе с тем, как свидетельствует Якушкин, «никто не мог быть принят без согласия на то главного правления общества». В содержательной части устава Н. И. Тургенев для ограничения самодержавия с помощью армии рекомендовал агитацию и пропаганду среди солдат и офицеров. А М. Ф. Орлов горячо вносил так и не принятое на съезде предложение о создании тайной типографии и печатании фальшивых ассигнаций для подрыва государственного кредита. В результате работы съезда распущенный «Союз благоденствия» преобразовался в Южное и Северное общества. Последнее под идейным руководством Н. И. Тургенева и Н. М. Муравьева противопоставило свою умеренную программу революционным устремлениям Южного общества во главе с Пестелем.

Дневниковые записи Тургенева в апреле 1821 года свидетельствуют о встречах только что вышедшего в отставку Петра Яковлевича с обоими будущими руководителями Северного общества, которые, должно быть, убедили его в благонамеренном и ненасильственном характере исполнения поставленных задач. 10 июня 1821 года Тургенев отметил в дневнике, что Чаадаев уехал в Москву накануне и что третьего дня он провел с ним вечер. «Наконец, мы разговорились и договорились. Жаль, что это случилось не прежде». Руководитель декабристов, получивший, по-видимому, одобрение главного правления на принятие нового члена, сожалел о потере важной для них позиции в армии в связи с уходом с военной службы такого перспективного офицера.

А пока шли разговоры и договоры в Петербурге, в Москве братьев с нетерпением ожидал Якушкин. «Не приехали ли Чаадаевы в Москву?» — спрашивал он 25 мая 1821 года у И. Д. Щербатова. Интересовались Якушкиным и Михаил с Петром.

«Жаль, что про Якушкина не узнали мы ранее, — писал последний Щербатову, — мы могли бы съездить в Москву с ним повидаться… Я очень хотел его видеть, несмотря на то, что он по твоим словам желал более видеть брата, чем меня». В силу особо тесных дружеских связей, а также, возможно, из-за большей неподатливости вербовке Якушкин хотел видеть скорее Михаила. Но ему была необходима и встреча с Петром. Как только летом 1821 года Петр оказался в Москве, Якушкин, как он сам рассказывает в «Записках», «предложил вступить ему в наше Общество; он на это согласился, но сказал мне, что напрасно я не принял его прежде, тогда он не вышел бы в отставку и постарался бы попасть в адъютанты к великому князю Николаю Павловичу, который, очень может быть, покровительствовал бы под рукой Тайное общество, если бы ему внушить, что это Общество может быть для него опорой в случае восшествия на престол старшего брата». В согласии Петра вступить в тайное, хотя после московского съезда формально и не существующее, общество декабристов опять-таки чувствуется надежда на просветительство власть имущих, на мирную революцию, на «тихий» исход дворцового переворота, надежду, которую, вероятно, разделял и Михаил, в отличие от брата не согласившийся вступить в тайное общество.

Вскоре после встречи с Якушкиным Петр Яковлевич отправился в подмосковное имение своей тетки, которая после десятилетней разлуки с радостью встретила дорогого племянника, так редко напоминавшего о себе все это время в скупых письмах. «Итак, я здесь обосновываюсь, — сообщает он из Алексеевского Михаилу, вновь почему-то оказавшемуся в Петербурге. — Не скажу, что за мной ухаживают, но чувствую себя хорошо… Я езжу от времени до времени в Москву и там нахожу необходимое для моего животного существования. Через месяц или два приедешь ты и доставишь мне необходимое для существования нравственного, а именно твои возражения заставят меня размышлять, старания твои унизить возвысят меня и т. д. и т. д. Ты видишь, согласно этого порядка вещей, ты — больше не совсем бесполезное существо и все, вплоть до извращений твоего рассудка, использовано».

Приведенные строки из не опубликованного на русском языке письма свидетельствуют о сложности не только личных, но и идейных отношений между братьями. Эти отношения они, безусловно, выясняли в деревенском уединении. Характерная для декабристов вера в «разум» и «просвещение», в «закон» и «конституцию» как в формы благотворного изменения действительности и в движущие силы исторического развития

была свойственна и умонастроению Чаадаевых. Именно в лоне декабристской идеологии следует искать один из истоков философско-исторических размышлений Петра Яковлевича Чаадаева. «Страсть к прогрессу человеческого разума», «предчувствие нового мира», «вера в будущее счастье человечества» — важные особенности его мировосприятия в 20-х и в первой половине 30-х годов. Своеобразными залогами (а не конечной целью) будущего земного благоденства, его промежуточными этапами Чаадаев считал как раз те элементы европейской действительности, которые ценились декабристами, — высокий культурный уровень, а также наличие налаженных юридических отношений и развитого правосознания.

Он станет развивать эти мысли позднее, в конце 20-х годов. Сейчас же происходит выработка глобальных мировоззренческих основ для упорядочения идейного опыта и жизненных наблюдений, поиск ответов на различные творческие импульсы. К числу таких импульсов следует отнести и никогда не обсуждавшееся в литературе о Чаадаеве возможное влияние Михаила Чаадаева на становление стержневых философем брата. Цитируемое ниже письмо дает основание в какой-то степени предположить подобное влияние. «Было бы нелюбезно с твоей стороны, — замечает в нем отправитель, — оставить мир без системы, а еще нелюбезнее сделать это на скорую руку. Я потому не надеюсь в скором времени видеть. Более того, если настаиваешь на своем замысле — создать новый мир, боюсь никогда тебя не увидеть: я знаю твою медлительность и потребуется не 7 дней, а 7 лет. Поэтому приглашать бесполезно. Если бы упомянуть о том удовлетворении, которое ты бы доставил, ты бы назвал это эгоизмом. При всех обстоятельствах твоих лучше оставить тебя б покое и терпеливо тебя ожидать. Итак, прощай, да хранит тебя Бог. И кто более заслуживал бы таковую защиту, если ты берешь на себя его дела». Уже в конце жизни Чаадаев признавался брату, что его дружба с самых ранних лет имела «решительное участие в судьбе моей».

Приведенные слова Петра, а также его замечание, что присутствие брата поможет ему «продумать вещи до конца», дополняют запись неопубликованного дневника Михаила, где говорится о принятой им в 1822 году для себя «системе или разделении занятий, забот, пожеланий». Среди правил, относящихся к ведению сельского хозяйства, взаимосвязи с крестьянами, к средствам существования, здоровью и т. д., имеется схема умозрительных занятий под, общим названием «Жизнь»: «Философия — метафизика — мораль; человечество, люди — genre humain[8]; bien de l'humanité et des individus[9];

гражданское общество — études[10] — политические штудии; подданные; лица и sociabilité[11] — отношение к людям; études indirectes»[12]. В этой схеме подразумевается осмысление направлений: благо всего человечества и отдельных индивидов как некая высшая цель и совершенствование общественных отношений как средство к ее достижению, что делает понятным высказывание Петра о замысле брата, берущего на себя роль верховного устроителя, создать «новый мир» социальной гармонии и всеобщего благоденствия.

При создании в конце 20-х — начале 30-х годов известного цикла философических писем Петр Яковлевич Чаадаев будет осознавать себя пророком именно такого «нового мира», вобравшего в себя социально-просветительские идеи декабристов, зародившегося в необозримом прошлом, а долженствующего осуществиться в неисповедимом будущем. Пока же лишь смутно предчувствуя очертания «нового мира», отставной ротмистр начинает тяготиться ограниченностью этих идей, не имеющих метафизической глубины и замыкающихся лишь на современных общественно-политических вопросах. Его душа тоскует по высоте и объему духовной жизни и не находит более поддержки в рационалистической и деистической литературе, вполне удовлетворявшей его ранее. Чаадаев продает (здесь имели свое значение и столь привычные для него финансовые затруднения) большую часть своей библиотеки мужу двоюродной сестры Шаховскому и начинает собирать новую, преимущественно из религиозных и историко-философских сочинений. Стремясь продумывать вещи до конца, он обнаруживает в себе самом такие противоречия, перед которыми проблемы выбора флигель-адъютантских эполет или же славы Брута или Перикла становятся гораздо менее значительными.

Еще весной 1820 года Петр Яковлевич находился среди петербургской публики, ожидавшей, как в театре, исхода нашумевшей дуэли между корнетом лейб-гвардии гусарского полка Ланским и Анненковым. Ланской, красавец во цвете лет и единственный сын, был убит наповал, и его бессмысленная смерть произвела на наблюдавшего дуэль ротмистра неизгладимое впечатление. К чему все эти права человека, представительные правления, конституции и т. п., если все обессмысливающая смерть и при них настигает всякого человека? Подобные, безответные пока вопросы в теперешнем уединении Чаадаева все чаще ложились тяжелым грузом на его сознание. К тому же это сознание было отягощено чувством глубокого одиночества и непреодолимой оторванности от других людей. Полтора года назад, отвечая на толки называвших его

«демагогом» и «неблагонамеренным», он запальчиво писал брату в байроническом духе: «Дураки! они не знают, что тот, кто презирает мир, не думает о его исправлении». Сейчас же, вспоминая в спокойном уединении беседы с Н. И. Тургеневым, Якушкиным, братьями Муравьевыми и другими близко знакомыми декабристами, он вновь находил в себе это желание исправлять род человеческий. Однако не понимал, как можно, не любя людей, вернее — даже испытывая к ним противоположное чувство, пытаться устроить их судьбу.

Среди новых, глубоко и болезненно затрагивающих все духовное естество неопределенностей и вопросов в подмосковной сельской глуши ему вновь заявил о себе несколько отдалившийся петербургский мир. В конце 1821 года в Алексеевском были арестованы и проверены бумаги Михаила Яковлевича Чаадаева в связи с прошлогодним волнением в Семеновском полку. Дело заключалось в том, что среди привлеченных к суду семеновских офицеров оказался и И. Д. Щербатов, в письмах которого высказывались симпатии к возмутившимся солдатам, а также упоминались имена двоюродного брата М. Я. Чаадаева, мужа сестры Ф. П. Шаховского, друзей И. Д. Якушкина и Д. А. Облеухова. Военно-судная комиссия постановила отобрать все бумаги, начиная с 16 октября 1820 года, у первых двух и узнать о поведении и образе жизни остальных. Хотя ничего крамольного и преступного земской исправник в Алексеевском (как, впрочем, и при проверке по месту жительства других упомянутых лиц) не нашел, обыск произвел на братьев Чаадаевых и их тетку гнетущее впечатление. С Михаила и Петра была взята подписка, что, кроме отобранного, у них нет ничего, относящегося к беспорядкам в Семеновском полку. О результатах проверки бумаг им долго не сообщали. Слух о неприятностях отставного ротмистра ходил по Петербургу, и в январе 1822 года Н. И. Тургенев отметил в дневнике: «На сих днях узнал я неприятное для Чаадаева. Какой конец этому будет? К чему все это ведет?» В следующем же месяце он записывает, что можно сообщить Петру Яковлевичу в Москву утешительные новости.

Утешительные новости внесли известное успокоение в душу Петра Яковлевича, продолжавшего в чтениях и исследованиях искать выход из мучивших его сомнений. Их мучительность он как-то смягчал и скрашивал, наезжая в Москву, довольно тесным общением с П. А. Вяземским и С. И. Тургеневым и приятельскими развлечениями.

Но подобные развлечения лишь на короткое время развеивали тягостные думы, изматывавшие нравственные и физические силы, вызывавшие состояние «скуки» и

«разочарованности», обострявшие внутренний кризис. Свидетельством этого кризиса, ускорившего летом 1823 года откладывавшийся отъезд в трехгодичное путешествие по Европе, являются письма брата и друзей-декабристов. «Если ты из чужих краев сюда приедешь такой же больной и горький, как был, — замечал Михаил, — то тебя надо будет послать не в Англию, а в Сибирь… Ты как-то боишься исцелиться от моральной и физической болезни — как-то тебе совестно». А Якушкин просил путешественника: «Сделай одолжение, запасись здоровием физическим и нравственным и, если можно, не будь никогда таков, как ты был в последнее пребывание твое в Москве». М. И. Муравьев-Апостол, интересуясь Петром Яковлевичем, спрашивал у «меланхолического» Якушкина, как называл его Пушкин: «Прогнало ли ясное итальянское небо ту скуку, которою он, по-видимому, столь сильно мучился в пребывание свое в Петербурге, перед выездом за границу. Я его проводил до судна, которое должно было его увезти в Лондон. Байрон наделал много зла, введя в моду искусственную разочарованность, которою не обманешь того, кто умеет мыслить. Воображают, будто скукою показывают свою глубину, — ну, пусть это будет так для Англии, но у нас, где так много дела, даже если живешь в деревне, где всегда возможно хоть несколько облегчить участь бедного селянина, лучше пусть изведают эти попытки на опыте, а потом уже рассуждают о скуке».

12

Узнав о глубоком духовном кризисе и тяжелой ипохондрии друга перед заграничным путешествием, Пушкин просил Вяземского «оживить его прекрасную душу». Надо сказать, что во время разлуки друзья проявляли живой взаимный интерес. Так, получив недовольное письмо от «горького» Чаадаева, Пушкин записал в своем дневнике: «Друг мой, упреки твои жестоки и несправедливы: никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье, — одного тебя может любить холодная душа моя». И далее о Чаадаеве, уже в третьем лице: «Жалею, что не получил он моих писем: они его бы обрадовали. — Мне надобно его видеть». Не имея возможности видеть друга, поэт думал «стихами о Чаадаеве», вспоминал, как он «с моим Чадаевым читал», сожалел, что не мог отправиться с ним в 1823 году в Европу («любимая моя надежда была с ним путешествовать»), просил брата прислать портрет друга. Набрасывая карандашный автопортрет, он рисует рядом не только окружающих его в ту пору знакомых, но и далекого Чаадаева. Выполняя завет последнего, поэт стремится «в просвещении стать с веком наравне». Однако в послании к Чаадаеву он признается:

Ни музы, ни труды, ни радости досуга,
Ничто не заменит единственного друга.

Постоянное присутствие «единственного друга» в памяти Пушкина отразилось не только в его известных стихах, но и в работе над образом Евгения Онегина, особенно в первой главе романа.

Создавая сложный и противоречивый образ главного героя, поэт использовал опыт общения с самыми разными, порою противоположными по духовному складу и типу поведения, людьми. Поэтому сомнителен поиск определенных прототипов Онегина. Однако можно говорить об отдельных влияниях той или иной живой судьбы на Пушкина, преобразованных им затем в новую художественную реальность. Нечто чаадаевское сразу же бросается в глаза во внешнем облике Онегина, в изящном исполнении им мазурки, в его умении одеваться как «денди лондонский».

Второй Чадаев, мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,

В своей одежде был педант,
И то, что мы назвали франт.

Совершенное владение французским языком, способность непринужденного ведения беседы, «неподражательная странность», «резкий, охлажденный ум», байроническая хандра и презрение к людям, «инвалидность» в любви — все эти черты Пушкин находил и в «офицере гусарском», творчески преображая их в своей работе. И не о начале ли дружбы с ним думал поэт, когда описывал взаимоотношения Онегина и Ленского:

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились…

Или:

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду —
Все подвергалось их суду…

И еще:

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны,
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.

Не станем множить подобные примеры. Сейчас важно подчеркнуть продолжающееся и в ссылке незримое творческое воздействие Чаадаева на Пушкина, который мысленно вопрошал его:

О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?

Когда соединим слова любви и руки?

Чувствуя признательность перед «единственным другом», в одном из стихотворений 1821 года поэт завещает ему свою чернильницу:

Когда же берег ада
Навек меня возьмет,
Когда навек уснет
Перо, моя отрада,
И ты в углу пустом
Осиротев, остынешь
И навсегда покинешь
Поэта тихий дом…
Чадаев, друг мой милый
Тебя возьмет, унылый;
Последний будь привет
Любимцу прежних лет…

Со своей стороны, любимец прежних лет не переставал интересоваться делами поэта, его новыми сочинениями. Так, по признанию Пушкина Вяземскому, Чаадаев вымыл ему голову за «Кавказского пленника», найдя главного героя недостаточно пресыщенным, хотя поэт в этой поэме сознательно изображал преждевременную старость и безразличие к жизни — типичные, по его мнению, свойства русской молодежи XIX века. И именно эти черты, как и у некоторых декабристов, отчетливо вырисовываются в начале 20-х годов в духовном облике Петра Чаадаева. «Чадаев по несчастию знаток по этой части», — пишет Пушкин Вяземскому.

«Знатоком по этой части» был и Михаил Чаадаев, также испытывавший приступы ипохондрии и физические недомогания. «Болезнь моя совершенно одна с твоею, — напишет ему Петр уже из-за границы, говоря о какой-то желчной философии Михаила, — только что нет таких сильных пальпитации (сердцебиений — *Б. Т.*), как у тебя, потому что я не отравливаю себя водкою, как ты». Если Михаил для освобождения от «пальпитации» и «желчной философии» отправился в свое родовое имение Хрипуново, доставшееся ему после раздела наследства между братьями в 1822 году (согласно разделу Петр стал владеть деревней Большие Лихачи и брат обязан был выплачивать ему ежегодно семь тысяч рублей), то отставной ротмистр для обретения физического и нравственного здоровья

поехал за границу.

Заграничное путешествие внесло существенные изменения в духовную жизнь Чаадаева и повлияло на становление его философии истории. Поэтому очень важно, исходя из его собственного творчества и путевых заметок в письмах, из подчеркиваний и отметок на полях прочитанных им гидов и справочников, из сходных впечатлений других путешественников, представить себе, так сказать, духовно-этнографическое своеобразие его маршрута, непривычные для русского глаза картины чужих земель.

III глава
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ

1

Как уже говорилось, Петр Яковлевич Чаадаев несколько раз собирался в путешествие по Европе, намеревался даже поселиться в Швейцарии, но поездка всякий раз откладывалась. Наконец летом 1823 года он отправился, по выражению Вяземского, «на свежий воздух» или «в чужую — в обетованную землю», как писал сам Петр брату Михаилу. Перед отъездом он навестил Н. М. Муравьева, С. М. Трубецкого и других декабристов, которых через три года постигнет суровая кара и которых он больше никогда не увидит, договорился о встрече за границей с Н. И. Тургеневым, если тот сумеет туда выбраться.

Отставной ротмистр, видимо, долго сомневался, с какой стороны начать обозрение «обетованной земли». Наконец решился, прежде чем увидеть «весь свет», поселиться на полтора месяца недалеко от Гамбурга, в Куксгавене, чтобы принимать морские ванны. Это решение подсказал ему доктор Миллер, относивший его физические недуги, в том числе и желудочную слабость, к расстройству нервной системы.

Забота о собственном здоровье, повлиявшая на выбор первоначального пути, приобретает у Чаадаева «научный» характер. Он изучает соответствующую литературу, делится своими познаниями с находящимся в нижегородском имении братом. Петр пересылает брату какую-то записку относительно тетушки, сообщает о взятом у банкира Штиглица аккредитиве на 20 тысяч «во все города света», и о гамбургском адресе другого банкира, где его могут застать известия из России, об имени капитана и о названии корабля, отправляющегося в Германию.

Однако приехав в тот же день в морской порт Кронштадта вместе с друзьями М. И. Муравьевым-Апостолом и А. Н. Раевским, а также со слугой Иваном, которого он брал с собой, Чаадаев немедленно пожелал переменить маршрут. Его смутил вид судна, на котором предстояло плыть, загроможденного «бочками и всякой дрянью». На судне этом ему показалось «страх как дурно, тесно, нечисто и голодно». Рядом же стоял превосходный трехмачтовый парусник, необыкновенно быстро проделавший путь из Лондона в Кронштадт всего за девять дней и уже готовый идти обратно, взяв на борт триста бочек русского сала. «… Увидавши славный английской корабль, — писал брату Петр за день до отплытия, 5 июля, — не мог утерпеть и решил ехать на нем; благодаря моему кредитиву ехать мне можно куда вздумается, деньги у меня есть везде». Да к тому же на английском судне было «все хорошо и удобно». Петр сообщает

Михаилу уже новый адрес в Англии, откуда он намерен ближе к зиме переехать в Париж. Что же касается морских ванн, то ведь и в Англии есть море, заключает он свое послание.

М. И. Муравьев-Апостол расстается с Чаадаевым почти у брандвахты, заверив путешественника, что провожает его за всех старых друзей. «Спасибо ему, милому, за его дружбу, я ему крайне благодарен, — признается Петр, сочиняя письмо брату уже на борту парусника. — Нельзя не сказать, всегда старый друг лучше новых двух; из моих петербургских приятелей никто не пришел со мной проститься; они любят не меня, а иной любит мою голову, другой мой вид, третий душу, меня же бедного из них никто не любит».

Лихой парусник резво шел два дня под попутным ветром, а затем на него обрушился сильнейший шквал: борта зачерпывали воду, красивые паруса разлетались, высокие мачты с треском валились в море. И тем не менее, писал Петр, «любуюсь на море, не налюбуюсь! Так велико, так великолепно, что нельзя выразить, что чувствуешь; особенно в бурную ночь не нарадуешься! Под тобою черная пучина шумит и плещет, а на тихом небе плывет луна и светит как будто над лугами и мирными далями!»

Однако разбушевавшиеся в эту пору на Балтике штормовые ветры, которые более двух ночей носили по морю, как перышко, «славный английской корабль», побуждали и к иным мыслям. Как признавался Петр Михаилу после долгожданного пришвартовывания, на краю гибели его более всего ужасала мысль о возможном горе тетушки и брата. «Впрочем, я почитаю великою милостью Бога, что он мне дал прожить с лишком полмесяца с беспрестанною гибелью перед глазами!»

Когда после долгих испытаний в море судну удалось наконец бросить якорь не в Лондоне, как предполагалось, а близ Ярмута, в графстве Норфолькском, прошло чуть больше месяца со дня отплытия из Кронштадта. Изможденный путешественник, еще долго чувствовавший себя «как во сне», сразу же поспешил в столицу, чтобы получить паспорт, деньги и успеть до осени покупаться в курортном местечке Брайтон. Тридцать три года назад хорошо знакомый ему Н. М. Карамзин заметил, оказавшись впервые на английском берегу: «Здесь все другое: другие дома, другие улицы, другие люди, другая пища — одним словом, мне кажется, что я приехал в другую часть света».

И Петру Чаадаеву непривычно было видеть по пути в Лондон солидных фермеров, неторопливо разъезжавших верхом по полям, защищенным от сухих и холодных восточных ветров насаженными лиственницами и соснами, аккуратных крестьян, ловко справлявшихся с сельскохозяйственными механизмами,

сытые стада коров и овец, пасущихся на темно-зеленых лугах. Взор путешественника поражал основательно продуманный порядок на кирпичных фермах, покрытых светлой черепицей, которые на кратковременных остановках он имел возможность бегло осмотреть. Жилые комнаты, столовая, приемная, помещения для обработки молока и получения сыра, для хранения зерна и угля, стойла для лошадей, коров и свиней, гусятники и курятники — все эти отделенные друг от друга строения ферм отличались необычайной чистотой и удобством. По пути в Лондон удивляло Чаадаева и огромное, но не суетливое, а деловитое движение на дорогах. «Видишь такую массу народа, движущегося по стране, половина Англии в экипажах», — замечал он в письме к брату.

Сам же Лондон поначалу не произвел на него особого впечатления. «Это столица, — сообщал он на родину, — как и многие другие, грязь, лавки, несколько красивых улиц, вот и все. Что касается страны, то это дело другое…» Но и столица вскоре стала открывать ему чарующие достопримечательности, изумив его прежде всего своей «необъятностью». Будущего близкого приятеля Чаадаева А. С. Хомякова, посетившего Англию уже в 40-е годы, тоже поразят «огромные размеры» Лондона. Одинаково восхищенное чувство вызвали у них столичные парки, занимающие большие площади и тянущиеся друг за другом из центра города на расстоянии более чем в семь верст. Хомяков писал, что ничего подобного он не видел в Европе, а у Чаадаева вековые дубы, как и «великие впечатления от природы на море», вызывали размышления о вечности. Делясь с братом своим настроением от «сквозных» прогулок по лондонским паркам, Петр писал: «Страх как хорошо».

В те несколько дней, что провел он в Лондоне, успел увидеть и еще кое-что. «Был в Вестминстере, — сообщает он брату, — и взлезал на Павловский собор, как водится». Собор св. Павла, зажатый со всех сторон домами, по своим размерам и величавости стоит в одном ряду с такими знаменитыми соборами Европы, как Миланский и св. Петра в Риме.

Внутри же русский путешественник обратил внимание на трофеи и завоеванные знамена, на своеобразное соединение религии, государственности и политики.

В довершение осмотра Чаадаев поднялся по темным и узким переходам под самый крест, на высочайшую точку Лондона, с которой крыши домов, верхушки деревьев, мачты кораблей сливались в легком прозрачном тумане в необозримую панораму чужой и пока не понятной английской столицы.

Таковы были впечатления четырехдневного пребывания

Чаадаева в Лондоне, после чего, получив паспорт и деньги, он поспешил в Брайтон. Улицы Брайтона, когда-то рыбацкой деревушки, а затем модного курорта, поднимаются в гору и пересекаются красивыми скверами. Путешественник пришел в восторг от этого городка. «Приехав, — писал он брату, — я узнал, что морские купания в самом разгаре. Пребывание в Брайтоне показалось мне прелестным вначале; мое очарование было таково, что, прогуливаясь вдоль моря на другой день после приезда, я не мог удержаться, чтобы не воскликнуть несколько раз, что же я сделал такого, чтобы заслужить столько наслаждения; а наслаждение было столь сильно, что я за него упрекал себя, когда вспоминал о вас, о тетушке и о Лизе, о ваших горестях и заботах. Чтобы сделать вам понятным это глупое восхищение, пришлось бы замучить вас описаниями и картинами, этому конца бы не было: пришлось бы сказать вам, что это самый прелестный город на свете, место встречи светского общества, и т. д., и т. д.; вместо всего этого вы получите эту маленькую гравюрку…»

Поселившись в нескольких милях от Брайтона, в небольшом коттедже, расположенном в деревеньке возле гор и недалеко от моря, Чаадаев платил за помещение и за пансион для себя и своего слуги три гинеи в неделю, что составляет тридцать рублей серебром. «Сознайтесь, — полувопрошал он брата, — что это немного, — в особенности, если принять в соображение, что мой дом весь обвит плющам и виноградного лозою, что он стоит среди гор и что у меня в садике — кипарисы, лавры и розовый куст, поднимающийся до самой крыши и цветы которого раскачиваются в моем окне…» Через тридцать лет, уже к концу жизни, советуя С. М. Жихаревой посетить Англию, «эту привилегированную страну пейзажа», где пар, газ и электричество, возможно, еще не завуалировали очарование природы, Чаадаев рассказывал ей и о растительности, радовавшей его глаз на берегу Брайтона, и о хозяине коттеджа, услаждавшем его слух исполнением на флейте сонат Плегеля, и о классической часовне, которую он созерцал, выходя из дома. «Передо мной, — вспоминал он далее, — небольшой замок, служивший некогда убежищем для скандальной памяти королевы Шарлотты, вдали море, постоянно сверкающее, несмотря на вечный туман над всей страной. Все это, уверяю вас, казалось мне очень живописным, не говоря уже о мадемуазель Алис, которую я прогуливал иногда в моем тильбюри. Поезжайте посмотреть это, мой друг».

Пребывая в 1823 году в Англии, Чаадаев, возможно, припоминал другие свои «сельские» впечатления десятилетней

давности, когда он вместе со своим полком находился во время перерыва между военными действиями в одной немецкой деревне. «Стоянке в этой деревне, — замечает Жихарев, — я приписываю для Чаадаева чрезвычайную важность. Тут впервые охватило его веяние европейской жизни в одной из самых прелестных и самых обольстительных из ее форм. О деревне Lang Bilau Чаадаев до конца жизни не поминал иначе, как с восхищением, очень понятным всякому, кто знает различие между русской деревней и деревней Силезии или Венгрии».

Все радовало взор русского путешественника в уединении на берегу моря: и роскошь цветущей природы, и чистый коврик перед входом в дом, и подводящая к нему блестящая дорожка из темного гравия, и каштановая аллея рядом с ним. Однако вскоре замкнутость деревенского житья, несмотря на основательный и приятный уют, стала тяготить его, чему способствовало и ухудшение самочувствия. Хотя путешественник и оправился от нервного истощения, вызванного бурным плаванием, улучшения здоровья от морских ванн он не ощущал, «Я купаюсь почти каждый день, — пишет он брату, — и, между нами будь сказано, не замечаю от этого какой-то особой пользы себе, но наслаждение это большое… Про здоровье свое мне нечего тебе сказать, никакого изменения нет; иногда хорошо, иногда очень дурно».

При очередном приступе «очень дурного» состояния Чаадаев переехал в соседний городок Ворзинг, где нашел доктора, чьи рецепты его «воскресили», хотя, как увидим, ненадолго. Из Ворзинга он посетил Портсмут, остров Вейт и другие примечательные места. «При всех этих прогулках, — сообщает Петр Михаилу, — разумеется, тьма разных случаев и подробностей любопытных и забавных; рассказать тебе ничего не умею и лень; мое нервическое расположение (я говорю это краснея) всякую мысль превращает в ощущение, так что вместо выражения я нахожу всякий раз только смех, слезу или жест».

Разнообразие внешних впечатлений и подвижный образ жизни постепенно отвлекали от меланхолической самососредоточенности и, похоже, сказывались благотворно на физическом состоянии Чаадаева. По его собственным словам, он «возвратился в Лондон почти здоровым. Полтора месяца как в Лондоне; все видел, что мог, но не все, что желал».

За полтора месяца он действительно многое мог увидеть в английской столице и почувствовать особенную деловую атмосферу этого города.

«Разительная вещь, — замечает он в письме к брату, — беспрестранное скаканье этого народа! В некоторых улицах Лондона не надивишься! Изо всякого трактира, ежечасно по

несколько десятков карет, всех возможных видов, отправляется во все части государства и в окрестности столицы — одна другой лучше и забавнее…» «Беспрестанное скакание» наблюдается в Сити — самой старой части города — не только у трактиров, но и у многочисленных пристаней, магазинов, лавок, а также возле вексельных домов, контор маклеров, банкиров, богатых предпринимателей. Самые богатые и известные из них имеют дома в западной части Лондона, более аристократической и спокойной.

В сверкающих белизной искусной штукатурки строениях этой части города живут в основном представители высшего общества, чьи экипажи начинают свое движение по вымощенным отборным камнем мостовым ближе ко второй половине дня. Вместо лавок, контор и трактиров здесь расположены столь полюбившиеся русскому путешественнику парки и скверы, просторные площади и церкви, здания парламента и университета, судебные палаты и аристократические клубы. Среди редко встречающихся торговых мест выделяются книжные и гравюрные лавки, роскошные по внешней отделке, внутреннему убранству и качеству ассортимента магазины. За их стеклянными витринами можно видеть самые модные товары со всего света: там есть все, чем, говоря словами Пушкина, «для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный и по балтическим волнам за лес и сало возит нам».

Взору русского путешественника предстал и другой Лондон, менее «щепетильный» и элегантный, более мрачный и закопченный от угольного дыма.

В свое полуторамесячное пребывание в «прекрасной» столице просвещенный русский путешественник не только всматривался в ее многоразличное своеобразие и прогуливался в милых его сердцу парках, но и знакомился с неизвестной ему доселе в целом английской культурой, пропитанной разумно-практическим началом, которое окрашивает все сферы жизнедеятельности. Чаадаев мог наблюдать особенности этого начала на заседаниях парламента, куда стремятся попасть многие иностранцы, чтобы послушать красноречивых ораторов.

Это же начало — и в организации постоянно множащихся обществ, среди которых, например, возникают содружества с целью наивыгоднейшего использования навоза или эффективного истребления моли и клопов и отдельные из которых так же быстро исчезают, как и создаются. Но самые основательные развивают бурную деятельность и устраивают выставки новых моделей кораблей и машин, последних изобретений и усовершенствованных механизмов, научных приборов и хозяйственных инструментов, разнообразных видов тканей и

бытовых приспособлений.

Будучи в Лондоне, естественно, не мог он не пойти и в знаменитый Британский музей, где многочисленные и разнообразные экспонаты древних и новых времен способны удовлетворить вкусы самых разных посетителей, пускаемых в один заход только по пятнадцать человек. Здесь любознательные путешественники видят чучела диких животных, домашнюю утварь и идолов, манускрипты на папирусе, пергаменте и пальмовых листьях, полотна Рубенса, портреты английских королей, скульптуры, медали, минералы, ископаемые. Несомненно, привлекла внимание путешествующего русского библиофила и богатая библиотека музея, размещенная в просторных залах.

Что касается книг, то именно в Англии Чаадаев стал практически закладывать основу своей второй библиотеки, в чем ему помогали некие мистер Александер и мисс Стенфорд, отношения с которыми у него завязались вскоре после вынужденного причаливания близ Ярмута. Названия и темы книг, посылаемых ему в Лондон новыми знакомыми, и тех, что он сам приобретал, свидетельствуют о его стремлении преодолеть состояние духовной неопределенности и внутреннего кризиса, во власти которого он находился уже несколько лет и который еще в России пробудил в нем религиозные чувства. Авторы этих книг размышляли о знании, добродетели и счастье, о влиянии обычаев и особенностей жизни на душу человека, давали практические рекомендации по нравственному самосовершенствованию, излагали историю сект квакеров и методистов, рассуждали об истинной и искаженной религии, о ритуалах англиканской церкви, о преимуществах британского законодательства и т. п. Созерцание природных красот все чаще ставило перед русским путешественником вопрос об их творце, поэтому с большим интересом читал он книгу Палея «Натуральная теология, или Очевидность существования и атрибутов божества, взятых из природы».

С мистером Александером, как свидетельствует его неопубликованное письмо к Чаадаеву, последний вел оживленные беседы о религии, наиболее возвышенной и простой формой которой англичанин считал унитаризм. Название этого возникшего в XVI столетии течения в западном христианстве происходит от латинского слова unitas — единство, противополагаемое догмату троичности бога. Стремясь выводить веру из рационально-разумных оснований, унитарии отрицали таинства и учение о грехопадении и утверждали, что человек собственными силами, через изменение характера и социальной

среды, а не через сверхъестественное искупление, способен достигнуть нравственного и общественного совершенства. Унитарии преследовались католиками, и в XVII веке их центр оказался в Англии.

Обсуждая с Чаадаевым своеобразие унитаризма, сказавшегося через несколько лет в определенных интонациях «Философических писем», Александер с удовольствием отмечает, что в этих «весьма значительных предметах» они не очень отклоняются друг от друга и могут сойтись во мнениях… Он советует русскому знакомому прочесть и посылает целый ряд книг, а также обращает его внимание на строгость религиозных обычаев в Англии, что и без подсказок бросается в глаза иностранцу, особенно по воскресным дням в Лондоне. В эти дни прекращается всякая работа, закрываются общественные и развлекательные заведения и на оживленных прежде улицах устанавливается необычный и неожиданный для чужеземца покой.

Органическое и непринужденное сосуществование, а до известной степени и взаимодействие «государственного», «делового» и «религиозного» начал, столь отличных друг от друга, поражало Чаадаева.

И когда он чуть позднее станет осмыслять полученные впечатления, то запишет об англичанах такие слова: «Народ, физиономия которого всего резче выражена и учреждения всего более проникнуты духом нового времени, не имеет иной истории, кроме религиозной. Их последняя революция, которой они обязаны своею свободою и благосостоянием, как и весь ряд событий до нее, начиная с эпохи Генриха VIII, — не что иное как фазис религиозного развития. Во всю эту эпоху интерес собственно политический являлся лишь второстепенным двигателем и временами исчезал вовсе или приносился в жертву религиозной идее…»

Пристальные наблюдения Петра Чаадаева, беседы с новыми английскими знакомыми чередовались с непроизвольным созерцанием местной экзотики, к разновидности коей следует отнести знаменитый лондонский туман. «Об этом тумане, — писал он брату, — кто не видел, понятия иметь не может; в Лондоне иногда ездят с фонарями, а когда ночью случится, то народ бегает по улицам и аукается как в лесу, едва виден свет огней, и много народа гибнет…» И это несмотря на огромное количество фонарей в столице.

Но, наконец, наскучил ему и Лондон. Чаадаев пребывал в столице уже по инерции, покупал какие-то картины с ее видами, чтобы послать тетушке и брату, бесцельно бродил по оживленным

улицам. «Еще остался на несколько дней, — писал он Михаилу, — чтобы видеть празднество Лорда Мэра, и теперь все еще здесь живу сам не знаю зачем. Решительно еду через неделю… Отправлюсь в Париж и признаюсь, что не без сожаления оставляю Англию, этот уголок земли пришелся мне по вкусу; но остаться здесь невозможно, надобно поселиться, без того и дорого, и скучно…»

2

На пути в Париж в сознании Чаадаева еще мелькали картины английской столицы: правильные ряды одинаковых домов, отличающихся друг от друга лишь номерами, широкие дощатые тротуары, лица лордов, коммерсантов и ремесленников, отменно ровный зеленый газон, сплошной свет газовых фонарей ночью и шумный бег карет дневного Лондона… Картины эти смешивались с всплывавшими в памяти впечатлениями десятилетней давности, когда он вместе с армией-победительницей вступал по Елисейским полям в покоренную французскую столицу. Возможно, он вспомнил просторную площадь Согласия, где ранее обезглавили Людовика XVI, а тогда, в день пасхи, проходил торжественный молебен русских войск во главе с Александром I. Должны были храниться в его памяти и находящийся рядом красивый мост через Сену, чуть дальше возвышающийся купол Дома Инвалидов, видный со всех концов города, подобно шпилю Адмиралтейства в Петербурге, а по другую сторону площади — Тюильрийский сад, где разнообразные по краскам цветники, бассейны с лебедями, высокие террасы соседствуют с бронзовыми и мраморными статуями. Тогдашний Париж запомнился Чаадаеву шумным. Правда, на иной лад, чем теперешний Лондон. То был шум политических собраний, газетных новостей, театральных премьер, балов, концертов и других развлечений. Несмотря на тяжелое поражение, французы были веселы. Оказавшись снова во французской столице, Чаадаев надеялся найти именно такой веселый Париж. «Я в Париже первые дни бегал по городу, искал воспоминаний, — писал он в конце декабря 1823 года брату, — не могу сказать, чтобы много нашел; мне даже сначала показался Париж не так шумен, не так весел, как прежде, после я догадался, что не Париж, а я переменился…» Осматривая город во второй раз уже не как воин-освободитель, а как любознательный путешественник, Чаадаев не обретал каких-либо прежних впечатлений не только в силу внутренних перемен. Кое-что поменялось и в самом Париже. Так, на вершине величественной Вандомской колонны он не обнаружил статуи Наполеона в древнем облачении и с земным шаром в руке: новые правители снесли и уничтожили ее (пройдет некоторое время, и после очередной революции изображение «всемирного угнетателя» вновь займет свое «высокое» место, правда, не в старинном костюме, а, соответственно новому духу времени, в сюртучке и шляпе). На фронтоне Лувркой колоннады он также не нашел бюста Наполеона в окружении муз и побед, потеснившего когда-

то с пьедестала Людовика XIV. Последний теперь взял реванш и вновь красовался перед любопытными взорами иностранцев. Прославленный король занял свое прежнее место и на площади Победы, откуда снесли его ветры Великой французской революции, после которой поставили взамен изображение генерала Дезе. Вместо генерала Дезе русский путешественник с удивлением разглядывал сейчас конную статую Людовика XIV, сильно смахивавшую на памятник Петру I в Петербурге. Уже заросли совсем следы посеянных этими ветрами, а затем срубленных дерев вольности, окончательно стерлись начертанные на отдельных зданиях лозунги свободы, равенства и братства. Читая еще сохранившиеся от той эпохи названия улиц Прав человека или Общественного договора, рассматривая огромные статуи Силы Закона или Любви к Отечеству перед храмом св. Женевьевы, переименованным тогда в Пантеон, Чаадаев, возможно, задумывался над вопросами: какова природа всех этих изменений, перемещений, возвращений? Куда и зачем дуют ветры истории?

Ответы на подобные вопросы «переменившийся» Чаадаев попытается найти позднее. Пока же ему пришлось приостановить на время прогулки по Парижу. «По улицам шататься теперь не весело, — замечает он в письме к Михаилу, — грязь страшная; ожидаю весны с нетерпением. Я живу подле Тюильрийского сада и много обещаю себе радости от его зелени и тени…»

В «грязь страшную» Чаадаев не находил прелести в прогулках по любимому Тюильрийскому саду, по красивым набережным, по извилистым улицам Парижа, где кабриолеты и пешеходы теснят друг друга в смеси растаявшего снега и бытовых нечистот. Во французской столице он насчитал более ста русских, среди которых оказалось много его знакомых. Но никого из них ему не хотелось видеть, и общался он единственно со своим старым знакомым по военной службе штабс-капитаном гвардейского генерального штаба А. Х. Мейендорфом, который поселился с ним в одном доме и ожидал в это время получения отставки. Состояние глубокой меланхолии, не излеченное пребыванием, в Англии, замкнутый русский путешественник пытался преодолеть «обольщениями искусства», наполнявшими десять лет назад его жизнь «сладостными очарованиями». «Когда же одно из великих событий века, — писал он о первом посещении Лувра, картинных галерей и выставок Парижа, — привело меня в столицу, где завоевание собрало в короткое время так много чудес, со мной было то же, что с другими, и я даже с большим благоговением бросал мой фимиам на алтари кумиров…» «Алтари кумиров», античные скульптурные изображения, и на сей раз пленили

просвещенного иностранца, однако к эстетической радости примешивалось какое-то тоскливое и горькое чувство, трезвый отчет в котором он пока не мог себе дать…

Исходя из своих английских впечатлений, Чаадаев еще в Лондоне стал задумываться о возрастающей теоретической и практической роли естественных наук (знакомство с ними у него началось, как известно, на университетской скамье) в самых разных областях общественной жизни. В Париже эти наблюдения продолжали множиться. Посещая в ожидании весны Национальную библиотеку и читальные кабинеты на больших улицах города, он мог заметить в руках самых обыкновенных граждан не только популярные газеты и журналы, но и научные книги. Французы гордились своими достижениями в биологии, физике, математике, а философы-атеисты часто использовали их как в умозрительных построениях, так и в политических выкладках. Столичная политехническая школа, выпускающая отлично подготовленых инженеров, славилась на всю Европу, а французская легкая промышленность, граничащая с искусством, выпускала знаменитый севрский фарфор, версальские ружья и шпаги, седанские сукна, лионские шелка. Все эти изделия экспонируются на специальных выставках, а в Музее художеств демонстрируются модели машин и технологических новинок для их производства.

Наблюдая прогресс наук$_{г}$ принимавший в Англии и Франции несколько различное, «тяжелое» и «легкое», направление, Чаадаев приобретал в Париже книги, которые могли бы помочь глубже осмыслить его сущность. «Одних книг, — пишет он брату, — купил на 1500 франков…» Изучая библиографические справочники и каталоги, он выписывал и покупал сочинения по математике и физике, астрономии и геологии, политической экономии и законодательству. С особым интересом искал труды, трактующие научные достижения в философском плане и обосновывающие поступательное развитие человеческого разума и общества. Вместе с тем продолжал покупать чисто религиозные книги, истолковывающие Священное писание и историю церкви. Пристальное внимание Петра Яковлевича, что важно иметь в виду для осмысления истоков его собственной философии, привлекали труды, где предпринимались попытки согласовать социально-научный прогресс с христианством.

В то время как «новый» Чаадаев погружался в важные социально-философские проблемы, «прежний» постепенно проникался атмосферой «шумной и веселой» парижской жизни. Он пристрастился к театральным зрелищам, которые среди предоставляемых столицей приятностей и развлечений занимают

особое место. Специальные газеты и афиши (возле них всегда толпится народ) объявляют о премьерах, дебютах, бенефисах во множестве больших и малых театров Парижа. Оперы, балеты, трагедии, комедии, водевили — спектакли любого жанра охотно посещаются заполняющими до отказа партер, ложи, раек парижанами и составляют неотъемлемую часть их существования.

Чаадаев отдавал предпочтение академическому французскому театру, где игрались преимущественно классические трагедии и драмы. «Погода продолжает быть холодной и плохой, — сообщает он брату уже весной 1824 года, — я еле могу выбрать в течение дня минуту для обязательной моей прогулки, чтобы утешиться; высказываю предположение, что лето будет тем прекраснее и длиннее. По счастью, дурная погода не мешает спектаклям идти своим чередом. Чаще всего я хожу во французский театр, не потому, чтоб он был наиболее занимательным, но в нем… Покончив с обедом, я поддаюсь влечению туда отправиться, сажусь всегда на то же место в оркестре и заканчиваю свой день наиприятнейшим образом…»

Пропущенные строчки письма, прорезанные в оригинале, не позволяют судить о том, что, помимо репертуара, влекло отставного ротмистра в чаще всего посещавшийся им театр. Возможно, у него завязались какие-то отношения в актерской среде. Во всяком случае, об актере Дюпар и актрисе Теодор, гастрольные выступления которых он вместе с братом смотрел еще в Петербурге, Петр напоминал Михаилу — «оба они на лучших здешних театрах и очень любимы публикой, особенно М. Теодор».

В плохую и холодную погоду своеобразным зрелищем оказалось для Чаадаева и изучение работы французского парламента, где, водрузившись на кафедру с изображением греческих и римских ораторов и сражаясь за власть, легитимисты, бонапартисты, республиканцы проповедуют, обещают, обольщают и ругают, дискредитируют представителей других партий. «Вчера, — пишет он брату, — видел я в первый раз человека, также нам ненезнакомого, Максима Ивановича Дамаса, в виде министра, в палате депутатов; он взлетел на кафедру и страх как заврался; мне хотелось ему закричать: ужо тебе Криднер!» Увезенный родителями в Россию во время Великой французской революции, барон Дамас служил вместе с Чаадаевым в Семеновском полку, находясь в натянутых отношениях с полковым командиром Криднером. Вернувшись с союзной армией на родину, он сделал быструю карьеру и незадолго до прибытия в Париж своего бывшего однополчанина занял пост военного

министра.

Однако немало времени Чаадаеву приходилось проводить в одиночестве своей наемной квартиры на улице Дофина, чтобы из-за желудочных недомоганий соблюдать правильный режим и диету. Лекарства не помогали, и мучительные запоры иной раз доходили до того, что он «без ежедневного слабительного не мог обойтиться». Подобные затруднения заставляли его углубляться в изучение своего здоровья и усиливали меланхолический настрой. «Нервическое воображение, — признается Петр Михаилу, — часто обманывает меня в моих собственных чувствах, и я проникаюсь смешной жалостью к моему собственному состоянию». Эта жалость вынуждала Чаадаева обращаться к парижским светилам, и его обследовал знаменитый френолог Галл, автор солидного научного труда «Анатомия и физиология нервной системы вообще и мозга в частности», находивший зависимость между строением черепа и способностями человека. Чаадаев познакомился с ним, вероятно, у русского посла во Франции Поццо дю Борго, который не менее Петра Яковлевича отличался изысканностью в одежде и у которого знаменитый френолог был домашним врачом. Находившийся в Париже вместе со своим товарищем Бергом и уже не раз упоминавшийся мемуарист Д. Н. Свербеев, служивший в эту пору чиновником русского посольства в Швейцарии, замечал позднее, что у Поццо дю Борго Галл ощупал его череп, но ничего не сказал о результате своих наблюдений. Голова же Берга дала ему повод к следующему заключению: «Этот сумеет везде выкрутиться». Когда же Галл изучил строение черепа и сложение тола Чаадаева, которому Свербеев и Берг обещали помочь при устройстве и осмотре Швейцарии, то заявил, что тот проживет «целую вечность», и принялся лечить его от ипохондрии.

Но не только болезненное состояние вынуждало русского путешественника под конец его пребывания во Франции все чаще оставаться дома. «Премилый друг, — пишет он брату в июне 1824 года. — …Я жил долго без денег и перебивался не без труда, Но до тюрьмы дело не доходило. Не имея здесь ни одной приятельской души, не мог занять и прожил сам не знаю как; продавал старое платье, книги и разную дрянь. По счастью, погода стояла предурная все лето, следственно, сидеть дома не тяжело было, а в Швейцарию ехать было незачем… Тетушке не сказывай, что старые штаны продавал, она примет это за бурю». Еще в Англии Чаадаев, привыкший на комфорт и лечение, книги и вещи тратить деньги без счету, с удивлением заметил, как неумолимо тают взятые им «кредитивы», и в поездках по Великобритании перестал даже брать с собой слугу Ивана

Яковлевича, ибо тот «ему дорого стоит». Во Франции, успокаивает он брата, с которым связан денежными обязательствами, «житье предешевое», однако тут же просит прислать ему в счет будущих доходов 10000 рублей. «Не дивись, мой друг, что издержался я более, нежели как располагал, и не осуждай меня; в расчете нашем мы не включили моего здоровья…» Петр также просит брата уплатить ряд сделанных им перед отъездом из России долгов, в том числе и из его собственных, Михаила, денег.

А что же Михаил? От него долго нет ни писем, ни денег, да и тетушка почему-то не дает знать о себе, что повергает Петра в еще большую тоску. «Нечего говорить вам про мою печаль, — укоряет он их, — разумеется, вы знаете, каково жить в чужой земле без всякого известия о своих родных. Может быть, вы так же ко мне пишете, пишете, а ответа не получаете и так же горюете, как и я. Что меня касается, то мое горе так велико, что я буквально не нахожу слов его выразить. Мысли самые черные приходят мне в голову…»

Наконец и тетушка, и брат откликаются на жалобы и просьбы Петра. Анна Михайловна бранит себя за непростительное молчание, как всегда, интересуется здоровьем любимого племянника, просит его как можно скорее возвращаться на родину и не ездить в Италию, где развелось много карбонариев и пышет огнем Везувий. Среди расспросов о здоровье Михаил также деликатно напоминает ему о близящемся истечении условленного срока путешествия, чем сильно раздражает Петра, мечтающего о поездке в Италию «как о празднике» и просящего отсрочить приезд в Россию на шесть месяцев. «Вы все толкуете об обещании, которое я дал, вернуться через год, — отвечает последний на эти напоминания, — что же это по-вашему — великодушно? Вы, который так любите проповедовать против эгоизма, как вы назовете то, что вы делаете в данном случае? Ибо вам не уверить меня, что вы серьезно опасаетесь для меня карбонариев и Везувия; я полагаю, что вы не думаете, чтобы я бросился в кратер вулкана в момент извержения или похоронил себя под пеплом, как Плиний, чтобы лучше рассмотреть этот феномен. Что же касается карбонариев, то разве я представляю из себя какую-то силу? Я не хочу воевать с вами, мой добрый друг, но согласитесь, что было бы из-за чего. Впрочем, всякий любит людей на свой лад. Моя тетушка, например, любит их видеть, я ищу взаимной любви, а вам они нужны, чтобы ворчать на них и делиться с ними вашим достоянием. Будем же делать то, что каждый из нас умеет делать, но постараемся, однако, быть благоразумными».

Иронически представив заботу своих домашних и несколько,

высокомерно определив их разные способности к любви и обязанности по отношению к нему, Чаадаев одновременно искренне признается в своем «легкомыслии» и «безумных тратах», которые обременяют брата множеством хлопот и причину которых он не умеет дельно объяснить. Он только просит Михаила быть снисходительнее, добавляя, опять-таки с неким уколом: «Это нам будет обоим выгодно, вам потому, что терпимость есть добродетель, в которой весьма приятно упражняться; мне потому, что я нуждаюсь в оной». Когда же он все-таки пытается ответить вразумительно на вопросы Михаила о баснословном «таянии» денег, объяснения его получаются нелепыми и эмоциональными. Главным виновником Петр считает слугу, для обеспечения которого приходится тратить сверх меры. «Увидевши, что мне с ним нельзя прожить чем рассчитывал, решился покупать разные вещи, книги, картинки, белье и проч… Что доходы мои поубавятся по возвращении моем, это сущая правда, но рассуди, что это путешествие последняя моя *шалость*, что после этого мне нечего более будет, как быть умным, как ты, и поселиться в деревне. Эту последнюю *шалость* позволь мне доделать как можно повеселее и поудобнее».

11 тысяч, посланные Михаилом для брата, застряли где-то между Нижним Новгородом и Парижем. Зная об этом переводе, Петр вместе с тем просит его припасти еще 10 тысяч, заняв их или взяв из рекрутской суммы у лихачевских крестьян. Чаадаев ни разу не видел деревни Большие Лихачи в Арзамасском уезде Нижегородской губернии, где 456 душ мужского пола и почти столько же женского не знали своего помещика и жили под началом управляющего, и не интересовался состоянием дел в ней. Когда еще в Лондоне он получил сообщение Михаила о каких-то недовольствах и просьбах его крепостных, то просил брата взять на себя заботу о безотказном удовлетворении всех нуждающихся. «Впрочем, — добавлял он равнодушно, — делай, мой друг, что тебе угодно, на все имеешь мое согласие». В другом письмо он писал Михаилу о деревенских делах как о пустяках, замечая: «Одно скажу: с имением делай, что хочешь, об моей пользе не думай, а об крестьянской».

Однако чем тяжелее становилось финансовое положенно отставного ротмистра, тем больше он думал о своей пользе и меньше — о крестьянской. Когда же возникает необходимость и больших суммах, он подумывает о возможности заложить имение вместе с крепостными душами и просит Михаила выяснить требуемые формальности. Пока же просит: «Если крестьяне лихачевские не выплатили оброков и денег нет, то не бойся меня этим испугать, но вышли сколько есть, чтобы было мне с чем

домой приехать. Я страх как недоволен собою за то, что тебя безжалостно обременяю своими хлопотами, и божусь, не простил бы себе этого, если бы не надеялся, возвратившись в Россию, повинным своим поведением загладить вину». Тем временем Чаадаев отдает распоряжение продать в армию рекрутов, за что выручает 9 тысяч рублей, которые и просит брата выслать. «Не говори мне, что это пакость, грабительство! — оправдывается он перед последним. — Разумеется, пакость, но надеюсь вымолить у крестьян себе прощение и настоящим загладить прошедшее. Бог прощает грешных, неужто ты меня с крестьянами не простишь? Я бы мог тебе в оправдание представить разные непредвиденные случаи, именно непредвиденные; но зачем? Ты скажешь, не ходить было на галеру?»

Не ходить «на галеру» Чаадаев, однако, не мог. В одну из верховых прогулок нанятая им лошадь неловко споткнулась, безболезненно перебросив всадника через голову, и сломала себе ногу. Хозяин лошади потребовал возмещения ущерба, и русский путешественник отправился в полицейский участок, а затем к стряпчему, где ему присудили уплатить «непредвиденную» тысячу франков. Хозяин лошади неожиданно помирился было на шестистах франках, затем вдруг стал требовать шестьсот пятьдесят, ввел отставного ротмистра в тяжбу и вынудил заплатить его в конце концов восемьсот франков, когда и без того приходилось продавать «старые штаны». Но выручил князь Гагарин, нечаянно встреченный на парижской улице и предложивший ему тысячу рублей.

А тут и застрявшие одиннадцать тысяч подоспели, Чаадаев ожил и заговорил о более длительной, нежели шесть месяцев, отсрочке. «Галл меня избавил от ипохондрии, но не вылечил, — пишет он брату, — без Карлсбада дело не обойдется, след, прежде будущего лета к вам не буду. Когда заложишь имение, припаси мне 10 или 15 тысяч, которые пришлешь по первому слову, не так, как эти деньги. Дело прошлое, а оно мне стоило дурной крови; благодаря твоему письму, ясному солнцу и нервической моей натуре, все забыто. — *Доходы все обращай в уплату долгов*».

Заканчивая очередное послание к Михаилу, Петр подчеркивает лейтмотивы, свойственные и другим его письмам: «Все деньги да деньги, снисходительность и любовь!» Полномерным проявлениям снисходительности и любви Михаила, чью доброту единодушно отмечали многие современники, мешали тщеславный характер и мотовство брата, высокомерная ирония и обидный тон в иных его строчках. Но тяжелое одиночество, болезненное состояние и искренние слова отчаяния Петра, несомненно, трогали его душу. Путешествующий

брат писал ему, что извлек из своего странствия, помимо прочих, еще один урок: «Уверился, что сколько по белу свету ни шатайся, а домой надобно. Чувствую, что и двух лет не в силах буду прожить без вас. Но вот беда! Хочу домой, а дому нет…» Чтобы избавить Петра, уже думающего о возвращении в Россию, но не представляющего своего дальнейшего существования, от тоски по домашнему очагу, Михаил предлагает ему переехать вместе с теткой в Хрипуново. Это предложение нравится брату: «Дай-то Бог, чтоб вы без меня оба расположились в Хрипунове; тогда, как придет время ехать назад, скажу, не запнувшись, пошел в Хрипуново». Правда, Петру хотелось бы зиму проводить в Москве, но это просто сделать. Ему трудно вообразить, чем может занять свой ум их тетушка в столь отдаленном деревенском уединении. Однако и здесь есть выход — «передать в ее руки полностью все хозяйство».

Пока составлялись планы на будущее, здоровье Чаадаева в очередной раз ухудшилось. Лекарства не шли впрок, сухоядение и строгий режим усилили запоры. В довершение всего сильно простудился и захворал слуга Иван Яковлевич. Наконец, лечение сывороткой с фиалковым сиропом (это средство он рекомендует и брату) вроде бы помогло, вылечился от недомогания и слуга. Теперь можно отправиться в Швейцарию, для чего Петр специально приобретает коляску. Доктор, объясняет он Михаилу причину новой покупки, рекомендовал ему ехать «как можно прохладнее», то есть спокойно ночевать каждые сутки; в противном случае придется опять прибегнуть к «вредным убийственным слабительным». Давая брату адрес господина Берга, чиновника русского посольства в Берне, Петр снова настоятельно просит его: «Сделай милость, не задержи меня деньгами в Швейцарии… выезжаю отсюда с небольшими деньгами, но надеюсь, что пришлешь подмогу вовремя».

3

По приезде во Францию Чаадаев намеревался посетить Швейцарию в конце весны, но финансовые и иные обстоятельства задержали его отъезд почти до середины августа. Еще за сутки до швейцарской границы он мог увидеть из окон своей коляски один из самых высоких альпийских хребтов, словно сгибающихся под тяжестью снегов. На более близком расстояний заметно, как ледяная белизна внезапно обрывается чернотою гранитных пород, а чуть ниже возвышаются на холмах кудрявые кустарники, открываются зеленые пропасти горных долин. В этой картине в сжатом виде отражается своеобразие и богатство природы Швейцарии, где в тесных границах соединились, казалось бы, несовместимые красоты.

Благовонная зелень, обрамляющая прозрачные водоемы, приятно напоминала Чаадаеву путешествие по Англии. Более же всего его поражала не исчезающая из поля зрения грандиозная панорама гор, иной раз причудливо отражающаяся вместе с деревьями в озерной глади. Монументальная красота гор напоминала ему готические храмы и, подобно царственному величию английского дуба или неукротимому гневу бездонного моря, остро запечатлевалась в его сознании, подспудно формируя в нем «природные» доказательства бытия божия, что и отразится в последующих размышлениях. Удивляло его и сочетание дикого великолепия природы и обильных пажитей, гигантских елей и плодовых деревьев.

Душистые волны от свежего сена и ароматных трав, чистейший горный воздух, мерный шум каскадов, звон погремушек пасущихся стад — все, казалось бы, должно было вносить умиротворение в душу меланхолического путешественника, успокаивать неврастенические приступы, развеивать упрямую ипохондрию.

Но на деле все вышло иначе. В Берне, при русской дипломатической миссии, Чаадаев нашел своего дальнего родственника, князя Ф. А. Щербатова. Старшая сестра последнего вышла замуж за чиновника русского посольства Д. Н. Свербеева (он познакомился с Чаадаевым в Москве перед самым началом Отечественной войны, встречался с ним, как уже говорилось, в Париже, а в Швейцарии продолжил с ним формальные отношения). В то время, вспоминал Свербеев много позже в «Записках», Чаадаев еще «не имел за собою никакого литературного авторитета, но бог знает почему и тогда уже, после своей семеновской катастрофы, налагал своим присутствием

каждому какое-то к себе уважение. Все перед ним как будто преклонялись и как бы сговаривались извинять в нем странности его обращения. Люди попроще ему удивлялись и старались даже подражать его неуловимым особенностям. Мне долго было непонятно, чем он мог надувать всех без исключения, и я решил, что влияние его на окружающих происходило от красивой его фигуры, поневоле внушавшей уважение».

Характерное для многих современников сведение сложности чаадаевской натуры к «красивой фигуре» сменится у Свербеева, при более тесном общении с ним в московских салонах 30-х и 40-х годов, более объективными оценками. А пока что чиновник посольства знакомил нового русского путешественника с иностранцами, которых сразу же раздражили странности Чаадаева. Среди этих странностей мемуарист отмечает заданность позы, загадочность молчания, отказ от предлагаемых угощений. За десертом молчаливый собеседник требовал себе бутылку лучшего шампанского, выпивал из нее одну или две рюмки и торжественно удалялся. «Мы, конечно, совестились пользоваться начатой бутылкой».

Непонятной причудой казалась для окружающих в Берне и манера Чаадаева возить с собой повсюду камердинера Ивана Яковлевича. По впечатлению Свербеева, слуга был настоящим двойником своего барина, «одевался еще изысканнее, хотя всегда изящно, как и сам Петр Яковлевич, все им надеваемое стоило дороже. Петр Яковлевич, показывая свои часы, купленные в Женеве, приказывал Ивану Яковлевичу принести свои, и действительно выходило, что часы Ивана были вдвое лучше часов Петра…». Рассчитанное на внешний эффект стремление Чаадаева повсюду демонстрировать своего двойника недешево обходилось ему, и он был не совсем неправ, когда представлял брату своего слугу как причину сверхмерной траты денег за границей, не раскрывая, однако, содержания этой причины.

Переходя от иностранцев в круг соотечественников, он давал волю гнетущему его недовольству и разражался суровыми филиппиками. Русские в Берне по вечерам собирались обычно «на чай» у Свербеева, где мрачный и элегантный путешественник своими дерзкими речами наводил ужас на начальника миссии Криднера. Чаадаев, рассказывал хозяин об этих встречах, «обзывал Аракчеева злодеем, высших властей, военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве. Однажды, возмущенный такими преувеличениями, я напомнил ему славу нашей Отечественной войны и победы над Наполеоном и просил пощады русскому

дворянству и нашему войску во имя его собственного в этих подвигах участия. «Что вы мне рассказываете! Все это зависело от случая, а наши герои тогда, как и гораздо прежде, прославлялись и награждались по прихоти, по протекции». Говоря это, Чаадаев вышел из себя и раздражился донельзя. Таким иногда выказывался он до самой смерти, и изредка случалось и ему выходить из пределов приличия… Можете себе представить, что при подобных взрывах негодования, выраженных умным и просвещенным Чаадаевым, говорилось другими моими посетителями и до чего доходили паши крики и ссоры».

Самовозгорание в обвинениях, нарочитый характер и взволнованный тон которых проистекали из глубин уязвленного и неудовлетворенного честолюбия, Чаадаев охлаждал прогулками по гладко вымощенным и ярко освещенным ночью, прямым и широким улицам Берна, где лишь изредка слышен шум кареты среди одинаковых трехэтажных домов из белого камня н где под красивыми аркадами пешеход может найти укрытие от ненастной погоды. Серые туманные утра, сизые тучи, дождевые вьюги, прибивающие к земле поблекшую растительность, возвращали его к тоскливому настроению, к печальным думам, к книгам, которые он не переставал покупать. Монетный двор, арсенал, публичные хлебные амбары, ботанические сады, музеи естественной истории — все эти достопримечательности уже давно им осмотрены. И знакомство с республиканскими порядками кантона совершилось. Оставалась необследованной богатая библиотека, где, кроме большого собрания разного рода сочинений и рукописей, хранилась коллекция окаменелостей и имелся орнитологический кабинет.

Пребывая в Берне, Чаадаев несколько раз съездил в Женеву — родину Руссо. Здесь, возможно, он посидел на берегу знаменитого Женевского озера, которое живший неподалеку, в Фернее, Вольтер называл «моим озером», и полюбовался «королем гор», снежным Монбланом. Поднимался и по горным кручам, где почувствовал мучительно притягательное желание броситься в манящее жерло пропасти. Позднее, встретив в книге Лапласа «Философский опыт о вероятностях» упоминание о сходном желании, он отметил на полях: «Я испытал это в Женеве». Таково хронологически первое свидетельство о смутно бродивших в его сознании мыслях о самоубийстве.

В Берне Петра ожидали две тысячи рублей, присланные Михаилом из собственных сбережений, и два его послания. Разорен, болен, замучен, писал тот, выведенный из терпения постоянно поторапливающими его просьбами брата о деньгах. Прошло чуть более года с тех пор, как Михаил начал в Хрипунове

активную хозяйственную деятельность, не получая, однако, ни морального удовлетворения, ни материальных результатов. «Брат твой, — напишет Петру через несколько месяцев Якушкин, — может, эти годы не получает доходов, но это общая участь почти всех российских помещиков. Все так дешево, как я думаю никогда в России (по сравнению времен) не бывало, нигде почти мужики оброков не выплачивают…» Жалобы же на обнищание Якушкин относит к свойственным Михаилу «нравственным расстройствам», ибо трудно его с Петром, имеющих «долгу тысяч сто, а имения почти на миллион», назвать разоренными людьми. Тем не менее хрипуновский помещик вынужден в это время хлопотать о сборе справок и свидетельств для сдачи части своего владения под залог.

Петр и сам догадывается, что на брата напала «тоска», «старая меланхолия», которую тот завел обычай «лечить» водкою. «Когда узнаю, — вопрошает он Михаила перед отъездом из Швейцарии, — что твоя болезнь! что твоя тоска! Если бы эта тоска с тобою случилась весною, то я бы надеялся, что лето, зелень и солнце тебя развеселят; но теперь дело идет к зиме, какой тебя черт развеселит? Покой у тебя, наверно, скверный, темный, смрадный — пройтиться негде…»

Путешественник не строит более планов о совместном жительстве в Хрипунове, оправдывается в неверно понятых братом словах о незамедлительном исполнении денежных просьб, винится в легкомыслии и «гнусном эгоизме». «Не знаю, куда деться с моею виновною головою. Я люблю тебя, разумеется, не за твою щедрость, а за любовь, которой знаки у меня так живы в памяти, что никогда без слезы про них вспомнить не могу; я геройства никогда за собою никакого не знал и много у тебя перебрал за свою жизнь денег…» В прерванном месте извинительные интонации меняются на иные: «…и в этом себе не пеняю, но теперь совсем другое дело — я тебя обобрал, обокрал и, что хуже всего, навел на тебя тоску. Сто тысяч мои целы, каким же манером ты разорен? Откуда взялись все эти беды — не понимаю. Если все вдруг так изгадилось, то как не написать, приезжай назад непременно, вот почему и вот почему». И тут же вновь мольбы о прощении: «Я знаю, что не стою твоего уважения, след. и дружбы, — я себя разглядел и вижу, что никуда не гожусь; но неужто и жалости я не стою?» Сложное чувство вины перед братом и желание доделать «последнюю шалость» в долгожданной Италии владело Чаадаевым, когда в начале декабря 1824 года он отправился (по соображениям здоровья опять в коляске, а не в дилижансе) из Женевы в Милан. Еще весной этого года, говоря о необходимости продления

намеченного срока пребывания за границей, он писал Михаилу из Парижа: «Если Италия не представляет ничего соблазнительного для вашего воображения, то это потому, что вы Гурон, но меня-то, который в этом неповинен, за что вы меня хотите лишить удовольствия ее видеть? А затем, неужели вы желаете, чтобы, находясь в Швейцарии, у самых врат Италии, и видя с высоты Альп ее прекрасное небо, я удержался от того, чтобы спуститься в эту землю, которую мы с детства привыкли считать страной очарования? Подумайте, ведь кроме немедленных наслаждений, которые дает такое путешествие, это еще целый запас воспоминаний, которые вам остаются на всю жизнь, и даже ваша желчная философия согласится, я думаю, что хорошо запасаться воспоминаниями, а в особенности тому, кто так редко доволен настоящим…»

4

Однако в Милан Чаадаев ехал с намерением через Венецию и Вену вернуться в Россию, а не осматривать «страну очарования». Прибыв же туда, заколебался, стал прикидывать расстояния и сроки, подумал, что за два месяца сможет объехать всю Италию, и решился, как вскоре сообщил в письме к Якушкину, на «последнее дурное дело; точно дурное, непозволительное дело! Дома ни одной души нет веселой, а я разгуливаю и веселюсь; но, скажи, как, бывши за две недели езды до Рима, не побывать в нем?»

Конечно же, путешественнику очень хотелось взглянуть на вечный город, но и на родину в это время его стало тянуть сильнее. Надо сказать, что наблюдения, затруднения и перживания Чаадаева за границей производили в его душе подспудные изменения, в результате которых незаметно приоткрывались створки в скорлупе обид и претензий и постепенно вырабатывалось новое духовное зрение. В свете этого зрения он начинал понимать, что и обиды, и претензии обусловлены неутоленным суетным самолюбием, постоянно требующим все новой и новой пищи. Без нее-то и наступает уныние, ведущее к пропасти, в которую хочется броситься вниз. Потому и нужны хотя бы «странности» (за неимением более значительного материала), чтобы как-то существовать с ищущеноющим в душе «я». «Я себя разглядел и вижу, что никуда не гожусь» — эти приводившиеся выше горькие слова, проскользнувшие между иронической оговоркой и искренним раскаянием, были немыслимы прежде в гордых устах Чаадаева. «Разглядывая» в себе и вокруг себя, он видит, что необходима принципиально иная шкала ценностей, ничем не разрушаемая точка опоры, помогающая преодолевать нигилистические последствия глубинного эгоизма, связывать личность подлинной любовью с другими людьми, уводить ее с безысходных путей обособленного самоутверждения.

Под влиянием таких внутренних перемен он стал чаще вспоминать оставшихся на родине родных и знакомых. О некоторых из них он спрашивал в посланиях к Михаилу, носивших в целом характер почти «деловой» переписки и выяснения отношений. И вдруг ему неожиданно захотелось узнать «лирические» штрихи из жизни «брата Якушкина» и других приятелей. «И так вот в чем состоит моя нижайшая до тебя просьба, — пишет он в начале 1825 года из Милана своему «учителю», принявшему его в «Союз благоденствия». — Чтобы ты благоволил ко мне написать собственноручное письмо, в котором

бы известил меня, что ты действительно жив и здоров, что жена твоя равномерно жива и здорова, и каким именно манером, то есть потолстела ли или похудела, и так же ли она сильфидообразна, как прежде. Что твой ребенок, и об нем разные подробности; что Надежда Николаевна (Шереметева, теща Якушкина. — *Б. Т.*), и об ней разные подробности. Сверх того прошу тебя покорнейше потрудиться рассказать мне, как вы живете, все ли вместе или порознь, в Покровском ли или где? Приходите ли по-прежнему на лагерь в Москву и проч. Что Фонвизины? Что Иван Александрович (Фонвизин. — *Б. Т.*), все ли также горит на добро? Об святом отце Дмитрии Тверском (Облоухове. — *Б. Т.*) прошу тебя также порассказать мне, что знаешь. Еще прошу тебя сказать мне, что ведаешь о брате… про к. Ивана (И. Д. Щербатова. — *Б. Т.*), про Пушкина, про Граббе. Жива ли, мой милый, твоя матушка. Из наших общих знакомых не погиб ли кто в Петербурге».

Читая в миланских газетах новости из разных стран мира, Петр Яковлевич наткнулся в «Санкт-Петербургских ведомостях» на чрезвычайно опечалившее его известие о петербургском наводнении в ноябре 1824 года. Он узнал, что в результате продолжительного морского ветра вода Невы вышла из берегов, затопив площади и улицы. И хотя среди плавающих обломков деревьев, домов и всякой утвари специальные катера спасали людей, число жертв исчислялось тысячами.

Чаадаева наводнение навело на неоднозначные и взволнованные размышления о «безумной философии», честолюбии и главных обязанностях человека. «Я здесь узнал про ужасное бедствие, постигшее Петербург, — сокрушается он в письме к брату из Милана, — волосы у меня стали дыбом. Руссо писал к Вольтеру по случаю Лиссабонского землетрясения — люди всему сами виноваты, зачем они живут и теснятся в городах и в высоких мазанках! Безумная философия! Конечно, не сам бог, честолюбие и корыстолюбие людей воздвигли Петербург, но какое дело до этого! Разве тот, кто сотворил мир, не может, когда захочет, и весь его превратить в прах! Конечно, мы не должны себя сами губить, но первое наше правило должно быть не беды избегать, а не заслуживать ее. Я плакал как ребенок, читая газеты… Это горе так велико, что я было за ним позабыл свое собственное, то есть твое; но что наше горе перед этим!»

Интересуясь, не погиб ли кто из общих приятелей, Петр просит Михаила сообщить (или попросить это сделать Якушкина) о Н. И. Тургеневе, А. Н. Оленине, М. И. Муравьеве-Апостоле и «особенно об Пушкине, который, говорят, в Петербурге», Слухи о Пушкине оказались неверными, поскольку он пребывал в ту пору

в Михайловском. В душе поэта тогда также происходило свое особое движение, о чем, в частности, можно судить и по его реакции на петербургское наводнение: он просит брата Льва помогать потерпевшим из вырученных от продажи «онегинских» глав денег «без шума»…

В тревожном ожидании известий с родины Петр Яковлевич «нехотя» посетил знаменитый Миланский собор, посмотрел остатки фресок Леонардо да Винчи в трапезной монастыря Санта-Мария делла Грацие, заглянул и в прославленный театр Ла Скала. Там ему показались непривычными богато украшенные ложи, покупаемые их владельцами навечно, перепродаваемые или передаваемые по наследству. Они напоминают своеобразные гостиные, где принимают гостей.

Рассчитывая в два месяца объехать Италию, русский путешественник вскоре поспешил во Флоренцию. По первому впечатлению Флоренция представляется иностранцу какой-то крепостью. Действительно, бойницы, решетки с железными крюками, мощная масса и поднятость первого этажа придают дворцам города скорее вид оборонительных сооружений, нежели жилищ, и издали иные из них ничем не отличаются от здания тюрьмы. Такая архитектура перестает удивлять иностранца, когда он вспоминает о кровавых раздорах, терзавших флорентийскую республику. О них напоминают ему и украшенная драгоценными камнями мраморная капелла при церкви Сан-Лоренцо, где находятся гробницы семьи Медичи и статуи ее представителей, изваянные Микеланджело.

Скорее всего в галерее Медичи познакомился Петр Яковлевич с человеком, кратковременное общение с которым существенно воздействовало на развитие его умонастроения. Речь идет об английском миссионере, представителе секты методистов Чарльзе Куке, который через Флоренцию ехал из Иерусалима во Францию, Отделившись в XVIII веке от англиканской церкви, методисты (название их течения происходит от организованного в то время в Оксфордском университете кружка студентов, методически соблюдавших христианские заповеди) боролись за сохранение в английском народе религиозного чувства, начинавшего слабеть под воздействием рационализма и деизма зарождавшейся просвещенческой идеологии. С другой стороны, они сами отчасти испытали это воздействие и, смягчая учение о предопределении и всеобщей греховности, воспринимали веру как действенное средство духовного преобразования человека, способного успешно использовать свою свободу для преодоления изначального несовершенства и спасения. Свойственная методизму оптимистическая надежда на собственные силы

людей, сближавшая его с унитаризмом, своеобразно проломится и в философии Чаадаева, которого Кук должен был привлечь том, что, едва останавливаясь у картин с религиозным сюжетом, проходя мимо знаменитых автопортретов, подолгу задерживался именно у христианских древностей. «В нем, — вспоминал Чаадаев позднее свою встречу с английским методистом, так непохожим на другого англичанина, научившего его в отрочестве пить грог, — поражала чудная смесь живости, горячего усердия к высокому предмету всех его печалей — к религии — и равнодушия, холодного небрежения ко всему прочему. В галереях Италии великие образцы искусства не волновали души его, между тем как маленькие саркофаги первых веков христианства неизъяснимо его привлекали. Он рассматривал их, разбирал с исступлением; видел в них что-то святое, трогательное, глубоко поучительное и погружался охотно в возбужденные ими размышления».

Выйдя из галереи, они все время говорили о религии, о ее связи с социальными вопросами. Кук видел причины благоденствия Англии в распространенном там духе веры, а его собеседник с горечью выразил свое мнение «о недостатке веры в народе русском, особенно в высших классах». Тогда английский методист написал рекомендательную записку к своему приятелю Томасу Марриоту, чтобы тот помог русскому гостю ознакомиться получше с обстоятельствами «нашего нравственного благосостояния» для возможного использования этого опыта у себя на родине.

Удивительно, что единственный разговор при неожиданной встрече, о содержании которого, кроме вышеизложенного, ничего не известно, запомнился Чаадаеву на всю жизнь.

Из Флоренции в Рим Петр Яковлевич ехал не только под впечатлением взволновавшей его встречи, но и в предвкушении свидания с Н. И. Тургеневым. Во Флоренции он узнал, что его старый петербургский друг находился здесь два месяца назад проездом в Рим и Неаполь, путешествуя по Италии после лечения на карлсбадских и мариенбадских водах. Тотчас же он пишет ему в Неаполь и спрашивает, где им можно будет повидаться: «Так как я шатаюсь по свету без всякой цели, то могу приехать куда прикажете… На возвратном пути не заедете ли еще раз в Рим? Всего бы лучше нам там свидеться — могли бы поболе побыть вместе…» Чаадаев не покидал Флоренции, пока не получил радостного письма Тургенева, повсюду за границей расспрашивавшего о нем, но так и не узнавшего ничего обстоятельного. Теперь, надеялся Тургенев, они смогут встретиться в Риме, куда он намерен приехать к страстной

неделе.

Пять дней утомительного для Чаадаева пути истекали, когда на горизонте показался большой купол собора св. Петра. Однако оставалось еще несколько часов езды до вечного города, вызывавшего возвышенные чувства у самых разных людей.

Вот признания некоторых из современников Чаадаева. Француз Шатобриан: «У кого нет больше связи с жизнью, тот должен переселиться в Рим. Там он найдет собеседником землю, которая будет питать его мысли и наполнит снова его сердце. Там он узнает прогулки, которые всегда чего-нибудь скажут ему. Самый камень, на который там ступит его нога, заговорит с ним, и даже в пыли, которую ветер поднимает за ним, будут заключены какие-то человеческие свершения».

Англичанин Байрон: «О, Рим! Мое отечество, город души, к тебе должны идти обделенные сердцем».

Немец Гёте: «Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным».

А вот стихи русского поэта Баратынского:

Рвется душа нетерпеньем объята
К гордым остаткам падшего Рима.
Снятся мне долы, леса благовонны,
Снятся упадших чертогов колонны!

Русский писатель Гоголь замечал в 1837 году в послании к П. А. Плетневу: «Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы ее представить себе. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, все тонущее в сиянии! Все прекрасно под этим небом; что ни развалины, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело искусства — все, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-то уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к Божеству».

В приведенных высказываниях нетрудно уловить один общий мотив: восторженные слова «очарования» непосредственно вырываются из души на, так сказать, отрицательном духовно-эмоциональном фоне «отсоединенности», «обойденности», «несчастия», «нетерпения», «измены». Рим обладал для многих людей, и для Чаадаева тоже (он ехал сюда, как помним, чтобы запастись воспоминаниями и освободиться от недовольства настоящим), какими-то врачующими и восполняющими свойствами. В Риме именно сгущенная «весомость» эстетических

впечатлений заполняет пустоту, образовавшуюся в душе одинокой и разочарованной личности, позволяет ей надеяться на возможность совершенствования человека на земле, как бы подключает ее к течению мировой жизни. Эта многообразная пластика вечного города, воплотившая разные исторические эпохи и «сразу» представляющая их, окажет сильное воздействие на Чаадаева. Въезжая в Рим по Народной площади, он мог заметить на ней украшенные статуями и фонтанами амфитеатры, симметрически выстроенные здания, общественный сад. Из ее центра, где высится египетский обелиск с непонятными иероглифами, открывается вид на длинную и прямую улицу Корсо, самую большую и многолюдную в городе, напоминающую стеклянными витринами магазинов, узкими троутарами и кафе улицы большинства европейских столиц.

Иностранцы, располагающие соответствующими средствами, обычно селятся рядом с Корсо, на площади Испании, где имеются фешенебельные отели, наемные экипажи, дорогие кондитерские, магазины картин, лавки древностей и книг и другие заманивающие заведения. Возможно, и Петр Яковлевич, не слишком богатый, но просвещенный путешественник, к тому же любящий комфорт и больной, нашел себе кратковременное пристанище для обозрения Рима именно здесь, на площади Испании. При первоначальном осмотре итальянской столицы перед глазами мелькают портик языческого храма, узкие церковные окна, почерневший от времени обелиск, светящиеся на солнце купола, замшелый мраморный бассейн, темная и в полдень улочка с развешанным бельем и кучами мусора, обрубок колонны, обвитый виноградной лозой, полустершийся барельеф, вечнозеленое растение, цветущий пустырь, новейшая постройка. Но вскоре хаос первых впечатлений начинает для Чаадаева выстраиваться в определенный порядок. Да, в вечном городе переплелись и выпукло отпечатались многочисленные фрагменты истории двух миров — языческого и католического.

Первая мысль путешественника — отправиться смотреть остатки языческого Рима, в создание которого вкладывали свои усилия консулы и императоры, — триумфальные арки, храмы, дворцы, старинные дороги, бани, акведуки, гробницы.

По дороге, называвшейся в античном Риме «священной» (по ней проходили победные шествия), можно пройти к Капитолийскому холму и подняться на него по лестнице. Отсюда открывается величественная панорама античного и католического Рима, неизменно венчающаяся куполом собора св. Петра.

Правда, античный Рим в большинстве случаев представлен одними руинами, но путешественники том не менее с

благоговением приближаются к развалинам храмов Фортуны, Свободы, Согласия, Ромула и Рема, Антонина и Фаустины, Венеры, Весты, Бахуса, Геркулеса, Эскулапа, к остаткам дворцов и цирков, театров и бань, могил и мавзолеев.

Глядя на эти руины, Чаадаев не мог по задавать себе вопросов, нашедших впоследствии отражение в его творчестве. «Блестящие цивилизации, древностью равные миру, взлелеянные всеми силами земли, приобщенные ко всякой славе, ко всем величиям и всем земным владычествам, связанные, наконец, с обширнейшей властью, когда-либо тяготовшей над миром, со всемирной империей, — каким образом могли вы обратиться в прах? — риторически вопрошал он в «Философических письмах». — К чему же вела вся эта вековая работа, все эти гордые усилия разумной природы, если новые народы, явившиеся Бог весть откуда и не принимавшие в них никакого участия, должны были со временем разрушить все это, ниспровергнуть великолепное здание и провести плуг по его развалинам? Так для того созидал человек, чтобы увидеть когда-нибудь все творение рук своих обращенным в прах? Для того он накопил так много, чтобы все потерять в одни день? Для того поднялся так высоко, чтобы еще ниже упасть?»

Ответы на подобные вопросы Чаадаеву подсказывали сами же руины, в недрах которых, по его словам, был поставлен «фундамент нового здания» и среди которых его особенно поразили развалили мощного овального строения — Колизея. Он возвышается на том месте, где ранее находились сады и пруды Нерона. Существует мнение, что само название сооружения происходит от слова «колоссальный» и связано с огромной водруженной перед Колизеем статуей Нерона, изображенного в виде… Аполлона. Внутри гигантской чаши, вмещавшей более ста тысяч зрителей, размещалась арена для боев гладиаторов и диких животных. Когда закончилось строительство Колизея, эти бои длились сто дней, и в них, по преданию, погибло около двух тысяч человек, пять тысяч тигров, львов и других хищников. Проходя по широким галереям и коридорам, где некогда прогуливались праздные толпы в ожидании кровавых развлечений, русский путешественник еще мог различить ведущие в верхние портики и к скамьям амфитеатра лестницы, почетные места для императора, сенаторов и весталок, откуда в уютной безопасности доступно наблюдение за подробностями боя и выражением лиц умиравших гладиаторов. Время и история не пощадили и этого памятника жестокого величия: густая растительность, обвивая разрушающиеся арки и своды, разрушает его голые камни.

Однако Колизей, где зрители наслаждались не только гибелью гладиаторов и животных, но и казнью гонимых за веру христиан, в XVIII веке превратился в своеобразный католический храм: при папе Бенедикте XIV в его центре водрузили высокий деревянный крест, а вокруг нижнего ряда амфитеатра поставили часовенки с изображением эпизодов из «страстей господних». По пятницам среди древних развалин совершалось богослужение, которое наверняка наблюдал и Чаадаев. «Когда проповедник бросается на камни с криком: «Смилуйся над нами, сжалься над нами!», — описывает одно из таких богослужений под открытым небом госпожа де Сталь, — весь народ тоже падает на колени и громко повторяет эти слова, замирающие под древними аркадами Колизея».

Глубокое впечатление, произведенное на Чаадаева наглядным пересечением в одной «точке» двух разных по духу эпох, вело его мысль к историческим обобщениям. «В том самом Риме, — замечал он, — о котором столько говорят, где все бывали и который все-таки очень мало понимают, есть удивительный памятник, о котором можно сказать, что это — событие древности, длящееся доныне, факт другой эпохи, остановившийся среди течения времен: это Колизей. По моему мнению, в истории нет ни одного факта, который внушал бы столько глубоких идей, как зрелище этой руины, который отчетливо обрисовал бы характер двух эпох в жизни человечества и лучше бы доказывал ту великую историческую аксиому, что до появления христианства в обществе никогда не было ни истинного прогресса, ни настоящей устойчивости. В самом деле, эта арена, куда римский народ стекался толпами, чтобы упиться кровью, где весь языческий мир так верно отражался в ужасной забаве, где вся жизнь этой эпохи раскрывалась в самых упоительных своих наслаждениях, в самом ярком своем блеске, — не стоит ли она перед нами, чтобы рассказать нам, к чему пришел мир в тот момент, когда все силы человеческой природы уже были употреблены на постройку социального здания, когда уже со всех сторон все предвещало его падение и готов был начаться новый век варварства? И там же впервые зародилась кровь, которая должна была оросить фундамент нового здания. Не стоит ли поэтому один этот памятник целой книги»?

Вчитываясь в необычную для него как для библиофила «архитектурную книгу» мировой истории, явленную Колизеем («внушительный свидетель двух величайших слав человечества: владычества Рима и рождения христианства»), Чаадаев приходил к выводу, что гнусные страсти, порча нравов, кровавый деспотизм и т. п. являлись лишь производными причинами падения Римской

империи, вместе с которой умирало все старое общество: «Не Рим погиб тогда, но вся цивилизация. Египет времен фараонов, Греция эпохи Перикла, второй Египет Лагидов и вся Греция Александра, простиравшаяся дальше Инда, наконец, самый иудаизм, с тех пор как он эллинизировался, — все они смешались в римской массе и слились в одно общество, которое представляло собою все предшествовавшие поколения и которое заключало в себе все нравственные и умственные силы, развившиеся до тех пор в человеческой природе. Таким образом, не одна империя пала тогда, но все человеческое общество уничтожилось…» Размышляя впоследствии над вопросом, почему погиб блестящий римский мир, сосредоточивший в себе всю образованность, какая существовала тогда в пространстве от столбов Геркулеса до берегов Ганга, Чаадаев видел основную причину печального конца в исчерпанности жизненного принципа, поддерживавшего дотоле общество. Когда развитие идей человекобожия и «чисто человеческого прогресса», обусловленное идеализацией материально-телесных сторон бытия, дошло до предела, в них обнаружилось отсутствие цементирующих элементов прочности и долговечности.

Но в той же самой «книге», на развалинах старого мира, Петр Яковлевич, как известно, увидел «фундамент нового здания», нерушимая прочность и долговечность которого, по его убеждению, заключалось в том, что он заложен сверхъестественной силой, провидением, богом. «Материалы древнего мира, конечно, пошли в дело при созидании нового общества», но «ни план здания, ни цемент, скрепивший эти разнородные материалы, не были делом рук человеческих: все сделала идея истины… вот та ось, вокруг которой вращается вся историческая сфера и чем вполне объясняется весь факт воспитания человеческого рода… Только христианское общество поистине одушевлено духовными интересами, и именно этим обусловлена способность новых народов к совершенствованию, именно здесь вся тайна их культуры». И невозможно, оптимистически заключает Чаадаев, вообразить себе полную гибель просвещения и цивилизации, построенных на «бесконечном» основании.

Подобные чувства и убеждения укреплялись у него и при обозрении собора св. Петра — самого величественного храма западного христианского мира. По высоте этот храм сравним только с египетскими пирамидами. Такое сравнение невольно напрашивается при виде огромного обелиска в центре окруженной колоннами площади св. Петра, вывезенного из Египта для украшения бань Калигулы и позднее перенесенного к

собору.

На месте здания и примыкающего к нему большого высокого дворца (Ватикана) ранее существовали сады и цирк Нерона, где кровожадный император в одежде возницы смешивался с толпой и наблюдал, как распинали, сжигали и отдавали на съедение псам христианских мучеников. Останки мучеников погребались христианами рядом с цирком, в пещере, где похоронили и распятого св. Петра. Именно здесь в IV веке выстроили базилику, над обветшавшим зданием которой одиннадцать столетий спустя стали возводить прославленный собор, который поражает впечатлением величавой заземленности и одновременно устремленности грандиозной архитектурной массы к небу. Это двойственное впечатление оставляет и огромный широкий купол, на вершине которого кажется совсем маленьким крест. Ежегодно, в день св. Петра, купол освещается несколькими тысячами фонарей и факелов, излучая в ночной темноте завораживающие потоки света.

Впечатление смешанности античных и христианских элементов в общем виде собора не пропадает и внутри храма, украшенного античным мрамором и позолоченной отделкой.

Чаадаев не раз побывал здесь; вечерами бродил вокруг, подолгу стоял на площади перед собором. Об одном из таких вечерних впечатлений он писал: «Великий храм христианского мира, когда в час сумерек вы блуждаете под его огромными сводами и глубокие тени уже наполнили весь корабль, а стекла купола еще горят последними лучами заходящего солнца, более удивляет вас, чем чарует, своими нечеловеческими размерами, но эти размеры показывают вам, что человеческому созданию было дано однажды для прославления Бога возвыситься до величия самой природы».

Сравнение, пользуясь его собственными выражениями, «зари нового общества» и «издыхающего чудовища многобожия» наглядно подсказывалось русскому путешественнику и базиликой св. Иоанна Латеранского, возвышающейся рядом с руинами сооружений Цезаря. Это одна из самых древних к самых значительных католических церквей, где до XIV века находилась резиденция пап и где на вселенских соборах обсуждались волновавшие христианский мир вопросы веры и вершились судьбы европейских стран. Близ базилики видна лестница, состоящая из 28 беломраморных ступеней. По преданию считается, что она привезена из дворца Пилата в Иерусалиме и что по ней поднимался и спускался Иисус Христос. Теперь можно часто видеть, как богомольцы поднимаются по ней только на коленях, достигая часовни, хранящей большое изображение

Спасителя. Посреди Латеранской площади, как и на площади св. Петра, стоит высокий обелиск, поставленный в XV веке до н. э. одним из египетских фараонов перед храмом бога Аммона в Фивах. Некогда символизировавшие могущество фараонов, затем привезенные в вечный город для прославления императоров, разрушенные варварами и вновь восстановленные папами, обелиски нередко встречаются в Риме. Их теперешнее соседство с католическими церквами наводит Чаадаева на размышления, на мировоззренческое сравнение египетской, готической и античной архитектуры.

Материалы старого мира в «фундаменте нового здания» русский путешественник мог обнаружить и в церкви при картезианском монастыре, расположившейся на месте большого зала терм Диоклетиана. Папа Пий IV задумал придать этому залу совсем иное назначение, а работу поручил Микеланджело. Вестибюль круглой формы, служивший одной из комнат бань, стал входом в церковь. Церковь же св. Агнессы «вытеснила» цирк Александра Севера.

Постепенно создается у путешественника ощущение не только вертикальной «вытянутости» католической церкви к небу, но и ее горизонтальной «выдвинутости» в государственную и социальную жизнь.

На страстную неделю в Рим съезжаются множество иностранцев, среди которых на сей раз оказался и Н. И. Тургенев, намеревавшийся прибыть сюда именно к этому времени. Встреча двух приятелей была радостной и теплой, хотя исхудалый и печальный вид Петра Яковлевича поначалу поразил Тургенева: «В первые дни мне грустно было смотреть на него». В прогулках и осмотрах вечного города они не разлучались друг с другом. «С ним провожу целый день, — писал Тургенев в начале апреля 1825 года к брату Сергею. — В продолжение страстной недели мы вместе, ежедневно ездили в Ватикан; смотрели на духовные церемонии и три раза слушали славное Miserere!..»[13] Одно из этих слушании проходило, по всей вероятности, в Сикстинской капелле, где алтарная стена и плафон расписаны фресками Микеланджело, изображающими сцены Страшного суда и сотворения мира. В страстную пятницу здесь служит сам папа. Не всем удается уловить момент приезда папы и разглядеть его: толпа желающих получить благословение римского первосвященника поистине огромна, а Сикстинская капелла хотя и напоминает размерами церковь, но является все-таки часовней.

Однако надежда неудачливых паломников питается близящимся пасхальным торжеством в соборе св. Петра. Находясь в день пасхи на площади св. Петра среди многотысячной толпы,

падающей одновременно на колени, Чаадаев мог различить на балконе собора белую сутану папы, испрашивающего у неба благословения urbi et orbi[14].

Но римские первосвященники оказывались на виду не только в Ватикане, но и в самых неожиданных местах города, который после праздничного торжества он продолжал осматривать вместе с Тургеневым. Связь порою незначительного памятника или бытового украшения с именем того или иного папы еще раз убеждала Чаадаева в нерасторжимом единстве католической религии и западной культуры.

Этими мыслями он делился во время прогулок с Тургеневым, а последний рассказывал ему о своем разочаровании в декабристском движении, об обстоятельствах отъезда из России. Собравшись в Карлсбад на воды лечить желудок, Тургенев долго не мог получить согласия царя на выезд. Наконец, как писал он позднее в книге «Россия и русские», его вызвал Аракчеев, объявил разрешение Александра I и «с чувством добавил: «Государь поручил мне передать вам от него совет, не как императора, а как христианина: быть осторожнее за границей. Вас окружат там люди, которые только и мечтают о революции и которые будут стараться вовлечь вас в нее». Рассказывая об этом, Тургенев (на квартире которого перед отъездом собирались руководители Северного общества, бывал и глава Южного общества), наверное, развеселил своего печального друга. Однако в дальнейшем изложении событий не было ничего веселого. Лидеры двух обществ не сходились в принципиальных вопросах и решились отложить их соединение на два года. В беседе с Пестелем Тургенев высказал «убеждение в недействительности тайных обществ», представляющих собой, по его мнению, лишь группу заговорщиков, вокруг которых толпятся сочувствующие. В таком пессимистическом настроении он уезжал в апреле 1824 года из Петербурга в Карлсбад лечить желудок, не подозревая, что оставляет родину навсегда.

Путешествовал Тургенев в Италии после лечения, не давшего сразу заметных результатов, без особой охоты. Картины, фрески, статуи, руины, церкви, монастыри не давали пищи его душе и навевали скуку, усиливавшуюся известиями из России, которые, по его словам, наводили «тяжелую грусть» и поражали «неистовством глупости». И вот через год пребывания за границей неожиданная встреча с Чаадаевым, теперешние рассуждения которого казались ему весьма необычными и более основательными по сравнению с прежними, либеральными. «Часто мне казалось странным, — замечает он в письме к брату Сергею, — что случай привел меня в Рим вместе с Чаадаевым. Я

его всегда любил и уважал, но теперь более чем когда-либо умею ценить его. В продолжение всего путешествия голова его весьма хорошо образовалась. Размышления и болезнь (и он терпит от желудка) сделали, однако же, его несколько мрачным…» Можно предположить, что Чаадаев поразил своего слушателя «хорошей» образованностью и «новыми» размышлениями, наводящими на раздумья о мировом значении католичества и исторически ограниченной, подчиненной роли либерального движения.

«Первым моим чувством, оставив Рим, было раскаяние, — признавался ему Тургенев вскоре после отъезда из ночного города. — Я сожалел, что расстался с Вами, почтенный друг; что не прибавил к незабвенным дням, с Вами проведенным, еще нескольких. Они прошли. Но все благое хорошо но только в настоящем, но и в будущем. Рим, единственный Рим, сделался для меня еще дороже с тех пор, как я посмотрел на него вместе с Вами. От души благодарю Вас за эту встречу. Я согласился бы еще долго таскаться по свету, если бы от времени до времени можно было иметь такое утешительное отдохновение. Пожалуйста, не думайте, что я говорю вздор. Право, я Вас очень, очень люблю и уважаю. Чем более кто любит человечество вообще, тот тем менее необходимо должен любить людей в отдельности, ибо люди в отдельности редко являются нам в достоинстве человека. Но зато, если уже из сих людей полюбишь кого-нибудь, то это сильно и навсегда!»

Когда-то Тургенев призывал Чаадаева распространять вокруг «сокровища гражданственности», а теперь под его воздействием стал обнаруживать смысл и в иных «сокровищах». Продолжая путешествие по Италии, он уже с продуманным вниманием и прочувствованным интересом осматривал и церкви, и картинные галереи, вызывавшие сейчас у него не тоску, а «огромное наслаждение». Отдельные произведения искусства Н. И. Тургеневу «нравятся до досады», и он советует еще оставшемуся в Риме приятелю побывать в посещенных им музеях и храмах, а также рассказывает ему о своих приятных впечатлениях от чтения религиозно-политической речи одного из французских общественных деятелей, которая «дышит любовью ко всему высокому, нравственному».

Притягательная сила вечного города продолжала держать Чаадаева в своем плену, и он бродил по его улицам, напоминающим иной раз своеобразные музеи: не только в художественных мастерских, но и в витринах магазинов, на дверях лавок и т. д. встречаются акварельные рисунки, гравюры, мозаика с изображением прославленных архитектурных сооружений. И нередко можно увидеть, как даже простолюдины

со знанием дела толкуют о них. «Рим — чрезвычайная вещь — ни на что непохожая, превосходящая всякое ожидание и всякое воображение», — писал он брату, живя в Италии уже шестой месяц вместо намеченных двух. Но не только «чрезвычайность вещи», а и вечные финансовые затруднения мешали ему сдвинуться с места. Едва прибыв в Рим, Петр просил Михаила присылать деньги «сюда, обыкновенным манером… отсюда не выеду, пока не получу». Однако брат молчал, и пришлось занять большую сумму у Тургенева, а также, возможно, у члена декабристского общества Митькова, оказавшегося вместе с ними. И вот ветер, называемый сирокко, воздействие которого на свой организм Чаадаев ощущал как убийственное, заставил его все-таки отправиться дальше.

Главная цель его теперешнего путешествия — Карлсбад, куда он намеревался попасть через Флоренцию, Венецию и Верону. Тургенев настоятельно рекомендовал ему побывать на этом модном курорте, где надеялся вновь встретиться с другом. Да и сам Чаадаев ждал от лечения, говоря его собственными словами, «чудес по самым законным причинам». Оправдываясь перед братом, что не поехал из Рима сразу домой, он восклицал: «Но не должно ли мне было испытать Карлсбада!» Во Флоренции он задержался на две недели и лишь затем продолжил свой путь в Венецию, резкое своеобразие которой должно было остановить на себе его внимание.

И все же он торопится в Карлсбад. В свое время он специально задержался в Лондоне, чтобы посмотреть праздник Лорда Мэра. А сейчас без сожаления покидает город в день не менее интересного торжества, когда венецианский Дож «пирует свою свадьбу с морем». Рим, «единственный Рим», вытеснил все мыслимые и немыслимые итальянские впечатления.

5

В Карлсбад он приехал в начале июня, а в августе сообщил брату: «Здесь живу десятую неделю с добрым приятием своим Тургеневым. Лечусь изо всей мочи; страх как хочется приехать к вам здоровым. Об Карлсбаде имею тебе сказать множество чудесных вещей, главное то, что тебе непременно здесь должно побывать когда-нибудь…» Как и два года назад Брайтон, Карлсбад, где некогда принимал ванны сам Петр I, пришелся по вкусу русскому путешественнику аристократической размеренностью и легкостью времяпрепровождения. Здесь он невольно отдыхал от груза запасенных воспоминаний, постоянно взывавших к серьезным размышлениям. Прогулки вдоль скал к храму Доротеи, спектакли, концерты, пикники с музыкой и танцами, балы по подписке и открытые балы с иллюминацией, обеды в Саксонском зале — подобные развлечения для нескольких тысяч иностранцев, ежегодно посещающих Карлсбад, предполагают приятное и незамысловатое общение, врачующее ипохондрию.

На водах оказалось много русских, а среди них — и братья Николай, Александр и Сергей Тургеневы, в беседах с которыми он делился выводами от своих римских впечатлений. Видимо, здесь завязались и его отношения с Ф. И. Тютчевым, позднее продолжившиеся. В Карлсбаде Чаадаев встретился также с цесаревичем Константином Павловичем, бывшим, как известно, его давним знакомцем и по военной службе, и по масонской ложе, не подозревая, что через год снова столкнется с великим князем в совсем иных обстоятельствах.

Константин Павлович, по словам Дениса Давыдова, не любил умственных занятий и воспитывался лишь «для парадов и разводов». «Цесаревич, никогда не принадлежавший к числу бесстрашных героев, в чем я не один раз имел случай лично убедиться, — замечал знаменитый партизан, — страстно любил, подобно братьям своим, военную службу; но для лиц, не одаренных возвышенным взглядом, любовью к просвещению, истинным пониманием дела, военное ремесло заключается лишь в несносно-педантическом, убивающем всякую умственную деятельность парадировании». Потому великому князю и отставному ротмистру нелегко было найти общую тему для разговора, разве что вспомнить Отечественную войну, собрания «вольных каменщиков» или семеновскую историю. Но и такого рода воспоминания вряд ли казались для обоих приятными, и беседы, на которые великий князь иногда приглашал Чаадаева и

братьев Тургеневых, заходили большей частью о политике, о современном положении в России и Европе. Об одной из бесед, спонтанно возникшей на прогулке, упоминает А. И. Тургенев в своем неизданном дневнике: «Вчера подошел к нам троим цесаревич. Мы хотели встать, но он троекратно удерживал нас и начал разговор, который кончился через два часа с половиной. Мы почти во все время сидели; а он стоял и от одного предмета переходил к другому. Начали с газет, и в течение разговора дело доходило и до Фотия, до почтеннейших Петра и Николая Евграфовичей Свечиных, Ушакова, Бориса Соснякова, Нарышкиной (М. Алекс), до законов уголовных, семейной истории и убийства Батурина, потом опять к водам и о Польше и ее духовенстве; словом, о многом и о многих. Он любезен и иногда остроумен. Сегодня из окна остановил меня и напомнил вчерашнее и спрашивал о слышанной мною проповеди».

Однако не столько религиозные, сколько иные проповеди интересовали Константина Павловича, человека достаточно простого в обращении и весьма наблюдательного. Еще летом и осенью прошлого года он из Польши, где командовал войсками, совершил поездку по разным городам Германии вместе с супругой княгиней Лович, нуждавшейся в лечении водами Эмса, и с помощью незаметных расспросов и непринужденных бесед зондировал политическую обстановку в этой стране. «Таким образом, — писал он в донесении Александру I, — не подавая вида, что я занимаюсь каким бы то ни было делом, не имеющим отношения к моему званию, или вмешиваюсь в него, я оказался в состоянии сделать ряд наблюдений…» Вывод из полученных сведений гласил: «Студенты Галле, Йены, Геттингена и Лейпцига согласились между собой подчиняться некоторым правилам, предписывающим им при всех обстоятельствах, которые можно предвидеть, однообразное поведение и язык. Я не мог узнать, из какого штаба исходят эти приказания и где он находится; несомненно тем не менее, что он существует».

Теперь же, опять путешествуя по Германии, Константин Павлович выискивал нити, ведущие к «штабу». Заготавливая после возвращения в Варшаву новое донесение царю, он писал об «успехах демагогии» в Швейцарии: «За исключением кантонов Бернского и Невшательского, всюду проповедуются самые опасные доктрины, и кантоны сделались убежищем и пристанищем недовольных и революционеров всех стран. Отсюда, как из общего центра, они поддерживают сношения с Испанией, Францией и Германией».

Учитывая своеобразие интереса великого князя, его разговоры с Чаадаевым и братьями Тургеневыми приобретают

особый оттенок. Конечно же, до цесаревича доходили слухи об их «демагогии». Знал он, по всей вероятности, и о гневных речах Петра Яковлевича в русской миссии в Берне, и о и о причинах перемены отношения Александра I к нему перед отставкой. Так или иначе за последующими передвижениями всех четверых Константин Павлович устанавливает тайную слежку.

А тем временем в поле зрения Чаадаева попадает другой человек, в котором он, кажется, почувствовал родственную душу. В начале августа, в разгар курортного сезона, в Карлсбад прибыл Шеллинг. С философией немецкого мыслителя Петр Чаадаев начал знакомиться, как известно, еще на студенческой скамье. К середине 20-х годов благодаря преподавательской деятельности М. Г. Шилова, Л. И. Галича, Д. М. Веланского Шеллинг стал властителем дум части мыслящей русской молодежи, составившей Общество любомудрия, в которое входили В. Ф. Одоевский, Д. В. Воневитинов, И. В. Киреевский, А. И. Кошелев, С. П. Шевырев. В натурфилософии немецкого мыслителя любомудров увлекало преодоление механистического понимания природы, представляемой им как творческий продукт бессознательной духовной силы, как живая часть «мировой души». Говоря об осмыслении естествознания ранним Шеллингом, Энгельс писал: «Он широко раскрыл двери философствования, и в кельях абстрактной мысли повеяло свежим дыханием природы; теплый весенний луч упал на семя категорий и пробудил в них все дремлющие силы».

С таким же чувством штудировали философию природы Шеллинга и его молодые русские поклонники, видевшие родственные своим духовным устремлениям начала и в его трансцендентальной философии, где он противопоставлял рассудочно-логическое мышление как низшую форму познания интеллектуальному созерцанию как высшей, венчающей свое развитие в искусстве.

Изучая природу и дух, Шеллинг приходил к обобщениям об их единстве и тождестве в абсолютном разуме. Сами любомудры видели в этом тождестве важнейшее подспорье для преодоления захватившего русское общество влияния узкорационалистического «практицизма» французских просветителей и энциклопедистов, для выработки в новых условиях высшего воззрения на человека и окружающий его мир. «Если бы не узнала Россия Шеллинга и Гегеля, то как уничтожилось бы господство Вольтера и энциклопедистов над русскою образованностью?» — скажет позднее И. В. Киреевский. А В. Ф. Одоевский, объясняя название истинных философов любомудрами, заметит: «До сих пор философа не могут себе

представить иначе, как в образе французского говоруна XVIII века, — много ли таких, которые могли бы измерить, сколь велико расстояние между истинною, небесною философией и философией Вольтеров и Гельвециев».

Если в период тесного общения с декабристами «небесная философия» находилась где-то на периферии сознания Чаадаева, то теперь, напротив, выступала на передний план. Да и в сознании самого Шеллинга происходило развитие, родственное чаадаевскому и малоизвестное любомудрам. Около десяти лет назад он погрузился в религиозные искания и обнаружил, что его стремление объять всю вселенную умственным созерцанием не захватывает бога. И тогда его мысль стала двигаться от «философии тождества» к «философии мифологии и откровения», или «положительной философии», призванной соединить веру и знание, познать самораскрытие бога через «мировые эпохи» исторического процесса. Но совершившийся поворот от миропознания к богопознанию не находил еще печатного выражения. 1 августа 1825 года Шеллинг писал своему французскому почитателю и интерпретатору Кузену: «Надеюсь выслать Вам первый том лекций по мифологии, второй и третий последуют незамедлительно».

Видимо, об этих томах и связанных с их содержанием проблемах заходила речь у немецкого мыслителя и русского путешественника в августе этого года. «Не знаю, — писал ему Чаадаев семь лет спустя, — помните ли вы молодого человека, русского по национальности, которого вы видели в Карлсбаде в 1825 году. Он имел преимущество часто беседовать с вами о философских предметах, и вы сделали ему честь сказать, что с удовольствием делитесь с ним вашими мыслями. Вы сказали ему, между прочим, что по некоторым пунктам изменили свои воззрения, и посоветовали подождать выхода нового произведения, которым вы тогда были заняты, чтобы познакомиться с вашей философией. Это произведение не появилось, и этим молодым человеком был я…» Судя по приведенным строкам, Шеллинг не вдавался в подробности при разъяснении новых воззрений и по привычке отослал интересующегося собеседника к своим работам.

Чаадаев вместо с отдыхавшими в Карлсбаде А. И. Тургеневым и Ф. И. Тютчевым оказался в числе тех первых представителей русской культуры, с которых началось и через которых осуществлялось более тесное общение немецкого философа с ценителями его творчества из России. В конце 20-х — начале 30-х годов в Мюнхене, а позднее в Берлине Шеллинга посетят братья Киреевские, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, Н. А. Рожалин, В. П.

Титов, Н. А. Мельгунов, В. Ф. Одоевский, Д. С Хомяков. Среди особо заинтересовавших его почитателей он назовет и Чаадаева, считая его одним из наиболее прекрасных людей, когда-либо встреченных им в жизни. И хотя после карлсбадских встреч они более не виделись, Петр Яковлевич произвел на философа сильное впечатление сходным умонастроением и размышлениями, заземляющими отвлеченную «небесность», наполняющими «мировые эпохи» более конкретным историческим содержанием.

Чаадаев должен был говорить Шеллингу примерно то же, о чем не раз беседовал с братьями Тургеневыми и о чем напоминал одному из них (Александру) через восемь лет: «Как! Вы живете в Риме и не понимаете его, после того как мы столько говорили о нем! Поймите же раз навсегда, что это не обычный город, скопление камней и люда, а безмерная идея, громадный факт. Его надо рассматривать не с Капитолийской башни, не из фонаря св. Петра, а с той духовной высоты, на которую так легко подняться, попирая стопами его священную почву. Тогда Рим совершенно преобразится перед вами. Вы увидите тогда, как длинные тени его памятников ложатся на весь земной шар дивными поучениями, вы услышите, как из его безмолвной громады звучит мощный глас, вещающий неизреченные тайны. Вы поймете тогда, что Рим — это связь между древним и новым миром, так как безусловно необходимо, чтобы на земле существовала такая точка, куда каждый человек мог бы иногда обращаться с целью конкретно, физиологически соприкоснуться со всеми воспоминаниями человеческого рода, с чем-нибудь ощутительным, осязательным, в чем видно воплощена вся идея веков, — и что эта точка — именно Рим. Тогда эта пророческая руина поведает вам все судьбы мира, и это будет для вас целая философия истории, целое мировоззрение, больше того — живое откровение». Рассуждения такого рода могли заинтересовать Шеллинга, хотя в общем направлении его философии они носили частный характер. Чаадаев же, как увидим, сделает из них общие выводы.

Пока же врачи не рекомендуют ему ни рассуждать, ни делать выводы. «Здесь доктора запрещают думать об чем бы то ни было, — сообщает Петр Михаилу, — всякая дума, говорят, беда, того и смотри желчь, а тогда все лечение хоть брось… В голову ничего не лезет, и доктора не велят, чтоб лезло что-нибудь в тебя, а чтоб все вылезало…» Петр старается лечиться изо всей мочи, чтобы возвратиться домой в добром здравии и хорошем настроении, пьет воду до десяти и более кружек в день и совершает беспрерывные прогулки. Иногда ему кажется, что воды

действуют на него хорошо, и он надеется на благотворные последствия. Но нередко случается и иное: «То запор, то понос, то насилу таскаешь ноги, то бегаешь как бешеный с тоски; сверх того случаются разные пароксизмы, припадки, от которых приводишь в совершенное расслабление».

Тем не менее в начале сентября он сообщает брату, что совершенно доволен лечением, которое, по его словам, оказалось очень удачным. Теперь Петр собирается в Дрезден, где ему предписано находиться около шести недель под наблюдением известных докторов. В конце октября Чаадаев намеревается возвратиться в Россию через Вену, если позволят деньги, а при их недостаточности — прямо через Варшаву.

Бархатный сезон в Карлсбаде заканчивался, и отдыхающие разъезжались. Сергей Тургенев отправился в Швейцарию принимать виноградные ванны, его брат Александр — в Россию, а Николай продолжил свое путешествие во Францию, откуда хотел доехать и в Англию. Николаю Чаадаев дал рекомендательные письма к знакомым англичанам и французским врачам, посоветовал ему, где, что и как надо смотреть. Под впечатлением бесед со своим другом Н. И. Тургенев писал ему из Парижа: «Не будете ли на будущее лето опять в Карлсбаде? Время, там с вами проведенное, составляет эпоху в моей жизни. Я никогда его не забуду».

Весть о Пушкине в письме Тургенева должна была особо привлечь внимание Чаадаева. Еще весной в Риме он получил послание от Якушкина, в котором тот успокаивал путешественника относительно возможной несчастной участи поэта в петербургском наводнении. «Пушкин живет у отца в деревне, — сообщал он Чаадаеву, и недавно я читал его новую поэму Гаврилиаду, мне кажется, она самое порядочное произведение изо всех его эпических творений». Вряд ли «офицер гусарской» подозревал, какое содержание заключается в «самом порядочном произведении», видимо, заинтересовавшем его. В его беседах с Тургеневым, разумеется, не раз заходил разговор о поэте, любая мелочь из жизни которого была интересна обоим. Николай Иванович писал, что Пушкин просился в Петербург, но ему для лечения аневризма позволено поехать только в Псков.

Тургенев отчитывался также в исполнении данных ему другом поручений, просившим прислать из французской столицы какие-то красивые платки и проследить за отправлением парижского багажа Чаадаева в Россию. Платки были высланы, а вот с вещами произошла заминка — в Москве не находили получательницу, Анну Михайловну Щербатову. Кроме того, семь книг среди всех отправленных цензура объявила запрещенными,

и они начали обратный путь в Париж.

Новости, подобные последним, не могли благотворно воздействовать на состояние здоровья Чаадаева, чья надежда на результаты карлсбадской терапии неожиданно для него самого потерпела крах. Приехав в Дрезден, он начал было осматривать достаточно знакомую ему еще с 1813 года столицу Саксонии, расположенную в живописной долине реки Эльбы. Тогда здесь шли тяжелые сражения, царил страшный голод, распространялись заразные болезни, рушились общественные здания и жилые дома. Теперь все было восстановлено, и в сознании едва вырисовывались картины двенадцатилетней давности.

С трудом бывший офицер узнавал многочисленные сады Дрездена, в которых он по рекомендации врачей с удовольствием прогуливался. В Большом саду, где когда-то шли боевые действия, уже построено четыре ресторана и ставятся концерты. В ботаническом саду медико-хирургической академии, заключившем в свои пределы около 10 тысяч видов разных растений, незадолго до приезда русского путешественника в Дрезден возвели прекрасную оранжерею, где разрешено наблюдать научные опыты профессоров.

Ища по совету докторов отвлечений от сосредоточенности на собственных недугах, Чаадаев мог слушать выступления созданной Августом II королевской капеллы, исполняющей музыкальные произведения в опере, дворцах и католических храмах. Своеобразный национальный колорит немецкой музыки он улавливал в псалмах и гимнах, которые народ поет в церквах и которые преподаются детям в школах с самого раннего возраста.

Особое его внимание привлекли, конечно, большие книжные магазины, где он закупил очень много интересующих его сочинений, а также Королевская библиотека. Разумеется, не осталась неосмотренной и знаменитая Дрезденская галерея.

Однако обозрение достопримечательностей саксонской столицы Чаадаев совершал урывками, небольшими порциями, поскольку вскоре после приезда почувствовал резкое ухудшение здоровья: «Голова кружится день и ночь, и желудок не варит — следствие излишнего употребления вод после дурного лечения». Вскоре у него обнаружился «рюматизм» в голове и масса других недугов, нарастание которых задерживало отъезд на родину. 1 января 1826 года Петр пишет Михаилу, что голова продолжает кружиться день и ночь, да к тому же бьет лихорадка: «Сам рассуди, как ехать с вертижами и лихорадкою? и в эту пору? Дурные дороги, темные ночи, холодные ночлеги, страх берет и подумать, особенно в дурные минуты…» Шли месяцы, а к прежним недомоганиям добавились еще катар, отрицательные

последствия местного климата и многое другое: «Болезнь моя всякий день усиливается… был в таком расслаблении, телесном и душевном, что точно не был в силах вам писать».

Но не только плохое самочувствие и дурная погода, на которую он постоянно ссылается, мешали Чаадаеву выехать из Дрездена. Несмотря на присылаемые братом векселя и деньги, он снова оказывается в трудном финансовом положении, продолжает занимать так много, что, по собственному признанию, не представляет, как можно будет расплатиться. К тому же подходит срок отдавать старые долги, и Петр просит Михаила найти где-то три тысячи для А. И. Тургенева, а тетушку — пять тысяч для адъютанта великого князя Николая Павловича, университетского товарища В. А. Перовского. Последнему он отправляет извинительно-объяснительное письмо, на которое получает успокоительный ответ с советом не преувеличивать оказанной ему услуги и не возвращаться до полного восстановления здоровья. Для полного же восстановления здоровья опять-таки нужны деньги, и большие: «(С докторами своими еще не расплатился, а они бесчеловечно дороги». Занимать, однако, уже не у кого, и 25 мая 1826 года Чаадаев пишет в растерянности брату: «Денег не нашел, — обещали, не дали, — продать ничего не могу, да и если бы и мог, не стал бы — расплатился с докторами и совсем не осталось ни гроша. — В болезни своей жил без всякого толку, потому прожил бездну, впрочем, может быть, и без того прожил столько же бы… Когда пришлете денег? где возьмешь? Когда вас, увижу? почему надеюсь, — какое имею право надеяться?»

На все сложности, которые оттягивали возвращение Чаадаева на родину, накладывалось одно важное обстоятельство, видимо, сильно его беспокоившее и отражавшееся на состоянии здоровья. Он не знал, какая участь его ждет в России, где после восстании 14 декабря 1825 года в Петербурге и последующих событий на юге страны многие друзья были арестованы и ожидали сурового наказания. Весть о происшедшем должна была явиться для Чаадаева полной неожиданностью, поскольку из недавних рассказов Н. И. Тургенева вырисовывалась картина разочарованности и несогласованности внутри декабристского общества. Да и при многократном перечитывании письма Якушкина он не мог найти даже косвенных признаков большой активности и какой-либо подготовки чего бы то ни было. «Учитель» сообщал, что М. И. Муравьев-Апостол живет в деревне в совершенном уединении; М.А.Фонвизин занимается хозяйством в подмосковном имении и что сам он вместе с тещей, женой и сыном тоже поселился в своей деревне Жуково Смоленской

губернии, где начал строить теплый каменный дом, собирается «завести много цветов». Якушкин звал Чаадаева по возвращении в Россию «пожить сколько-нибудь с нами — ты на нас посмотришь, а мы тебя послушаем». Еще за четыре месяца до событий на Сенатской площади Иван Дмитриевич мирно писал М. И. Муравьеву-Апостолу, что скоро едет за покупками в Москву, куда, по его мнению, уже должен будет вернуться объехавший всю Европу Петр Чаадаев.

И вот теперь в ожидании судебного приговора «учитель» находился за тюремной решеткой, а изможденный «ученик» пребывал в нерешительности в немецком городе. Весной 1826 года теща Якушкина Н. Н. Шереметева с помощью того самого Перовского, которому Чаадаев должен пять тысяч, хлопочет о свидании своей дочери с мужем. Попытки Перовского через начальника Главного штаба Дибича добиться свидания оказались неудачными, равно как и другое его стремление: «О Петре Яковлевиче ничего совершенно нового не узнали». Можно представить себе по этим строкам его неопубликованного письма Шереметевой, что хотел узнать Перовский о своем университетском товарище. Однако трудно сказать, от кого исходила инициатива: то ли Чаадаев как-то сумел сообщить на родину о желании знать свою возможную участь, то ли брат и друзья сами хотели сообщить ему о ней.

Во всяком случае, Петру Яковлевичу было чего опасаться. В следственных документах по делу декабристов о нем говорится так: «По показанию Якушкина, Бурцова, Никиты Муравьева, Трубецкого и Оболенского, Чаадаев был членом тайного общества, но уклонился и не участвовал в тайных обществах, возникших с 1821 года. Высочайше повелено: оставить без внимания». Дружеские отношения Чаадаева со многими декабристами могли стать предметом и более «внимательного» изучения, если бы, вероятно, не связи и знакомства, ведущие прямо к новому царю Николаю I. Да и сам факт упоминания бывшего адъютанта командира гвардейского корпуса в числе заговорщиков косвенно свидетельствует о грозившей ему опасности: выдав своего товарища по разным причинам, декабристы могли также предполагать, что, подозревая о размерах угрозы, тот должен остаться за границей.

Однако Петра Яковлевича тянет домой. Болезнь, хандра и одиночество обострили его родственные чувства. И хотя врачи рекомендуют ему не думать не только о философских материях, а и о связанных с делами брата неприятностях, «но как не думать!». Петра беспокоит неудавшаяся и нескладывающаяся в Хрипунове жизнь Михаила, его непонятное желание продать свое родовое

имение. Постоянно занимая и беспорядочно тратя деньги, он чувствует себя глубоко виноватым перед братом, и мысли об этом бросают его в жар. И в каждом письме он извиняется перед ним и выражает надежду на прощение. «Прости, мой милый, мой жестокий, строгий, великий, бестолковый брат; постарайся меня полюбить до моего приезда, а там, надеюсь, докажу, что стою твоей любви… Имею предчувствие, что, возвратившись, заслужу перед вами прощения за tout le chagrin que je vous cause[15], без этого предчувствия сошел бы с ума…» Петр сомневается, нет ли в подобных излияниях, вызванных ипохондрией, преувеличений, однако просит брата поверить, что он вовсе не блудный сын, что и в нем есть «сколько-нибудь чувства». При воспоминании о Михаиле, тетушке, друзьях, в его глазах стоят слезы и ему хочется поговорить «обо всем на свете, и об себе, и об тебе, и обо всех вас, моих милых… Как ни стараюсь себя укрепить, ною по вас как ребенок… вас вижу день и ночь перед собою». Много раз, когда здоровье позволяет ему бродить по городу, Петр принимает в сумерках за брата всякого человека в длиннополом сюртуке и в шапке. Несмотря на грозную неизвестность, Чаадаев стремится на родину и признается Михаилу: «Что чувствую, что перечувствовал во все это время, не могу тебе сказать: за то, что не впал в отчаяние, что осталась во мне надежда вас увидать, остального века не достанет на молитвы».

Скорейшему исполнению принятого решения мешает среди прочих причин приезд в Дрезден в конце мая 1826 года С. И. Тургенева, которому швейцарские виноградные ванны не принесли необходимого облегчения и который прибыл в состоянии крайнего нервного раздражения. Здесь его здоровье стало внезапно ухудшаться, и врачи обнаружили симптомы психического заболевания. В эту пору в Дрездене жило семейство Е. Г. Пушкиной, вместе с которым Чаадаев все время отдавал, как он писал Н. И. Тургеневу, уходу за братом «лучшего из моих друзей». По словам Вяземского, Петр Яковлевич заботился о больном «со всею возможною попечительностью нежнейшей дружбы». И оставил он Дрезден в самом конце июня лишь после того, как С. И. Тургенев почувствовал себя лучше.

До Варшавы Чаадаев ехал без остановок, но в польской столице ему пришлось по болезни задержаться на две недели. Пока ничего не подозревавший путешественник хворал, великий князь Константин Павлович 7 июля 1826 года направил Николаю I рапорт: «Получив донесение Варшавской секретной полиции, что прибыл из-за границы служивший лейб-гвардии в Гусарском полку ротмистр Чаадаев, бывший адъютантом при адъютанте Васильчикове, и что сей ротмистр Чаадаев спешит ехать из

Варшавы в Москву, долгом поставляю всеподданнейше донесть о сем вашему императорскому величеству и присовокупить, что в бытность мою прошлого года в Карлсбаде, я видел там сего ротмистра Чаадаева и знал, что он жил в больших связях с тремя братьями Тургеневыми, а наиболее из них, так сказать, душа в душу с Николаем Тургеневым, донося при том, что сей Чаадаев поступил в означенный полк из прежнего состава лейб-гвардии Семеновского полка; он был отправлен с донесением к покойному государю императору в Троппау о известном происшествии в означенном лейб-гвардий Семеновском полку, и его императорское величество изволил отзываться о сем офицере весьма с невыгодной стороны, и я обо всем оном долгом поставляю донесть до высочайшего сведения вашего императорского величества.

Инспектор всей кавалерии Константин».

В Варшаве тайные агенты следили за действиями отставного ротмистра, не находя в них ничего предосудительного, а на границе в Брест-Литовске пограничный почтмейстер и начальник таможенного округа по приказу цесаревича тщательно осмотрели его багаж. В результате осмотра, докладывал 21 июля Константин Павлович царю, были найдены «разные недозволенные книги и подозрительные бумаги». Среди подозрительных бумаг он называл письма, обнаруживающие следы связи Чаадаева с декабристами, бунтарские стихи Пушкина, рекомендательную записку англичанина Кука и патент масонской ложи. Посылая царю эти бумаги, а также каталог привезенных из-за границы книг, великий князь испрашивал у него повеления, «как поступить с ротмистром Чаадаевым, которого до высочайшего вашего императорского величества разрешения приказал я из Бреста Литовского не выпускать и иметь за ним секретный надзор».

1 августа Петр писал Михаилу из Брест-Литовска, что живет здесь уже около двух недель в довольно странном положении: просмотренные по обыкновению на таможне бумаги ему до сих пор не возвращают и ничего не говорят. Вероятно, высказывает он догадку, их послали куда-нибудь на рассмотрение из-за найденных там писем Н. И. Тургенева.

Шли дни, а Чаадаев, до которого, возможно, доходили смутные слухи о казни 13 июля 1826 года пяти декабристов и о суровом наказании многих его приятелей, все пребывал в томительном ожидании. Только 11 августа начальник главного штаба Дибич от имени царя поблагодарил Константина Павловича за бдительные меры, принятые относительно отставного ротмистра. Он также возвращал изъятые у Чаадаева

бумаги и передавал высочайшее поколение допросить его, исходя из найденных подозрительных материалов. Однако рапорт Дибича не мог застать цесаревича, выехавшего 9 августа в Москву на торжества по случаю коронации Николая I.

Проезжая через Брест-Литовск, Константин Павлович, видимо, имел какой-то разговор с Чаадаевым, поскольку последующие события развивались хотя и не быстро по естественным причинам больших расстояний, но и без явной логической связи с предшествующими. Жихарев со слов своего дяди рассказывает, что тот вечером, в сильную грозу, уведомил одного из адъютантов цесаревича о споем положении: «Великий князь его принял к самому участливому сведению, всячески Чаадаева успокаивал, шутил, смеялся, говорил, что он «все обделает и уладит», и приказал ему, не трогаясь с места и не смущаясь, дожидаться… своего возвращения».

Возвращавшийся на родину путешественник, конечно, и не подозревал, что он уже месяц сидит на русской границе именно по воле Константина Павловича, благодетельный поворот в действиях которого трудно мотивировать. Возможно, тому просто захотелось показать свое великодушие перед старым знакомцем. Тем более что оно ему недорого стоило. Вина Чаадаева оказалась все-таки невелика, да и царь был расположен к брату. «Угадывать ваши намерения и желания, — писал последнему после коронации Николай I, — есть и будет постоянной потребностью для меня, да будет вам известно раз и навсегда». Одним из таких желаний вполне могла быть просьба цесаревича о скорейшем и благоприятном разрешении участи Чаадаева. 23 августа, уже на следующий день после начала торжеств, Константин Павлович получил новое распоряжение Дибича и отправился с ним обратно в Варшаву. В этом распоряжении кратко пересказывалось содержание рапорта от 11 августа, а затем говорилось: «Ныне государь император высочайше повелеть мне соизволил просить покорнейше ваше высочество приказать объявить Чаадаеву, что хотя из найденных при нем бумаг видно, что он имел самый непозволительный образ мыслей и был в тесной связи с действовавшими членами злоумышленников, за что подвергался бы строжайшему взысканию, но его величество, надеясь, что он изъявит чистосердечное в заблуждении своем раскаяние, видя ужасные последствия подобных связей, изволил предоставить особенному благоусмотрению вашего императорского высочества, освободить ли Чаадаева от всяких других взысканий, с тем, что изволит ожидать, что он, почувствуя в полной мере заблуждения свои, будет мыслить и поступать как следует верноподданному».

Второй приказ, отчасти противоречивший первому,

предлагавшему учинить строгий допрос, фактически предоставлял цесаревичу право самому распорядиться участью Чаадаева еще до получения результатов расследования и до выслушивания предполагаемых раскаяний, которых, вообще говоря, могло и не быть. Но из предшествовавшего разговора с Чаадаевым Константин Павлович, вероятно, знал и о его непричастности к практическим действиям «злоумышленников», и о его осуждении их намерений. И потому допрос, проведенный 26 августа доверенным лицом великого князя, «флота капитан-командиром» Козлаковым, носил, по существу, формальный характер.

Главные вопросы касались отношений Чаадаева с Н. И. Тургеневым, И. Д. Якушкиным, С. П. Трубецким, И. М, Мураимшым, С. И. и М. И. Муравьевыми-Апостолами. Отношения эти допрашиваемый объясняет фактами своей биографии: обучением в университете, военной службой, дружеской приязнью. Заслуживает внимания расходящееся с истиной и со следственными документами особенное подчеркивание им своеобразия его связей с «учителем» Якушкиным: «Кроме сношений дружбы, никаких и ни в какое время с ним не имел», На вопрос, не возбуждало ли что в кругу его приятелей-декабристов подозрения об их «злоумышленных предприятиях», Чаадаев отвечал так: «Хотя по знакомству моему с ними знал, их образ мыслей и политическое вольнодумство, простиравшееся у многих до весьма высокой степени, но никаких причин не имел заключить об их тайных видах, преступных и безумных намерениях».

Другая группа вопросов относилась к стихам Пушкина о немецком студенте Занде, убившем в 1819 году из революционного патриотизма писателя Коцебу, к рекомендательной записке Кука и к багажу с книгами. Оные стихи, отвечал допрашиваемый, он получил в Швейцарии от адъютанта покойного генерал-адъютанта Уварова, князя Щербатова и, не обращая никакого внимания на содержание, сохранил их исключительно за литературное достоинство. Что же касается рекомендательной записки, то здесь Чаадаев довольно обстоятельно рассказал о своих впечатлениях от встречи с английским миссионером, углубленным в религию. Затем допрос естественно перешел к специфике вывозимых книг, большая часть которых заключала религиозные предметы. «Из давнего времени, прежде выезда за границу, — говорил возвращавшийся на родину путешественник, — занимался я христианскою литературою, не имея при том никакого другого вида, как умножение познаний своих насчет религии и укрепления своего в вере христианской. В

России имею значительное собрание книг по сей части; в бытность свою в Дрездене старался увеличить сколько мог оное собрание». А какие именно сочинения запрещено ввозить в Россию, Чаадаеву трудно судить: ранее, выписывая книги из чужих краев, он получал их все без изъятия, кроме содержащих клевету на членов царской фамилии. Подобной клеветы, как он полагает, нет в приобретенных за границей произведениях, хотя с полной уверенностью сказать не может, ибо не все их прочел.

Последняя часть вопросов касалась масонского патента. Рассказав о своем принципиально отрицательном отношении к ложам «вольных каменщиков» и о полном разрыве с ними еще задолго до отъезда в Англию, Чаадаев несколько наивно, с точки зрения допрашивающего, объяснял, что взял с собой патент случайно, как простую реликвию.

Далеким от истины и весьма рискованным оказался его ответ на один из последующих вопросов — о принадлежности к каким-либо (помимо масонских) тайным обществам и о знании их существования: «Ни к какому тайному обществу никогда не принадлежал… о существовании тайных обществ в России не имел другого сведения, как по общим слухам. О названиях же их и цели никакого понятия не имел и какие лица в них участвовали не знал».

После завершения допроса Чаадаев дал подписку, которую, как известно, в 1822 году по приказу покойного царя давали все масоны и которую от него тогда не потребовали, о пресечении всяких сношений с ложами «вольных каменщиков». Подписку эту вместе с протоколом допроса Константин Павлович отправил 1 сентября 1825 года Николаю I, докладывая, что задержанный освобожден от дальнейшего политического надзора и дозволено ему отправиться в Россию. Чаадаеву же цесаревич, по словам Жихарева, сказал: «Maintenant vous avez la clef des champs»[16]. После чего они, каждый в свою сторону, разъехались и никогда уже больше не видались.

IV глава
РОЖДЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЯ

1

Более трех лет Чаадаев не видел Москвы, и после больших европейских городов ему резко бросились в глаза ее особенности, как-то не замечавшиеся ранее в привычном течении каждодневной жизни. Он въезжал в древнюю столицу скорее всего в один день с Пушкиным, 8 сентября 1926 года, и видел перед собой те же картины, что и поэт, представивший их в седьмой главе «Евгения Онегина» при описании прибытия в нее семейства Лариных.

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!..
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах…

В приведенных пушкинских строках словно заключено поэтическое «резюме» московского своеобразия, в котором выделяются главы многочисленных храмов, создающих архитектурное единство города. С другой стороны — на фоне этого единства подчеркивается пестрота деталей, отражающих растекающуюся многоликость идущей здесь жизни, вобравшей в себя городские (чертоги, дворцы, бульвары, магазины мод, львы на воротах) и сельские (мужики, бабы, лачужки, лавки, огороды, сани) приметы. Такая Москва, раскинувшая на огромном пространстве свои кривые переулки и улицы с «ухабами»,

казалась Петру Чаадаеву полугородом-полудеревней. К гостинице Лейба, где путешественник намеревался остановиться он ехал по улицам, о которых в одном из очерков начала 30-х годов прошлого века говорится: «Улица московская не в улицу, если на ней нет продажи овощных товаров — иногда с прибавкою рому, виноградных вин и водок и руки с картами, показывающей, что тут можно и карты купить; ресторации с самоваром на вывеске, или рукою из облаков, держащей поднос с чашками с подписью: съестной трахътир; немца-хлебника с золотым кренделем, иногда аршина в два, над дверью; цырюльни с изображением дамы, у которой кровь фонтаном бьет из руки; в окошке обыкновенно торчит завитая голова засаленного подмастерья и видна надпись над дверью: бреют и кровь отворяют; портретной лавочки и продажи пива и меду с пивным фонтаном из бутылки в стакан на вывеске…»

Но почему же, вопрошал себя возвратившийся путешественник, кажется каким-то ленивым и неосмысленным малолюдное движение на этих «смешных» улицах, из-за которых то там, то здесь выглядывали сады и огороды? Почему на них так много храмов и нет промышленных гигантов, стеклянных витрин с «сокровищами мира», парламентских зданий, многочисленных театров, научных выставок, музеев, бассейнов, фонтанов, статуй, разнообразных исторических памятников?.. Ответы на подобные вопросы он попытается дать спустя два года в своих философско-исторических размышлениях.

2

Внимание Петра Чаадаева целиком поглощено предстоящей встречей с Пушкиным, о приезде которого в Москву он узнал, едва поселившись в гостинице. Они не виделись шесть с половиной лет, и за это время его юный ученик, конечно, должен был измениться. Но как? К каким задачам направилась неуемная жажда поэта все испытать и испробывать, кого любит его открытое бытию сердце, чему служит острый и живой ум? А что, если он укрепился в бунтарских и либеральных воззрениях своей молодости, способных теперь развести их в разные стороны? Да и его каламбуры по поводу Священного писания резали бы теперь ухо отставного ротмистра.

Чаадаев не подозревал, как глубоки оказались духовные метаморфозы менявшегося в коловращении жизни Пушкина. С момента их разлуки «страстей единый произвол», органически сочетавшийся с «безумством гибельной свободы», приводил поэта к некоему пределу, из-за которого выглядывала духовная и физическая смерть. Однако эксцессы «ренессансного» эгоизма не доходили до нигилистического завершения благодаря неиссякавшей в душе поэта нравственной силе мироутверждения, утверждения суверенности любой другой личности и настоящего единения людей.

Единство целого, восполняющего безосновность и бессмысленную односторонность индивидуалистического развития, поэт искал в истории и судьбе своего народа, включающих личность в непрерывную цепь времен и корректирующих ее сиюминутное претензии. «Гордиться славою своих предков, — писал он, — не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». Поиск твердой опоры вне субъективного сознания и «низкого эгоизма» заставлял поэта погружаться в «образ мыслей и чувствований», в «тьму обычаев, поверий и привычек», исследовать «климат, образ правления, веру», «особенную физиономию» своего народа, отражающихся в зеркале искусства. Именно знание отечественной и мировой истории, замечал Пушкин в записке «О народном воспитании», намекая на недавние события, не позволит юношам увлекаться и республиканскими идеями, сняв с них прелесть новизны.

Подобные его рассуждения не были каким-то предательством по отношению к декабристам. Как признался поэт царю в день приезда в Москву, он примкнул бы к восставшим на Сенатской площади, если бы тогда оказался среди них. Поступить иначе ему мешали его представления о товариществе и чести. Но теперь он

полагал несбыточной надеждой устранить невежество, жестокость, неустройство жизни с помощью смены социально-политической системы.

Начиная с 1823–1824 годов поэт приступил к художественному исследованию неоднозначной динамики человеческих устремлений и неумолимых законов исторической необходимости. Понимание этой необходимости устраняло в его художественном видении шоры прекраснодушных мечтаний о «заре пленительного счастья», определявших пафос его первого послания 1818 года к Чаадаеву. Спустя шесть лет в другом послании к другу он мысленно пишет их имена уже не на обломках самовластья:

Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

Познание «вечных противуречий существенности» составило «другие, строгие заботы» Пушкина и обусловило его «новую печаль». Печаль эта определялась пониманием неизбывности коренных конфликтов человеческого духа и, следовательно, необходимости «терпеть противуречие», «нести бремя жизни, иго нашей человечности». «Люди, — замечал он, — по большей части самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны, упрямы; старая истина, которую все-таки не худо повторять. Они редко терпят противуречие, никогда не прощают неуважения; они легко увлекаются пышными словами, охотно, повторяют всякую новость; и, к ней привыкнув, уже не могут с нею расстаться…»

До 1823 года в его произведениях преобладали стихотворения, эпиграммы и романтические поэмы, «подчиняющие» действительность субъективному видению лирического героя. Такое видение в контексте пушкинской эволюции можно назвать «байроническим». По мере освобождения от собственного байронизма перед Пушкиным в 1823–1825 годах открывалась «даль свободного романа» и перспектива исторической драмы, где необходимо было, говоря словами Вяземского, проявлять «самоотвержение личности» и решать принципиально иные задачи целостного изображения

различных столкновений «чужих» воль, страстей и интересов в полноте и противоречивости живого многообразия и неоднозначного величия прошедшей и современной жизни. В черновике предисловия к «Борису Годунову» Пушкин писал: «Являюсь, отказавшись от ранней своей манеры. Мне не приходится пестовать безвестное имя и раннюю молодость, и я уже не смею рассчитывать на снисходительность, с какой я был принят. Я уже не ищу благосклонной улыбки минутной моды. Я добровольно покидаю ее любимцев и смиренно благодарю за ту благосклонность, с какою она встречала мои опыты в течение десяти лет моей жизни».

Имманентная нравственность и глубина подлинно реалистического повествования отразилась и на природе внутренних конфликтов главных героев писателя. Еще у «романтического» Пушкина внешнее противоречие свободы и неволи уступает место внутреннему противоречию его свободы и воли окружающих людей. Уже в «Кавказском пленнике» свобода называется «гордым идолом», а к «Цыганах» выясняется, что, получив заветную свободу, человек не может ею должным образом распорядиться, вернее — способен ее использовать лишь для удовлетворения собственных прихотей и произвола. Он «для себя лишь хочет воли» и тем самым ущемляет и узурпирует волю других людей. Образ Алеко, созданный на рубеже 1823–1824 годов, очень важен для всего последующего творчества писателя. В неодинаковой степени и в разных обстоятельствах, но лишь для себя желают воли и Евгений Онегин, и Борис Годунов, и Германн, и Дон Жуан, и многие другие известные его герои. Концентрированным выражением такого желания в творчестве Пушкина выступают разные формы власти, безблагодатное и насилующее чужие права, приобретение которых отъединяет их обладателей от других людей. Перед писателем вставала проблема определения условий, и которых возможно желание воли не только для себя и в которых происходит подлинное движение людей навстречу друг другу.

Альтернативу властному произволу индивидуалистической свободы Пушкин находил в совести. Совесть становится в трагедии «Борис Годунов» центральным духовным понятием, мешающим завершению нравственного падения главного героя и накладывающим особый отпечаток на действия остальных персонажей. Именно совестливость и обусловленное ею чувство долга составляют существенную сторону поведения Татьяны в «Евгении Онегине», на фоне которого без натяжки, самим ходом событий раскрывается несостоятельность «загадочной» жизни главного героя. Причем совесть в поэтике послеромантических

произведений Пушкина оказывается не изолированным нравственно-психологическим понятием, а связана духовно-историческими нитями с преданием и вековыми традициями народа. У «бессовестных» его героев эти нити порваны.

Подобные признаки духовного роста поэта и таинственного преображения, почти перерождения, его творчества должны были поразить Чаадаева, слушавшего 10 сентября 1826 года на квартире у С. А. Соболевского вместе с хозяином, а также в присутствии Д. В. Веневитинова, М. Ю. Виельгорского, И. В. Киреевского, С. П. Шевырева авторское чтение «Бориса Годунова». У одного из героев пьесы в минуту возможного выбора между долгом и предательством вырываются на первый взгляд бессвязные, но в самой атмосфере произведения закономерные слова: «Но смерть… но власть… но бедствия народны…»

Да, душу автора «Вольности» или злых эпиграмм, певца вакхических веселий или стройных граций занимают теперь иные темы. Но о «вечных» темах он говорил через драматическое действие так, будто сам был непосредственным и проникновенным свидетелем событий более чем двухсотлетней давности. И достигал при этом полноты и простоты художественной убедительности в выражении самых разных мыслей и чувств.

По воспоминаниям М. П. Погодина, известна бурная реакция, с какой было принято следующее чтение «Бориса Годунова» в доме Д. В. Веневитинова в октябре. Слухи о новом творении поэта быстро распространились по Москве и далеко за ее пределами. 9 декабря 1826 года Грибоедов писал из Тифлиса С. Н. Бегичеву, рассчитывая на дружескую близость поэта к отставному ротмистру: «Когда будешь в Москве, попроси Чаадаева и Каверина, чтобы прислали мне трагедию Пушкина «Борис Годунов».

Эта близость в силу происходивших у обоих изменений неизбежно стала приобретать какие-то иные черты. Вряд ли они сумели в ту первую после разлуки встречу уединиться и обстоятельно побеседовать, трудно было Чаадаеву представить за столь короткое время природу и значение духовных метаморфоз его юного друга. Но одно он понимал хорошо: развитие пушкинского таланта колебало незримую иерархию их отношений и требовало глубокого осмысления. Возможно, Пушкин успел поведать ему лишь, как два года назад собирался бежать из России и справлялся у своего брата о местопребывании Чаадаева за границей.

В те первые дни после возвращения из ссылки Пушкин, видимо, много думал о значении монаршей милости, пытался

угадать, какие разные чувства продиктовали ее и что сулит ему в будущем начавшийся диалог с царем и мамона обычной цензуры высочайшей. По словам Д. Н. Толстого, «прощение Пушкина и возвращение его из ссылки составляет самую крупную новость эпохи». Может быть, после чтения «Бориса Годунова» поэт сообщил Чаадаеву какие-то относящиеся к этой «новости» сугубо личные детали, а тот, в свою очередь, приоткрыл завесу над двусмысленной ролью великого князя Константина Павловича в его почти двухмесячной задержке на русской границе. Важно другое — для обоих начиналось время активно значимого существования в русской жизни, во многом непохожее у каждого из них на предшествующее.

3

Что же касается задержания Чаадаева на границе, то его последствия также не остались незамеченными в московском обществе. Прокурор, а впоследствии сенатор С. П. Жихарев в конце сентября 1826 года сообщил в Дрезден братьям А. И. и С. И. Тургеневым, что Чаадаев явился в Москву «чист, как луч солнечный. Затруднились было над письмом лондонского обывателя — но после возвратили все, и он, выдержав 6-недельный карантин в Бресте, живет теперь пока с нами. Его приглашают в службу, но он еще не решил, как и куда». Благосклонное отношение властей и даже приглашение Чаадаева на службу никак не отменяло других, уже не зримых для него самого, последствий «карантина». Еще в июле, после получения первого рапорта цесаревича о продвижении отставного ротмистра на родину, начальник главного штаба Дибич передал московскому военному генерал-губернатору распоряжение царя относительно сего ротмистра, который «находился в коротком знакомстве с преступником Н. Тургеневым. Государь император высочайше повелеть соизволил, чтобы ваше сиятельство имели за ним, г. Чаадаевым, бдительнейший присмотр, и буде малейше окажется он подозрителен, то приказали бы его арестовать».

В записке «О народном воспитании» Пушкин противопоставлял ничтожность замыслов и средств декабристов необъятной силе правительства, основанной на силе вещей. Тайный надзор за Чаадаевым был в числе незаметных проявлений правительственной силы, основательность и весомость которой сполна пришлось почувствовать его друзьям — офицерам, причастным к деятельности тайных обществ.

В Дрездене он получал лишь смутные известия, а в Москве наверняка узнал какие-то подробности о многих из них, а также о раскаянии подавляющего большинства арестованных. Наверняка до него доходили слухи (а что-то он знал от братьев Н. И. Тургенева) и о раскаянии хотя не арестованного, но заочно приговоренного к смертной казни, замененной вечной ссылкой, «лондонского обывателя» (как называл С. П. Жихарев Н. И. Тургенева), отказавшегося по требованию правительства вернуться на родину для судебного разбирательства. Узнав о вооруженном выступлении, идейный вождь либерализма назвал его «непонятным происшествием». Оно для него, покинувшего Россию в пору разочарования и спада декабристской активности, явилось полной неожиданностью и теперь стало казаться каким-то следствием без причины. «Было восстание, бунт, — писал он

зимой 1826 года. — Но в какой степени наши фразы — может быть, две или три в течение нескольких лет произнесенные, с этим бунтом?.. А что было, кроме разговоров?» Подобные мысли Тургенев высказывал в оправдательных записках, пересылаемых царю с помощью брата Александра и Жуковского. В них он старался уверить Николая I в несерьезности замыслов декабристского союза и в своей личной неспособности разделять насильственные революционные идеи. Трудно сказать, насколько был искренен прежний вдохновитель «Союза благоденствия» и Северного общества.

А вот новый вдохновитель и руководитель Северного общества в 1824–1825 годах, пылкий и смелый Рылеев, раскаивался вполне чистосердечно. Недели за три до смерти он писал Николаю I: «Чем же я возблагодарю его (бога) за его благодеяния, как не отречением от моих заблуждений и политических правил? Так, государь! Отрекаюсь от них чистосердечно и торжественно…» Чаадаев, стремившийся понять причины таких поворотов и с пристальным вниманием искавший в них религиозные мотивы, отвечающие его умонастроению, должен был познакомиться с другим, предсмертным письмом Рылеева, копии которого быстро распространились в обществе. 7 августа 1826 года Вяземский сообщал жене: «Посылаю тебе копию с письма Рылеева. Какое возвышенное спокойствие!» В ночь перед казнью Рылеев писал жене, прерываясь лишь для молитвы: «Бог и государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертию позорною… Я просил нашего священника посещать тебя. Слушай советов его и поручи ему молиться о душе моей. Отдай ему одну из золотых табакерок в знак признательности моей, или лучше сказать на память, потому что возблагодарить его может только один бог за то благодеяние, которое он оказал мне своими беседами».

С автором этих строк Чаадаев, видимо, не был знаком, а вот чтение другого предсмертного письма, копию с которого сделала двоюродная сестра Н. Д. Шаховская, вызывало в памяти живые и близкие лица. В ту же последнюю ночь Сергей Муравьев-Апостол писал своему брату Матвею: «Любезный друг Матюша! По доставлению меня недостойного Божеского промысла и по истинно христианскому обо мне попечению доброго и почтенного отца Петра, общего нашего духовника… страхом и верою приступил к чаше Спасения нашего, принес в жертву то, что мог: сердце истинно сокрушенное и глубоко проникнутое как своим недостоинством, так и благостью неизреченного Спасителя нашего, Христа, который, так сказать, ожидал малейшего от меня желания приобщиться к нему, чтобы прибегнуть ко мне,

восхитить на рамена как погибшую овцу. Радость, спокойствие, воцарившиеся в душе моей после сей благодатной минуты, дают мне сладостное упование, что жертва моя не отвергнута, и сильно убедили меня, что мы слепо шествуем, когда по каким бы, по-видимому, благовидным причинам уклоняемся от исполнения должностей наших христианских. Я попросил позволения написать к тебе сии строки как бы для того, чтобы разделить с тобою, с другом души моей, товарищу жизни, верному и неразлучному от колыбели, так же особливо для того, чтобы побеседовать с тобою о предмете важнейшем. Успокой, милый брат, совесть мою на твой счет. Пробегая умом прошедшие мои заблуждения, я с ужасом вспоминаю наклонность твою к самоубийству, с ужасом вспоминаю, что я никогда не восставал против него, как обязан был сие делать по моему убеждению, а еще увеличивал оное расположение… Я много размышлял о самоубийстве, все мои размышления, и особливо беседы мои с отцом Петром, и утешительное чтение Евангелия убедили меня, что никогда ни в каком случае человек не имеет права посягнуть на жизнь свою — взгляни в Евангелие — кто самоубийца, Иуда, предатель Христа… Мы должны верить твердо, что душа, бежавшая со своего места прежде времени, ей уготованного, получит гнусную обитель… Вообрази, что мать наша, любившая нас столь нежно на земле, теперь же на небеси — чистый ангел света — лишится навеки принять тебя в свои объятия. Нет, милый Матюша, самоубийство есть всегда преступление. Вера наша, кроткая и благая вера, сие строго нам запрещает… Прощай, милый, добрый, любезный брат и друг Матюша. До сладостного свидания…»

Чаадаева при чтении письма глубоко взволновала и твердость веры Сергея Муравьева-Апостола, и редкостное самообладание, и сердечная озабоченность в предсмертную минуту судьбой другого человека. Он ощущал в себе недостаток этих качеств, многие же мысли Сергея, ранее не слышанные из его уст, были ему близки. Сколько же жизненных этапов, думал Петр Яковлевич, надо было прожить и Сергею, и Рылееву в шесть последних месяцев, проведенных в заключении, чтобы обрести такое неподдельное смирение?

К таким вопросам, возникавшим в его сознании, добавлялись и другие. Почему же царь и правительство не вняли чистосердечным признаниям и не простили раскаявшихся? Почему не учли их благородных помыслов и фатальной самоотверженности? Подобнее вопросы особенно раздражали Чаадаева, когда он из распространявшихся рассказов очевидцев узнавал подробности повешения на кронверке Петропавловской

крепости пяти декабристов, с тремя из которых (Муравьевым-Апостолом, Бестужевым-Рюминым и Пестелем) он был лично хорошо знаком. Но до физической казни совершили гражданскую над остальными декабристами: после чтения приговора над их головами ломали шпаги, с военных срывали мундиры и эполеты и бросали в костры. Затем к эшафоту повели приговоренных к смерти, которые вели себя с удивительным мужеством. Пестель, увидев виселицу, сказал: «Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали чела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно было бы нас расстрелять». Муравьев-Апостол утешал самого молодого из всех, Бестужева-Рюмина, который пять лет назад просил Петра Чаадаева помочь ему выбраться из глубокой провинции в Петербург. Когда же священник Мысловский стал утешать Рылеева, тот положил его руку себе на сердцем «Слышишь, отец, оно не бьется сильнее прежнего».

С печалью Чаадаев узнавал и о суровых приговорах над Якушкиным, Матвеем Муравьевым-Апостолом и другими своими приятелями, осужденными на долгие годы каторги и ссылки. По словам Жихарева, все это «близко и болезненно касалось наиболее чувствительных струн его духа и сердца». Он, конечно же, разделял чувство, владевшее многими и выраженное Вяземским: «По совести нахожу, что казни и наказания не соразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле». Не говоря уже о большем, думал Петр Яковлевич, а даже с точки зрения собственной силы, которой все-таки больше в прощении, нежели в наказании, правительство поступило неразумно, ибо степень несоразмерности между преступлением и наказанием может стать в теперешних и последующих поколениях степенью раздражения и возмущения чувства справедливости, способных подтачивать эту силу.

Петр Яковлевич мысленно задавал и осужденным друзьям вопросы, наподобие тех, с какими обратится через десять лет к Якушкину: «Ах, друг мой, как это попустил господь совершиться тому, что ты сделал? Как он мог позволить тебе до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, чей ум охватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения? Ни к кому другому я бы не осмелился обратиться с такой речью, но тебя я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубокое убеждение, каково бы оно ни было.

Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в

чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего глубины. Мы прожили века так или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей: вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина».

Горькая ирония, заключающаяся в последних словах, не снижала в памяти Чаадаева высоту и чистоту помыслов друзей, что в сочетании вносило в его душу своеобразное чувство трагической безысходности и новые оттенки в зародившиеся размышления об исторических путях России и Европы.

4

А вокруг продолжалась обычная жизнь. Правда, в первые две недели пребывания Чаадаева в Москве не совсем обычная. Здесь еще длились торжества по случаю коронации Николая I. Так, 16 сентября состоялось народное гуляние с двадцатью оркестрами, на которое собралось около двухсот тысяч человек. «Москва, — писал Пушкин П. А. Осиновой, — шумна и занята празднествами до такой степени, что я уже устал от них…»

Настроение у Чаадаева было далеко не праздничное, да и долгожданное свидание с родственниками задерживалось. Что же касается службы, то в теперешнем своем состоянии он не мог решить ничего определенного — необходимо время, чтобы подумать и найти свое место в новых и так непохожих для него на прежние обстоятельствах.

4 октября 1826 года он выехал из Москвы в имение тетки. Путь до сельца Алексеевского, расположенного в Дмитровском уезде между Клинским и Кашинским трактами, занял более полусуток, но казался Петру Яковлевичу гораздо продолжительнее. Сизое дождливое небо, где, печально курлыча, кружилась на одном месте унылая стая журавлей, видимо, потерявших нужный путь и никак не выстраивавшихся в правильный треугольник, темные пустынные поля, голые березы с трепещущими от ветра редкими желтыми листиками да коварные кочки словно аккомпанировали его тягостным думам. Вглядываясь в лица встречавшихся по дороге крестьян, везших в Москву на продажу чернолесье, он находил в них созвучное пейзажу унылое однообразие и пассивную невыразительность, что по контрасту заставляло его вспоминать целеустремленность и живые физиономии сельских жителей в европейских странах. Но вот уже остался позади Дмитров с выглядывавшими из-за земляного вала куполами Успенского собора, с каменными и деревянными домами, с садами и огородами, славившимися обильными урожаями фруктов и овощей.

Но сейчас, проезжая по Кашинскому тракту, Петр Яковлевич видел на изогнуто-узловатых ветвях фруктовых деревьев лишь тяжелые капли холодной влаги. Наклонившиеся чуть вперед и набок, будто неловко кланяющиеся, избы с соломенными крышами и маленькими скосившимися окошками сопровождали его печальные мысли. При появлении деревни Княжево, где он, как известно, собирался когда-то жить вместе с Н. И. Тургеневым, его отвлекли ненадолго воспоминания о неосуществившихся планах. А вот наконец и Алексеевское, где любвеобильная и

беспокойная Анна Михайловна Щербатова уже проглядела все глаза в ожидании племянника.

Первые дни свидания заполнились взаимными рассказами, в которых речь нередко заходила о тяжелой участи родственников. Двоюродный брат Чаадаева Иван Щербатов, обвиненный после возмущения в Семеновском полку в поощрении солдат к нарушению дисциплины, долгое время находился в Витебске в ожидании суда. Суд постановил лишить его чинов, орденов, дворянского и княжеского званий, а также подвергнуть телесному наказанию. Николай I заменит эти меры годичным заключением в крепости с последующим разжалованием в рядовые и службой в Кавказском корпусе. На Кавказе князь Щербатов решит ничем не отличаться от других нижних чинов, а с производством в унтер-офицеры сообразовываться с положением беднейших из своих сослуживцев. Но в 1829 году он неожиданно умрет.

Драматичной оказалась и судьба Ф. П. Шаховского, мужа его двоюродной сестры. Арестованный по делу декабристов, он был осужден по восьмому разряду и сослан на вечное поселение в Туруханск, где оказал большую помощь пострадавшему от неурожая населению. Ссылка подорвала здоровье и психику Шаховского. В Енисейске, куда его затем перевели, он заболел тяжелым нервным расстройством и сошел с ума. Николай I приказал доставить его в Суздальский Спасо-Евфимьевский монастырь, где тот вскоре, в один год с И. Д. Щербатовым, скончался, оставив Наталью Дмитриевну с двумя детьми.

Несложившаяся жизнь родственников, теперешнее положение которых он обсуждал с теткой, также отразится на умонастроении и физическом состоянии Чаадаева, для которого наступала пора напряженного осмысления пережитого. В деревню он приехал не только для свидания с родственниками и из-за отсутствия своего угла, но и по «философским» соображениям. Здесь он надеялся найти необходимое уединение, чтобы погрузиться в чтение приобретенных за границей книг и переварить полученные там впечатления. Немалую роль играли и «физиологические» мотивы. Один день, проведенный в деревне, помечает он особым знаком слова в книге «Искусство продлевать жизнь», ценнее любых эликсиров. А «эликсиры» ему сейчас очень нужны. Позванивание в ушах, боли во лбу и в затылке, головокружение, учащенное сердцебиение, предчувствие обморока — все эти симптомы вызывают у него тревогу за собственное здоровье и усиливают тоску до такой степени, что никого, даже тетку, не хочется видеть.

Особенно ему тяжело пробуждаться от сна и начинать новый день, когда без всякой видимой причины тяготит любая мелочь и

кажется немилым весь белый свет. По утрам он подолгу лежит в постели, ожидая большего прилива тепла от затопленной дворовым человеком печи, и смотрит в узкое окно, где в холодном сыром тумане поздней осени едва различимы соломенные крыши домишек крепостных Анны Михайловны. Соломенная кровля после красивой черепицы европейских деревень (и тут в его памяти на мгновение мелькнули английские коттеджи) почему-то особенно раздражает его. А это бесконечное, с весны до осени, ковыряние в земле допотопными орудиями, постоянная возня в грязи хлева? Нет для него в таком унылом и печальном однообразии ни красоты быта, ни одухотворенности традиций, ни нравственной целесообразности. И не может быть их у рабов, не имеющих чувства собственного достоинства и живущих для утехи своих господ. В самих лицах крестьян ему видится, как он запишет, «какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низких ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц».

Соломенные крыши вдруг снова приковывают к себе его внимание: ему начинает казаться, что за ними в мглистом тумане разверзается какая-то гигантская пустота, готовая вот-вот втянуть в себя и домишки с их обитателями, и помещицу с ее племянником. Но он знает, что дальше леса, леса, леса, лишь изредка прерываемые открытыми холмами, полями и водоемами, а потом степи, степи, степи, и снова леса на необъятном огромном пространстве. Есть, конечно, там и другие села, и большие города, и Москва, и Петербург. Но и обе столицы представляются ему большой деревней, проглоченной серым туманом беспредельного небытия, и в них он видит ту же тоскливую неопределенность и немоту лиц, только гладко выбритых, а не бородатых, только прозябающих в казармах и департаментах, а не на пашнях и огородах. То же «мимолетное существование особи», забывшей свое прошлое, не думающей о своем будущем и рядящейся в модные одежды европейской цивилизации.

Однако было ли что забывать, мысленно спрашивает себя Петр Яковлевич, была ли у России последовательная история и прочная нить культуры, на основании которых позволительно заглядывать вперед? «Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Слава, новые судьбы

человеческие совершались помимо нас». Такими словами он выразит вскоре свое теперешнее настроение, а сейчас, похоже, отвечает на возникшие вопросы, породившие и другие. Но почему же так происходит, думал Чаадаев, неужели мы всего-навсего «любопытная страница географии земли», «человеческий продукт больших пространств», равно поглощающих и историческую память, и не связанные с ней свежие идеи, как поглотили они и его друзей декабристов? Неужели в мертвящих просторах заключается неоспоримая сила России, ее высокое предназначение?

Не находя решения тоскливых вопросов, Чаадаев дает волю отошедшим было в сторону заграничным воспоминаниям. Подскажут ли они правильный ответ? Когда он думает о Европе, ему чудится, будто узкое окно расширилось и в него вставили цветные стекла с обратным увеличением, сквозь которые заглянули в уже согревшуюся избу яркие лучи жгучего солнца и кусок голубого итальянского неба. Малое пространство занимают страны Запада, размышляет Петр Яковлевич, но как оно разработано, ухожено и окультурено на каждом клочке. Какая четкость контуров и красочность взаимообусловленных обычаев, законов, искусства, науки, философии, политики, религии на всем своем историческом протяжении! Святые, императоры, трубадуры, скальды, схоласты, готические соборы, университеты, крестовые походы, революции, Платон, Христос, Данте, Ньютон, Гёте и многое другое и многие другие теснятся сейчас в его голове. Но ведь должна же быть во всем этом, задает он себе очередной вопрос, и общая цель: «Разве всеобщая история может быть случайной?»

Цепляющиеся друг за друга проблемы наконец отвлекают взор Чаадаева от соломенных крыш, несколько развеивают его мрачное настроение и вытягивают из постели. После тщательного туалета, столь же строго соблюдаемого и в сельском уединении, он завтракает и идет к своим книгам.

Священное писание и его толкования, решения вселенских соборов и катехизисы, теологические словари и истории католических орденов, античные комедии и сочинения греческих мыслителей, древняя, средневековая и новейшая история, «Божественная комедия» и «Потерянный рай», «Илиада» и «Фауст», физиология и анатомия, математика и логика, физика и химия, астрономия, геология, риторика и право, лютеранство и кальвинизм, сектантство и ислам, Монтень, Спиноза, Лейбниц, Сведенборг, Фихте, Кант, Шеллинг, библиографические справочники, энциклопедии по искусству, каталоги выставок — все эти произведения, предметы, авторы, как и многие иные,

привлекаются в помощники, внимательно читаются и изучаются Петром Яковлевичем с карандашом в руках.

Владея основными европейскими языками, читая по-латыни и по-гречески, Петр Яковлевич погружался в отличные друг от друга области знания, отражающие разные грани бытия, и пытался найти в них нить внутренней взаимосвязи и целесообразности, что требовалось ему для решения вопроса о. неслучайности мирового исторического процесса.

Вместе с тем озабоченность философско-исторической метафизикой неразрывно срослась в его душе с личными проблемами. Изучая научный труд Шпурцгейма о сумасшествии, он находит у себя многие признаки опасного заболевания. Сам больной, отчеркивает Петр Яковлевич слова ученого, не способен заметить расстройств в своих умственных действиях, иногда его интеллектуальные возможности могут даже увеличиваться. Не сделав никаких замечаний в абзацах о маньяках, он с большим вниманием читает раздел о меланхоликах, которых их раздражительность и печаль могут привести к нарушениям не только мозговой, но и пищеварительной деятельности. К причинам меланхолии Шпурцгейм относит влияние солнечного жара, продолжительного поста, злоупотребления алкоголем, сидячей жизни и т. д. Но Чаадаева заинтересовывают другие причины, когда речь заходит о гордости и тщеславии, ненасыщаемость которых вызывает у человека беспокойство и подозрительность, капризы и эксцентризм, высокомерие и наглость — вплоть до потери всякого стыда и самоубийства.

В рассуждениях немецкого ученого он находит не только объяснения, касающиеся его состояния здоровья. Они перекликаются с собственными размышлениями Чаадаева этих месяцев, для понимания которых важны его опубликованные и неопубликованные записи, а особенно — прочитанные книги. Отражая черты духовного облика их собирателя, книги вместе с тем — своеобразные собеседники и помощники в его мыслительной деятельности, в повседневном, достаточно одиноком существовании. «На книгах Чаадаева, — замечает исследовательница его библиотеки О. Т. Шереметьева, — мы встречаем наброски частей «Философических писем», афоризмы, различные заметки, отрывки из частных писем, мнения, адреса, рецепты, планы и даты, указывающие или время покупки книги, или время чтения, или вызванное книгой воспоминание. Кроме того, его книги покрыты массой значков, которыми он помечал поразившие его места. Эти карандашные отметки Чаадаев делал самым различным образом: иногда это просто вертикальная черта карандашом на полях справа или слева против текста; иногда к

одной черте прибавляется вторая, рядом или с другой стороны текста. Против особо поразивших мест ставится крест, звезда, круг, похожий на греческую омегу. Иногда на полях появляются отметки вроде музыкального скрипичного ключа. Отдельные абзацы заключаются в простые или фигурные скобки. В местах, по-видимому наиболее нужных, страницы перегибаются пополам, отчеркиваются или перечеркиваются. Отметки такого рода сопровождаются несколькими словами, большей частью на французском языке. Значки эти очень характерны, по ним можно сразу среди тысячи книг отыскать книгу Чаадаева, они имеют, по-видимому, каждый свое особое значение, которое, к сожалению, до сих пор не удалось разгадать и выявление которого могло бы сделаться предметом дальнейшего изучения».

5

Однако без более или менее последовательного изучения подобных следов чтения невозможно вообще понять и духовно-психологическое развитие Чаадаева, и переоценку усвоенных им ранее ценностей, и кристаллизацию его философского миросозерцания в сельском одиночестве. Уже в течение нескольких лет в его душе происходила основательная и незаметная для окружающих перестройка, порожденная, как известно, открывшейся перед ним смысловой пропастью между конечностью (смертностью) его отдельного существования и бесконечностью (вечностью) бытия. Чтобы преодолеть эту пропасть, он стал, по собственному выражению, «искать религию», о чем свидетельствуют и формирование новой библиотеки, и замечания в письмах к брату о природном величии, и своеобразие проявленных интересов во время европейского путешествия, и, наконец, «озарившая» его встреча с Куком, ускорившая решительный выбор. Однако, несмотря на подспудно расширявшийся и целеустремленно накапливавшийся религиозный опыт, зияющая пропасть заполнялась с трудом, что и создавало у него внутреннее напряжение, болезненное состояние, беспросветный меланхолический настрой.

Петр Яковлевич чувствует, что отрава, беспрестанно подмешивающаяся в его существование, заключается во «внутренней силе», в свободной воле, ощущение которой отделяет его от целого, неумолимо влечет любить самого себя, свое отличие и обособленность от других людей. И развитие личного начала, «жизни в себе», показывает ему, что его свободная воля оказывается на поверку прикованной к «земному интересу».

Вот он стремился когда-то к благополучию и счастью, к почестям и славе, и, наверное, хорошо, что не добился их. Ведь даже обыкновенное повышение по службе, вспоминает отставной ротмистр, почему-то возвышало его в собственных глазах, и он вдруг казался себе еще умнее, чем прежде, и вместе с тем делался еще более нечувствительным к происходящему рядом с ним. Если и соболезновал чужому горю, то как-то отчужденно, совсем не ощущая его в себе, сострадание же к ближним иной раз походило на презрение к ним. Когда же ранее не замечаемые слабости этих самых ближних задевали его самолюбие, он не умел их терпеливо сносить.

Перелистывая сейчас страницы книги «Подражание Иисусу Христу», Петр Яковлевич наткнулся на сделанную еще за

границей запись на полях, лишний раз напоминавшую ему о том, что он, говоря словами Пушкина, лишь для себя хочет воли: «Брат, бедный брат!» Испытывая сложное чувство жалости к Михаилу и вины перед ним, он написал тогда грустные слова рядом с подчеркнутыми в тексте и относимыми к себе: «Мы крайне чувствительны к страданиям, причиняемым другими, и не замечаем, как другие страдают от нас».

Выделяя задевшую внимание фразу, Чаадаев подумал, что одна из главных причин такой несправедливости в его отношении к людям заключается в стремлении постоянно находиться в счастливом покое, доставлявшемся ему недавно блестящей карьерой, видным положением в обществе и лестными репутациями. Теперь он видит признаки явной глупости в этом «безумном самодовольстве» и «еще более безумном равнодушии ко всему окружающему», которое находит, пусть и совсем на другой лад выраженное, и в проповедях перечитываемых им в долгие осенние вечера античных философов. Несколько же лет назад он сам постоянно искал подобного состояния, поскольку ощущения от успехов быстро проходили, что вносило в душу Петра Яковлевича сильное раздражение, рождая в ней помыслы о новых достижениях. Но и их осуществление, происходило ли оно в «карьерной», «светской» или «идейной» форме, лишь на время успокаивало непрерывно возбуждавшееся тщеславие, искавшее утешения, когда оно лишалось настоящей питательной среды, в самых незначительных предметах — в старинной мебели, элегантной одежде, изысканных безделушках, в малейших знаках внимания, особенно для него важных, со стороны окружающих.

Разворачивая перед своим умственным взором духовную картину прожитых лет, Чаадаев обнаруживает, как часто случалось ему чрезмерно заботиться о мнении других людей, невольно цепляться за пустые привязанности, от чего зависело его душевное равновесие. Для благоприятных же отзывов со стороны окружающих необходимо было отчасти жить воображаемой жизнью в их глазах и неосознанно приукрашивать свое подлинное существо, что все вместе искажало его отношения с ними. Он кажется сейчас самому себе каким-то актером на светской сцене, играющим чужую роль и испытывающим огромное нервное напряжение для имитации естественности создаваемого образа. Подобное напряжение, замечает автор «Искусства долгой жизни», не только вызывает нарушения в пищеварении и кровообращении, но и сокращает жизнь.

Петр Яковлевич видит и другие, принципиальные для него последствия. В таком состоянии, размышляет он, сознание как бы «сокращает» всякое явление действительности за счет проекции

на него своих индивидуальных особенностей и потребностей, поиска в нем собственных отражений и тем самым искажает его подлинность. Причем ненасытный молох самолюбия, словно вампир, питающийся чужими жизнями, неизбежно требует умаления и обесценивания всего окружающего, ибо без соответствующего приниженного фона незаметны его отличительные и выделяющие черты.

Но это, так сказать, пределы. В реальной же действительности, размышляет Петр Яковлевич, он старался распространять «сокровища гражданственности», сеять мысли об освобождении крестьян от крепостного права и заботиться о благе всего человечества. Но теперь он понимает, что в основе его благих устремлений лежала скрытая эгоистическая выгода усиленного самосохранения, любовь к людям «в своем интересе», а не в их. «Что бы мы ни делали, — обобщает он чуть позднее, — какую бы незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и поступки, руководит нами всегда одна только эта выгода, более или менее правильно понятая, близкая или отдаленная. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего мы желаем для самих себя; в желаемое нами для других мы всегда подставляем нечто свое».

Вот и его незабвенные друзья декабристы, думает Чаадаев, подставили, не сознавая того, «нечто свое» в страстную проповедь свободы. Ну а дальше-то, дальше, восклицает он мысленно, что стали бы с ней делать эти благородные страдальцы, если бы получили возможность «раздать» ее людям? Не пошли бы «свободные люди» дорогой «дикого осленка», подчиняющегося любому прихотливому желанию для своего «счастья», или путем уклонившегося от правильного движения атома, принимающего возможность такого уклонения за самую правильность, за последнюю стадию прогресса? «Предположим, — станет он рассуждать в философических письмах, — что одна-единственная молекула один только раз приняла движение произвольное, что она, например, вместо стремления к центру своей системы сколько-нибудь отклонилась в сторону от радиуса, на котором находится. Что же при этом произойдет? Не сдвинется ли с места всякий атом в бесконечном пространстве? Мало того, все тела стали бы по произволу в беспорядке сталкиваться и взаимно разрушать друг друга. Но что же? Понимаете ли вы, что это самое делает каждый из нас в каждое мгновение? Мы то и дело вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз мы потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым

душевным движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей. Таково зрелище, которое мы представляем всевышнему. Почему же он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмутившихся тварей? И еще удивительнее, — зачем наделил он их этой страшной силой?»

Страдая в поисках ответов на подобные вопросы, Чаадаев воображает себя одним из таких блуждающих атомов, участвующим вместе с мириадами и мириадами других в «раздергивании» Вселенной на части. Когда он в очередной раз углубляется в испещренное карандашом Священное писание, то почти физически слышит описанный в Апокалипсисе «треск мироздания», раздающийся, как ему кажется, в каждую минуту истории и увлекающий в пропасть взбунтовавшиеся своевольные и «счастливые» атомы.

Да, смерть и небытие на конце того пути, по которому он так уверенно шел и по которому продолжают «победно» идти тысячи людей, увлекая за собой другие тысячи. Но почему он так боится смерти? Ведь он еще в юности видел, проливающуюся кровь и не терял бодрости духа. Читая в книге Дроза «Искусство быть счастливым» о человеке, одолевшем благодаря мужеству гибельную ситуацию, Петр Яковлевич вспомнил похожий случай из собственной жизни, поставил на полях специальный знак и дату 1812. Да, в те военные годы, отодвинувшиеся теперь так далеко, будто и вовсе не существовали, он был мужественным, а потом вдруг появился страх, даже ужас перед последним выпадением своего родного и неповторимого «я» из потока жизни в какую-то бездонную пропасть. «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: я! — писал восемнадцатилетний Лермонтов М. А. Лопухиной. — При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи».

Испытывая подобные чувства, Чаадаев одновременно спрашивал себя: постигает ли он причину своего ужаса перед смертью? Вот Марк Аврелий советует спокойно ожидать конца и думать о нем как о простом распаде элементов тела, без боли переходящих друг в друга. А ему, подчеркивающему в книге античного философа рассуждения о самоубийстве, невыносима мысль (почему-то еще более страшная, чем исчезновение, «я») о длительных физических, страданиях и о медленном разложении тела, лишенного привычных элегантных покровов, на которое будут смотреть некогда восхищавшиеся им люди (именно мгновенность агонии, всплывает вдруг в памяти Петра Яковлевича, манила его броситься в пропасть со швейцарской скалы). Однако он не знает, какая смерть и какие страдания ожидают его в будущем, а сам факт уничтожения волнует его

менее. Тогда в чем же более существенная причина страха? Не в том ли, предполагает он, что смерть есть лишь момент в целостном бытии человека, когда тот перестает ощущать себя в своем теле и начинает жить другой, новой жизнью, неизвестность которой и страшит его?

И не мертвы ли мы тогда, переключается мысль Чаадаева на более понятные вопросы, когда считаем, что живем? Часто по утрам, пробуждаясь и глядя по привычке в заиндевевшее окно на уже засыпанные снегом соломенные крыши, он думал, что сон не подобие смерти, а настоящая смерть, ибо нельзя назвать жизнью часы, проведенные без сознания. И не спят ли люди, а стало быть и мертвы, не гиперболически-фигурально, а буквально мертвы, когда отдаются течению обстоятельств, а не созидают их каждое мгновение по законам высшего знания? И сам он долго спал, и жизнь постоянно ускользала от него, пока наконец он не пробудился. «Был мертв и ожил, пропадал и нашелся», — подчеркивает Петр Яковлевич евангельские слова.

6

Однако это пробуждение причиняло острую боль от сознания огромной «внутренней силы», пошедшей по узкому кругу жалкой «жизни в себе». Но именно отчаяние и тоска, которые, как он недавно прочитал, Ламенне называет «особым видом идиотизма», породили в Чаадаеве острое ощущение ничтожества мнящего себя богом независимого и «пагубного я», не только безумно движущегося к небытию, но и на мир смотрящего сквозь призму своего «злого разума». А предельность этого ощущения вдруг неожиданно заставила его почувствовать над собой какую-то «внешнюю силу», требующую «блуждающий» атом подчиниться «всеобщему распорядку» и двигаться по своему радиусу к центру системы. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец», — день и ночь звучал в его ушах глас этой силы, говорившей, что не может быть богом конечное и уничтожимое существо. Поначалу ум Петра Яковлевича не принимал и даже сопротивлялся воздействию этой силы, но непривычные душевные движения, никак не связанные со всем его прошлым опытом, властно напоминали ему, задыхающемуся в чисто человеческих пределах, о ней. Он вдруг чувствовал себя лишенньщ «нам принадлежащей силы», и тогда в его сознание вторгалось «внеземное озарение, которое опрокидывает целиком ваше существование и ставит выше вас самих и всего, что вас окружает», но вместе с тем укрепляет потребность «подчиниться тому, что зависит не от нашей преходящей природы, не от волнений нашей изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных желаний».

Самой настойчивой и покоряющей среди новых истин, пробужденных ощущений и внушенных чувств была для Чаадаева мысль о беспредельном всемогуществе бога, являющегося для него теперь единственно абсолютной и благой реальностью. В черновых записях он замечает, что все его существо восстает против идеи вменить этому всемогуществу какое-либо несовершенство. Ужас же перед таким возможным ограничением он называет путеводной звездой своей философской деятельности.

Теперь вопросы о том, почему всевышний терпит человеческую свободу и не сметет с лица земли «мир возмутившихся тварей», кажутся ему нелепыми, ибо их ставит «искусственный разум», ищущий везде стесняющей логической закругленности и требующий у всеустрояющей и непостижимой божьей воли отчета в ее «непоследовательности». Но почему бог должен соответствовать меркам нашей слабой разумной

способности, рассуждает Петр Яковлевич, мучаясь особенно больным для него вопросом о попустительстве творца в выборе человеком зла? В том-то и дело, набрасывает он в записной книжке, что «великий закон противоречия» растворяется в божественном всемогуществе, «невозможное человеком возможно Богу». Бог «так восхотел» — этот ответ сейчас вполне удовлетворяет Чаадаева.

И для него теперь нет задачи главнее (ее на полях читаемых книг он нередко обозначает восклицанием — O altitudo![17]), как проникнуться расширяющим границы мышления и очищающим душу «созерцанием божественной воли, властвующей в веках и ведущей человеческий род к его конечным целям». А для этого, считает Петр Яковлевич, необходимо повернуться на 180 градусов — полностью освободиться из плена эгоцентрической свободы и автономного самосознания, признать главенство подчиненности над свободой и зависимость устанавливаемого нами для себя закона от общего закона мирового. Тогда, «потерявшись» и «слившись» с «верховной волей», вместо обособленного индивидуалистического сознания человек может усвоить всеобщее и почувствовать себя частью «великого духовного целого». И Чаадаев не устает повторять помеченные особым знаком слова Иисуса Христа («…не чего Я хочу, а чего Ты») и его молитвы («да будет воля Твоя и на земле, как на небе»). Не моя, а твоя, твоя, твоя, твердит он над слабо освещенным догорающей свечой Евангелием, между тем как тетка Анна Михайловна давно уже спит под завывание зимнего ветра в соседней комнате. В одну из таких минут, когда ему кажется, что заветная твердыня вот-вот будет обретена, он записывает на полях сочинения англичанина Доддриджа «Возвышение и развитие в душе религиозных чувств»: «Да, Боже мой, я вошел в себя, заглянул в сокровенную глубину своего сердца и увидел, что хочу покоя лишь для Тебя… дай мне этот покой».

Но желанный покой не приходил. Чаадаев вспоминает, как три года назад спрашивал брата о его духовном самочувствии и взаимоотношениях в Хрипунове с окружающими и писал ему из Парижа: «Лето, полагаю, провел ты довольно весело, в полях и лесах, но как сладил ты с зимою? В твоем покое, чай, стужа страшная, ветер дует и бегают тараканы… Тетушка думала, что тебя замучают дела крестьянские, а брат Якушкин полагал, что ты там с ума сойдешь от скуки, или женишься, или по крайней мере повесишься». Но Михаил был скуп в ответах на эти вопросы и не писал о подробностях сельской жизни. Может быть, расскажет, когда приедет в Алексеевское, куда, как сообщил недавно, собирается вскоре направиться? Петр же испытывает сейчас на

себе трудности бескомфортного деревенского житья: его особенно донимают не столько ветер, стужа и тараканы, сколько скребущие в стенах и шуршащие по углам крысы и мыши. Да и иронически перечисленные тогда варианты жизнеустройства отчасти наполняются для него серьезным содержанием (кроме замученности крестьянскими делами и женитьбы). А главное — он не ладит с самим собой и, соответственно, с ближними.

Чаадаев сильно терзается от того, что хорошо понимает высоту и справедливость евангельских требований, однако не исполняет их, думает одно, а поступает по-другому, ненавидит крепостное право и не перестает пользоваться его плодами. Ведь он, например, не только не способен раздать свое имение нищим, с горечью признается себе Петр Яковлевич, но ему, как помнится, и в юности, все так же не хватает «покоев с меблями», необходимы слуги, нужны деньги. Именно поэтому его притягивают компромиссные и казуистические наставления Сенеки, отмеченные специальным знаком: мудрец не любит богатства, а предпочитает его, открывает ему не сердце, а дом, умеренно пользуется им, а не отбрасывает. Да и как же иначе, решает Чаадаев, когда опять долги, непрерывные долги незримо преследуют его через сотни заснеженных верст и здесь.

Настало время выплачивать братьям Тургеневым занятую у них еще за границей сумму, а где ее взять? И Петр Яковлевич объясняет губернскому прокурору в Москве С. П. Жихареву, бывшему члену «Арзамаса» и будущему автору известных «Записок современника», который по дружбе вел (не всегда порядочно) денежные дела чаадаевских приятелей: «Поверяюсь пред вами, почтеннейший друг, как виновный. Я писал вам, что в генваре пришлю деньги Тургеневых, надеясь к тому времени успеть заложить имение за уплату всех своих долгов. Против моего чаяния случилось затруднение; дело это как-то затянулось, может быть продлится с полгода. И так, к сожалению, принужден воспользоваться милостивым позволением наших друзей и вашим, просить вас позволить мне написать вексель…» Чтобы дело с долгами хоть как-то двигалось, Чаадаев вскоре снова обращается к Жихареву: «Комиссионер мой вручит вам, почтеннейший Степан Петрович, 400 рублей ассигнациями. Это проценты за прошлый год. Прошу вас принять эти деньги и прислать мне вексель на год, — и то и другое, разумеется, почту за великое одолжение. А друзьям нашим потрудитесь написать, что по дружбе нашей требую от них, именно требую, чтобы не отказались от этих денег». Но Петр Яковлевич должен не только своим приятелям-братьям, а потому ему приходится занять в Опекунском совете 61 тысячу рублей.

В посланиях к Жихареву зимой и весной 1827 года он интересуется сроками пребывания в Дрездене Сергея и Александра Тургеневых, говорит о своем желании поехать к ним, радуется появлению печатаемых Вяземским в «Московском телеграфе» путевых заметок Александра. Однако просит передать извинения, что не может написать братьям «от избытка вещей, которые хотел бы им сказать и нужно бы было им сказать, не знаю с чего начать».

Избыток самых разных и противоречивых «вещей» не только мешает Чаадаеву взяться за послание к друзьям, но и вносит в его душу сначала какое-то непонятное, а потом привычное чувство, порожденное чтением книг. «Доказательством неизбежной связи мыслей, — замечает он на втором томе «Опыта об индифферентизме» Ламенне, — являются странные совпадения. Иногда умы, исходившие из того же принципа, как и Вы, встречаются с Вами в своих заключениях». Самое же странное в таких совпадениях было то, что он начинал ощущать бóльшую интимную родственность с авторами рассуждений и сочинений, созвучных его мыслям, нежели с ближайшими людьми. Подтверждением обнаруженного господства идейных уз над кровными служит для него беспрестанно возникающий в сознании образ английского миссионера Кука: «С этим человеком провел я несколько часов, скоро протекших, почти мгновение, и с тех пор не имел о нем никакого известия. И что же? — теперь я наслаждаюсь его обществом чаще, нежели обществом прочих людей. Каждый день воспоминание о нем посещает меня; оно приносит с собою такое волнение, такую сардечную думу, что укрепляет против печалей, меня окружающих, защищает от частых нападений уныния. — Вот общество приличное существам разумным! Вот как души действуют взаимно одна на другую: им ни время, ни пространство препоною быть не может».

В пространстве же и во времени наблюдается несколько иная — «неразумная» картина. Петр Яковлевич сердится, когда тетка с утра начинает материнскую опеку и житейскими мелочами на целый день выбивает его из рабочей колеи. А приехавший брат, даже когда отлучается ненадолго в Дмитров, кажется, сидит перед носом и не позволяет сосредоточиться на заветных мыслях.

Известие о восстании декабристов застало Михаила Чаадаева в Москве. Из рассказов, источник которых не установлен, известно, что его камердинер Захар успел вовремя уничтожать какие-то компрометировавшие хозяина бумаги. И в благодарность за это, по слухам, Михаил женился потом на дочери своего слуги Ольге. Старожилы Ардатовского уезда рассказывали также, что, когда вскоре хрипуновский помещик приехал в свое имение, к

нему тотчас же явился местный дьякон и обвинил его в принадлежности к тайному обществу. Из беседы помещика со служителем церкви выяснилось, что последний имел смутное представление о восстании 14 декабря. Тогда Михаил написал о нем нижегородскому губернатору, и дьякона почему-то взяли под негласный надзор.

Однако ни старания камердинера, ни волнения дьякона не соответствовали тогдашнему уморасположению Михаила Яковлевича, постепенно терявшего связи с товарищами по военной службе и общественной жизни. «Вышед в отставку уже около восьми лет, — отвечал он одному из знакомых, попросившему рекомендацию для своих воспитанников в какой-нибудь полк, — я очень мало сохранил связей с людьми, знакомыми мне в службе… Я их по нескольку лет не видал и не переписываюсь с ними… Они бывали хорошими мне приятелями, но в шесть или семь лет обстоятельства и образ жизни у людей переменяются, почему я и не могу за них ручаться, что обходиться будут с молодыми людьми, вступающими в службу, так, как требует долг человечества и нравственности, и не один только долг службы».

Свойственное декабристам человеколюбие, внутреннее благородство и нравственная чистота причудливо соединялись в характере Михаила Чаадаева со все более усиливавшейся боязнью людей (особенно, по свидетельству Якушкина, женщин), невозможностью найти практическое применение собственным силам. Он уже оставил свой замысел одарить людей системой «нового мира»[9] Петра же, напротив, этот замысел все сильнее манил к себе, и они не находили общего языка. Лишь достаточно далекие воспоминания и горечь утраты старых товарищей прокладывали мостик взаимного понимания между ними. Михаил передал брату «рассказ самовидца», где сообщается о трагической «жеребьевке»: «Преступники на досуге, сорвав травки, бросали жребий, кому за кем идти на казнь, и досталось первому — Пестелю, за ним — Муравьеву, а далее — Бестужеву-Рюмину, Рылееву и Каховскому».

Однако в сознании Петра Яковлевича воспоминания юности и молодости постоянно вытеснялись недавними впечатлениями, в которые брат не мог или не хотел вникать, а сострадательное чувство смешивалось с острым переживанием собственной духовной неустроенности, которым он теперь не собирался особенно делиться с Михаилом, хотя в письмах из-за границы обещал подробно рассказать ему о своих внутренних переменах. Когда же последний пытался давать какие-то советы и упрекать Петра в беспечном отношении к денежным делам, тем овладевали

приступы гнева. «Хотите ли Вы знать, — записывает он в книге Сенеки, — что такое порывы нетерпения, которые считают такими простительными, — Представьте себе целый ряд таких порывов, и Вы поймете, что это такое». И хотя он хорошо представляет, какая бездна открывается на конце этого ряда, и раскаивается в своих «порывах», ему трудно вообразить сейчас, что он мог за границей строить планы о совместной жизни в деревне с теткой и братом, которые иной раз представляются словно живым препятствием на его трудном пути от «счастья» к «совершенству». В сочинении Сенеки он дважды подчеркивает слова о рабах и родственниках, уводящих с прямой дороги искателя подлинной мудрости.

В минуты особенной раздражительности и угнетенности духа Чаадаев подумывает покинуть Алексеевское, Но где жить? Из сохранившихся друзей интимно и «идейно» понять его надлежащим образом мог только Д. А. Облеухов, с которым он часто встречался, наезжая в Москву, после выхода в отставку до отъезда в Европу. Петр Яковлевич оказался тогда свидетелем неполного «обращения» в христианство своего товарища, в чьей душе радость и покой чередовались с печальи и даже отчаянием. Что же теперь происходит с ним, спрашивал себя деревенский отшельник, преодолел ли он кризис, и если да, то как? И нельзя ли побыть у него какое-то время?

Через несколько месяцев по возвращении на родину Чаадаев пишет Облеухову в Калужскую губернию (там находилось родовое имение его жены) и незамедлительно получает ответ, начинающийся такими словами: «Я на днях получил ваше любезное письмо и снова почувствовал великую радость, узнав ваш почерк. Еще большую радость доставило мне ваше признание в том, что вы еще храните по отношению ко мне чувства дружбы. Им я обязан немногими счастливыми моментами первой эпохи своего существования. А сейчас они многое добавляют к моему счастью, так как я действительно счастлив, несмотря на иной раз достаточно тяжелые страдания, вызванные расстройством здоровья…»

Облеухов не раскрывает слагаемые своего счастья (немалую роль играли в нем налаженная семейная жизнь и ожидаемое рождение ребенка) и сразу же переходит к выражению глубокого сожаления о невозможности поселить старого друга в холодном деревенском доме, где протапливаются зимой только две комнаты. Он предпочел бы отказаться от радости желанного свидания, нежели лишить Петра Яковлевича привычного с детства комфорта и необходимых для его хрупкого здоровья удобств. Но весной Чаадаев может располагать двумя большими комнатами, пока заколоченными с осени, и тогда ничто не

омрачит их дружескую встречу.

Однако встреча под Калугой так и не состоялась. К весне и лету настроение Петра Яковлевича несколько улучшилось, завязались относительно теплые отношения с владельцами соседних имений, продолжалась напряженная внутренняя работа. «Обстоятельства никак не дают мне и на самое короткое время выехать из своей пустыни», — замечает он в послании к С. П. Жихареву. Отложил он визит и к вернувшемуся в Москву Облеухову, предлагавшему ему летом две комнаты в своем доме на Тверском бульваре, хотя испытывал сильное желание узнать, что тот понимает под «высокой метафизикой». В августовском письме 1827 года Облеухов напомнил, что еще с их разлуки в 1812 году хранит листок из альбома Чаадаева, где последний просил изложить наиболее ясно принципы дифференциального исчисления. Но он уже давно оставил математику, а листок по-прежнему чист. Не хотел ли бы Петр Яковлевич, чтобы он начертал на нем нечто из высшей метафизики, являющейся в философии аналогом дифференциального исчисления в области математики?

Неизвестно, чем заполнился альбомный листок. Беседа двух друзей состоялась осенью в Москве. В ней Чаадаев мог узнать о духовных метаморфозах энциклопедически образованного математика за истекшие с последнего свидания четыре года. Когда они в тот раз расставались, Петр Яковлевич подарил ему несколько книг немецкого мистика Юнга-Штиллинга, явившегося, по собственному признанию Облеухова, «наиболее действительным орудием, которым Богу благоугодно было воспользоваться для моего спасения». Наиболее интересные и важные для себя рассуждения последний переносит в специальный дневник, где преобладает стремление «согласовать разум с откровенными истинами» в подробном описании посмертных «приключений души», пребывающей в зависимости от привязанности к земным страстям либо при своем теле во гробе, либо в туманной оболочке вокруг земли, либо в чистых областях света и испытывающей соответственно месту разную степень страдания и блаженства.

Вскоре после первого свидания Петр Яковлевич получил от своего постоянно болевшего университетского приятеля последнюю записку: «Любезный друг, я уже четвертый день слег в постель и очень бы желал Вас видеть; если можно, посетите меня…»

Консилиум врачей на сей раз признал положение больного безнадежным, и он хотел проститься с другом и, видимо, передал ему свой «мистический дневник» (до графологической экспертизы

Д. И. Шаховского приписываемый исследователями архива Чаадаева автору «Философических писем»). Однако, как увидим дальше, основная тональность творчества Петра Яковлевича была противоположна умонастроению Облеухова, чья метафизика казалась первому слишком «высокой». Идя вместе до определенного момента, они резко расходились в стороны, и образ мысли друга послужит Чаадаеву своеобразным отрицательным фоном для развития собственной идейной логики.

Смерть Облеухова в декабре 1827 года и кончина шестью месяцами ранее Сергея Тургенева, за которым Петр Яковлевич ухаживал в Дрездене, усилили тоску в его душе. Вместе с тем после годичного пребывания в Алексеевском Чаадаев почти переселился в Москву и часто бывал вместе с братом в семье другого университетского приятеля, сосланного декабриста Якушкина. «К грустным, тяжелым воспоминаниям о самых близких людях, в нем (восстании 14 декабря. — *Б. Т.*) безвозвратно погибших, — пишет М. И. Жихарев об угнетающих Чаадаева впечатлениях, — присоединилось еще печальное, унылое зрелище их осиротелых и огорченных семейств».

Михаил Чаадаев вместе с женой Ивана Дмитриевича Анастасией Васильевной и ее малолетними детьми в напрасном ожидании провел почти месяц в Ярославле, куда должны были этапировать ссыльного. Много лет спустя Якушкин с теплым чувством вспоминал об этом, как он выражался, «прекрасном подвиге» друга, с родственной теплотой заботившегося о его семье. Когда наконец Анастасия Васильевна после третьего приезда в Ярославль осенью 1827 года повидалась с мужем, в первые по возвращении дни все ее помыслы были направлены на то, чтобы любыми путями разделить суровую участь Ивана Дмитриевича. Ее душили слезы, сердце разрывалось от отчаяния, и в таком состоянии понимающим помощником оказался Михаил Яковлевич Чаадаев, на попечении которого она даже собралась было оставить детей и броситься к мужу в Сибирь. «Я люблю говорить о тебе только с Мишелем Ч[аадаевым], — вела она мысленный разговор с Якушкиным на страницах своего дневника, — это единственный человек, который знает тебя так, как тебя нужно знать… он видит тебя таким же, как я вижу тебя, и мне так хорошо от этого, что я не могу сказать тебе…»

Что касается Петра Чаадаева, так же вполне разделявшего горе жены опального друга, то его отношения с ней носили более «философический» характер. «Петр Чаадаев], — записывает Анастасия Васильевна в конце октября 1827 года, — сказал мне, что я говорю только глупости, что слово «счастье» должно быть

вычеркнуто из лексикона людей, которые думают и размышляют. Я тоже сказала ему, что он говорит глупости, не так прямо, как он мне изволил указать, но вполне вежливо». Петр Яковлевич пытается, исходя из своего опыта и исследовательских штудий, убедить Анастасию Васильевну в тщете земных устремлений и в необходимости найти опору в более высокой точке отсчета, рекомендует ей соответствующие книги. «Мне кажется, — замечает она в дневнике, — что он хочет меня обратить. Я нахожу его весьма странным, и подобно всем тем, кто только недавно ударился в набожность, он чрезвычайно экзальтирован и весь пропитан духом святости… Ежеминутно он закрывает себе лицо, выпрямляется, не слышит того, что ему говорят, а потом, как бы по вдохновению, начинает говорить. Маменька слушает его с раскрытым ртом и повторяет вслед за Мольером: «О великий человек»[18], а я говорю потихоньку «Бедный человек»… Он мне говорит только дерзости и этим забавляет меня. Все это вытекает, как говорит маменька, из необыкновенно чистого источника набожности, простоты и всего, что с этим связано…»

7

Маменька, Надежда Николаевна Шереметева, и ее дочь уловили разные грани умонастроения Чаадаева, в чьей душе причудливо для окружающих и мучительно для него самого соединились амбициозность и смирение. Неисчислимы разнообразные отметки и подчеркивания в тех местах прочитанных Петром Яковлевичем книг, где речь идет об умалении претензий «пагубного Я». Для ясного видения истины, пишет он, надо «не смотреть сквозь себя», что представляет для него большую трудность: «Как я ни бьюсь, между мною и истиной вечно становится что-то постороннее; и это постороннее — я сам: истина от меня скрыта только мной. Следовательно, есть лишь одно средство ее открыть — отстранить мое я. Хорошо бы делали, думаю, если бы почаще повторяли известные слова Диогена, сказанные Александру: посторонись, мой друг, ты заслоняешь мне солнце».

Для самоустранения же, прислушивается Петр Яковлевич к наставлениям опытных авторов, необходимо душить в себе малейшие желания, направленные на удовлетворение тщеславия, меркантильных интересов и чувственных наслаждений; давить природную жадность, которая всегда боится упустить имеющееся и беспрестанно зовет к новым обладаниям. Тогда постепенно начнут отступать стремление нравиться, искание похвалы, естественная страсть господствовать и предпочитать свои цели намерениям других людей. Для искоренения амбициозных требований и испорченных удовольствий, встречает Петр Яковлевич не совсем приятную для него рекомендацию, полезны и болезни, и жизненные огорчения: надо только правильно их понимать. А вот советы о необходимости удалиться от светского шума, постигнуть очарование одиночества в непритязательном быту, молчать, если нечего сказать, ему сейчас более по душе.

Есть прямая связь, прослеживает Чаадаев логику авторов религиозных сочинений, между исполнением подобных наставлений, очищающим душу от устремлений к господству, и появлением совершенно особого, не понятного рассудку сердечного чувства, которое, записывает Петр Яковлевич на полях книги Эрскина «Заметки о внутренней очевидности истины откровенной религии», «хотя не объясняет необъяснимое, но дает возможность его почувствовать, и этого достаточно». Чувство «высшей истины» позволяет проникнуться страданиями Иисуса Христа, производящими, замечает он на полях той же книги, «сверхъестественное умиление, которое ничто другое не могло бы

вызвать» и которое рождает в душе подлинную любовь. Только любовь реально изменяет сердце, подрубает корни духовного эгоизма, обновляет нравственную жизнь и совершенно изменяет всего человека, давая ему как бы новое существование. Любое же другое чувство действует лишь в границах «пагубного Я» и не пересоздает его естество.

Встречая подобные мысли, Чаадаев ставит многочисленные плюсы и с особенным вниманием просматривает страницы, где говорится об обратном действии «высшей истины» и любви на природу такого «я».

Однако, прекрасно понимая умом обратную симметрию развития мыслей и чувств, Чаадаев в сердце своем не ощущает достаточного сдвига в единственную спасительную для себя, по его мнению, сторону, той достоверности высшего чувства, которой, как он писал на полях книги Эрскина, достаточно для объяснения необъяснимого. И вот уже в сочинении Сенеки он замечает: «…философия достоверностей. — Необходима доброта Иисуса Христа. — Все имеет начало в совершенной мысли Бога. — Неизбежная недостаточность сил человека — следствие ограниченности его природы. — Отсюда вытекает необходимость помощи Бога. — Как ее получить. — Она для всех, она всеобща и не требует от человека большего, чем могут дать его силы. Она не предполагает сил, она их дает…»

8

Однако Чаадаев замечает, что молитвы и размышления над Евангелием, внося временами твердую уверенность в «высшем чувстве», не растворяют до конца в себе его сердце и даже в сокровенные моменты церковной службы рождают в уме все новые вопросы, властно требующие ответа и расширяющие круг «философии достоверностей». До сих пор его религиозное развитие напоминало опыт обращавшихся к христианству во многих отношениях отличных друг от друга представителей разных эпох и народов. И именно расширение названного круга составляет своеобразие духовно-психологической основы, из которой вырастают особенности философского творчества Чаадаева. Не в силах отказаться от рассудочных доводов, он испытывает настоятельнейшую потребность не только прочувствовать, чем пытался ограничиться ранее, но и объяснить необъяснимое, увидеть невидимое, согласовать притязания разума с «покорной верой»; глобально и неопровержимо свести в своем уме все начала и концы.

На обложке «Опыта о безразличии в делах веры» Ламенне, религиозного писателя, существенно повлиявшего на автора «Философических писем», последний вопрошает: «спасение? как?.. когда, когда оно будет… Заслуга? Как оно происходит, как зарождается?..» А в томе Сенеки Петр Яковлевич несколько зло уточняет направленность метафизического вопроса, обращаясь к каким-то современникам: «А Вы, порождения ехидны, воскреснете ли Вы». Ответа на подобные вопросы он ищет в многочисленных сочинениях, но, не находя его, сердито записывает в одной из книг Гердера: «…этот человек все время твердит нам о воскресении, но так и не говорит, как он его понимает». В ней же, на титульном листе, он перечисляет не решенные для себя проблемы, показывающие, как занимает и волнует его загадка передачи «божественного действия» в реальной истории и в ее конечном завершении: «Дух Бога? Вдохновение? Благодать? Дети Божий? Пророчество? Сверхъестественное? Божественное? Духовное? Ум? Чудеса? Дары Божий? Глас Бога? Святой Дух?»

Евангелие же своей глубочайшей парадоксальностью, неощущаемыми чудесами, многозначными символами и притчами буквально раздирает ум Чаадаева, стремящегося в наиболее важном для него вопросе о воскресении и «царствии божием» логически разрешить волнующую его загадку. Он пытается и не может представить себе (то же бессилие испытывал Петр Яковлевич и при знакомстве с «тонкими метафизическими

наследованиями» Облеухова), как трубит последняя труба и низвергается со своего престола дьявол, как скопцы, мытари и одноглазые блудники, вырвавшие другой, соблазнявший их, вместе с детьми и праведниками возносятся на небо, чтобы преобразиться и пить «новое вино в Царстве Отца Моего». Потустороннее спасение через божественное попрание смерти «позорной» смертью же и начертанный господом путь к нему через созидание «царства божия внутри нас», через всевозможные унижения, страдания и крестную муку неподступно отделяют его ум от всех концов и начал абсолютно непроницаемой тайной и угнетают его дух. «Мрачность христианской философии», — записывает он на одной из страниц сочинения Гердера о философии истории, думая, что английские сектанты более радужно смотрели на земные дела.

Вновь и вновь повторяя любезные его сердцу евангельские слова: «поглощена смерть победою», Чаадаев не может не задавать себе вопрос о том, правильно ли понимают их, когда умопомрачительно соединяют последнее торжество с предельной немощью и относят его в столь непостижимую область. Ведь уже сам факт сотворения мира, думает он, нащупывая главный нерв своей «философии достоверностей», заполнил бездну между «небом» и «землей», а боговоплощение укрепило их неразрывную целостность повсеместным распространением христианства, сила которого наглядно видна в посюстороннем, в отлично от «неотмирного» православия, могуществе католичества, органично вошедшего в «философию достоверностей» русского мыслителя. Позднее, отвергая несправедливые обвинения в переходе в католическую веру, Петр Яковлевич будет объяснять свое пристрастие к «исповеданию Фенслонов, Паскалей, Лейбницев и Бэконов» тем, что оно лучше других «постигает своим здравым практическим смыслом человеческую природу и необходимую в ней связь наружного с внутренним, вещественного с духовным, формы с существом». По его мнению, без такого «реалистического» погружения «горнего» в «дольнее», прямо выводимого на «обоготворении тела человеческого в теле Христовом, таинственно с ним совокупляемым», христианство погибло бы посреди «великой борьбы всякого рода сил и понятий на почве Европы собравшихся, которые составляют новейшую историю мыслящего человечества».

Именно посюсторонняя сила католической церкви, рассуждает Чаадаев, сумела одержать победу в этой борьбе, согласовать разнородные силы и понятия и объединить отличные друг от друга западные народы в одно целое. «Различные страны Европы, — пишет он в первом томе «Новой истории Франции»

Гизо, — кажутся мне провинциями одной страны. В умственном мире Запада нет ни Франции, ни Германии, ни Англии, ни Италии. Есть одна Европа, и только». И это единство, считает он, увеличивая круг «философии достоверностей», цементирует «христианская идея», из которой, осознанно или подспудно, развиваются многие сферы общественной жизни, культуры и просвещения на Западе. Таким образом, европейские достижения (их нет в принявшей православие «неомирной» России) являются, по его представлению, важнейшим промежуточным звеном в той огромной и могучей исторической цепи, начало которой теряется в «верховной воле». И поэтому, думает Петр Яковлевич, трансцендентно завязавшийся узел может и должен развязаться благополучно здесь, на земле, надо только уметь открывать во всей полноте реальной действительности действие изначальной божественной силы, пронизывающей всю мировую ткань и ведущей человеческий род к его конечному предназначению. Но не только открывать, но и отделять ее от своеволия чисто человеческой силы для безошибочности и эффективности дальнейшего продвижения к «земному царству».

Взять, например, науку, эту, как ее называет Чаадаев, «верховную владычицу нашего века», достижения которой он тщательно обобщает в кругу своей «философии достоверностей» и представители которой, по его мнению, необдуманно и неосторожно отрицают христианство на основе неизменяемости законов природы. Но ведь законы природы, возражает он мысленно, являются лишь человеческими понятиями об изученной области бытия и ничего не говорят нам о всем бытии и его грядущем состоянии. Например, если обыкновенно не наблюдается воскресение мертвых, то это не значит, что оно вообще никогда невозможно. Впрочем, сами законы природы, спорит он с отдельными учеными, представляют собой не отражение слепого механизма физико-химических процессов, а выражение определенного этапа во взаимопросвечивающемся развитии духовного и материального миров. «Всякое движение, — записывает Петр Яковлевич в книге Био «Элементарный очерк экспериментальной физики», — бывает вызвано — движение интеллектуальное, как и материальное. В этом смысле и мысль передается. Ясность не что иное, как развитие впервые вызванного Богом движения в неподвижном разуме. Поэтому мыслящие индивидуумы неизбежно должны быть приспособлены для восприятия сообщаемого движения, то есть они должны быть эластичны и сжимаемы — одни тела больше, другие меньше».

По мысли Чаадаева, наука должна осмысленным взором проследить в обратной перспективе свой путь до первого звена в

цепи этого «вызванного» непрерывного движения, откуда прояснится природа ее достижений и станут понятными ее богостроительные, а не богоборческие задачи. «Нельзя сделать открытия, не предполагая заранее, — замечает он на полях сочинения госпожи де Сталь «О Германии», — затем оно доказывается и подтверждается наблюдением, опытом или рассуждением, но всегда необходимо предположение. Открытия, сделанные случайно, не принадлежат ни философии, ни даже человеческому уму, животные их тоже, без сомнеимя, делают, пусть же люди довольствуются этим предчувствием, пусть выражают его, ведь это божественная, пророческая способность человека».

Точно так же, ищет Чаадаев достоверности уже в новой области, обстоит дело и с философией, занятие которой он начинает считать главным делом своей жизни и результаты переоценки которой отразились позднее в его творчестве. Для большинства представителей современной школьной мудрости, забывших «возвышенные наставления» христианства, пишет он, имеется лишь «разум во времени или разум субъективный», созданный свободной человеческой волей. Однако, как и везде, «ничто в мире сознаний не может быть постигнуто совершенно обособленным, существующим самим собою», и «в объективной действительности разум человеческий на самом деле есть лишь постоянное воспроизведение мысли Бога».

Этой «печати абсолютного разума» Чаадаев не находит ни у сенсуалистов, опирающихся на ощущение, ни у Декарта, доверяющего интеллекту. Несмотря на противоположность исходных посылок, они имеют дело не с «дарованным изначала» разумом, а с непосредственно необходимым «здесь» и «теперь» и, стало быть, исследуют не подлинное духовное начало, а искаженное и извращенное человеческим произволом. Насколько далеко может заходить такой произвол, показывают подобные изречения Фихте: «Ты не нуждаешься ни в какой вещи вне себя, ты не нуждаешься даже и в Боге, ты сам — бог для себя, сам ты и спаситель и избавитель твой». Произведения немецкого мыслителя Петр Яковлевич называет «самонадеянной философией всемогущества человеческого Я» и в одном из его сочинений раздраженно пишет по-латыни: «Наглость».

Особое значение в свете различий двух типов разума приобретают для него системы Канта и Шеллинга. Кантом он, как известно, интересовался еще в университете и в последующие годы. Но сейчас, в деревенской глуши, он в совершенно ином повороте внимательно проштудировал приобретенные в Дрездене «Критику практического разума» и «Критику чистого разума»,

своеобразно выразив свои выводы и двойственное отношение. На форзаце первой «Критики…» Чаадаев написал по-немецки, используя евангельские слова об Иоанне Крестителе как предтече Христа: «Он не был светом, но свидетельствовал о свете». Над названием же второй отметил: «Апологет адамова разума». Кант является для него апологетом этого ограниченного греховного разума и неприемлем в той степени, в какой выдвигает принцип самодовлеемости человека и утверждает: «Что есть, человек в нравственном отношении, или чем он должен быть, добрым или злым, как он сам себя сделал или должен сделать». Такие убеждения, по мнению Чаадаева, заставили философа впасть «в ложное учение об *автономии* человеческого разума, о каком-то императивном законе, находящемся внутри самого нашего разума и дающем ему способность собственным порывом возвышаться до всей полноты доступного ему совершенства».

Но вместе с тем, пишет Чаадаев, этот глубокий мыслитель, изучив досконально и добросовестно отвлеченный «искусственный разум», осадил его самоуверенные претензии и показал его предельные границы, чем и приоткрыл путь к свету. «Он выяснил, что разум этот принужден принять два самых глубоких своих убеждения, а именно: существование бога и неограниченное свое бытие, не имея возможности их доказать; он научил нас тому, что существует верховная логика, которая не подходит под нашу мерку и которая вне зависимости от нашей воли над нами тяготеет, и что имеется мир, отличный от нашего, а вместе с тем пребывающий одновременно с тем, в котором мы мечемся, и мир этот наш разум вынужден признать под опасением в противном случае самому ввергнуться в небытие, и, наконец, что именно отсюда мы должны почерпнуть все наши познания, чтобы затем применить их к миру реальному. И все же в конце концов приходится признать и то, что ему было предназначено только проложить свой путь философии и что если он оказал великие услуги человеческому духу, то лишь в том смысле, что заставил его вернуться вспять».

Скромно называя свои размышления лишь логическим следствием кантовских выводов, Петр Яковлевич, однако, уверен, что они и являются подлинным развитием нового пути к тому свету (бог, православный, библейский, намечает он только ему понятное сочетание пунктиров на «Критике практического разума»; единство, бог — на «Критике чистого разума»), свидетельствовать о котором был призван кенигсбергский мудрец. Свет этот, полагает он, воистину воссияет лишь тогда, когда сломаются непереходимые перегородки между «верховной логикой» и «нашими мерками», между миром «вещей в себе» и

миром познаваемых явлений через восхождение к источнику духовного начала, в лоне которого зарождается «высший разум». Если бы Кант, замечает Чаадаев, избрал такую дорогу, то он пришел бы «к идее разума воистину чистого, потому что разум этот был бы простым отражением абсолютного разума и анализ этого разума привел бы его, без сомнения, к последствиям огромной важности». О том, каковы эти последствия и об их важности, Петр Яковлевич будет много говорить в «Философических письмах».

Сейчас же он погружается в творения Шеллинга, посоветовавшего ему, как известно, в Карлсбаде подождать выхода нового сочинения, отражающего его религиозную эволюцию. В ожидании свершения важного события, напишет Чаадаев через несколько лет автору «Системы трансцендентального идеализма», «я прочел, милостивый государь, все ваши произведения. Сказать, что я поднялся по вашим стопам на те высоты, куда в таком прекрасном порыве вознес вас ваш гений, было бы, может быть, самонадеянностью с моей стороны… но мне будет позволено, думаю я, оказать вам, что изучение ваших произведений открыло мне новый мир; что при свете вашего разума мне приоткрылись в царстве мыслей такие области, которые дотоле были для меня совершенно закрытыми; что это изучение было для меня источником плодотворных и чарующих размышлений…»

Шеллинг привлек очередного русского почитателя прежде всего всеобъемлющим характером творческой деятельности, в развитии которой от самопознания через миропознание к богопознанию тот находил черты родственных устремлений. В отличие от Канта, рассуждает Петр Яковлевич морозным солнечным утром, укутавшись в швейцарский плед, Шеллинг гораздо смелее и последовательнее выходил из сферы «пагубного Я» в своих попытках построить абсолютную теорию, которая в универсальном знании на основе частных наук должна раскрыть всеобщие начала природы та духа. «Счастливы государства, — читает он очень близкие и ему наставления немецкого мыслителя, — где люди, зрелые и богатые положительными знаниями, постоянно возвращаются к философии, чтобы освежать и обновлять дух свой и пребывать в постоянной связи с теми всеобщими началами, которые действительно управляют миром ж связуют как бы в неразрывных узах все явления природы и мысли человеческой. Только от частого обращения души к этим общим началам образуются мужи, в полном смысле слова способные всегда остановиться перед проломом и не пугаться никакого явления, как бы грозно оно ни казалось, и вовсе не способные

положить оружие перед мелочностью и невежеством даже тогда, когда, как нередко бывает, многолетняя общественная вялость позволила крайне посредственным людям возвыситься и крайне невежественным сделаться вожаками общества».

Идея мирового единства, в которое натурфилософия и трансцендентальная философия, «реализм» и «идеализма не исключают, а дополняют друг друга в «высшем синтезе» и в которой провиденциально обосновывается исторический прогресс, показывала Чаадаеву, что из системы Шеллинга естественно должна проистечь религиозная философия (идея бога есть самая единичная из всех, записывает он в черновиках), а также стимулировала развитие его собственной мысли.

Однако «тонкий платонизм» этой системы, чей свет пробиваете» сквозь тьму созданных искусственным разумом «философских предрассудков», заставляет Петра Яковлевича написать в своем главном труде такие слова: «Но новое направление пребывает пока на таких эфирных высотах, на которых захватывает дыхание. Оно как бы витает в прозрачном воздухе, порою светясь каким-то мягким и нежным отблеском, порою теряясь в неясных или мрачных сумерках, так что можно принять это за одно из фантастических видений, которые подчас появляются на южном небе, а через мгновение исчезают, не оставляя следа ни в воздухе, ни в памяти. Будем надеяться, что прекрасная и величественная мысль эта вскоре опустится в обитаемые пространства: мы будем ее приветствовать с живейшим участием. А пока предоставим ей шествовать но ее извилистому пути, а сами пойдем намеченной себе дорогой, более надежной». И в упомянутом письмо к Шеллингу отставной ротмистр прямо скажет ему: «…следуя за вами по нашим возвышенным путям, мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда приходили вы.»

9

Испытывая необычное наслаждение от «беспредельных путешествий» по «океану абстракта», Чаадаев вместо с тем ищет, как и в Евангелии, необходимого (эту необходимость он особенно остро почувствовал, читая «мистический дневник» Облеухова) ему заземляющего корректива в отчасти знакомых еще с заграничного путешествия трудах социально ориентированных католических мыслителей Франции, существенно дополняющих его «философию достоверностей». У представителя «глубокой и мечтательной Германии» оставался в тени важнейший срез современной действительности — небывалая устремленность людей к общественной справедливости. И в этом вопросе, как и во всех прочих, необходимо, считает Петр Яковлевич, отличать «божественное действие» от человеческого произвола, ведущего к кровопролитию и чреватого, подобно декабристскому восстанию, неизбежными поражениями. По его мнению, революционные проповедники «забыли» христианское происхождение пропагандируемого ими социального братства. «Обратите внимание на слово «брат», не известное древним, — обращается он к ним на полях одной из книг. — Могущество слова — очевидное действие христианства». И кровь будет бесполезно литься до тех пор, заключает Чаадаев, пока люди не обратятся в своих устремлениях к их истокам и традициям, на прочном фундаменте которых только и можно успешно строить заветное здание чаемого братства.

Подтверждение таким мыслям он находит в сочинениях Балланша (позднее он скажет, что на его симпатиях построил свою философию), духовное развитие которого отчасти напоминает ему собственное. В его книге «Человек без имени» Петр Яковлевич подчеркивает слова о крайнем смешении гнусных страстей и благих намерений в событиях Великой французской революции, когда необразованные ремесленники взялись за созидание судеб человеческого рода, как будто до них не существовало никакого общества. В этом хаосе человеческих мечтаний, оставивших в забвении совокупный опыт прошлого и сломя голову устремившихся в будущее, он видит последствия проявления в политической сфере кантовского «искусственного разума». Видимо, думая о своем сходном поведении в кругу друзей декабристов, Чаадаев особо выделяет то место, где автор говорит о невозможности для него перейти барьер преступления и о собственных попытках умиротворить жаждущих испить из кровавой чаши.

В двухтомном сочинении «Опыт социальной палингенезии» Балланш, повествуя о личных метаморфозах, замечает, что «христианская муза» почти насильно увела его из среды революционеров и заставила обратиться к вековым традициям, через соответствующее преломление которых в различных эпохах до него доносится голос «первоначального откровения». Европа, читает Петр Яковлевич его призывы, не должна отказываться от старых католических устоев и воспоминаний, ибо только с помощью их непрерывной преемственности в новейшей цивилизации возможно ее дальнейшее поступательное движение. Общество, потерявшее свое прошлое, выпадает из цепи совершенствования и не имеет перспективного будущего. Такова воля провидения, через своих избранников ведущая человеческий род к бесконечному прогрессу. Когда бог открылся человеку во времени, отмечает Чаадаев авторское рассуждение, то стал говорить на их языке. И в современную эпоху, когда затухают старые социальные верования и зарождаются новые, нужно уметь находить в этих изменениях единую нить замысла творца, обнаруживающуюся теперь в науке и либерализме, как некогда в Священном писании, требующем сейчас в соответствии с духом времени иных толкований. По убеждению Балланша, внявшего, как считает Петр Яковлевич, «высшему разуму», только «прогрессивный традиционализм», причудливо сочетающий в себе ультрамонтанство и свободолюбие, способен глобально и оптимистически обосновать социальную эволюцию, в которой полнота раскрытия человеческих способностей и станет конечным осуществлением религиозных начал: «Я надеюсь дать синтетическое изложение истории человечества. Я надеюсь показать историю общества от его темного зарождения и таинственной колыбели вплоть до высшего развития его силы и могущества… Осмелюсь оказать, что более широкий исторический синтез невозможен».

Такие задачи французского философа глубоко впечатляли Чаадаева, как волновали его и мысли соотечественника Балланша Ламенне. «Московский Ламенне» (так называл Петра Яковлевича А. И. Тургенев) находит у «французского» столь необходимое ему различие (и не в отвлеченных категориях, а в приложении к социальной действительности) между автономным и покорным «верховной воле» разумом. Главная ошибка современного человека, замечает автор «Опыта о безразличии в делах веры», заключается в том, что ответы на вопросы о своем происхождении, долге и судьбе он ищет в собственном единичном сознании, а не в совокупности с другими людьми и с магистральными традициями, восходящими к началу всех

времен. Замена связующего «божественного закона» разделяющим человеческим разумом является, по его мнению, основным принципом любой революции, обусловливающим остальные, производные и губительные, последствия — распад отделенных друг от друга сознаний и самоуничтожение человечества. В книге Ламенне Чаадаев отмечает любые примеры, подтверждающие этот вывод. В частности, его заинтересовывают наблюдения итальянских врачей, подсчитавших, что в прошлом веке католики, подчинявшиеся освященному традицией авторитету, с ума сходили в восемнадцать раз меньше, нежели протестанты, предпочитавшие опираться на свой «свободный» рассудок.

И чтобы не свихнуться всему человечеству, в сомнениях и колебаниях пребывающему сейчас между развалинами прошлого и сумерками будущего, необходимо, считает французский философ, отказаться от «частного разума» и восстановить, пока не поздно, преемственное развитие «первых истин», вложенных в души людей самим богом. Именно это развитие представляет собой память человеческого рода, с помощью которой, по его мнению, приобретается и постоянно сохраняется его единство, предопределяющее и эволюцию науки, искусства, законодательства, политики, всего общества в целом, в гармонизирующем направлении: «Человеческий род един, как и отдельный человек, хотя различным образом, и даже его прогресс состоит отчасти в постоянном приближении к полному единству, к которому он тяготеет, следуя общему закону бытия».

Петру Яковлевичу нравится стремление Ламенне свести «на больших расстояниях» прошлое и будущее, найти точки соприкосновения и связи между христианством и новейшими проявлениями социально-культурной жизни и установить прочный союз религии и разума.

«Примиряющие», «синтезирующие» мотивы еще во Франции привлекли внимание Чаадаева к произведениям Сен-Симона и, его учеников, отвергавших личное спасение души и проповедовавших в «новом христианстве» сведение «неба» на «землю», соединение религии со всеми проявлениями бытия и эволюции «рода людского как органического целого»: «Вселенная — это и есть бог, ибо все, что заключено в нем — небеса, земля, человечество, — все связано, все едино, все предназначено для общей судьбы, все выражает любовь, вечное Провидение». Провидение же, обращается Сен-Симон к папе римскому, «имеет целью делать людей счастливыми не только на небе, но и на земле. Ваша миссия должна заключаться в том, чтобы организовать человеческий род по основному началу божественной морали…» А вследствие такой организации, как бы

продолжает рассуждение учителя его последователь-соотечественник, «закон прогресса любви и надежды станет священным заветом, ибо христианская догма кары и воздаяния, основанная на представлении о царстве Сатаны, неугодна богу. Человек не проклят, он неуклонно поднимается с низших ступеней на высшие; люди не обречены на одиночество — они могут жить в самом тесном единении, нет отверженных — все избраны».

Подобное умонастроение прочно отложилось в сознании Петра Яковлевича. И когда он вскоре выступит с проповедью своей собственной философии, П. А. Вяземский скажет о нем, что он «сен-симонствует». Чаадаев же не сен-симонствовал, а по мере духовного развития, накопления исследовательских выводов и выработки собственной позиции как бы вытягивал христианство своей; расширяющейся «философией достоверностей» из запредельной области и упорно продолжал искать его проявления во всей совокупности бытия, прежде всего, повторим, в ведущих тенденциях текущей социально-культурной и научной жизни.

10

Постепенно у Петра Яковлевича созревает решение доказать маловерам, как он убеждал себя, «полную разумность» этого учения, для чего необходимо, замечает он на полях читаемых сочинений, «сочетаться с доктринами дня», использовать «рациональную манеру», применить физический, математический и биологический «маневр». Надо показать, думает Чаадаев, что христианство заключает в своем лоне не только науку, философию, историю, социологию, но и самую жизнь в единстве ее таинственной непрерывности и беспредельной преемственности. И только в таком религиозно обусловленном единстве, возражает он, с одной стороны, декабристам, а с другой — сторонникам «чисто человеческого» совершенствования, возможен прогресс, долженствующий, если он подлинный, основываться на христианской идее бесконечности. Готовясь сказать миру свое слово, Петр Яковлевич записывает на полях книги Ремера «Очерк общественной жизни в Европе до начала шестнадцатого столетия»: «Христианство, кроме своего абсолютного значения, обладает еще способностью всегда согласовываться с потребностями своей эпохи, это результат совершенной истины самого его принципа. Бережно и нерушимо сохраняя основное своего учения, оно бесконечно изменяется в своей внешности. Только остается чувство подчиненности единству, принципу всей нравственной и прочей жизни. Это непременное следствие истины, которая всегда царила в христианстве и которой христианский ум должен всем пожертвовать вплоть до своих самых глубоких убеждений».

Подчинение единству, в котором все области человеческой жизнедеятельности сводятся к религиозному началу, соответственно «жертвенно» освещаемому и предопределяющему дальнейший путь должной общественно-духовной эволюции, составляет основную тональность творческих устремлений Чаадаева, его «одну мысль», называемую им в упоминавшемся письме к Шеллингу «великой мыслью о слиянии философии с религией»: «С первой же минуты, как я начал философствовать, эта мысль встала передо мной, как светоч и цель всей моей умственной работы. Весь интерес моего существования, вся любознательность моего разума были поглощены этой единственной мыслью; и по мере того, как я подвигался в моем размышлении, я убеждался, что в ней лежит и главный интерес человечества. Каждая новая мысль, примыкавшая в моем уме к этой основной мысли, казалась мне камнем, который я приносил

для построения храма, где все люди должны будут когда-нибудь сойтись для поклонения, в совершенном знании, явному Богу».

Многие страницы обдумываемых философических писем будут подчинены главной цели — доказательству наличия «первотолчка», «божественного откровения»; «вмешательства Божьего промысла» в бытие природы и духа, без чего, по убеждению их автора, невозможно предположить закругленность мировой жизни, единство ее начала и конца. По логике Чаадаева, только признав божественное откровение в начале мировой жизни и его «покровительство» в ее процессе, можно обосновать царство божие в ее конце, поступательное движение социального прогресса на протяжении всего исторического пути.

Таким образом, наряду и в органической связи со слиянием философии с религией на монопольное право «одной мысли» в рассуждениях Петра Яковлевича претендует и то, что он называл «моей страстью к прогрессу человеческого разума», «предчувствием нового мира», «верой в будущее счастье человечества». Хотя обретение этого счастья и обусловлено самостоятельным творчеством человека, оно возможно, по его мнению, лишь при прямом и постоянном воздействии «христианской истины», которая через непрерывное взаимодействие сознаний разных поколений образует канву социально-исторического развития, основу «всемирно-исторической традиции», способствующей «воспитанию человеческого рода» и поступательному, объективно целенаправленному прогрессу общества. Именно эта истина и является, как он полагал, действительным источником по-настоящему абсолютного прогресса. Потому «учение, основанное на верховном принципе *единства* и прямой передачи истины в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего более отвечает истинному духу религии; ибо он всецело сводится к идее слияния всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к постепенному установлению социальной системы или *церкви,* которая должна водворить царство истины среди людей».

Такие общеметафизические мысли о всеединстве, социально-историческом прогрессе и всеобщем спасении на земле овладевают умом Петра Яковлевича и вскоре получат относительную конкретизацию в его основном труде — в философических письмах. «Да приидет Царствие Твое» — эти слова становятся отныне его девизом, нередко выступающим как своеобразный эпиграф и в частной переписке. Ему кажется, что он нашел ответ на терзавший его вопрос о времени, месте и характере воскресения. «Всегда, везде, для всех», — записывает он

на полях одной из книг Ламенне и ощущает себя проводником идеи такого воскресения. Чаадаеву представляется также, что это ощущение, как бы примиряющее истину и заслоняющее ее «я», завершает многоуровневый поиск достоверности нового мировоззрения и преодолевает колебания между эгоизмом и любовью, счастием и совершенством, смертью и вечной жизнью. Теперь он может «доказанно» и «разумно» подчиниться «верховной воле» и «законно» вести к свету заблудившихся в тупиках собственной свободы непокорных людей.

В восьмом философическом письме Петр Яковлевич станет вопрошать: «Не должен ли раздаться в мире новый голос, связанный с ходом истории, такой, чтобы его призывы не были никому чужды, чтобы они одинаково гремели во всех концах земли и чтобы отзвуки и в нынешнем веке наперебой его охватывали и разносили из края в край вселенной». Он слышал в себе такой голос. Гениальные люди в настоящее время, тщательно подчеркивает он в читаемом сочинении, являются не созидателями, ибо христианский закон освободил их от ненужных изобретений, а соединителями прерванной связи идей и эпох. Особыми знаками он выделяет в просматриваемых книгах рассуждения об «универсальных личностях», «вкусивших дара небесного» и обладающих «способностью будущего», пожертвовавших бессмертию интересами обыденного существования и занятых «вселенскими судьбами». В подобном ряду, состав которого он станет раскрывать в философических письмах, и видит себя Чаадаев, ибо считает, что верно понял христианский закон и пророчества.

Однако подобная самооценка и уверенность в правильном видении высшей истины приоткрывали окошко для постоянно изгоняемых самолюбия и «земного интереса», готовых в любую минуту практической жизни более изощренными путями подтачивать изнутри душевный покой и благородные теоретические устремления, противоположно направленные к единению в любви и к совершенству. Чаадаев ощущал в себе, говоря его собственными словами (в них слышатся отзвуки выучки «вольных каменщиков», хотя в устремлениях Петра Яковлевича налицо полемика с масонской идеей «внутренней церкви»), «верования высшего порядка», которые могут освобождать от внешней обрядности, чтобы не мешать духу возноситься «к источнику всякой достоверности». А «косные громады» масс, замечает он, «движутся слепо, не зная сил, которые приводят их в движение, и не предвидя цели, к которой они влекутся». Соединить разрыв между «слепыми массами» и «новым пророком» и призвана, по мнению Чаадаева, его

пережитая и продуманная философия, отрывочно изливающаяся на бумагу, но не находящая пока соответствующей формы.

Нужен был внешний толчок, не заставивший себя долго ждать.

V глава
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

1

В письме к С. П. Жихареву весной 1827 года Чаадаев не раскрывал обстоятельств, не позволявших ему, как он выразился, даже на самое короткое время удалиться из его «пустыни». Среди них на первом месте, конечно же, стоял неотрывно углубляемый поиск и созидание нового единства собственной личности и мысли. Немалое значение имело и его знакомство с двумя молодыми женщинами — Авдотьей Сергеевной Норовой и Екатериной Дмитриевной Пановой.

Авдотья Сергеевна происходила из старинной дворянской семьи, родоначальником которой считают Родиона Норова, крупного деятеля «великого Новгорода». Она родилась в 1799 году в Саратовской губернии, откуда в 1803 году семейство Норовых переехало на жительство в село Надеждино, находившееся неподалеку от Алексеевского. Норовы, с которыми Анна Михайловна Щербатова уже давно поддерживала теплые соседские отношения и у которых спустя несколько месяцев после приезда Петр Яковлевич стал довольно часто бывать, занимают весьма заметное место в отечественной истории, а во внутреннем строе их жизни наглядно проявляется культурно-психологическая атмосфера дворянского быта, видны общественные противоречия и расслоения. Отец Авдотьи Сергеевны Сергей Александрович, выйдя в отставку с военной службы, предводительствовал дворянством в Саратовской губернии, где находилось его родовое имение. К его собственности также принадлежали многочисленные имения в Тульской, Рязанской и Костромской губерниях. Крепостнические обычаи и замашки отца вызывали у одного из сыновей, Василия, живое неодобрение. Видимо, такую же реакцию выказывал и Чаадаев, поскольку Авдотья замечала в одном из писем к нему: «Мне почему-то кажется, что Вам не очень приятно общество моего отца». В другом письме она просила Чаадаева не думать плохо об отце, которого сама Авдотья, кажется, немного побаивалась.

Совсем иные отношения сложились у нее с матерью, Татьяной Михайловной Кошелевой (в браке с которой Сергей Александрович приобрел влиятельные родственные связи, например с Воронцовыми; именно по совету Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой, бывшей президентом Академии наук, он купил, когда подросли дети, подмосковное имение Надеждино вблизи Дмитрова, куда все семейство перебралось в 1803 году). Проникнутые теплотой и искренностью, отношения дочери и матери напоминают

доверительную дружбу между пушкинской Татьяной Лариной и ее няней. В противоположность мужу добрая, мягкая и отзывчивая, Татьяна Михайловна всем сердцем вникала в жизнь своих детей, особенно тех из них, чья судьба, по ее представлению, складывалась несчастливо, — Авдотьи и Василия.

У нее с Сергеем Александровичем было четыре сына (Василий, Авраам, Александр, Дмитрий) и две дочери (Екатерина и Авдотья). Надо сказать, что все дети Татьяны Михайловны испытывали в разное время неизменно почтительное уважение к Петру Яковлевичу. Екатерина Сергеевна Норова нередко брала книги из богатой библиотеки Чаадаева, посылала ему вместе с матерью и сестрой гостинцы из Надеждина, обращалась к его помощи в затруднительных положениях. Виделся Петр Яковлевич и с ее братом Авраамом, героем Отечественной войны 1812 года, библиофилом, поэтом, переводчиком, высокопоставленным чиновником и будущим министром народного просвещения. Особенно искали общества Чаадаева, как видно из писем к нему Авдотьи, два других ее брата — Дмитрий и Александр, люди небезызвестные в литературных кругах. Его беседы с братьями, кажется, не всегда проходили гладко. Однажды, например, он не принял у себя Александра, за что последний обиделся на него. Впрочем, впоследствии отношения Петра Яковлевича с Александром Норовым, одним из «архивных юношей» двадцатых годов, писавшим стихи и много переводившим с французского (переведенный им мольеровский «Тартюф» в 1832 году был поставлен в Петербурге), примут весьма своеобразный и примечательный оборот, связанный с публикацией первого философического письма.

В нашем распоряжении нет никаких сведений об отношениях Чаадаева и другого брата Авдотьи Сергеевны — Василия Норова. Но возможностей для кратковременного знакомства было у них предостаточно. И в письмах к Петру Яковлевичу Дуня нередко упоминала о переменах в судьбе опального брата-декабриста.

Сама она росла ласковой и общительной, подобно пушкинской Татьяне, с охотой читала французские романы, получая типичное для этого времени домашнее образование, но с годами становилась все более серьезной и замкнутой. В глазах Авдотьи Сергеевны нередко появлялась печаль, она чувствовала себя как-то неукорененной в окружающей действительности, не находила себе определенного места в практической жизни, не видела своего призвания в ней. Физическая слабость и недомогания усиливали ее душевную боль, мысли девушки все чаще стали обращаться к богу. Ей начинает казаться, что именно в служении богу и состоит ее предназначение и что только в

монастыре она сможет обрести смысл жизни и желанный мир в своей душе. Однако жалость к родным, которым ее монастырское уединение причинило бы большие страдания, удерживает Дуню от решающего шага.

В пору таких переживаний вдруг неожиданно, подобно пушкинскому Онегину в доме Лариных, и появился в тиши ее однообразной деревенской жизни тридцатитрехлетний Петр Яковлевич Чаадаев. Уместно отметить здесь, что прекрасная наружность последнего, аристократическая утонченность манер, искусство изысканно одеваться в сочетании с его благородным характером, энциклопедической образованностью, высокими интеллектуальными и нравственными качествами вызывали в обществе, особенно среди женщин, неизменный эффект. Вот как, например, известный поэт Ф. Н. Глинка выразит позднее это в стихах:

Одетый праздником, с осадкой важной, смелой,
Когда являлся он пред публикою белой
С умом блистательным своим,
Смирялось все невольно перед ним!..

Но и в сельской глуши, как и в присутствии «белой публики», Петр Яковлевич не терял ни праздничности одежды, ни важности осанки, ни блистательности ума. Обаянием его личности и беседы и была увлечена, вернее, покорена Дуня Норова, в лице которой он находит поначалу едва ли не единственную слушательницу, с молчаливым благоговением внимавшую его умным речам. О чем же беседовал он с ней? Какими задушевными мыслями покорил сердце робкой и набожной девушки? Своеобразные отношения Чаадаева с женщинами весьма важны для понимания и его характера, и его… философии. Однако в них есть много неопределенного и недосказанного не только в закрытой от посторонних «сердечной» части, но и в чисто внешних проявлениях. Сам он, как видно из приводившегося ранее воспоминания Жихарева, не любил говорить на такие темы. Тем не менее анализ широко известных фактов и архивных сведений позволяет с существенной стороны, через нараставшее самосознание Петром Яковлевичем своей «апостольской» миссии в мире, прикоснуться к своеобразию столь деликатной стороны его жизни.

В прочитанных им сочинениях немало следов внимательного изучения женской физиологии и психологии, помогающих раскрывать содержание его самооценки как «философа женщин». Например, в книге Бернардена де Сен-Пьера он отмечает для себя

рассуждения о духовных особенностях «прекрасного пола», являющегося исключительно таковым лишь для «глазастых» людей. Для тех же, кто имеет еще и сердце, — это и рождающий и кормящий пол, стойко переносящий тяготы подобного положения, набожный пол, несущий своих младенцев к алтарям и вдохновляющий в них религиозные чувства, мирный пол, держащий в своих руках иголку и нитку, а не ружье и шпагу, утешающий больных, а не проливающий кровь ближних. Но ведь это не творческий пол, возражает Петр Яковлевич французскому писателю XVIII века и сразу же находит ответный аргумент своему возражению в ущербности, если его рассматривать под знаком вечности, «мужского» творчества, движущегося в границах «искусственного разума». Своеволие бесконечных «новаторов», думает он, будоражит чувство зависти, соперничества, гордыни и дорогостоящего мечтательства и, следовательно, разъединяет людей, теряющих основной путь единой и непоколебимой мысли и устремляющихся по ее боковым и тупиковым ответвлениям.

В природной женской пассивности и сердечной предрасположенности к самоотречению Чаадаев видит залог развития необходимой, по его представлению, для подлинного творчества способности покоряться «верховной воле». Предрасположенность женского сердца к самоотречению Петр Яковлевич ощущает как точку приложения сил, ведущих к последней степени совершенства человеческого. Для него укрепление этой предрасположенности по-своему аналогично отмеченному им типу гениальности, ничего шумно не изобретающей, а потому в своей тихой подчиненности способной лучше различить голос «высшего разума» и пропитаться «истинами откровения». Женское для Чаадаева является в известной степени антропологическим преломлением религиозного и послушным орудием провидения.

Авдотья Сергеевна оказалась, вероятно, первой в числе тех женщин, которых (как чуть позже А. В. Якушкину) Петр Яковлевич пытался «обратить» и направить их искреннюю религиозность к «совершенству». Они часто гуляют в усадьбе Норовых по лужайке, обсаженной розами и нарциссами, откуда открывается вид на пруды, а чуть дальше — на просторные поля и густые леса. Этот пейзаж особенно нравится Чаадаеву и возбуждает его красноречие, когда он на основании собственного опыта вразумляет простодушную и отзывчивую девушку, терзающуюся сомнениями, переживающую свое внутреннее несовершенство и неустроенность своего жизненного Пути.

Она не совсем понимает монологи наставника о столбовой дороге мирового прогресса и «высшем синтезе», но высокий строй

души Петра Яковлевича, его страстное желание видеть людской мир в гармонии и братском единении находят глубочайший отклик в ее сердце. Она старается вникнуть в незнакомые слова, следить за ходом мыслей. Но из-за отсутствия соответствующих знаний и логической способности Дуня не может поддерживать беседу, а потому почти всегда только слушает Чаадаева, кажущегося ей «примером всех добродетелей», «высшим существом». Когда же тот в задумчивости надолго умолкает, она даже не осмеливается нарушить его молчание, испытывая чувство благоговейного преклонения перед Петром Яковлевичем и преувеличенное чувство собственной малости перед ним. «Зная Вас, — напишет она через три года, — я научилась рассуждать, поняла одновременно все Ваши добродетели и все свое ничтожество. Судите сами, могла ли я считать себя вправе рассчитывать на привязанность с Вашей стороны. Вы не можете ее иметь ко мне, и это правильно, так и должно быть. Но Вы лучший из людей, Вы можете пожалеть даже тех, кого мало или совсем не любите. Что касается меня, то сожалейте лишь о ничтожестве моей души. Нет, я боюсь причинить Вам хотя бы минуту печали. Я боялась бы умереть, если бы могла предположить, что моя смерть может вызвать Ваше сожаление. Разве я достойна Ваших сожалений? Нет, я не хотела бы их пробудить в Вас, я этого боюсь. Глубокое уважение, которое я к Вам испытываю, не позволило бы мне этого сделать…»

Подвигая Дуню к совершенству, «философ женщин» вызвал в ней, сам того не желая, любовь к себе. Авдотья Сергеевна, по словам Жихарева, «была девушкой болезненной и слабой, не могла помышлять о замужестве, нисколько не думала скрывать своего чувства, откровенно и безотчетно отдалась этому чувству, и им была сведена в могилу. Любовь умирающей девушки была, может быть, самым трогательным и самым прекрасным из всех эпизодов его жизни». Основные перипетии «трогательного эпизода» развернутся позднее. Но уже сейчас Петра Яковлевича настораживают полные робкой и нежной застенчивости взгляды вразумляемой им женщины, что не входит в расчеты возложенной им на себя миссии «пророка» и «сеятеля» взыскуемого «царства истины» (в Евангелии и в религиозных сочинениях он специально помечает все рассуждения о преимуществах девства перед супружеством в служении богу). Одновременно эта миссия позволяла Чаадаеву сохранять необходимую дистанцию, сокращение которой налагало бы на него непривычные обязательства и посягало бы на его независимость и свободу. Подобная необходимость входила в известное противоречие со ставимой им задачей преодоления собственного эгоизма,

находившего к тому же обаятельный покой и утешение в общении с представителями мирной стихии вечно женственного.

2

Такое сложное сочетание чувств у Петра Яковлевича проявляется и в его взаимоотношениях с другой соседкой — Екатериной Дмитриевной Пановой (урожденной Улыбышевой), владевшей имением в нескольких верстах от Алексеевского, в селе Орево. В 1827 году она приехала сюда в очередной раз из Москвы вместе со своим мужем В. М. Пановым, впоследствии довольно известным агрономом и автором популярных брошюр по сельскому хозяйству. В годы своего пребывания в Петербурге Чаадаев мог знать ее брата Александра Улыбышева, тогда активно участвовавшего в жизни литературно-театрального общества «Зеленая лампа», члены которого разделяли конституционно-республиканские устремления «Союза благоденствия». На одном из заседаний «Зеленой лампы» Улыбышев прочитал свою публицистическую утопию «Сон», содержавшую программу демократических преобразований. Впоследствии, однако, социальные интересы сменились музыковедческими, и он написал монументальные труды о Моцарте и Бетховене. Сестра Екатерины Дмитриевны Елизавета также была небезызвестна, занималась поэзией и в 40-х годах выпустила ряд сборников на французском языке («Искры и пепел», «Мысли и заботы», «Шипы и лавры»), куда, кроме собственных оригинальных произведений, она включила свои переводы стихов русских писателей, в том числе и Пушкина. В предисловии к одному из сборников она отстаивала право писать на французском языке, возражая Сенковскому, выступившему с критической рецензией на ее предыдущую книгу.

А что же представляла собой сама Екатерина Дмитриевна? В пору знакомства с Петром Яковлевичем ей двадцать три года, вот уже пять лет как она вышла замуж, но детей не имела. М. Н. Лонгинов, называвший ее «молодою, любезною женщиной», а их отношения «близкой приязнью», писал: «Они встретились нечаянно. Чаадаев увидел существо, томившееся пустотой окружавшей среды, бессознательно понимавшее, что жизнь его чем-то извращена, инстинктивно искавшее выхода из заколдованного круга душившей его среды. Чаадаев не мог не принять участия в этой женщине; он был увлечен непреодолимым желанием подать ей руку помощи, объяснить ей, чего именно ей недоставало, к чему она стремилась невольно, не определяя себе точно цели. Дом этой женщины был почти единственным привлекавшим его местом, и откровенные беседы с ней проливали в сердце Чаадаева ту отраду, которая неразлучна с

обществом милой женщины, искренно предающейся чувству дружбы. Между ними завязалась переписка, к которой принадлежит известное письмо Чаадаева, напечатанное через семь лет и наделавшее ему столько хлопот».

И хотя в связи с «хлопотами» Петр Яковлевич станет объяснять московскому обер-полицмейстеру, что часто встречался с Пановой в Ореве, поскольку «в бездействии находил в этих свиданиях развлечение», он не мог не помнить и ласковой отрады женского общества, и непреодолимого желания помочь томившемуся пустотой существу, хотя ее неказистая, лишенная эстетической привлекательности усадьба и отталкивала его, подобно низким домам в Алексеевском. Да и в ее отношениях с мужем он наблюдал отсутствие дружеской близости и теплоты домашнего очага, что пробуждало в его сознании мысли, обобщенно выразившиеся в первом философическом письме: «В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев».

Екатерина Дмитриевна делится с Чаадаевым своим неустройством, жалуется на изнуряющее бессилие перед каждым новым днем, который она не знает чем наполнить, не говоря уже о целой жизни. И лишь поэтические картины сельской местности на закате дня и книги (среди них и философские, например сочинения Платона) уносят на короткое время ее из горькой действительности. Однако, признается Екатерина Дмитриевна, она не может отказаться от бесконечного шума новостей и удовольствий светского общества, что усиливает ее душевное напряжение. Вспоминая исповеди Пановой, Петр Яковлевич напишет: «Я уважаю, я люблю в вас более всего ваше чистосердечие, вашу искренность. Эти прелестные качества очаровали меня с первых минут нашего знакомства».

В отличие от «обыкновенной» Авдотьи Сергеевны Норовой Екатерина Дмитриевна Панова выделяется в глазах Чаадаева из толпы беспокойством духа и развитостью ума, умением находить «прелесть в познании и в величавых эмоциях созерцания». Надо только, думает он, наполнить эти свойства существенным содержанием, ибо молодая женщина не заглядывает в Евангелие, не ходит в церковь и вообще пребывает в полном религиозном неведении. Тогда и многие тяжелые для нее проблемы повернутся к ней другой стороной.

И Петр Яковлевич советует Екатерине Дмитриевне, говоря словами его первого философического письма, «облечься в одежду смирения, которая так к лицу вашему полу», что «скорее всего умиротворит ваш взволнованный дух и прольет тихую отраду в ваше существование». Свои наставления он продолжает

и в Москве, где в 1828 году почти постоянно встречается с супругами Пановыми, одалживая даже, при собственных больших долгах, им деньги. Екатерина Дмитриевна испытывает безграничное уважение к Чаадаеву, характеру которого, по ее словам, свойственна «большая строгость». Она покорена его всецелой поглощенностью высокими мыслями. Ей представляется, что она прониклась «философией смирения» и понимает ее утешительные, хотя и необычные в свете существующей традиции, выводы. «Слыша ваши речи, я веровала, — напишет она ему через несколько месяцев, — мне казалось в эти минуты, что убеждение мое было совершенным и полным».

А Петр Яковлевич чувствует, что чрезмерная экзальтация, с какой вразумляемая им женщина отдается его внушениям, свидетельствует не только о верованиях и убеждениях. К тому же, кажется, и в московском обществе об их встречах поползли двусмысленные слухи, не беспокоящие ее, но весьма настораживающие проповедника. И он делится своими сомнениями с мужем Пановой, оценивающей такой жест как «жестокое, но справедливое наказание за то презрение, которое я всегда питала к мнению света». Еще большим наказанием является для нее постепенное удаление Чаадаева от их дома, хотя беседы с ней, по его собственному признанию, служили ему «утешением в дни крайней нужды».

А «нужда» действительно была крайняя. «Философия достоверностей», казалось бы, должна была завершить процесс внутреннего перерождения Чаадаева, внести в его душу покой и ясность цели. Однако для подобного воздействия ей не хватало, учитывая характер Петра Яковлевича и особенности возложенной им на себя «пророческой» миссии, материального воплощения и соответственно широкомасштабной публичности. «Побочные» обстоятельства, вытекавшие из попыток «обратить» встреченных на жизненном пути женщин, также не способствовали его духовному умиротворению.

Чтобы систематизировать свои воззрения на бумаге, он совершенно уединяется от общества, испытывая одновременно сильнейшие приступы притихшего было раздражения против всего окружающего. «Возвратясь из путешествия, — замечает встречавшийся с ним в Берне Д. Н. Свербеев, — Чаадаев поселился в Москве и вскоре, по причинам едва ли кому известным, подверг себя добровольному затворничеству, не видался ни с кем и, нечаянно встречаясь в ежедневных своих прогулках по городу с людьми, самыми ему близкими, явно от них убегал или надвигал себе на лоб шляпу, чтобы его не

узнавали». Характерно также свидетельство С. П. Жихарева, относящееся, правда, к 1829 году, но в еще большей степени справедливое для 1828-го. Занятый утряской финансовой части отношений между Петром Яковлевичем и А. И. Тургеневым, он сообщал последнему: «Чаадаеву о деньгах ни за что говорить сам не решусь. Он уверял меня, что остался должен только 5 тысяч рублей, которые через год и заплатил мне, и после того ни ко мне не ходит, ни меня к себе не пускает; да лучше сказать ни к кому и никого. Сидит один взаперти, читая и толкуя по-своему Библию и отцов церкви…»

Едва ли не единственное исключение своевольный толкователь Библии и отцов церкви делает для докторов, рекомендующих ему почаще гулять и развлекаться. По словам М. И. Жихарева, не ужившись в деревне с «теткой-старухой», Петр Яковлевич проживал в древней столице «на разных квартирах, в которых проводил время, окруженный врачами, поминутно лечась, вступая с медиками в нескончаемые словопрения и видаясь только с очень немногими родственниками и братом». Новые припадки ипохондрии, реальные и мнимые заболевания заставляют его совмещать воплощение философского замысла с тщательным изучением медицинской литературы. Заглядывая во время прогулок в книжные магазины на Петровке, Чаадаев покупает множество специальных сочинений.

В заботах о здоровье и путях материализации своей мысли Петр Яковлевич, замечает его племянник, «предался некоторого рода отчаянию. Человек света и общества по преимуществу, сделался одиноким, угрюмым нелюдимом… Уже грозили помешательство и маразм…» Сам Чаадаев признается позднее графу С. Г. Строганову, что находился тогда во власти «тягостного чувства» и, как передает его слова графу Д. В. Давыдов, был близок к сумасшествию, «в припадках которого он посягал на собственную жизнь».

3

В таком состоянии Чаадаев получает послание, послужившее внешним формообразующим толчком для систематизации его философии. В очередной раз писала Панова, печалясь по поводу потери его благорасположения и делясь с ним своими затруднениями. Она уверяет Петра Яковлевича, что в пылкости ее религиозного чувства нет фальши и актерского стремления заслужить его дружбу. Оно казалось ей подлинным в его присутствии, но затем, в одиночестве, она вновь начинала сомневаться: «Совесть укоряла меня в склонности к католичеству, я говорила себе, что у меня нет личного убеждения и что я только повторяю себе, что вы не можете заблуждаться; действительно, это производило наибольшее впечатление на мою веру, и мотив этот был чисто человеческим. Поверьте, милостивый государь, моим уверениям, что все эти столь различные волнения, которые я не в силах была умерить, значительно повлияли на мое здоровье; я была в постоянном волнении и всегда недовольна собою, я должна была казаться вам весьма часто сумасбродной и экзальтированной…» Повергая на суд Петра Яковлевича свои объяснения и сомнения, Екатерина Дмитриевна просит его написать несколько слов, но не тешит себя радостной надеждой получить их.

Обдумывая ответное послание и набрасывая первые его строки, Чаадаев не может сдержать наплыва мыслей, в которых метаморфозы собственного сознания и душевное неустройство корреспондентки, различные общественно-исторические ситуации и мировые цели как бы перекликаются и просматриваются друг через друга. Все это подсказывает ему искомый жанр выражения накопившихся проблем, соответствующий не только духовному своеобразию адресата, но и характеру его философии, ее широкому предназначению. Теперь начальные строки переделываются, привлекается дополнительный материал, и личное письмо в процессе работы превращается в знаменитое первое философическое письмо.

Его беседы о религии, обращается Чаадаев к «даме», нигде не упоминая имени Пановой, не принесли ей желаемого мира и успокоения, а, напротив, усилили тоску и беспокойство потому, что она не до конца вышла из прежнего состояния и не вполне вверилась новым мыслям. Посему необходимо стараться безбоязненно и самоотверженно отдаваться сердечным движениям, пробуждаемым религиозным чувством. Чтобы сохранить и закрепить эти движения, рекомендует он, следует

упражняться в покорном служении богу, то есть строго соблюдать все церковные обряды, внушенные высшим разумом и обладающие животворной силой. Надо также и в повседневности сохранять их дух.

Однако, предупреждает автор письма, осуществлению подобных намерений мешает «печальный порядок вещей», отсутствие в русской действительности «необходимой рамки жизни, в которой естественно размещаются все события дня» и которая нужна для нравственного здоровья, как чистый воздух для здоровья физического. Речь идет, разъясняет он, не о каких-то моральных принципах или философских истинах, а «просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека». Именно отсутствие благоприятных внешних условий для должного душевного режима, замечает автор, не позволяет «даме» взрастить брошенные им в ее сердце семена веры, претворить в реальность «величавые эмоции созерцания».

Без убеждений же и правил в повседневном обиходе, незаметно переходит он от личных проблем к социальным, не созревают семена добра и в русском обществе, где, по его мнению, нет развития элементарных идей долга, справедливости, права, порядка и никто не имеет «определенной сферы существования». Но ведь эти идеи и упорядоченность общественного бытия, вводит он элементы контраста, составляют атмосферу современного Запада, стали «физиологией европейского человека». Почему же, повышает Петр Яковлевич интонацию, мы не умеем жить разумно в эмпирической действительности? И почему то, что у других народов обратилось в инстинкт и привычку, нам «приходится вбивать в головы ударом молота»?

Для ответа на подобные вопросы Чаадаев обращается, постепенно расширяя и углубляя сравнительную характеристику России и Европы, к истории, являющейся, по его словам, «ключом к пониманию народов». Идеи, связанные с таинственным смыслом исторического процесса, с ролью отдельных стран, в частности России, в судьбах всего человечества, занимают центральное место в его мыслительной деятельности и составляют главный стержень первого философического письма, для лучшего уяснения своеобразия выводов которого важны высказывания из других философических писем, а также из более поздней переписки. Он выражал на особый лад общую тягу эпохи к историзму, по-своему преломившуюся, как известно, в творческом опыте Пушкина, к философскому осознанию

протекших и грядущих веков. «Современное направление человеческого духа, — писал Чаадаев, — побуждает его облекать все виды познания в историческую форму… Можно сказать, что ум чувствует себя теперь привычно лишь в сфере истории, что он старается ежеминутно опереться на прошлое и лишь настолько дорожит вновь возникающими в нем силами, насколько способен уразуметь их сквозь призму своих воспоминаний, понимания пройденного пути, значения тех факторов, которые руководили его движением в веках». Словно дополняя эти слова, Герцен в начале 40-х годов замечал: «История поглотила внимание всего человечества и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед».

Пытая прошедшее и стремясь угадать пророчества былого, Чаадаев не находил ответов на волновавшие его вопросы в «обиходной», по его выражению, истории. Под обиходной историей он понимал эмпирический, описательный подход к различным социальным явлениям, в котором нет нравственной ориентации и надлежащего смыслового исхода для человеческой деятельности. По его мнению, такая история, в которой со своей совершенно свободной волей действует «только человек и ничего более», видит в беспрестанно накапливаемых событиях и фактах лишь «беспричинное и бессмысленное движение», бесконечные повторения в «жалкой комедии мира».

Подлинная, философски осмысленная «во всем ее рациональном идеализме» история, по мысли Чаадаева, должна «признать в ходе вещей план, намерение и разум», должна постигнуть человека как нравственное существо, изначально многими нитями связанное с «абсолютным разумом», «верховной идеей», «богом», «а отнюдь не существо обособленное и личное, ограниченное в данном моменте, то есть насекомое-поденка, в один и тот же день появляющееся на свет и умирающее, связанное с совокупностью всего одним только законом рождения и тления».

Следует сказать несколько слов о религиозном аспекте философических писем Чаадаева, который, по словам Чернышевского, был «человек глубоко религиозный и все свои мысли подводил под точку зрения назидательного благочестия». Чаадаев называл себя христианским философом, что, по мнению советских исследователей, является точной самооценкой. «Верная оценка Чаадаева, — замечает М. Григорьян, — пожалуй, дана самим же Чаадаевым: он «христианский философ». Такого же мнения придерживается и З. Смирнова: «Чаадаев действительно был христианским философом». Игнорирование христианского

начала ведет к существенному искажению своеобразия всего творчества Чаадаева, о чем напоминает Л. Филиппов: «До сих пор нет-нет да и встретится еще такое мнение: мировоззрение того или иного писателя, общественного деятеля, мыслителя, связанного в своем творчестве с религиозной традицией, содержательно до тех пор, пока оно не касается религии. Однако опыт исторической науки показывает (а изучение взглядов Чаадаева лишний раз подтверждает), что без исследования всего комплекса идей данного мыслителя, в том числе и религиозных», невозможен подлинно научный подход к явлениям культуры.

Следует подчеркнуть нетрадиционность «христианской философии» Чаадаева. В ней не говорится ничего ни о греховности человека, ни о спасении его души, ни о церковных таинствах, ни о чем-либо подобном. Чаадаев делал умозрительную «вытяжку» из библейского материала и представлял христианство как универсальную силу, способствующую, с одной стороны, становлению исторического процесса и санкционирующую, с другой стороны, его благое завершение.

По мнению Петра Яковлевича, в обозримом течении времен такая сила наиболее выпукло проявилась в католичестве, где «развилась и формулировалась социальная идея христианства», определившая ту сферу, «в которой живут европейцы и в которой одной под влиянием религии человеческий род может исполнить свое конечное предназначение», то есть установление земного рая. Таким образом, религиозно-философское и социально-прогрессистское начала, эти два главных ответвления «одной мысли», созревшей у Чаадаева в деревенском одиночестве, сливаются сейчас под его пером в органическое целое, в действительно подлинную «одну мысль» именно через католичество, где им как раз подчеркнуто двуединство религиозно-социального принципа.

В католичестве Чаадаева и привлекало прежде всего соединение религии с политикой, наукой, общественными преобразованиями, другими словами — «вдвинутость» в историю. Герцен отметил в своем «Дневнике»: «В нем (Чаадаеве. — *Б. Т.*) как-то благородно воплотилась разумная сторона католицизма. Он в ней нашел примирение и ответ, и притом не путем мистики и пиетизма, а социально-политическим воззрением». Плеханов, словно перекликаясь с Герценом, замечал по этому поводу, что «общественный интерес выступает на передний план даже в религиозных рассуждениях Чаадаева». По мнению последнего, «Святой Дух был всегда Духом века», что прочно усвоила римская церковь, возложив на себя «обязанность непрестанно

приспособляться к духу времен». Говоря в письме к Пушкину о скором пришествии человека, который должен принести «истину времени», Чаадаев подчеркивал связь католичества с временной насущностью и вместе с тем с перспективностью исторических нужд: «Быть может, на первых порах это будет нечто, подобное той политической религии, которую в настоящее время проповедует Сен-Симон в Париже, или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем. Почему бы и не так? Не все ли равно, так или иначе будет пущено в ход движение, имеющее завершить судьбы рода человеческого?»

Политико-исторический аспект чаадаевского толкования католицизма тесно связан с активным общественно-преобразовательным началом в римской церкви. Он характеризовал католицизм как «религию вещей», а не как «религию форм». «Начало католичества, — убеждает он А. И. Тургенева, — есть начало деятельное, начало социальное прежде всего». Католичество, по мнению Чаадаева, «восприняло Царство Божие не только как идею, но еще и как факт», и в нем, писал он, все способствует поступательному движению к лучшему будущему.

Способствует этому, как считал он, и теократическая мощь католической церкви, позволяющая ей соперничать с государством и силой внедрять в социальную жизнь «высокие евангельские учения» для искомого единства и благоденствия христианского общества. Его не смущало (хотя он не одобрял насилия в современных революциях), что для достижения поставленных целей были использованы противоположные им средства — религиозные войны, костры инквизиции и т. п.: «Мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины целый мир идей, которых мы даже представить себе не можем…»

Образованию этого мира идей, той сферы, в которой живут европейцы и которая включает в себя духовные и материальные достижения Европы, стало возможным, по мысли Чаадаева, лишь благодаря активному развитию социально-политических сторон западного христианства. «Все политические революции были там, в сущности, духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние…» Историческое призвание католической церкви, писал он в послании к княгине С. С. Мещерской, состояло в том, чтобы «дать миру христианскую цивилизацию, для чего ей необходимо было сложиться в мощи и силе… если бы она укрылась в преувеличенном спиритуализме или узком аскетизме, если бы она не вышла из святилища, она

тем самым обрекла бы себя на бесплодие».

Современные европейские успехи в области культуры, науки, права, материального благополучия являлись, по мнению Чаадаева, прямыми и косвенными плодами католицизма как «политической религии», оценивались им как «высота человеческого духа», как своеобразные залоги будущего совершенного строя на земле, его, так оказать, промежуточная стадия. Несмотря на признаваемые им несовершенства западного мира, Чаадаев все-таки склонен был считать, что «царство Божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле».

Каковы же конкретно эти зародыши и элементы? Во-первых, разумная, как ее называл Чаадаев, жизнь в эмпирической действительности: бытовой комфорт и благоустроенность, цивильные привычки и правила и т. п. Во-вторых, высокий уровень просвещения и культуры западных народов, которые «постоянно творили, выдумывали, изобретали». Для их творчества и изобретательства характерны «власть идей, могучих убеждений и великих верований», с помощью которых мудрецы и мыслители духовно вели народные массы к более совершенной жизни, а одновременно и «логическая последовательность», «дух метода». В сокровищнице народов Европы находится много поучительных открытий. В-третьих, наличие отлаженных юридических отношений и развитого правосознания. Поэтому-то атмосферу Запада, «физиологию европейского человека» и составляют «идеи долга, справедливости, права, порядка».

Толкование Чаадаевым христианства как исторически прогрессирующего социального развития, отождествление им «дела Христа» с окончательным становлением «земного царства» послужили ему основой для резкой критики современного положения России и ее истории.

На родине он не находил ни «рамки» и «навыков» повседневного бытия, ни «элементов» и «зародышей» социального прогресса и видел основание этого «печального порядка вещей» в особенностях ее прошлого: «Сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности». Вместо энергичной деятельности и бурной игры духовных сил, когда в молодости западных стран закладывались обычаи, героические предания, искусства, науки и т. д., — тусклое и мрачное существование, злодеяния и рабство. «Ни

пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании… ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы всем о прошлом, который воссоздавал бы его перед вами живо и картинно».

Фундаментальную причину такого положения России Чаадаев видел в том, что, обособившись от католического Запада в период церковной схизмы, «мы ошиблись насчет настоящего духа религии» — не восприняли «чисто историческую сторону», социально-преобразовательное начало как внутреннее свойство христианства и потому «не собрали всех ее плодов», то есть плодов науки, культуры, цивилизации, благоустроенной жизни. «В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу», «мы живем в тесных пределах настоящего, без прошедшего и будущего», ибо стоим «в стороне от общего движения, где развилась и формулировалась социальная идея христианства».

Когда под энергичным воздействием этой идеи складывалась «храмина современной цивилизаций», русский народ обратился за нравственным уставом к византийскому православию, которое легло в основу его воспитания и было воспринято в догматической чистоте и полноте. «Народ простодушный и добрый, — замечал Чаадаев в письме к графу Сиркуру, одному из основных его корреспондентов во Франции, — чьи первые шаги на социальном поприще были отмечены знаменитым отречением в пользу чужого народа, этот народ принял высокие евангельские учения в их первоначальной форме, то есть раньше, чем в силу развития христианского общества они приобрели социальный характер, задаток которого был им присущ с самого начала…» По мысли Чаадаева, первоначальная чистота «высоких евангельских учений» при неразвитости задатков социального характера чрезвычайно усилила в русской нации аскетический элемент, оставляя в тени начала общественно-культурного строительства западного типа.

Общественно-исторической «выдвинутости» православной церкви из построения «земного царства» соответствует и слабость ее теократической мощи, отсутствие светски-правительственного господства: «духовная власть далеко не пользовалась в нашем обществе всей полнотой своих естественных прав».

Для того чтобы выйти из этого существования, достичь европейских успехов и участвовать в мировом прогрессе, Чаадаев считал необходимым России не просто слепо и поверхностно усвоить западные формы, но, впитав в кровь и плоть социальную идею католицизма, от начала повторить все этапы европейской

истории.

Подражательное же заимствование, как он полагал, ведет лишь к перениманию обманчивой внешности, бесполезной роскоши и ложных идей. Например, когда «великий человек» (речь идет о Петре I) возжелал просветить нас и «кинул нам плащ цивилизации», мы подняли его, но «не дотронулись до просвещения».

Таков был путь размышлений, который приводил Чаадаева к решительному выводу в первом философическом письме о вторичности и незначительности судьбы России, о необходимости органической переделки ее самобытной жизни по образцу европейско-католических традиций и достижений. Важно подчеркнуть, что большинство современников и представители многих последующих поколений судили о всей системе мыслей Чаадаева только по опубликованному в 1836 году в журнале «Телескоп» первому философическому письму, составляющему лишь, так сказать, прикладную и «подвижную» часть этой системы, способную выполнять роль как вступления, так и заключения. Пушкин, прочитав в рукописи отдельно от других два философических письма, писал Петру Яковлевичу: «Мне кажется, что начало слишком связано с предшествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми, очень ценными и несомненными для вас, но о которых читатель не осведомлен». Осведомленность читателя в особенностях творчества Чаадаева зависит не столько от знакомства с нашумевшим «телескопским» письмом и тем более с отзвуками на него, сколько от внимания к внутренней логике всех философических писем, а также других его произведений в их неразрывном единстве. Именно эта логика служит настоящей точкой отсчета для сравнения всех последующих поворотов в его воззрениях.

4

Чаадаев довольно долго работал над расширенным ответом Пановой, к моменту его окончания уже прервал с нею знакомство и не отправил послания ничего не подозревавшему адресату. Но эпистолярная форма решительно выбрана, и последующие письма, станет позднее объяснять их автор московскому обер-полицмейстеру, написаны «как будто к той же женщине».

В начале второго философического письма Чаадаев возвращается к наставлениям своей корреспондентке, прерванным философско-историческими размышлениями, и продолжает разговор о «благоустроенной жизни», «навыках сознания», поддерживающих высокий душевный настрой. «Даме» необходима «новая среда бытия», где «свежие мысли» и «новые потребности», внушенные его религиозными беседами, нашли бы действительное приложение и тем самым рассеяли ее тоскливое беспокойство. Он рекомендует ей внести нарядность и изящество в убранство усадьбы, что нужно не для вульгарных чувственных удовольствий, а для всецелого переключения внимания на решение внутренних проблем. Одна из самых поразительных черт нашего бытия, замечает Петр Яковлевич, заключается в пренебрежении каждодневными радостями, доставляемыми окружающей обстановкой. «В этом безразличии к жизненным благам, которое иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поистине нечто циничное. Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения искусства в нашей домашней жизни».

В старых цивилизованных странах Запада, продолжает он, давно сложились бытовые образцы, из которых можно просто выбрать подходящий для соответствующего образа жизни. У нас же, неожиданно повышает Петр Яковлевич интонацию, напоминающую взволнованные антикрепостнические речи его друга Н. И. Тургенева, «вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас,

вот что пятнает все наши добродетели. Отягченная роковым грехом, где она, та прекрасная душа, которая бы не заглохла под этим невыносимым бременем? Где человек, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, он не опротивел самому себе?»

В этих горьких словах, конечно, также отражался личный опыт Чаадаева, чей пламенный гнев против крепостного права находился в «вечном противоречии» с постоянным пользованием его плодами. И не только бремя «проклятой действительности», но и внутренние причины мешали ему привести в соответствие со своими взглядами обыденное существование и отказаться от такого пользования. Однако о внутренних причинах он предпочитает пока не думать и делает небольшой исторический экскурс, снова отмечая социальную пассивность православной церкви, которая «не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой».

Возвращаясь к советам своей корреспондентке, Петр Яковлевич рекомендует ей постоянно искать «мягкое и простое» душевное настроение, при котором «истины откровения» проникают в сердце человека самыми разными путями — и покорной верой, и простодушным благоговением, и вдохновенным размышлением. И здесь Чаадаев отступает от обличительных и пропагандистских интонаций (рассчитанных на эмоциональное воздействие), от историко-публицистических рассуждений.

Уже во втором философическом письме, а также в третьем и четвертом, говоря о параллелизме материального и духовного миров, о путях и средствах познания природы и человека, о пространстве, времени, движении, он разворачивает философские и научные доказательства своей главной идеи: «В человеческом духе нет никакой иной истины, кроме той, которую своей рукой вложил в него Бог, когда извлекал его из небытия». Следовательно, неверно объяснять поступки человека исключительно через его собственную природу, как часто делают философы. И все движение человеческого духа, подчеркивает автор, является «следствием удивительного сочетания первоначальных понятий, брошенных самим Богом в нашу душу, с воздействием нашего разума».

Значительная часть третьего философического письма посвящена как раз рассмотрению подчинения человеческого жизнепонимания высшему началу, внешней силе, своеобразно обнаруживающей свое проявление и в физическом, и в нравственном мире. «С самого первого пробуждения разума эти два рода познания, одно — силы, внутри нас находящейся и

несовершенной, другое — силы, вне нас стоящей и совершенной, — сами собой проникают в сознание человека». Именно высшая внешняя сила, ограничивающая внутреннюю центробежную, рождает в человеке, по мысли Чаадаева, единящие идеи долга, справедливости и т. п. и ставит его в общий порядок зависимости, ведущей людей к осуществлению их предназначения.

Доводя до известного предела ход своей мысли, Чаадаев рисует картину идеальной жизни «совершенной подчиненности», которой человек когда-то обладал и которая обещана ему в будущем. Результат полного отказа от субъективной свободы и беспримесного, ничем не тормозимого подчинения управляющему миром высшему началу представляется ему в самом общем виде как «полное обновление нашей природы в данных условиях» — окончательное преодоление всякого индивидуализма и обособленности людей друг от друга («уничтожение своего личного бытия и замена его бытием вполне социальным») и от всего сущего («предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природой всего мира»). Как видим, с еще одной стороны приходит Чаадаев к центральной своей теме «царства божия» на земле, гармония которого выражается им в абстрактной терминологии («великое слияние нашего существа с существом всемирным», «вечно единое пребывание» и т. п.), напоминающей масонскую.

В четвертом философическом письме, переходя к анализу движения физических тел, Чаадаев заключает, что неумолимая логика заставляет говорить о нем как о следствии находящегося вовне источника. А поскольку движение является всеобщей формой существования любых явлений в мире, то сказанное распространяется на движение умственное и нравственное, также имеющее внешний побудитель. Приведенные аналогии подсказывают ему и вывод: собственные волеизъявления человека немыслимы без соединения с другой высшей силой, подобно тому как притяжение действует в совокупности с силой вержения.

В пятом философическом письме автор как бы подводит итог рассмотрению единства духовного и материального порядков бытия. «Подобно тому, как некая построяющая и непрерывная работа элементов материальных или атомов, то есть воспроизведение физических существ, составляет материальную природу, подобная же работа элементов духовных или идей, то есть воспроизведение душ, составляет природу духовную; и если я постигаю всю осязаемую материю как одно целое, то я должен одинаково воспринимать и всю совокупность сознаний как

единое и единственное сознание».

В представлении Чаадаева, мировое сознание является всеобъемлющей средой, в лоне которой происходит зарождение и передача во времени от поколения к поколению всех идей, живущих в памяти людей. Главным рычагом в такой передаче различных сторон духовного всеединства служит слово, создающее исторические и научные традиции в мировой памяти. «Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее, а между тем — движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире сознания».

Существуют глубинные, как бы бессознательные, традиции, вкладываемые в глубину души «неведомой рукой», зарождаемые в сердце ребенка первой улыбкой матери или первой лаской отца, воспринимаемые вместе с воздухом общественной атмосферы, вливаемые в умы поколений уходящими к историческим истокам представлениями. «Откуда эти представления? Никто этого не знает; предания — вот и все; докопаться до их происхождения невозможно: дети восприняли их от отцов и матерей — вот и вся их родословная». Сама же эта родословная уходит за исторические истоки, к той «неведомой основе», из которой вырастает человеческий дух.

Выражая все новые грани своей «одной мысли», Чаадаев приходит к важному предварительному итогу: «Путем наблюдения действительности мы подошли к тому самому, к чему привело нас и рассуждение: к начальному толчку», без которого ничто бы не двинулось не только в природе, но и в духовном мире, не сформировалось бы ни индивидуальное и мировое сознание, ни общество. Традиция, понимаемая в самом широком и глубоком смысле, и является принципом длительного и непрерывного продолжения мгновенного первотолчка, движущей силой «великого закона постоянного и прямого воздействия высшего начала». Ведь даже, казалось бы, самые индивидуальные наши мысли являются результатом более или менее удачного использования той доли мирового разума, которую мы восприняли в продолжение своего существования. «Лишенные общения с другими сознаниями, мы мирно щипали бы траву, а не рассуждали бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое. Подобно всей остальной части в созданной вселенной, ничего в мире сознаний не может быть постигнуто совершенно

обособленно, существующим самим собою».

Совершенно обособленно, без непрерывного продолжения первичного воздействия, считает автор, нельзя также правильно понять движение и направление исторического процесса, о котором идет речь в шестом и седьмом философических письмах. Провиденциалистская точка зрения, до его мнению, полезна исторической науке, погрязшей в фактособирательстве и в бесплодных выводах либо о необъяснимом «механическом совершенствовании» человеческого духа, либо о его беспричинном и бессмысленном движении. «Человеческий дух для нее, как известно, — снежный ком, который, катясь, увеличивается». Однако накопление любого количества фактов не приводит к полной достоверности, даваемой лишь их распределением, группировкой, пониманием в свете осознания нравственного смысла различных исторических периодов. Только тогда, по мнению автора, историческая наука сумела бы достигнуть единства и высокой поучительности, неизбежно вытекающей «из ясного представления о всеобщем законе, управляющем сменою эпох».

Следовательно, история должна стать составной частью религиозной философии и получать характер истины не от хроники, а от нравственного разума, улавливающего проявления и воздействия «совершенно мудрого разума».

В разные эпохи существуют «избранные умы», в наиболее чистом виде выражающие эти проявления и воздействия вследствие их способности пожертвовать автономной свободой и покориться «начальным внушениям», рожденным «не собственным, а иным разумом». Таковы в свете чаадаевского понимания историзма библейские пророки, эти «герои мысли», которым «Бог доверил хранение первых слов, произнесенных им в присутствии творения» и через которых передается «первичный факт нравственного бытия».

Боговоплощение, отделяющее древний мир от нового, занимает в размышлениях Чаадаева центральное место: оно расширяет и укрепляет религиозное единство истории, распространяя «истины откровения» в широкие народные массы разных национальностей. В начале христианской эры «сходятся все времена» и прошлое человеческого рода сливается с его будущим.

Чтобы это единство не превратилось лишь в воображаемое и не исчезло с лица земли, первоначальное христианство должно было, по мысли автора, бороться с многообразными

проявлениями человеческого несовершенства и пагубным наследием язычества и — соответственно — изменяться в зависимости от особенностей исторического времени и своеобразия потребностей различных народов. Поэтому, по его мнению, для своего самосохранения и торжества христианство встало перед необходимостью пройти «через все фазы испорченности, принять все отпечатки, какие только могла наложить на него свобода человеческого разума».

Примером такой разумной стратегии, преломляющей «божественное действие», служит для Чаадаева папство, которое, несмотря на совершенные ошибки, испытанные невзгоды и нападки неверия, остается для него «видимым знаком единства» и «символом воссоединения».

Именно благодаря католичеству, замечает Чаадаев, произошло необходимое для мирового прогресса объединение европейских народов в одно социальное тело, в одну духовную семью. «История средних веков — в буквальном смысле — история одного народа, народа христианского. Главное содержание ее составляет развитие нравственной идеи, чисто политические события занимают в ней лишь второстепенное место».

История, в понимании Чаадаева, должна не только уяснить «всеобщий закон» смены эпох и суметь выделить в них традиции послушнического продолжения «первичного факта нравственного бытия», но и тщательно перепроверить с этой точки зрения «всякую славу», совершить «неумолимый суд над красою и гордостью всех веков» и отвести в воспитании человеческого рода соответствующие места сошедшим с мировой сцены народам.

Причину непрочности и недолговечности старых цивилизаций Чаадаев видел в том, что в предоставленном там самому себе человеке выдвигается на первый план материальное начало, после удовлетворения которого он более не прогрессирует. И потому «чисто человеческое» развитие неизбежно заканчивается состоянием неподвижности.

Одним из самых поразительных примеров ложности ходячих исторических репутаций, обусловленных школьными привычками мысли и прелестью обманчивых иллюзий, является для него Греция, под пьянящим обольщением «дивных вдохновений гения» которой он и сам когда-то находился, расточая «фимиам на алтари кумиров».

Но когда «понятие об истине» озарило его, вспоминает Чаадаев флорентийские музеи и беседу с Куком, он без уверток принял все соответствующие выводы. В восхищавших его когда-то греческих статуях Петр Яковлевич видит теперь торжество

материально-чувственного принципа, пробуждающего нечистые помыслы и гасящего нравственные устремления. Ибо восхищение такого рода, замечает он, вызывается самой низменной стороной нашей природы, поскольку «мы постигаем эти мраморные и бронзовые тела, так сказать, нашим телом», а «вся красота, все совершенство этих фигур происходит исключительно от полнейшей тупости, которую они выражают; стоило бы только проблеску разума проявиться в их чертах, и пленящий нас идеал мгновенно исчез бы».

Античное искусство представляется автору идеализацией и обожествлением человеческой телесности, «апофеозом материи», в результате чего «наше физическое существо выросло настолько же, насколько наше нравственное существо умалилось». Чаадаев искал еще более суровые слова для пересмотра и осуждения поэзии Гомера, являющейся, по его мнению, прообразом античной скульптура. Настанет день, пророчествует автор, когда имя этого «преступного обольстителя» и «развратителя людей», воспевшего «гибельный героизм страстей, грязный идеал красоты, необузданное пристрастие к земле», будет вспоминаться «с криком стыда». В его глубоко материальной и снисходительной к порокам «поэзии зла» Петр Яковлевич находит удивительное обаяние, убаюкивающее разум и отвращающее его от «воспоминаний о великих днях творения».

Чаадаев видел в целостном духовно-географическом регионе античной культуры страну «обольщения и ошибок, откуда гений обмана так долго распространял по всей земле соблазн и ложь».

Общее отрицательное воздействие античности, вошедшей через науку, философию, литературу эпохи Возрождения жизненно деятельным элементом в состав нашего разума, он считал столь великим, что сомневался даже в своей излюбленной идее непрерывного и последовательного движения человечества к «высшему синтезу»: «Чтобы нам вполне переродиться в духе откровения, мы должны еще пройти через какое-нибудь великое испытание, через всесильное искупление, которое весь христианский мир испытал бы во всей его полноте, которое на всей земной поверхности ощущалось бы как грандиозная физическая катастрофа; иначе я не представляю себе, каким образом мы могли бы очиститься от грязи, еще оскверняющей нашу память».

Каждому народу, замечает он, необходимо рассмотреть различные эпохи его прошлой жизни, уяснить особенности своего настоящего существования, чтобы проникнуться предчувствием и в какой-то степени «предугадать поприще, которое ему назначено пройти в будущем». В ходе подобного осмысления, пишет

Чаадаев, у всех народов выработалось бы подлинное национальное самосознание, заключающее в себе очевидные истины, глубокие убеждения и положительные идеи, освобождающее людей от местных пристрастий и заблуждений и ведущее их к одной цели. Только от такого самосознания, замечает он, а не от успехов просвещения вообще, как полагали декабристы, зависит «гармонический всемирный результат», когда нации могут протянуть друг другу руки в «правильном сознании общего интереса человечества», совпадающего с «верно понятым интересом каждого отдельного народа», поскольку деятельность и частных индивидов, и великих человеческих семейств обусловлена личным чувством обособленности от остального рода, а также осознанием вполне самостоятельного существования и призвания.

«Итак, — подытоживает автор, продолжая аналогию между индивидуальным и коллективным бытием, — космополитическое будущее, обещанное нам философией, не более как химера. Надо заняться сначала выработкой домашней нравственности народов, отличной от их политической нравственности, надо чтобы народы сперва научились знать и ценить друг друга совершенно так же, как отдельные личности, чтобы они знали свои пороки и свои добродетели, чтобы они научились раскаиваться в содеянных ими ошибках, исправлять сделанное ими зло, не уклоняться со стези добра, которою они идут… лишь в ясном понимании своего прошлого почерпнут они силу воздействовать на свое будущее».

Чаадаев как бы возвращается к разговору о личных проблемах «дамы», о противоречиях в судьбах России, о европейских достижениях, но уже на основе всего круга пройденных размышлений. Поэтому первое философическое письмо с его тезисами и выводами может быть прочитано вслед за седьмым, как его логическое продолжение. Поставив ряд волнующих его проблем в эмоционально-публицистическом ключе, автор словно требует их повторного и более широкого рассмотрения в свете беспристрастного знания.

А в восьмом, и последнем, философическом письме, отчасти носящем методологический характер, он пытается несколькими словами объяснить необходимость этого приема в своей проповеди уже не только индивидуальным своеобразием корреспондентки, как в первом, но и особенностями современного духовного состояния вообще. Сейчас, в эпоху хиреющего чувства и развившейся науки, нельзя, по его убеждению, ограничиваться упованием сердца и слепой верой, а следует «простым языком разума» обратиться прямо к мысли, «говорить с веком языком века, а не устарелым языком догмата»,

чтобы с учетом всевозможных настроений и интересов «увлечь даже самые упорные умы» в лоно «христианской истины».

В заключение автор провозглашает: «Истина едина: царство божие, небо на земле, все евангельские обетования — все это не иное что, как прозрение и осуществление соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть мысль самого бога, иначе говоря — осуществленный нравственный закон. Вся работа сознательных поколений предназначена вызвать это окончательное действие, которое есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой природы, разрешение мировой драмы, великий апокалипсический синтез».

6

Удалившись от московского общества в 1828–1830 годах, Чаадаев в основном завершил работу над циклом философических писем, что явилось для него событием огромного значения, дающим сознание личностной полноты и твердости нового социального качества и способным вывести из тяжелого кризиса.

Именно в это время полностью оформился замысел и написана существенная часть цикла, авторское понимание своеобразия которого передано им позднее в послании к Вяземскому: «Точка зрения, с которой я рассматриваю свой предмет, мне кажется оригинальной, и, на мой взгляд, она способна внести некоторую ясность в мир философский, а пожалуй, и в мир социальный, так как оба эти мира в наше время, если только я грубо не ошибаюсь, составляют один общий мир».

Чтобы довести свою убежденность до сознания современников, Петр Яковлевич испытывает потребность искать союзников, разумеется, не только и не столько среди женщин, сколько в главных умственных силах русского общества. Одной из них является бесспорная, но загадочная для Чаадаева сила переменившегося Пушкина, чье чтение «Бориса Годунова» долго не выходило у него из головы. Поэт был, пожалуй, единственным человеком, кем «угрюмый нелюдим», как выражался о Петре Яковлевиче его племянник, не переставал интересоваться в самую тяжелую пору своих переживаний.

Несомненно, Петр Яковлевич весьма рассчитывал на мощь поэтического выражения Пушкина в распространении среди соотечественников своей «одной мысли». Когда-то он «поворотил на мысль» юного поэта, увлекая его либеральными идеями. Но тогда было время, напишет он автору «Бориса Годунова» в 1831 году, «немногого стоившее» — «с ложными ожиданиями, обманчивыми предчувствиями, лживыми грезами счастливого возраста неведения». Теперь же, думает Петр Яковлевич, надо внедрить в сознание зрелого писателя «одну мысль».

Чтобы понять реакцию Пушкина на новую проповедь старого друга, превратившегося из гусарского офицера с задатками Брута и Периклеса, из бесстрастного наблюдателя ветреной толпы в религиозного философа и аналитика мировых эпох, необходимо учитывать определенные особенности творческой личности поэта и его художественных задач в последнее десятилетие жизни.

7

В 1826 году, когда поэт уже завершил работу над шестью главами «Евгения Онегина» и «Борисом Годуновым», произведениями, отметившими переворот в его художественном миросозерцании, он написал программное стихотворение «Пророк»:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье…

Как и Чаадаев, пушкинский «Пророк» при одолении духовного кризиса ощутил неумолимую и спасительную потребность подчиниться «верховной воле», внять голосу «высшего разума». Но полученное им в результате знание «шума» и «звона» бытия включало в себя как раз то, что вытеснялось «философией», «системой», «логикой» Петра Яковлевича. Он узрел в антологических глубинах человеческой души незримую борьбу «гадов» и «ангелов», для выражения которой необходимо особое «слово». И поэт в «Пророке» вместо «празднословного и лукавого грешного языка» получил «жало мудрыя змеи», или, как говорится в другом стихотворении, «божественный глагол». А «божественность» глагола понимается Пушкиным, помимо прочего, как глубина прямоты и высота простоты, облегчающих распознание этой борьбы и отвечающих осознанию собственной миссии. Новое знание и новое слово требуют и нового служения, к которому воззвал поэта «бога глас»:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей

И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

В стихотворениях последующих годов Пушкин ощущает себя «божественным посланником», «небом избранным певцом», а в написанном незадолго до кончины «Памятнике», как бы перекликающемся с «Пророком», вновь утверждает основное своеобразие возможных творческих задач, которым не суждено уже совершиться.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Десять лет назад лира Пушкина получила завет волновать, мучить и жечь сердца людей (царя, друзей, недругов, соотечественников, иностранцев, богатых, бедных, собственное сердце, наконец) таким проникновенным изображением празднословия и лукавства, хвалы и клеветы, которое позволяло бы человеку обостренно ощущать неугасимость на земле совести, любви и подлинной свободы (понимаемой не как отсутствие внешней неволи, а как преодоление тирании собственных страстей) и напоминать о существовании «высшего судии» и «высшего суда». Именно волновать, мучить и жечь, ибо искусство не всесильно и не вносит окончательного просветляющего успокоения в человеческую душу, но помогает сохранению в ней добрых чувств, милосердия, терпения и надежды и предотвращению ее окончательного падения.

Среди обстоятельств, затруднявших течение жизни Пушкина и одновременно питавших его творчество, большое значение имело желание дать, совсем непохожий на юношеский, «урок царям» и тем самым принести родине посильную пользу своим «божественным глаголом».

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу, —

отвечал он друзьям, упрекавшим его без надлежащих положительных доводов за стремление содействовать своим

словом возможным правительственным преобразованиям. Тем не менее правительство с подозрением относилось к Пушкину, за ним установили тайный надзор, осложнявший повседневное существование поэта.

Раздумывая над обстоятельствами собственной и окружающей жизни и мысленно споря с Чаадаевым, поэт не различает среди голосов, слышимых им в «шуме» и «звоне» бытия, такого, который говорил бы ему о возможности окончательного преодоления зла в душе человека и устройства на земле совершенного общежития. Ведь неравенство, по его представлению, заключено в самой глубине человеческой природы, неодинаково распределяющей среди своих детей таланты, физическую силу и многие другие способности.

Вот Петр Яковлевич, уповая на грядущее земное благоденствие, горячо рассуждает о развитии демократических прав, законов и других цивилизующих достижений в современной Европе. Но можно ли считать их «залогами» на взыскуемом пути? Не маскируют ли они изначальное неравенство и тем самым усугубляют его? А тогда так ли уж абсолютна связь этих достижений с христианством, которое в трактовке Чаадаева кажется Пушкину сухой идеологической схемой, лишенной живой жизни, свойственной традиционной религиозности? Ему также кажется, что рассуждения Петра Яковлевича — попытка подогнать таинственную открытость истории под заранее данный «прогрессистский» ответ, который Чаадаев берет на себя смелость приписывать самому богу. И ответ этот отсекает без объяснений так много непонятных, но тем не менее реально существующих в мире вещей, упускает из виду важные стороны конкретного своеобразия постоянно изучаемого поэтом прошлого и настоящего России и Европы.

Своими сомнениями, возражениями и жизненными неурядицами, вплетающимися в осознание новых творческих задач, Пушкин делится с Чаадаевым, когда наезжает в Москву. Последнего раздражает разбросанность и нецелеустремленность собеседника и отсутствие взаимопонимания. Весной 1829 года он советует поэту обратиться «с воплем к небу», чтобы с божьей помощью получить наконец истинное знание собственного предназначения: «Мое пламеннейшее желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинам черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед; говоришь

себе: зачем этот человек мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня? Это поистине бывает со мною всякий раз, как я думаю о Вас, а думаю я о Вас столь часто, что совсем измучился. Не мешайте же мне идти, прошу вас. Если у вас не хватает терпения, чтоб научиться тому, что происходит на белом свете, то погрузитесь в себя и извлеките из вашего собственного существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной вашей. Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг…»

Неоднозначное поведение друга продолжает «язвить воображение» Петра Яковлевича, хотя он еще не потерял надежды приобрести в его лице мощнейшего союзника. Потому он и со своей стороны старается посвящать Пушкина в «тайну времени». Процитированным письмом он сопровождает посылку книги Ансильона «Мысли о человеке, его отношениях и интересах», надеясь, что она пробудит в поэте «несколько хороших мыслей». К последним Чаадаев относил подчеркнутые им рассуждения о современном слиянии религии, философии, искусства, социальных устремлений, о присутствии духа божия во всех движениях человеческого рода, способного к бесконечному совершенствованию.

Когда же в конце 1829 года Петр Яковлевич окончательно отредактировал первое философическое письмо и немедленно стал распространять его, он в ближайший же приезд Пушкина в Москву весной 1830 года ознакомил его со своим произведением.

Исследователи обычно относят к середине 1831 года выход Чаадаева из затворничества и начало его активной проповеди. Однако проповедь началась гораздо раньше, да и затворничество периодически нарушалось, чему способствовали также советы лечивших его врачей рассеиваться и развлекаться. Московское общество постепенно начинало знакомиться в списках с философическими письмами. Д. Н. Свербеев вспоминал: «Я читал некоторые из «Писем» Чаадаева, плод его 2-годичного строгого уединения в Москве, 1827–1829 годах, и все они были довольно запутанного содержания. Но одно из них (1-е), конечно, самое замечательное своей оригинальной резкостью, еще в рукописи и на французском языке производило величайший эффект».

Именно «оригинальная резкость» первого философического письма (мало кто пытался вникать в «запутанное содержание» остальных) и в последующем производила повсюду «величайший эффект», в том числе и среди старых аристократов, которых Петр Яковлевич выделял своим вниманием. И. А. Арсеньев, отмечавший у Чаадаева «чрезвычайно приятную наружность» и

манеры «французского аристократа старых времен», в своих мемуарах рассказывает, как М. М. Солнцев, муж родной тетки Пушкина, привез к ним однажды в дом и «рекомендовал как замечательного по независимому уму человека» Петра Яковлевича Чаадаева, известного сочинителя письма о России, познакомившегося у нас с Николаем Ивановичем Надеждиным, который бывал у нас очень часто и которого отец мой очень любил». Знакомство с Н. И. Надеждиным окажется в грядущие годы чреватым весьма важными для Чаадаева последствиями. Пока же его внимание более занимают другие гости семейства Арсеньевых. Заикающемуся князю Д. М. Волконскому, отставному генерал-лейтенанту и георгиевскому кавалеру, есть что вспомнить. В свое время император Павел Петрович приказал ему снарядить корабль и захватить остров Мальту. Англичане, чей флот оказался по соседству, взяли Волконского в плен, и он, по словам Арсеньева, «оставался в плену, *по собственному желанию*», пока на престол не взошел Александр I. Колоритна была и фигура камергера Солнцева. Толстый, постоянно пыхтевший, чванливый и всем недовольный, он, замечает мемуарист, «спорил, что называется, «до риз положения». Особенно интересен для Петра Яковлевича его недавний знакомец М. А. Салтыков, 63-летний потомок московских бояр, оказавшийся в фаворе у Екатерины II и состоявший действительным камергером при дворе Александра I. Среди гостей, собравшихся к Арсеньевым «на рассольник с рубцами» по случаю первомайского гулянья в Сокольниках, оказался и Пушкин, который попросил Волконского прочитать сочиненные поэтом стихи на Солнцева:

Был да жил петух индейский,
Он цапле руку предложил,
При дворе взял чин лакейский
И в супружество вступил.

«Когда съели жаркое, — пишет И. А. Арсеньев, — и ждали сладкое, Волконский вынул из кармана стихи Пушкина и стал читать их, беспрестанно заикаясь и повторяясь. Эффект оказался грандиозным: сидящие за столом, в особенности Чаадаев, не могли удержаться от гомерического смеха; даже наш француз гувернер Фесшот, невзирая на природную ему серьезность и обязательную «комильфотность», не вытерпел и, желая залить смех, поперхнулся и брызнул красным вином на свою тарелку». Разозленного «петуха индейского» долго отпаивали в соседней комнате холодной водой с сахаром и флер-д'оранжем; а поэт тем

временем «улетучился, очень довольный придуманным им фарсом, чуть было не разыгравшимся крайне печально, потому что Солнцев долго хворал после этого»… Однако уже на следующий день Пушкин повез дядю к своей невесте, сожалея, как он сообщил Вяземскому, что представляет его не «в прежнем виде, доставившем ему камергерство. Она более благоговела бы перед родственным его брюхом».

Весной и летом 1830 года светлые и грустные думы Пушкина целиком заняты предстоящей женитьбой, новыми размышлениями о пройденном жизненном пути, завершившимися осенним творческим всплеском в Болдине. Именно там он станет углубляться и в мысли переданного ему Чаадаевым для прочтения первого философического письма. Пока же Пушкин осторожен в суждениях, старается не беседовать с другом на серьезные темы (что последнему рекомендуют и врачи), советуется с М. П. Погодиным, спрашивая его в июне: «Как Вам кажется Письмо Чаадаева?» Ознакомил Погодина с произведением Петра Яковлевича, видимо, сам поэт, еще полтора года назад рассказывавший ему о знакомстве его автора с Шеллингом (высоко почитавший немецкого мыслителя Погодин тогда вознамерился завести переписку с Чаадаевым, которая отложилась на долгое время и до других обстоятельств). Возможно также, что письмо попало к Погодину через московские салоны, где имело уже широкое хождение и привлекало к автору любопытное внимание.

VI глава
НЕУДАВШАЯСЯ ПРОПОВЕДЬ

1

Сам Петр Яковлевич, едва поставив окончательную дату под первым философическим письмом (1 декабря 1829 года), пожелал иметь читательское мнение о нем. Вероятно, его первым читателем оказался наиболее доступный по обстоятельствам жизни в эту пору, лечивший его знаменитый врач М. Я. Мудров, по словам биографа, уже к началу Отечественной войны бывший «первым медицинским светилом в Москве».

Один из виднейших представителей русской терапевтической школы, с 1819 года директор Клинического института при Московском университете, Мудров внедрял в сознание студентов принципы глубинного изучения и лечения больных с учетом важнейшего значения духовно-нравственных и социально-психологических факторов.

Мудров был глубоко благочестивым и добрым человеком, хотя, говорят, и тщеславился своими работами и званием. Жалея многочисленных бедных пациентов, с богатых, однако, брал изрядные суммы.

Трудно сказать, как складывались в финансовом смысле отношения Мудрова с Чаадаевым. Скорее всего первый оказывал приятельскую услугу второму, с которым мог познакомиться еще в довоенные университетские годы через семейство братьев Тургеневых.

И конечно же, когда страдающий Чаадаев чувствовал себя совсем худо, он обращался за помощью к старому знакомому, который превосходил его по возрасту почти на двадцать лет и которого он особо выделял среди допускаемых в свое одиночество врачей. Знаменитый доктор оказался внимательным слушателем, старавшимся вникать в задушевные идеи своего пациента. В долгие вечера, когда Чаадаев никого, кроме брата и врачей, не допускал к себе, они проводили часы напролет в философических разговорах, в которых больной разворачивал перед умственным взором врача глобальные картины мировой истории, зачитывал отрывки из соответствующих сочинений, рекомендовал и давал книги, необходимые для лучшего понимания его мыслей. «Буду у вас, мой просвещенный друг и истинный благодетель, — писал ему Мудров, готовясь к очередному визиту. — Всегда радостно мне слушать вашу умную беседу…»

Неудивительно, что именно его Петр Яковлевич познакомил в первую очередь со своим отличавшимся «оригинальной резкостью» произведением. Видимо, многое в нем казалось

читателю, чья религиозность носила конкретный и непосредственный характер, странным и непонятным. Но он глубоко чтил обширный ум и добродетельные устремления автора и видел в его необычной логике проявление этих качеств. Не зная, что по существу ответить больному, врач наконец пишет ему в январе 1830 года: «Милостивый государь, Петр Яковлевич, с большим прискорбием расстался с Вашим сочинением, хотел было выписочки сделать. Но опасаюсь Вас, моего почтеннейшего благодетеля, оскорблять долгим непослушанием. Но не я виноват, да и не Вы. Виновато сочинение. Ибо хорошо, ново, справедливо, поучительно, учено, благочестиво, а благочестие ко всему полезно…»

Чаадаев вынужден довольствоваться чисто оценочной реакцией со стороны профессора медицины, хотя, по всей вероятности, рассчитывал на более предметное понимание. Не находит он удовлетворяющего отклика своим идеям и у другого приятеля, Михаила Александровича Салтыкова, с которым он, как мы помним, первого мая пробовал у Арсеньевых в Сокольниках «рассольник с рубцами» и с которым два года назад познакомился благодаря Надежде Николаевне Шереметевой в тяжелых для себя, опять-таки связанных с болезнью обстоятельствах.

Но вначале нужно сказать о Надежде Николаевне, которая до самой смерти в 1850 году будет по-своему любить и жалеть Петра Яковлевича. Н. Н. Шереметева, урожденная Тютчева (родная тетка поэта), мать жены Якушкина, своеобразно выделялась в московском обществе. Выразительную характеристику этой «доброй, умной, но странной», по словам современника, женщине дал ее внук, сын декабриста Евгений: «Бабушка Надежда Николаевна была человек довольно оригинальный. Маленького роста, с совершенно белыми волосами, картавая старушка, — она всегда была одета в черный капот, только причащалась и в светлое воскресенье была в белом тоже капоте. Волосы у нее были острижены в кружок… Она не получила хорошего образования и даже по-французски говорила плохо, но у нее был природный ум, и между друзьями своими она считала Жуковского, Гоголя, Киреевских и Аксаковых. С первыми двумя она была в постоянной переписке. Набожная до чрезвычайности, она соблюдала все постные дни, никогда не пропускала ни одной службы и читала книги только религиозного содержания. Она была очень добра, готова была объехать весь город, чтобы похлопотать о нуждающемся, хотя и малоизвестном человеке, но о сделанном ею добре она никогда не говорила ни слова…»

«Любить вас всегда есть время, и поверьте мне, что люблю вас всем сердцем за вас самих и ваше несчастие…» — говорил ей

Жуковский, имея в виду ее зятя, сосланного в нерчинские рудники. Вместе с дочерью и двумя ее малолетними детьми она провожала бричку со следовавшими в Сибирь декабристами из Ярославля.

Еще когда Чаадаев завершал заграничное путешествие, Шереметева хлопотала насчет смягчения возможных мер его наказания. Когда же он стал иногда посещать ее после переезда из Алексеевского в Москву, она с болью в сердце наблюдала за его болезненным состоянием и решила познакомить Петра Яковлевича с М. А. Салтыковым. В очередном послании (ее неопубликованные письма к ссыльному декабристу хранятся в архиве Якушкиных) Надежда Николаевна несколько сумбурно писала зятю о его друге: «С ним стал нянчиться Михаил Александрович Салтыков. Сколько нянчился — пересказать невозможно. Когда он года два никого, решительно никого не видал, кроме брата, заперев двери… в такой ипохондрии, что ничего говорить не желает, даже самой пустой книги не понимает, и уже тут он рад был кого-нибудь видеть, лишь бы не быть одному. Я ему советовала с Михаилом Александровичем познакомиться, в твердом быв уверении, что тот его не оставит. И Михаил Александрович именно как с маленьким ребенком нянчился и выводить его начал в свет, уже Петр Яковлевич всякий день непременно бывал у Михаила Александровича. Нынче два или три месяца не бывает…»

Салтыков рос в вольтерьянской среде, воспитывался в первом кадетском корпусе при графе Ангальте, служил затем при князе Потемкине, а в год рождения Чаадаева уже имел звание полковника. «Замечательный умом и основательным образованием, — характеризовал его в своих мемуарах Д. Н. Свербеев, — не бывав никогда за границей, он превосходно владел французским языком, усвоил себе всех французских классиков, публицистов и философов, сам разделял мнения энциклопедистов и, приехав в первый раз в Париж, до книгам и по планам так уже знал все подробности этого города, что изумлял этим французов. Салтыков, одним словом, был типом знатного и просвещенного русского, образовавшегося на французской литературе, с тем только различием, что он превосходно знал и русский язык».

Желая попасть в дипломаты, Михаил Александрович долго оставался не у дел в Петербурге. И лишь в 1828 году покинул его, став сенатором в московском департаменте. Салтыков посещал собрания в салоне у А. П. Елагиной, матери Киреевских, общался и с другими представителями московской интеллигенции, но ранее и теснее всех сблизился с Чаадаевым.

Петр Яковлевич обрушивает на старого аристократа всю тяжесть своей тревоги и отчаяния: то говорит о близящейся смерти и пытается завещать ему оставляемые права и имущество; то собирается навеки заточить себя в монастыре (кстати, Достоевский в планах «Жития великого грешника» помещает Чаадаева именно в монастырь). А Михаил Александрович советует ему не искушать провидения и не заглядывать в будущее, тайны которого людям знать не дано; к тому же малодушие и мрачные предчувствия, более иллюзорные, нежели реальные, только усиливают физические и нравственные недомогания Петра Яковлевича. Не ограничиваясь моральной поддержкой, Салтыков постоянно навещает его, исполняет различные поручения, сносится с врачами и родственниками и, конечно же, посвящается в метафизику всеединства и «царства божия» на земле.

Петра Яковлевича одолевает сильный соблазн обратить в свою веру «вольтерьянца» и поклонника французских энциклопедистов. И делает он это, видимо, с большим нажимом, используя разные средства. «Проповедуйте и патронируйте, если это ваше призвание, — пишет ему в 1830 году «ученик», недовольный его «ораторскими» приемами, — но не требуйте от своих друзей принимать ваши идеи и логику по единственному вашему предписанию. Какое у вас право исключать из их языка, вплоть до отдельных выражений, то, что вы исключили из вашего собственного словаря? Для чего необходимо всегда соединять в ваших беседах горечь и насмешку… сарказм и осмеивание?.. Как примирить благородство характера и мягкость вашего естества с едкостью в ваших речах, чуть только разговор переходит на иные вещи, нежели суп и рагу? Проповедуют ли мудрость с молнией в руках?.. Я вас призываю для блага той истины, хранителем которой вы себя считаете и которая светит самым живым блеском в ваших добродетелях и в вашей доктрине, прислушаться более к вдохновениям вашего сердца, а не воображения. Вы уважите самолюбие своих друзей и не будете заставлять их избегать ваших бесед…»

Постепенно Салтыков начинает осознавать дружбу с Чаадаевым как «почетный гнет», когда со стороны последнего проявляется диктатура власти, фантазии и непостоянства, а от него требуются лишь снисходительность, покорность и многочисленные свидетельства восхищения «учителем». Ему кажется, что «молодой мудрец» чрезмерно подчеркивает свое превосходство над стариком, пытавшимся было, но не сумевшим приноровиться к подобным отношениям. «Причудливые комбинации Природы», как он называл противоречия в характере

Чаадаева, домогают его не только через «зуд проповеди», но и через бытовые претензии и эгоистическую беспечность: «Вы, хозяин своего времени, освобождаетесь от собственных обязанностей и переносите их на меня. Употребляйте его иногда на предметы, которые не входят в вашу так называемую миссию и ставят вас в отношение с презренными интересами, с нами, обычными людьми, не способными возвыситься, как вы… И в дружбе, и в философии вы проповедуете учение, созданное для небольшого числа избранных. Ваши чувства и идеи новы для меня и превосходят мое слабое разумение…»

Процитированное из неопубликованных эпистолярных материалов письмо Салтыкова 1830 года говорит о своеобразной двойственности тогдашнего положения Петра Яковлевича, который распространяет излюбленные идеи и не находит желанного отклика на них, спасается от эгоизма, и не преодолевает его, стремится на люди и избегает их. Надо заметить также, что терпение Михаила Александровича не так уж трудно было нарушить, посколько сам он страдал загнанным глубоко внутрь самолюбием и неизжитой ипохондрией. Они часто ссорятся и мирятся, но вскоре станут встречаться все реже.

2

На снимаемой Чаадаевым квартире в доме Решетникова, находившемся между Петровкой и Дмитровкой, Салтыков знакомится с Михаилом Чаадаевым, которому также будет помогать в жизненных затруднениях. Последний в конце 20-х годов почти постоянно жил в Москве, лишь изредка наезжая к тетке в Алексеевское, и терпеливее брата сносил непроходившую ипохондрию.

Трудно сказать, с какими горестями боролся Михаил Чаадаев: страдал ли от невозможности развить и воплотить в реальность «новый мир» своих идей или от собственного внутреннего несовершенства, испытывал ли неудовольствие от социальной неукорененности или от неустроенности личной жизни, огорчался ли денежными затруднениями или расстроенным здоровьем. Во всяком случае, по его собственным словам, он старался «сохранить, сколько еще остается, бодрости», несмотря «на разного рода заботы и плохое здоровье».

Среди этих забот были более и менее приятные. К первым следует отнести поддержку Михаилом Яковлевичем Анастасии Васильевны Якушкиной, продолжавшей безутешно горевать и рваться к мужу в Сибирь. Он успокаивает ее, как может, хотя подобные успокоения не приносят реальных изменений в ее положении; ей становится чуть веселее, и мерцание несбыточной надежды немного облегчает стесняемую рыданиями грудь. Михаилу нравится играть с детьми Анастасии Васильевны. «А всякий раз, когда Михаил Яковлевич видит Вячеслава или Евгения, — пишет Надежда Николаевна Ивану Дмитриевичу, — радуюсь смотреть на него, с каким чувством он глядит на ваших детей и как их до последней безделицы расспросит».

В другие, менее приятные, обязанности Михаила входили заботы о денежных делах брата. «Дела его, — пишет ему тетка о племяннике-философе, — кажется, не так исправны, все нуждается в деньгах, а куда проживает, не ведаю, но, кажется, он очень расстроен в своих финансах». Как бы пытаясь ответить на недоумения Анны Михайловны, Екатерина Гавриловна Левашева, в доме которой вскоре поселится Петр Яковлевич, весьма своеобразно, с чисто женским пристрастием будет объяснять в письме к своему двоюродному брату И. Д. Якушкину: у Чаадаева, целиком погруженного в свои занятия, нет времени вникать в хозяйственные вопросы, а потому при достаточных для холостяка доходах он не имеет прожиточных средств. «Жизнь отречения и добродетели стоила ему наследства».

Трудно, конечно, представить, и тетка наверняка не поняла бы, как такая жизнь связана с проживанием достаточных для человека доходов (в 1832 году Михаил оценивал доходы Петра в 16553 рубля). «Жизнь отречения и добродетели» оборачивалась обыкновенной беспечностью и полуосознанным предположением, что другие должны взять на себя презренные заботы его житейского существования, осложнялась незнанием дел в вотчине и неумением вести финансовые отношения. Тратить же Петр Яковлевич умел и любил, и шлейф нескончаемых долгов все тянулся за ним. Как и в 1827 году, в следующие два года ему пришлось занимать большие суммы в Опекунском совете. Опять, как и в заграничном путешествии, оказалась необходимой помощь Михаила, который сам находится в затруднительном положении. «Из деревни меня уведомляют, — жалуется он тетке, — что хлеб совсем не родился, едва на семена собрали и оброка платить нечем».

Среди забот Михаила Яковлевича и постоянные посылки и послания в Алексеевское, куда брат его пишет крайне редко и где в однообразии деревенской жизни Анна Михайловна томится, ожидая вестей от них. «Стараюсь как можно более заняться, — пишет она Михаилу. — Нет минуты, чтобы я была не в действии, развлечь себя от мыслей, которые во мне производят такое биение в сердце. Только и в голове, что вы». Именины племянников являются для нее большим праздником, и накануне петрова дня она извещает Михаила: «Завтра у меня grand diner[19] на случай дорогого моего племянника, с чем и тебя поздравляю». Тетка рада улучшению прежде прохладных отношений между братьями, что особенно необходимо для здоровья Петра. «К крайнему моему сожалению, — замечает она в очередном письме к Михаилу, — потеряла всю надежду вас видеть у себя, но истинно не сетую на тебя: присутствие твое нужно брату твоему, в его положении великое удовольствие разделять время с тобою. Не можешь себе представить, сколько мне приятно ваше дружелюбие». Еще приятнее ей намерение братьев поменять квартиры, чтобы жить рядом.

Самая великая отрада для тетки видеть племянников у себя, вволю наговориться с ними. Но навещает ее изредка лишь Михаил, а Петр предпочитает почему-то оставаться в Москве, хотя здоровье его неуклонно улучшается. Средь разных причин, затруднявших приезд последнего в Алексеевское, немалое значение имел неожиданный для него оборот в отношениях с Авдотьей Сергеевной Норовой.

3

В последний вечер, проведенный в семействе Норовых перед отъездом в 1827 году в Москву, Петр Яковлевич предложил им писать ему запросто, если возникнет в том необходимость. Авдотья Сергеевна долго не осмеливалась воспользоваться этим разрешением, считая послания Петру Яковлевичу излишней дерзостью со своей стороны и пугаясь его возможного неодобрения. Но желание писать так сильно было в ней, что она по ночам сочиняла послания Чаадаеву, хотя и не отсылала написанного. Все напоминающее о встречах с ним так ей дорого и близко, что эти воспоминания становятся для нее как бы продолжением их встреч и целиком заполняют ее существо. Особенно ей нравится бывать в Алексеевском, у княжны Анны Михайловны, где, расположившись вечером в кресле с романом в руках, в то время как княжна с соседским помещиком играет в вист, она вовсе не читает, а в сумерках догорающей свечи вглядывается в знакомые предметы, связанные с пребыванием здесь любимого человека (ситуация, художественно предвосхищенная в «Евгении Онегине»). Любое известие о Чаадаеве — целый праздник для Авдотьи Сергеевны. Она рада особенно одной из знакомых, которая видела его на улице в Москве в полном здравии и даже веселым. Она ждет с волнением Михаила Яковлевича, собирающегося приехать к тетке в Алексеевское, что, возможно, позволит ей узнать какие-то новости о Петре Яковлевиче. Беседуя мысленно с Чаадаевым, она пытается пополнить свое образование и читать исторические труды, но не находит нужных книг, поскольку брат Авраам, будущий министр народного просвещения, вывез богатую надеждинскую библиотеку в Петербург. Но и всеобщая история для детей ее на первых порах устраивает, так как многие сведения из нее она уже забыла. Авдотья Сергеевна трудится и над рисунком для ковра, который задумала подарить Петру Яковлевичу ко дню рождения его тетка.

Однако ничего не может заменить Норовой настоятельную потребность писать и посылать Чаадаеву письма, ждать от него ответа на них, что представляется ей единственной возможностью чувствовать себя вместе с человеком, которому, по ее словам, она обязана «счастливейшими днями своей жизни». Случай помог Авдотье Сергеевне преодолеть изначальную робость и начать письменный монолог, ибо Чаадаев очень редко отвечал (его письма не сохранились) на ее послания и теперь уже сам оказался в роли своеобразного молчаливого слушателя.

В 1830 году в Москве свирепствовала эпидемия холеры. Еще пять лет назад в Астрахани, сначала между заезжими персидскими купцами, а затем и среди местных жителей, появилась эта странная болезнь, вызывавшая сильнейшее расстройство желудка, непрерывную рвоту и скорую, судорожную смерть. Истребив несколько сот душ, холера вскоре исчезла из низовий Волги. И вот летом 1830 года, двигаясь из глубины Азии и усеивая свой путь многими тысячами трупов, она снова добралась до Астрахани, откуда быстро распространилась вверх по Волге и в начале августа достигла Саратова. Для борьбы с народным бедствием правительство организовало центральную комиссию во главе с министром внутренних дел, небезызвестным Петру Яковлевичу А. А. Закревским. А лечивший Чаадаева Мудров отправился как член комиссии в главный очаг эпидемии. «Мудров, — замечал М. П. Погодин, — в двадцать четыре часа посылается на чуму. Какое славное поручение! Остановить смерть, которая со всеми ужасами несется на отечество. С удовольствием услышал, что многие студенты вызываются ехать с Мудровым на чуму. Вот в каких случаях обнаруживается русский характер».

Однако смерть не останавливалась и неслась к Москве, где уже в жаркие августовские дни появились смешивавшиеся с поднимаемой ветром пылью тучи необыкновенных мошек, предвестников, по словам живших здесь армян, морового поветрия. И действительно, в сентябре холера распространила свою власть и на древнюю столицу. Два раза в день печатались неутешительные бюллетени об усилении эпидемии, все чаще мелькали на улицах в сопровождении полицейских кареты с больными, черные фуры с покойниками, погребаемыми на специально отведенных кладбищах. Город оцепили, как в военное время. Смерть уносила и уносила на кладбища новые жертвы, но москвичи упорно сопротивлялись ей.

Позднее А. И. Герцен наблюдал холеру 1849 года в Париже, когда правительство не принимало деятельных мер для борьбы с ней, пожертвования оказывались ничтожными, в больницах не хватало кроватей, а из-за недостатка гробов умерших долго не хоронили. «В Москве, — вспоминал он в «Былом и думах», — было не так. Составился комитет из почетных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц, — одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливающим… Университет не отстал. Весь медицинский

факультет, студенты и лекаря en masse[20] привели себя в распоряжение холерного комитета, их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Так три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями — и все это без всякого вознаграждения… Москва, по-видимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза.

Она в 1612 году кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с нею огнем 1812… Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии!»

Эти строки отражают состояние всеобщей самоотверженности и сплоченности русского народа в тяжелые периоды его истории. Герцен не воевал, но обостренным чутьем почувствовал связь разных событий, преображавших их участников. Петр Яковлевич Чаадаев же, глядя на «полную сердца и энергии» деятельность во время холеры, не может не вспомнить и Смоленск, и Бородино, и Малоярославец, где в минуту смертельной опасности он видел отнюдь не «немые» лица простых русских солдат и именитых военачальников, совсем не слепо отдававших свои жизни ради победы. Почему же он не осмыслил все это в своих философических рассуждениях о России, самоотверженная защита которой (а не ее завоевательские победы) на разных исторических этапах своеобразно и значимо вошла в национальное самосознание?

Об этом своеобразии и значимости, на которые после бесед с Пушкиным он стал обращать большее внимание, ему говорят московские храмы: зеленоглавая церковь Всех Святых на Кулишках напоминает о полегших на поле Куликовской битвы, Похвалы Пресвятой Богородицы в Успенском соборе — о победе над татарами в правление Василия Темного, а Донской монастырь — об освобождении Москвы. Храм же возле Присутственных мест сооружен по инициативе Дмитрия Пожарского после его знаменитой победы. Что же значат эти (столь непохожие на западные памятники) увековеченные страдания и самозащита, эти ежегодные крестные ходы в Кремле, Сретенском и Донском монастырях, в Казанском соборе, знаменующие освобождение родины от татар, поляков, французов?

Подобные вопросы, вытесненные из его сознания логикой философических писем, с недавних пор стали беспокоить Петра Яковлевича, холера же придала им наглядную форму, и он

пытается определить корни и возможные результаты духовного бескорыстия и страдательного начала в истории русского народа. Уже в первом философическом письме налицо расплывчатые отклонения от беспросветно мрачного описания России: Чаадаева не покидало смутное чувство того, что Россия должна «дать миру какой-нибудь важный урок», хотя для исполнения такого предназначения ей и суждено испытать много бедствий и страданий. Но какой же именно урок? Ответа пока нет, требуются новые размышления и исследования, для которых время теперь не совсем подходящее. Гробы не перестают множиться, и холера в любую минуту может прийти за всяким.

Посещая приходскую церковь, Петр Яковлевич каждый раз видит там множество молящихся. Михаил, гостящий в это время у тетки, и Анна Михайловна переживают беспокойство за него, и он, вернувшись в квартиру, где для предохранения от заразного заболевания расставлены блюдечки с хлором, против обыкновения спешит сообщить им о своем благополучном пока положении. За окном мужик, обернутый в обмазанную дегтем клеенку, погоняет похоронные дровни, а Петр Яковлевич рассказывает о решительности Николая I, приехавшего из Петербурга в охваченный эпидемией город для поддержания народного духа, признается (приведется ли еще!) в добрых чувствах к брату. «Ты пишешь, — отвечает ему Михаил, — что всегда меня любил, что мы могли доставить друг другу более утешения в жизни, но любить более друг друга не могли. За эти мне неоцененные от тебя слова наградит тебя собственное твое чувство. Я не берусь сказать, какое они на меня делают и всегда будут делать действие. Ты уверен, что я тебя люблю, потому ты сам можешь понять. Могу тебе только сказать, что это правда и что я это знаю, и что мне это величайшее утешение».

В минуту смертельной опасности отношения между братьями достигли той степени близости, которой они не имели ранее и не будут иметь в дальнейшем. Михаил доволен спокойствием духа и умелыми предохранительными мерами Петра, сердечно благодарит за присланные лекарства и уксус, необходимый для окуривания комнат, просит, если холера дойдет до Алексеевского и он умрет раньше брата, продать дом из Фурсовского имения, а деньги «дать женщине, с которой я жил около семи лет», и слуге Петру Синицыну.

Но болезнь обходит стороной и Алексеевское, и Надеждино, где опасения Авдотьи Сергеевны за жизнь и здоровье Петра Яковлевича усиливаются видом расставленных в округе застав, зажигаемых у домов смоляных бочек, носимых сельскими жителями ладанок с чесноком. Письма от родных и знакомых,

доставляемые в Надеждино из Москвы, были проколоты и пахли дымом. Вид этих писем усиливал опасения и страдания любящей девушки, и она решилась наконец отослать Чаадаеву свое очередное послание, в котором умоляла его постараться выбраться из Москвы. Она несказанно желала бы видеть его здесь, в Алексеевском, куда он уже несколько раз обещал тетке приехать, но так и не приехал. Однако, несмотря на это желание, она предпочла бы, чтобы он находился за многие версты от Надеждина, если холера начнет продвигаться в сторону Дмитрова. В порыве самоотречения и любви к Чаадаеву, к близким ей людям Авдотья Сергеевна восклицает: «О Боже! … Спаси тех, чье существование для меня в тысячу раз дороже моего… Если после моей смерти молитвы мои могут быть услышаны Предвечным, я буду умолять его сделать Вашу (Чаадаева. — *Б. Т.*) настоящую жизнь спокойной и счастливой, а будущую еще более блаженной. Умру довольной и радостной, если буду знать, что находятся вне опасности все дорогие мне люди».

Авдотья Сергеевна просит Петра Яковлевича постоянно заботиться о его собственном здоровье, мысли о котором никогда не покидают ее и которое необходимо, по ее мнению, для «блага всех нуждающихся в примере на жизненном пути». В таком примере нуждается и она, Авдотья Сергеевна, а потому просит Петра Яковлевича разрешить ей продолжать писать ему письма и надеяться на ответные послания, так необходимые для успокоения мук ее сердца, в котором она часто находит только боль и тоску.

Но вот уже в другом письме она с нескрываемым счастьем сообщает Чаадаеву, что на днях пришло наконец долгожданное известие о значительном спаде холерной эпидемии и что скоро городские ворота будут открыты. Она с еще большим усердием работает над рисунком для ковра, предназначенного Петру Яковлевичу, но приподнятое настроение постепенно омрачается отсутствием ответных писем. Уж не пропадают ли они, простодушно думает Авдотья Сергеевна, как случилось недавно с адресованным отцу в Иадеждино письмом, которое неожиданно попало в Курскую губернию? И она просит Чаадаева писать полный адрес, указывая не только Дмитровский уезд, но и Московскую губернию, ибо «в России есть три Дмитрова».

Но Петр Яковлевич по-прежнему молчит. Авдотья Сергеевна, не надеясь получить от него хотя бы строчку, задумывается уже над содержанием последнего прощального послания, как вдруг в один из почтовых дней приходит чаемое письмо. «Увидя Ваш почерк, перед тем как распечатать Ваше письмо, я благодарила,

пав на колени, Предвечного за ниспосланную мне милость. Не могу выразить, как дорога мне Ваша дружба…»

А что же Чаадаев? Какие мысли и чувства вызвали у него душевные переживания Норовой? Глубина и серьезность этих переживаний не находили отклика в сердце Петра Яковлевича, как не нашли его «души доверчивой признанья, любви невинной излиянья» пушкинской Татьяны в сердце Евгения Онегина. Более того, они пугали и озадачивали его, ибо он ничем не мог на них ответить, да, вероятно, и не хотел отвечать, видя в них покушение на собственную независимость и свободу, необходимые для «апостольской» миссии.

Роковое обособление душ, преодоление которого составляло главный конечный пункт теории и проповеди Чаадаева, проявилось в живой ткани его личной жизни со всей неразрешимой остротой. Здесь уже не могли помочь никакие «залоги» взыскуемого совершенного, строя, никакие высшие интеллектуальные достижения, на которые он, как известно, рассчитывал в деле этого преодоления. Здесь необходимо было такое чуткое вживание в чужую душу при одновременном погашении всяких эгоцентрических побуждений, при котором только и становится возможным достаточно полное понимание одного человека другим. Воспринимать мир и людей, как Авдотья Сергеевна Норова, Чаадаев не мог, в чем не было, разумеется, его вины — на то оно и роковое, это обособление душ. Воспринимать не мог, но пытался понять характер ее переживаний, чтобы как-то облегчить положение безнадежно увлеченной им девушки, несколько схоластически размышляя о разнице между страстной дружбой и любовью.

Откликаясь на многочисленные письма Авдотьи Сергеевны, Петр Яковлевич снисходительно разрешает ей продолжать писать, прося, однако, не заботиться о его ответах, настоятельно советует ей умерить природную пылкость и очень желает, чтобы она обрела наконец душевное спокойствие. Но не следует, уточняет он, искать утешения в его дружеском отношении к ней, а нужно найти его в ее собственном сердце, которое он называет ангельским. Тогда и ее хрупкое здоровье должно поправиться.

В ответном послании Авдотья Сергеевна обещает обязательно следовать всем советам и увещеваниям Петра Яковлевича и уверяет его, почувствовав беспокойно-эгоистические интонации получерного письма, что в ее отношении к нему нет никаких претензий. Все ее претензии заключаются лишь в том, чтобы слышать иногда от него доброжелательное слово, способное заставить забыть месяцы холодного молчания. Собственное благо Петра Яковлевича, о котором она постоянно и много думает, —

вот главное счастье и смысл ее жизни. Она была бы даже рада постоянной разлуке с ним, если бы для полезности здоровья он нуждался бы в перемене климата и в переселении за границу. Ока только умоляла бы его тогда не лишать ее надежды писать ему до конца ее жизни и самой, хоть изредка, получать от него известия. И сейчас она рада, что Чаадаева нет рядом с ней и что он не живет этой зимой, как намеревался, у тетки в Алексеевском, где одолевают сильные морозные ветры и вьюга, а пребывает в теплом московском доме. Правда, княжна Анна Михайловна сообщила ей, что в московском жилище ее племянника дует из-под пола. Может быть, от этого, как она недавно узнала, он похудел и у него изменился цвет лица? И почему он в таком случае не переедет в другую квартиру?

Что же касается ее собственного здоровья, то Авдотья Сергеевна умоляет Петра Яковлевича не беспокоиться о нем. Она не может сказать, чтобы у нее что-то болело, и определить характер своего недуга. Чаще всего она испытывает состояние какой-то усталости от жизни и слабости, когда болит голова и путаются мысли. «Иногда я устаю от самой себя. Иногда мне кажется, что мои тело и душа не подходят друг другу… Не знаю, душа ли разрушает мое тело, или, напротив, тело душу…» Едва заговорив о своем здоровье, Норова тотчас же извиняется перед Чаадаевым: она не хочет, чтобы мысли о ее здоровье омрачали его существование, и очень желала бы, чтобы даже ее смерть не доставила ему ни малейшей печали.

Она часто беспокоится, что ее послания нарушают размеренный образ жизни Чаадаева, связанный с исследовательскими штудиями. И в очередном письме Авдотья Сергеевна извиняется за свои длинные и частые послания, которые, наверное, мешают его постоянным серьезным занятиям философией и наукой. Но ведь он может, как бы возражает она себе, читать их за обедом или в свободное от этих занятий время. И все-таки она сильно мучается от того, что ее бессвязные заботливые речи провинциальной девушки должны казаться Петру Яковлевичу, поглощенному размышлениями над высокими материями, глупыми, ненужными. И это приводит ее в почти физическое изнеможение. «Когда я думаю о Вас, о дистанции, существующей между нами, о почтении, смешанном со страхом, которое Вы мне внушаете, об уважительной сдержанности, которую я строго соблюдала по отношению к Вам в течение многих лет, у меня путаются мысли и кружится голова…»

Но Петр Яковлевич не появляется в деревне, да и писем от него снова все нет и нет. Может быть, служанка Анны Михайловны Маша, которая вот-вот должна вернуться из Москвы,

привезет какие-нибудь известия о нем? Точно высчитав день и даже час возвращения Маши, Авдотья Сергеевна, не чуя под собой ног, устремляется в Алексеевское, где, к своему большому утешению, узнает, что здоровье Петра Яковлевича неплохое, да и цвет лица стал заметно лучше. Радостно ей слышать от Маши и благодарность Чаадаева за ее письма, омраченную, однако, его категорическим заявлением: «А писать ни к кому не стану!» Но несравненно больше омрачают Авдотью Сергеевну привезенные Машей из Москвы страшные слухи, будто многочисленные польские шпионы собираются взорвать или поджечь город, отравляют пищу и т. п. И вернувшись из Алексеевского, она сразу же берется за перо и трогательно умоляет Петра Яковлевича ничего не есть и не пить, не дав предварительно попробовать еду кошке или собаке.

Тревога Авдотьи Сергеевны немного умеряется приготовлением вишневого сиропа, который нравится Петру Яковлевичу и который она хочет ему переслать, впервые взявшись за такое сложное дело и прося снисходительного отношения к ее первому опыту. Если бы она знала его любимые варенья, сиропы, мармелады, то с большим удовольствием всегда делала бы их для него. Но ведь он никогда не скажет это… Помня о щелях в московском жилище Чаадаева, Авдотья Сергеевна вяжет ему на пороге приближающейся зимы шерстяные чулки, осмеливаясь спросить, сколько пар таких чулок в год ему нужно.

Но ему, видимо, не нужны ни ее варенья, ни носки, ни заботы, ибо уже скоро полгода как от него нет никаких известий, что усиливает тоску Авдотьи Сергеевны и заставляет ее переноситься из мира действительности в мир мечтаний и грез. Поверяя Петру Яковлевичу свои «такие живые движения души», она пишет, что была бы счастлива исполнять роль его служанки. Она ухаживала бы за ним во время болезни, читала бы ему книги, предугадывала бы его самые прихотливые фантазии и тотчас же исполняла бы их, находя в том огромную радость. Она не мешала бы его работе, приходила бы и уходила, когда он захочет. «Мое сердце подсказало бы мне все необходимое для удовлетворения Ваших малейших желаний… Я мечтала бы служить Вам так всю жизнь. Если бы Вы позволили мне надеяться, что рано или поздно эти мечты сбудутся…»

Авдотья Сергеевна умоляет Петра Яковлевича не лишать ее иллюзии и другой мечты, надежды на их возможную дружбу в старости. «Кто знает, не встретимся ли мы тогда, и не даруете ли Вы мне больше дружбы, нежели сейчас. Мои чувства, мои размышления тогда станут, может быть, более соответствовать Вашим. Вы будете звать меня своим давним другом, и мы будем

часто видеться… Я стану такой старой дамой, что Вы разрешите мне иногда наносить Вам визиты. Я буду приходить к Вам с очками на носу, с моим любимым вязаньем, шерстяными чулками, и мы будем вместе читать. Ах, как бы весело я ждала это время! Но если бы смерть отняла Вас у меня, то я, возможно, нашла бы средство присоединиться к Вам…»

«Уж в своем ли я уме?» — неожиданно прорывается русская фраза во французской речи. «Я действительно сумасшедшая». Авдотья Сергеевна тут же страшится своих мечтаний, многократно извиняется за сказанное и впадает в еще большую тоску и отчаяние. Молчание Чаадаева буквально раздирает ее сердце, и она умоляет его о поддержке: «Не откажите, не откажите мне в нескольких строчках, умоляю Вас на коленях. Вы не можете представить себе, как я страдаю. Только Господь видит это, мое сердце открыто ему. Он видит мою скорбь и, надеюсь, простит меня за то, что я прошу Вашей помощи. Верните мне Ваше расположение, я не могу без него обойтись. Какие слова надо найти, чтобы Вы прервали свое молчание?»

Наконец-то крик души Авдотьи Сергеевны ранил сердце Петра Яковлевича. Лед холодной независимости и замкнутости в скорлупе собственной личности стал подтаивать. Жалость к Авдотье Сергеевне, милосердие, о котором она молила, заставили его нарушить суровое молчание, произнести теплые и в общем-то искренние слова, несмотря на то, что они были исторгнуты, а не свободно вылились из его души. Он называет Авдотью Сергеевну в столь долгожданном для нее письме дорогим другом, признается, что его сердце хорошо понимает ее сердце, что их души навек соединены, а также спрашивает, как он может облегчить ее страдания.

Эти слова, сообщает Норова в ответном послании Чаадаеву, наполнили все ее существо неизъяснимым восторгом, дали ей возможность надеяться, что ее мечты когда-либо исполнятся. Если бы он мог чувствовать все блаженство, которое она испытала при чтении его письма! А каким бы оно было, это блаженство, если бы она могла услышать написанное из его собственных уст! Вдали от него ее жизнь ничтожна и печальна. Ей необходимо быть рядом с ним, нужна его дружба. И даже безмерно дорогую семью она оставила бы ради него. «Все мое счастье в Вас, кроме Вас, у меня нет ничего в этом мире… Моя жизнь в Ваших руках». Ее душа, продолжает Авдотья Сергеевна, уже не принадлежит ей, а связана с душой Петра Яковлевича и «готова делить с ней радость и горе… Мы будем вместе страдать, мы будем вместе молиться… Мне кажется, что наши души должны составлять одну и сообща обожать их общего Отца… О мой друг, если бы Вы

могли постичь мои чувства!» Если же ей придется покинуть этот мир, то самое заветное ее желание — видеть в последний свой час Петра Яковлевича, прижать к сердцу его руку и открыть ему полностью все свои переживания. Тогда бы она умерла счастливой, тысячу раз счастливой. «Я ничего так не боюсь, как жить вдали от Вас, умереть вдали от Вас. Но я буду надеяться, буду надеяться…»

Здесь следы неопубликованной переписки и соответственно отношений Чаадаева с Норовой обрываются. Скорее всего эти отношения так и носили характер сокровенного напряжения, разрешить которое частично могли кратковременные встречи, а полностью — только смерть. Известно лишь, что, как бы исполнив ее заветное желание, Петр Яковлевич навестит Авдотью Сергеевну в Москве, где она лечилась, перед самой кончиной в 1835 году. «Чаадаев был так добр, что посетил меня больную», — сообщала она сестре Екатерине.

Пока же Чаадаев не торопится отвечать на ее послания, его сознание занято последними европейскими событиями и собственным выздоровлением. О самочувствии брата Михаил сообщает в феврале 1831 года тетке из Москвы: «Могу вас уведомить, что брат теперешним состоянием здоровья своего очень доволен в сравнении с прежним… Аппетит у него очень, даже мне кажется — слишком хорош, спокойствие духа, кротость — какие в последние три года редко в нем видел. Цвет лица, нахожу, лучше прежнего, хотя все еще очень худ, но с виду кажется совсем стариком, потому что почти все волосы на голове вылезли. Я живу очень от него близко и почти каждый день у него обедаю и провожу у него большую часть дня». Выздоравливая, Петр Яковлевич окончательно редактирует философические письма, размышляет о последствиях прошлогодней июльской революции во Франции и польском восстании, ждет обстоятельной беседы с Пушкиным, три месяца назад вернувшимся из Нижегородской губернии, где его также держала в плену холера, и собирающимся на днях венчаться с Натальей Николаевной Гончаровой в церкви Большого Вознесения, что на Малой Никитской.

4

Александр Сергеевич гораздо более намеченного срока, целую осень, провел в Болдине, что способствовало углублению в волновавшие его житейские и творческие думы, поиску ответов на неотвязчивые вопросы, рождавшиеся и из диалога с Петром Яковлевичем.

Как легко в своей философической «мировой гармонии» Чаадаев расправился с бесом «гордости ужасной» и с «волшебным демоном» сладострастия, размышляет Пушкин над прочитанными строками и выслушанными монологами друга. Вот он советовал поэту погрузиться в себя и набраться терпения для изучения и правильного понимания всего происходящего на белом свете. Но с тем же успехом тот мог переадресовать этот совет мыслителю, не замечавшему иных измерений, направлений и акцентов, в которых приоткрывается для поэта «тайна времени».

Петр Яковлевич, критикуя увлеченность декабристов беспочвенными и ограниченными социально-политическими идеями, уповает в преодолении внутреннего несовершенства на более широкие созидательные достижения культуры и просвещения, якобы однозначно связанные с христианством. Но из того ли корня растут эти достижения? Ведь накопление культурных ценностей не обогатило внутренне людей и не освободило их от «сомнительных и лживых идеалов» власти и наслаждения, так прочно укорененных в глубине человеческой природы. Разъедающее душу действие этих могучих сил в жизни каждого человека и не учитывал Петр Яковлевич, когда раскрывал перед ним в «тайне времени» движение к «золотому веку». «Ужасный век, ужасные сердца» — такими словами поэт передавал свое ощущение этой тайны в маленьких трагедиях, в которых акцент сделан на исследовании «силы вещей», «вечных противуречий существенности» не между личностью и обществом, а внутри человеческой души, неустройство которой через мириады опосредований множит новые акты «большой трагедии» исторического существования.

В рассуждениях Чаадаева Пушкину не хватает именно живой конкретности, которой он не находит и в его размышлениях о России, — ее многие особенности как бы срезаны раздраженной логикой мыслителя. Изучая ее историю, поэт видит в ней междоусобицы и злодеяния, свойственные развитию и европейских стран. Но вполне отчетливо он различает иные картины, когда, говоря словами Белинского, «дух народа, как и дух частного человека, выказывается вполне только в критические

минуты».

И именно такие, растягивавшиеся на века, критические минуты, составили подлинное своеобразие и действительное значение истории России, распинаемой страданиями и войнами, не раз принимавшей на себя мощные удары агрессий мирового масштаба и выживавшей в смертельных болезнях идейной чумы и вооруженных нашествий. А для этого выживания в борьбе, обеспечившей, как считал Пушкин, беспрепятственное развитие европейской цивилизации и предохранившей ее от уничтожения, необходима была подлинная сплоченность всех русских людей. Такие самые простые, а одновременно и самые глубокие нравственные чувства, свойственные «рядовым» русской истории, как бескорыстие, скромность, терпение и самоотверженность, не раз спасали страну от неминуемой гибели.

Из исторических наблюдений Пушкин заключает также, что в критические минуты не только укреплялись определенные черты религиозно-психологического уклада русского народа, но сформировалось Русское государство, своею мощью сдерживавшее напор претендентов на мировое господство и поддерживавшее национальное единство.

По убеждению Пушкина, именно живость нравственных чувств предопределяет единство государства и народа и не позволяет первому превозноситься над вторым. Однако в действительности он наблюдал иное. «Но отечество забыло даже настоящие имена своих избавителей, — выражает мнение писателя герой его неоконченного «Романа в письмах». — Прошедшее для нас не существует. Жалкой народ!» В этих, сходных с чаадаевскими, словах, которые Пушкин мог адресовать и к личности Петра Яковлевича, он видел «печальный порядок вещей», приводящий, с одной стороны, к идейным блужданиям, а с другой — к бюрократизации государства.

Однако ориентиры «правильного пути», указываемые Чаадаевым, казались Пушкину чрезмерно абстрактными и не соответствующими особенностям русской истории. Поэт предпочитал конкретные действия, направленные к подлинному нравственному сплочению народа и государства. Только в таком случае, по мысли поэта, государство способно жить долго, прочно и достойно.

И поэт использует любые поводы, которые позволяют ему говорить о нравственном лице государственных деятелей. Решительное поведение Николая I во время холеры в Москве давало ему надежды на проявление человеколюбия царя, что способствовало бы не только улучшению участи подданных, но и настоящему укреплению самого государства. «Каков государь? —

писал он Вяземскому, — молодец! того и гляди, что наших каторжников простит — дай бог ему здоровья». В болдинском стихотворении «Герой» Пушкин рассказывает о смелости и милосердии Наполеона, будто бы посетившего чумной госпиталь в Яффе. В нем есть такие строки:

Оставь герою сердце; что же
Он будет без него? Тиран!..

Намек на приезд царя в холерную Москву был явным, и, пересылая стихотворение М. П. Погодину для напечатания, он просил его «не объявлять никому моего имени». Герцен в статье «Новая фаза в русской литературе» замечал: «Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды». Действительно, несмотря на недоверие со стороны правительства, поэт почти всегда готов служить ему, но не прислуживать. Собираясь в противовес популярной «Северной пчеле», морально несостоятельные издатели которой пользовались высочайшей поддержкой, издавать политическую газету, Пушкин писал Вяземскому весной 1830 года: «Да и неприлично правительству заключать союз — с кем? с Булгариным и Гречем». Ратуя за союз с государством на иных, плодотворных и для народа, и для государства началах, Пушкин намеревается «пуститься в политическую прозу», вникает в царские проекты «контрреволюции революции Петра». «Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы», — агитирует он Вяземского на политическую деятельность.

С большим вниманием следит Пушкин и за европейскими событиями. Волны французской революции 1830 года вызвали возмущение в Бельгии, Швейцарии, Италии, а за несколько дней до отъезда поэта из Болдина вспыхнуло восстание в Варшаве, вслед за которым в начале 1831 года Польский сейм объявил о низложении династии Романовых и об отделении своей страны от России. Пушкин осуждал неосуществившееся намерение царя вмешаться в европейские события, считая их «домашним» делом самих народов Запада.

Но и русско-польские отношения Пушкин, хорошо изучивший эпоху самозванцев, считал «домашним» спором еще с XVI века, когда Речь Посполитая владела исконными русскими землями и связанными с Москвой языком и культурой народами. В XVII веке Русское государство находилось в большой опасности, избежать которой помогло земское ополчение, выгнавшее захватчиков в

1612 году из Кремля, подожженного отступавшими. «Для нас мятеж Польши, — писал он Вяземскому, — есть дело семейственное, старинная наследственная распря, мы не можем судить ее по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей».

Пушкина раздражало вмешательство в русско-польские военные действия, обусловленные «наследственной распрей», членов французского парламента, призывавших к вооруженной поддержке восставших и их требований присоединить к Польше Украину до Днепра, включая Киев. В написанных в августе и сентябре 1831 года стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» поэт напоминает «мутителям палат», как он называет западных политиков, об истории России, которую «война, и мор, и бунт, и внешних бурь напор… беснуясь потрясали» и которая в минувшую войну своею кровью искупила «вольность, честь и мир» напавшей на нее Европы.

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?..
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Напоминает поэт «народным витиям», а также участникам русско-польских военных действий и о традициях русских воинов, которые могут и должны служить гарантией добрых отношений:

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Не все друзья Пушкина приняли благосклонно его патриотические стихи, а А. И. Тургенев и Вяземский осудили их. Среди же безусловных почитателей этих произведений политической лиры поэта неожиданно оказался Чаадаев. Вот что он пишет Пушкину в Петербург 18 сентября 1831 года: «Мой друг,

никогда еще вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы — национальный поэт; вы угадали, наконец, свое призвание. Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать. Мы поговорим об этом другой раз и подробно. Я не знаю, понимаете ли вы меня, как следует? Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране… Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете; но пусть их говорят, а мы пойдем вперед; когда угадал… малую часть той силы, которая нами движет, другой раз угадаешь ее… наверное всю. Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант…»

Чем объяснить такую похвалу, вроде бы немыслимую в устах автора первого философического письма? Надо сказать, что еще при завершении всего цикла писем монолит философического единства стал в сознании Петра Яковлевича давать трещину. Июльская революция во Франции, после которой, по словам Маркса, «классовая борьба, практическая и теоретическая, принимает все более ярко выраженные и угрожающие формы», заставила Чаадаева писать в заключительном письме цикла о «груде искусственных потребностей, враждебных друг другу интересов, беспокойных забот, овладевших жизнью». Его, если так можно выразиться, консервативно-прогрессистские мысли вдохновлялись во многом атмосферой периода реставрации, когда после революционных волнений начала 20-х годов Европа ненадолго (а Петру Яковлевичу казалось, что навечно) вернулась к старым традициям, вроде бы гарантирующим новые перспективы мирного благоденствия. «Еще недавно, с год тому назад, — замечает он в упомянутом письме к Пушкину, — мир жил в полном спокойствии за свое настоящее, и будущее и в молчании проверял свое прошлое, поучаясь на нем. Ум возрождался в мире, человеческая память обновлялась, мнения сглаживались, страсть была подавлена, гнев не находил себе пищи, тщеславие находило себе удовлетворение в прекрасных трудах; все людские потребности ограничивались мало-помалу кругом умственной деятельности, и все интересы людей сводились мало-помалу к единственному интересу прогресса вселенского разума. Во мне это было верой, было легковерием бесконечным. В этом счастливом покое нагрянула глупость человека, одного из тех людей, которые бывают призваны, без их согласия, к управлению людскими делами. И мир, безопасность, будущее — все сразу обратилось в ничто. Подумайте только: не какое-либо из тех великих событий, которые ниспровергают

царства и несут гибель народам, а нелепая глупость одного человека (Карла X. — *Б. Т.*) сделала все это! В вашем вихре вы не могли почувствовать этого, как я, это вполне понятно… Что до меня, у меня навертываются слезы на глазах, когда я вижу это необъятное злополучие старого, моего старого общества; это всеобщее бедствие, столь непредвиденно постигшее мою Европу, удвоило мое собственное бедствие…»

Кто-кто, а уж автор «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина», «Маленьких трагедий» и «Пиковой дамы» хорошо познал, к каким гибельным последствиям в вихре жизни может вести глупость или духовное несовершенство, злая воля или бесовское наваждение одного человека. Потому нельзя не признать беспочвенности в этом отношении упрека Чаадаева, несомненно, самого испытавшего в минуту философической растерянности воздействие исторических убеждений автора «Клеветникам России» и «Бородинской годовщины».

Вскоре после возвращения Пушкина из Болдина печатается «Борис Годунов». Экземпляр трагедии с дарственной надписью он незамедлительно по получении ее из типографии, в начале 1831 года, посылает Петру Яковлевичу. «Вот, мой друг, то из моих произведений, которое я люблю больше всего. Вы его прочтете, так как оно написано мною, и скажете свое мнение о нем. А пока обнимаю вас и поздравляю с Новым годом». Неизвестен отзыв Чаадаева об этой пьесе, но само ее содержание и авторское признание в надписи служит своеобразным ответом Пушкина на мысли первого философического письма, которое они должны были обсуждать весной 1831 года на фоне европейских волнений и польского восстания.

Поэт раскрывал перед другом собирательные, защитные и охранительные особенности русской государственности, что нашло отражение во фрагментарной статье Петра Яковлевича о польском восстании, называемом им «безумным предприятием» и: рассматриваемом в связи с событиями далекого прошлого. Автор отмечает, что Украина, Белоруссия и Литва, населенные в основном русскими, испытывали в период владычества Польши угнетение национальной культуры и православной религии, осуществлявшееся с помощью католического духовенства. И напротив: хотя Польша была присоединена к России с помощью оружия, она никогда не подвергалась угнетению и развивала собственную культуру, в то время как поляки отошедших к Австрии и Германии областей оказались онемеченными. Могущественная держава, какой является Россия, включающая в свой состав много славянских племен, способна, по мнению Чаадаева, обеспечить свободное развитие Польши, внешняя же ее

независимость превратит небольшое государство в яблоко раздора для европейских стран и подвергнет его опасности исчезновения. «Против отторжения нынешнего Царства Польского, — продолжает автор, — с целью превращения его в ядро новой независимой Польши, даже и при содействии этому со стороны нескольких европейских государств, стал бы возражать не один просвещенный поляк, в убеждении, что благополучие народов может найти свое полное выражение лишь в составе больших политических тел, и что, в частности, народ польский, славянский по племени, должен разделять судьбы братского народа, который способен внести в жизнь обоих народов так много силы и благоденствия… В соединении с этим большим целым поляки не только не отрекутся от своей национальности, но таким образом они еще более укрепят ее, тогда как в разъединении они неизбежно попадут под влияние немцев, поглощающее воздействие которых значительная часть западных славян уже на самих себе испытала…»

В этих столь необычных для Чаадаева мыслях отражено не только влияние Пушкина, но и его собственные воспоминания об Отечественной войне и заграничном походе, а также поиск при созерцании «всеобщего бедствия» Европы охранительного начала для предотвращения «глупости одного человека» и обеспечения «прогресса вселенского разума». Таким началом его (воплощение в Священном Союзе Александра I ранее с одобрением было встречено Петром Яковлевичем, о чем говорят отметки его книг) и кажется ему сейчас «большое политическое тело» России, способной выполнять мирную миссию и начинающей обретать значимость в его концепциях.

Разочарованный поворотом событий на Западе, он все-таки не теряет утопической надежды на то, что «разум образумится». «Как люди ни глупы, — уверяет он Пушкина после подавления польского восстания, — они не станут раздирать друг друга, как звери: последний поток крови пролит, и теперь, в тот час, когда я пишу вам, источник ее, слава Богу, иссяк.

Спора нет, бури и бедствия еще грозят нам, но уже не из слез народов возникнут те блага, которые им суждено получить; отныне будут лишь случайные войны, несколько бессмысленных и смешных войн, чтобы отбить окончательно у людей охоту к разрушениям и убийствам…»

Пушкин уже давно расстался с иллюзиями «вечного мира». Вообще глобальные политические пророчества не в его вкусе. Опыт историка и сердцеведа подсказывает ему, что от будущего можно ожидать всего и надежда друга на близость всеблагого исхода обманчива. Это весьма угнетает автора философических

писем, как свидетельствуют его послания к Пушкину весной и осенью 1831 года: «Это несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами… при одной возможности сомнения в этом (в понимании. — *Б. Т.*) у меня падает из рук перо».

Хорошо представляя себе богатство и силу личности Пушкина, Чаадаев стремится к большей близости с ним, пытается глубже проникнуть в его духовное своеобразие, найти в его размышлениях точки соприкосновения с собственными думами: «Говорите мне обо всем, что вам вздумается: все, что идет от вас, будет мне интересно. Нам надо только разойтись; я уверен, что мы найдем тысячу вещей сказать друг другу…» Он высказывает поэту свое чаяние: «О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все силы вашего поэтического существа! Как желал бы я извлечь из него, уже теперь, все то, что, как я знаю, скрывается в нем, дабы и вы дали нам услышать когда-нибудь одну из тех песней, какие требует век. Как тогда все, что теперь бесследно для вашего ума проходит перед вами, тотчас поразило бы вас! Как все приняло бы новый облик в ваших глазах!..»

В сокровенных местах чаадаевских размышлений о «песнях века», предвещающих, по его мнению, грядущее «земное царство», в нем просыпаются былые учительные интонации: «Куча старых мыслей, привычек-условностей, приличий» мешают поэту видеть «всеобщее столкновение всех начал человеческой природы», «великий переворот в вещах», когда «целый мир погибает». Не обладающий же «предчувствием нового мира», сменяющего старый, должен ужаснуться надвигающейся гибели. «Неужели и у вас не найдется мысли, чувства, обращенных к этому?» И Чаадаев не теряет надежды на возможное соединение «мысли» его философии и «тела» пушкинской поэзии, передает уезжающему в мае 1831 года в Петербург Пушкину шестое и седьмое философические письма об историческом процессе — в том числе и для попытки напечатать в северной столице.

Уже через месяц Петр Яковлевич нетерпеливо интересуется судьбой своей рукописи, добавляя: «Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе, и что из этого воспоследовало бы нечто полезное и для нас и для других. Эти мысли пришли мне снова в голову, с тех пор, как я бываю иногда, угадайте где? — в Английском клубе. Вы мне говорили, что вам пришлось бывать там; я бы вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колоннад, в тени этих прекрасных деревьев; сила излияния наших умов не замедлила бы сама собой проявиться. Мне нередко приходилось испытывать нечто подобное…»

5

Появление Петра Яковлевича летом 1831 года в Английском клубе, членом и едва ли не ежедневным посетителем которого он останется до последних дней своей жизни, знаменует завершение его долгого выхода из тяжелого кризиса. Михаил, постоянно сообщавший тетке в деревню разнообразные сведения о сне, аппетите, пульсе младшего брата, пишет ей в это время: «Хотя и давно мне кажется из слов лекарей и из всех обстоятельств, что брат больше болен воображением, нежели чем другим, но его ипохондрия и меня сбивала. Теперь же я совершенно убежден, потому что лекаря и нелекаря, и те, у которых та же самая болезнь бывала, утверждают, что братнино состояние здоровья едва ли и болезнью можно назвать, и что на его месте всякий другой не обращал бы даже на это никакого внимания…» Однако мнительность Петра и его чрезмерная сосредоточенность на собственных болезненных ощущениях мешают ему считать себя здоровым.

А. И. Тургеневу, который после нескольких лет разлуки вторгается в его московское затворничество летом 1831 года, он много говорит об изнеможении, считая себя, по словам гостя, слишком больным и слабым, даже «кандидатом смерти». Действительно, сообщает Александр Иванович опальному брату Николаю за границу, Чаадаев на вид очень похудел, постарел и почти весь оплешивел. Умерен в пище, но «думает уже, что ничего не ест, а за обедом съел более меня». Вместе с тем, продолжает он, Петр Яковлевич, как прежде, опрятен до педантичности и занят исключительно собой.

Пытаясь определить природу недугов друга, он пишет в июле 1831 года Пушкину: «Болезнь, то есть хандра его, имеет корень в его характере и неудовлетворенном самолюбии, которое, впрочем, всем сердцем извиняю. Мало-помалу я хочу напомнить ему, что учение Христианское объемлет всего человека и бесполезно, если возводя мысль к Небу, не делает нас и здесь добрыми земляками и не позволяет нам уживаться с людьми в Английском московском клобе; деликатно хочу напомнить ему, что можно и должно менее обращать на себя и на das liebe Ich[21] внимание, менее ухаживать за собою, а более за другими, не повязывать пять галстуков в утро, менее даже и холить свои ногти и зубы и свой желудок, а избыток отдавать тем, кои и от крупиц падающих сыты и здоровы. Тогда и холеры геморроя менее будем бояться…»

Ставя свой диагноз, Александр Иванович находит и

соответствующее лечение. Оно заключается в деликатном обхождении со слабостями друга, которому необходимо и рассеяние после длительного одиночества. И он начинает неутомимо заботиться о Петре Яковлевиче. Ему уже удалось, замечает Тургенев в письме Вяземского к Жуковскому, заставить Чаадаева открыть окно в комнате и выезжать обедать вместе с приятелями: «Едва не увлек я его в Останьково, где услышал бы он Цыганок, но я опасаюсь слишком быстрого перехода из кабинета в табор, и оставил его в Английском клубе, где для мыслящего тоже уединение…»

Английский клуб незадолго до встречи А. И. Тургенева с Чаадаевым последнему «прописал» входивший в число лечивших его профессор А. А. Альфонский, впоследствии ректор Московского университета, а тогда хирург Мариинской больницы, служивший вместе с отцом Ф. М. Достоевского. Альфонский, которого раздражала мнительность несносного ипохондрика, почти насильно увез Петра Яковлевича в этот клуб, чему тот, по словам М. И. Жихарева, приписывал свое спасение.

Однажды И. И. Дмитриев в разговоре с Пушкиным отметил несообразность словосочетания «Московский Английский клуб» (собеседник привел в ответ более курьезное, на его взгляд, название «Императорское человеколюбивое общество»), создание которого в последней четверти XVIII века явилось одним из подражательных заимствований европейских форм социального быта. Однако после Великой французской революции его закрыли ввиду якобинских веяний и настроений, а в 1802 году, уже при Александре I, открыли вновь. До 1832 года помещение клуба находилось на Большой Дмитровке, в доме Н. Н. Муравьева, отца декабриста А. Н. Муравьева, а затем было перенесено на Тверскую, в огромный и красивый дом (ныне Музей Революции), построенный еще до Отечественной войны графом Л. К. Разумовским.

Хотя в уставе, согласно которому число членов клуба первоначально ограничивалось 400, а впоследствии увеличилось до 600, не оговаривались никакие сословные ограничения, он состоял из представителей родовой или чиновной знати, а также людей, как говорится, со средствами и положением в образованном обществе, В клубе имелась богатая библиотека, журнальные и газетные комнаты, бильярдные, столовые и другие помещения, прекрасный сад, где летом организовывались приятные увеселения.

О досуге молодых и старых помещиков, живущих в беспечной независимости, завсегдатаях клуба писал, как всегда, ядовито, но не без точности, Вигель: «Член московского английского клуба! О,

это существо совсем особого рода, не имеющее подобного ни в России, ни в других землях. Главною, отличительною чертою его характера есть уверенность в своем всеведении. Он с важностью будет рассуждать о предметах вовсе ему чуждых, незнакомых, без опасения высказать все свое невежество. Он горячо станет спорить со врачом о медицине, с артистом о музыке, живописи, ваянии, с ученым о науке, которую тот преподает, и так далее. Я почитаю это не столько следствием невежества, как весьма необдуманного самолюбия… Не нравилось мне, что эти господа трунят друг над другом; пусть бы насчет преклонности лет, а то насчет наружных, телесных недостатков и недостатков фортуны; это казалось мне уже бесчеловечно…

Что за нелепости, что за сплетни! Шумим, братец, шумим, как сказано в комедии Грибоедова. Некоторые берутся толковать о делах политики, и им весьма удобно почерпать об ней сведения: в газетной комнате лежали на столе все дозволенные газеты и журналы, русские и иностранные, в нее не часто заглядывают, а когда кому вздумается присесть да почитать, то обыкновенно военные приказы о производстве или объявления о продаже просроченных имений… Да не подумают, однако же, что в клубе не было ни одного человека с примечательным умом. Напротив, их было довольно, но они посещали его реже и говорили мало. Обыкновенно их можно было находить в газетной комнате…»

Не все обстояло так убого, как подчеркивает мемуарист, в обсуждении дел внутренней и внешней политики, весьма занимавшей умы избранного мужского общества. Еще Карамзин в «Записке о достопримечательностях Москвы» отмечал значение клуба как барометра социальных убеждений: «Надобно ехать в Английский Клуб, чтобы узнать общественное мнение, как судят москвичи. У них есть какие-то неизвестные правила, но все в пользу самодержавия: якобинца выгнали бы из Английского Клуба». По свидетельству П. И. Бартенева, сам Николай I «иной раз справлялся, что говорят о той или другой правительственной мере в Московском Английском Клубе». Но небезосновательны и иронические замечания Вигеля, своеобразно подтверждаемые Пушкиным в его августовском письме 1830 года к Е. М. Хитрово, где речь идет о разразившейся в прошлом месяце революции во Франции: «Как я Вам признателен за ту доброту, с которой Вы уведомляете меня хоть немного о том, что происходит в Европе. Никто здесь не получает газет, и в качестве политических мнений о том, что только что произошло, у нас Английский клуб решает, что князь Дмитрий Голицын был неправ, запретив ордонансом экарте. И среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века!»

В строках поэта, принятого в клуб в 1829 году вместе с Е. А. Баратынским, а ранее посещавшего его в качестве гостя, выражено пристрастие клубных завсегдатаев к азартной игре. И действительно, последняя настолько процветала в Английском клубе, что московский военный генерал-губернатор Д. В. Голицын потребовал от старшин прекращения экарте, составлявшего существенный источник дохода в нем. Однако карточные забавы оказалось невозможным искоренить. «Записные игроки, — отмечал Вигель, — суть корень клуба: они дают пищу его существования, прочие же члены служат только для его красы, для его блеска». Общаясь с «орангутангами» в период 1826–1833 годов, Пушкин забывал на время о политике, входил в азарт и оставлял в их карманах немалую часть своего литературного заработка, о чем имеются соответствующие записи с автографами самого поэта в книге проигрышей.

Что же касается Петра Яковлевича, то он постоянно держался вдали от «корня клуба». Ненадолго останавливаясь возле швейцаров, предлагающих разные услуги, он степенно проходил мимо огромных гостиных, где на четырех, а то и восьми столах шла тихая, «по маленькой», иной же раз крупная и бурная игра в вист, пикет, экарте, преферанс. Путь его лежал в прекрасную залу с книжными шкафами и журнальными столами, покрытыми разнообразными периодическими изданиями, число и география которых постоянно умножались. Особый покойный уют, специально яркое и одновременно мягкое освещение создавали здесь удобства не только для чтения, но и для отдыха. «У нас есть и такие члены, — рассказывал один из посетителей Английского клуба, — для которых весь клуб ограничивается одною избранною ими комнатою и даже одним местом в этой комнате. Иной будет везде в гостях, исключая комнаты, в которой он поселился. Тут он дома, эта комната его мир, это место — его собственность». Кроме журнальной, такой «собственностью» была для Петра Яковлевича и маленькая каминная комната, где он располагался на мягком изящном диване. «Когда его место было занято другими или когда в той комнате, в которой обыкновенно не играли в карты, ставили стол для карточной игры, Чаадаев выказывал явное неудовольствие… В Английский клуб Чаадаев приезжал всегда в определенные часы. К обеду по средам и субботам он приезжал, когда все уже сидели за столом. В другие дни он приезжал в клуб в полночь, и многие замечали, что он не входил в комнаты клуба прежде первого 12-часового удара».

Приведенные воспоминания А. И. Дельвига, принятого в клуб, как упоминалось, лишь в 1838 году, относятся к более позднему времени. Поначалу же, по словам М. И. Жихарева, Петр

Яковлевич «из совершенного безлюдья очутившийся в обществе, без всякого преувеличения мог быть сравнен с рыбой, из сухого места очутившейся в воде, с волком, из клетки попавшим в лес». Действительно, некоторое время Чаадаев не обедает в клубе, выезжат туда ненадолго лишь вечером, опасаясь простуды. Его чопорно-изысканное одеяние, резкие сентенции, начинающие постепенно проявляться полные важного значения привычки удивляют завсегдатаев Английского клуба и давних знакомых Петра Яковлевича. «Чаадаев выезжает, — пишет в середине июля 1830 года Вяземский Пушкину, — мне все кажется, что он немного тронулся. Мы стараемся приголубить его и ухаживаем за ним». В середине августа П. В. Нащокин также сообщает поэту о каждодневном появлении Чаадаева в Английском клубе («он ныне пустился в люди») и о своей нерешительности заговорить с ним («я об нем такого высокого мнения, что не знаю, как спросить или чем начать разговор»). Но уже через две недели Нащокин пишет Пушкину: «Чаадаев всякий день в клобе, всякий раз обедает, в обхождении и в платье переменил фасон, и ты его не узнаешь. Я опять угадал, что все странное в нем было не что иное, как фантазия, а не случайность и не плод опытного равнодушия ко всему. Еще с позволения Вашего скажу (ибо ты не любишь, чтоб я об нем говорил), рука на сердце, говорю правду, что он еще блуждает, что еще не нашел собственной своей точки. Я с ним об многом говорил, основательности в идеях нет, себе часто противоречит. Но что я заметил, и это мне приятно: человек весьма добрый, способен к дружбе, привязчив, честолюбив более, чем я, себя совсем не знает и часто себе будет наружно изменять, что ничего не доказывает. Тебя очень любит, но менее, чем я».

Петр Яковлевич переменил фасон не только в обхождении и платье. В 1831 году резко изменяется его почерк, принимая вид выработанной сжатой клинописи. Что же до духовной стороны наблюдений Нащокина, они важны как касание опытного человека, не смещенное идейной, дружеской, родственной или какой-либо иной личностной предвзятостью. Оно передает грани внутреннего облика Чаадаева в эту пору, его умеренную доброту и чрезмерное честолюбие, до конца не осознаваемую внутреннюю неустойчивость, скрытую внешними странностями и «фантазиями».

О душевных противоречиях Петра Яковлевича пишет приголубливающий его А. И. Тургенев, давая подробные отчеты о встречах с ним брату Николаю. Чаадаев сохранил нежные дружеские чувства к идеологу декабризма и повесил его портрет в кабинете «между людьми, для него любезнейшими: императором Александром и Папою» (смена портретов

любезнейших для Петра Яковлевича когда-то Наполеона и Байрона достаточно красноречива). Но дружеские чувства и высокие предметы, увлекающие Чаадаева, не мешают ему, замечает Александр Иванович, «слишком исключительно заниматься собою — и в этом-то, кажется, и грех его и пункт, опасный для его болезни». Но Петр Яковлевич жаждет публичного признания значительности его произведений и ждет внятной оценки его «апостольской» миссии, которая с выходом автора философических писем в свет принимает более активный характер.

6

И конечно же, уже при первой встрече с Александром Ивановичем Чаадаев передал ему часть своего сочинения. Считая обязательным деликатно обходиться с самолюбивым другом, Тургенев предпочитает в беседах с ним высказывать свои суждения расплывчато, а в письмах к брату и Пушкину выражается более определенно о его взглядах, не видя их духовно-психологических корней, как о системе французских неокатолических мыслителей, видоизмененной чтением немецких философов. Друзья Чаадаева обсуждают между собой его рукопись, а ему хочется видеть ее напечатанной либо, на худой конец, иметь ее при себе. И он просит Пушкина: «Я окончил, мой друг, все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать: мне не терпится иметь все это под рукою. Постарайтесь поэтому, прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честолюбивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то, чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру; но главная забота моей жизни — это довершить эту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие». Прошло всего три недели, и 7 июля 1831 года Чаадаев снова напоминает другу о своем нетерпении получить рукопись обратно, поскольку, как он пишет, появилась возможность опубликовать ее в составе всех философических писем.

Между тем еще 6 июля поэт отвечал на предыдущее послание Петра Яковлевича: «…будем продолжать наши беседы, начавшиеся когда-то в Царском Селе и так часто прерывавшиеся. Вы знаете, что происходит у нас в Петербурге; народ вообразил, что его отравляют. Газеты истощаются в увещаниях и протестах, но, к несчастию, народ не умеет читать, и кровавые сцены готовы возобновиться». Будучи отрезанным холерой от столицы (при борьбе с ней заражается и умирает М. Я. Мудров), Пушкин находился в Царском Селе и не смог переговорить с Д. Н. Блудовым и Белизаром относительно цензурных и издательских возможностей опубликования рукописи Чаадаева. Он предлагал оставить ее у себя еще на некоторое время и высказал несколько общих впечатлений от двух философско-исторических писем.

Взгляд Чаадаева на философию истории представляется ему совершенно новым, и он не обсуждает его в принципиальном

отношении, выражая лишь отдельные сомнения. «Вы видите христианское единство в католицизме, то есть в папе. Не в идее ли оно Христа, которая есть и в протестантизме?» Пушкина удивляет предпочтение Давида Марку Аврелию, недооценка поэтических достоинств творений Гомера. «Да и все, что ни представляет кровавого Илиада, разве то же не находится в Библии?» Как художник конкретной и прозрачной поэтики, Пушкин слегка касается критическим замечанием известной темноты стиля, а также отсутствия порядка и плана в прочитанных статьях, но находит последние качества извинительными и объяснимыми самим жанром письма. Но несомненны и достоинства: «Все, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристотеле, идее истинного бога, древнем искусстве, протестантизме, все это изумительно по силе, правде и красноречию. Все, что является портретом и картинкой, — широко, блестяще и величественно…»

Такие обтекаемые и обходящие существо вопроса оценки, сопровождаемые к тому же вопросительными знаками, безусловно, не способствовали продолжению бесед и не могли удовлетворить Чаадаева, чье недовольство усиливалось неразрешенностью намерения издать свое сочинение. «Ну что же, мой друг, куда вы девали мою рукопись? — в третий раз нетерпеливо спрашивает он поэта в сентябре. — Холера ее забрала, что ли? Но слышно, что холера к вам не заходила. Может быть, она сбежала куда-нибудь? Но в последнем случае, сообщите мне, пожалуйста, хоть что-нибудь об этом…» О рукописи Петра Яковлевича запрашивают Пушкина А. И. Тургенев и П. В. Нащокин, а тот не может переслать ее в Москву, поскольку из-за эпидемии посылок на почте не принимают. Пользуясь таким непреодолимым препятствием, поэт дает ее на прочтение Жуковскому.

В Москве число читателей философических писем постепенно растет и включает даже не сведущих в метафизических тонкостях людей. В конце сентября 1831 года Михаил пишет о брате тетке, которая чрезвычайно рада, что Петр регулярно посещает Английский клуб и «не убегает людей»: «Он возобновил некоторые старые и сделал некоторые новые знакомства, почти всякое утро выезжает в гости, часто в гостях обедает или у нас обедают. Продолжится ли это, — кажется, можно надеяться».

Надежды Михаила Яковлевича оказались небезосновательными, и Петр Яковлевич быстро привлекает особенное внимание московских дам. Среди них следует в первую очередь назвать Екатерину Гавриловну Левашову, которая станет горячей поклонницей философии Петра Яковлевича. «Женщина

эта, — говорил Герцен, — принадлежит к тем удивительным явлениям русской жизни, которые мирят с нею, которых все существование — подвиг, никому неведомый, кроме небольшого круга друзей. Сколько слез утерла она, сколько внесла утешений не в одну разбитую душу, сколько юных существований поддержала она и сколько сама страдала! «Она изошла любовью», — сказал мне Чаадаев, один из ближайших друзей ее…» Сама Левашова, тяжело больная женщина, писала в Сибирь своему двоюродному брату И. Д. Якушкину: «Любить и любить. Вот все, что я делаю в этом мире. Любить моего мужа, моих детей, моих друзей, любить все человечество, живо и свято интересоваться всем, что происходит с ним провиденциального…» Такая любовь, признается она в письмах к Ивану Дмитриевичу, вносит в ее душу не подвластное никакой поэзии очарование, дает мгновения беспредельного счастья. Иногда же она ей кажется чем-то вроде нервной горячки, разрушающей жизненные силы и дающей пример еще одной «непоследовательности человеческого существования».

Якушкина Екатерина Гавриловна считала своим первым другом, постоянно переписывалась с ним, посылая ему и его ссыльным товарищам необходимые книги, семена цветов, наставления по уходу за растениями. В Москве Левашева то и дело навещает жену и детей Ивана Дмитриевича, сообщая ему о них разные трогательные подробности. Близка она и с Н. Н. Шереметевой, называющей зятя «милым другом и сыном любезным» и не перестающей нежно заботиться о нем. Именно через воспоминания Якушкина и через рассказы Надежды Николаевны любвеобильная душа Екатерины Гавриловны сочувственно заинтересовалась терзаниями и угрюмым затворничеством Петра Яковлевича.

О близком приятеле ее любимого двоюродного брата, несомненно, рассказывали и гости большого дома на Новой Басманной, где она жила вместе с мужем Николаем Васильевичем Левашевым (их владения в разных губерниях включали около 4 тысяч крепостных) и шестью детьми. По словам московского жандармского генерала Перфильева, писавшего в 1836 году донесения петербургскому начальству в связи с публикацией в «Телескопе» первого философического письма, Екатерина Гавриловна была «женщина уже не молодых лет, хорошо образованная, начитанная, с репутацией femme savante[22]; образ жизни ведет довольно уединенный и, имея дочерей взрослых, редко показывается в обществе. Сам г. Левашев слывет за человека ничтожного и в свете, и дома. Знакомство имеют большое…» Едва ли не до самой кончины постоянно приходил к

ней в гости Василий Львович Пушкин, украшавший семейный альбом стихотворными экспромтами. Среди многочисленных ее посетителей находились и известные завсегдатаи Английского клуба И. И. Дмитриев, М. Ф. Орлов, М. А. Салтыков. Последний, считавшийся чуть ли не членом семьи, по всей вероятности, и познакомил непосредственно хозяйку дома с Чаадаевым еще до того, как тот стал выезжать в свет.

Хранящиеся в архиве Якушкиных неопубликованные письма Е. Г. Левашевой к Ивану Дмитриевичу содержат много примечательных деталей из жизни Петра Яковлевича. Иван Дмитриевич знал его, пишет она ссыльному брату, красивым мальчиком, а теперь он совсем другой, удивительно изменившийся человек. Когда он после возвращения из-за границы, больной и грустный, уединился от общества и предался исследовательским размышлениям, в Москве о нем распространялись слухи как о визионере и сумасшедшем мечтателе. Возможно, замечает Екатерина Гавриловна, эта несправедливость людей усложнила и усилила его диковатость, выливавшуюся в невыносимые странности. Нужно, уверяли ее знакомые, иметь необычайный интерес к личности Петра Яковлевича, чтобы терпеть его чудачества. И действительно, признается она Ивану Дмитриевичу, при первых встречах долгое изнурительное молчание Чаадаева сменялось откровенной манерой разговора, которая показалась ей неприятной, дерзкой и грубой, хотя и отличадась изрядным остроумием. «Однако мы понемногу привыкли друг к другу, он, так сказать, приручился, и сейчас, решившись появиться в свете, он приходит ко мне 3–4 раза в неделю».

Постепенно она открывает в нем новые качества: «Какие дары высокого ума, какое богатство сердца, какая красота души, какая гармония во всем его существе». Защищая Петра Яковлевича от недоброжелательных мнений, Левашева уверяет Якушкина, что его друг не сумасшедший мечтатель, а «необыкновенный гениальный человек, добродетельный, религиозный, мудрец, наконец, не античный, но христианский мудрец, мораль которого основана на евангельской чистоте…» Это не фанатик, богомолец и ханжа, как толкуют о нем досужие умы, а человек с фундаментальными знаниями и европейскими правилами, обладающий к тому же совершенно поэтическим воображением. Когда он живо увлекается своими глубокими идеями и благородными чувствами, его обаятельное слово можно принять за божественное вдохновение.

По мнению Екатерины Гавриловны, «полная отречения и добродетели» жизнь Петра Яковлевича, «превосходство его гения»

вызывают зависть менее замечательных людей, называющих его парадоксалистом, католиком, либералом. Но разве может быть либералом, риторически вопрошает она, друг порядка и спокойствия, полагающий непригодным для традиционно монархической России республиканское правление и считающий покушение на существующие установления восстанием против Провидения? И какой же он католик, если ходит в православную, а не католическую церковь, не признает непогрешимость римского первосвященника и считает папство лишь символом единства? Что же касается парадоксов, то «совершенно особая доктрина» Чаадаева не вмещается в умы злопыхателей, еще больше раздражая их, и тут уж ничего не поделаешь. Она и сама, признается Левашова, поначалу не понимала его мыслей; несколько раз просила объяснений, пока наконец не постигла всю их возвышенность и глубину. Однако он не прав, вдруг замечает она, считая только себя умным человеком, а остальных глупыми. Впрочем, переходила Екатерина Гавриловна на чисто женские интонации, Петр Яковлевич действительно внушает невыразимое почтение своей прекрасной, облаченной в строгое черное, как у аббата, одеяние, фигурой, своим благородным и задумчивым лицом. И представление о его превосходстве, уверяет она двоюродного брата, не является выражением предубеждения с ее стороны: «Так думают многие уважаемые мужчины и почти все женщины».

«Оригинальным с головы до ног», пишет она далее, Чаадаев стал весьма популярен в московском обществе, его везде приглашают, и нет мало-мальски выдающегося человека, который не хотел бы с ним познакомиться. Однако он, жертвуя блестящими приемами, приходит к ним в условленный час обедать, и они часто вспоминают с ним Ивана Дмитриевича, невидимо присутствующего рядом, читают вместе послания ссыльного декабриста, обсуждают новости, полученные от него женой и тещей.

Занимаясь чем случится, Якушкин задумывается над популярностью сен-симонистских идей, непривычно для него трактующих «великое слово равенство», просит прислать соответствующие книги. Петр Яковлевич мог бы высказать много продуманного о «новом христианстве», но он почему-то совсем не пишет старому другу. Да и в его семействе перестал бывать.

В послании к зятю Надежда Николаевна Шереметева стала было выражать удивление, что Чаадаеву не хочется даже взглянуть на его детей, но тотчас же подавила свою обиду: «Впрочем, он здоров, весел, я его люблю все так же, как прежде, и с тем же чувством молю о нем Бога… И слыша о его суждениях,

всех уверяю, что он говорит всегда что чувствует, может ошибаться во многом, но против чувств не скажет. В большом свете — поддержи его Господь — очень вы всегда и теперь интересуются. И зная, как ты его любишь, ни к чему, ни к кому на свете не переменилась за то, кто к нам не таков. Главное, чтобы касательно других мы старались елико возможно быть справедливыми…»

Спираль светской жизни Петра Яковлевича раскручивалась, словно наверстывая упущенное в годы недавнего одиночества. «Катерина Гавриловна, — сообщала Надежда Николаевна Ивану Дмитриевичу, — говорила, что у него дни так расположены — два или три раза в неделю обедает дома, раз у нее, два раза у Орлова Михаила Федоровича, с которым часто видается, в Английском клубе два раза, а вечера, когда есть балы, то на балах часов до трех бывает…»

Чаадаев становится постоянным посетителем представлений во французском театре, даваемых по средам и субботам. Там он, безукоризненно одетый, никогда, по словам А. И. Дельвига, «не отходил от своего кресла и всегда ожидал, чтобы к нему подходили». Его празднично и одновременно строго одетую независимую фигуру часто можно видеть и на танцевальных вечерах в известных аристократических домах, и на балах в Благородном собрании. И везде произносится с благоговейным почтением имя Петра Яковлевича, всегда окруженного уважаемыми членами общества и особенно дамами, с которыми он нередко вместо танцев ведет философические беседы. Навязчивая идея, пишет ему какая-то незнакомка, влечет ее на ближайший бал-маскарад, чтобы узнать, «разрешил ли господин Чаадаев во вторник ночью проблему трех способностей». Тот же может опознать ее по платью небесно-голубого цвета.

Другая неизвестная дама, чье письмо также хранится в архиве Петра Яковлевича, признается ему, что слышала много хвалебного о нем и за границей, и в Москве, куда она недавно вернулась. Имя Чаадаева уже давно стало ей привычным и желанным. Когда же она увидела его на одном из танцевальных вечеров, то необычное и до сих пор чуждое чувство наполнило все ее существование. Она стала ездить на балы, чтобы под защитой маски иметь счастье не только видеть его любезную улыбку, но и говорить с ним, слышать его важный и проникновенный голос. Благородство внешности и печать гения на лице Петра Яковлевича, стоящего среди почитателей, заставляют ее считать его «королем людей».

Эта же неизвестная дама выражает беспокойство, не нарушает ли она своим вторжением важных умственных занятий

Чаадаева. Однако, признаваясь в любви, умоляет его как «благодетельное божество» снизойти до свидания с ней на Тверском бульваре. Ежели тот не придет, она будет вынуждена думать, что несовершенство в доброте всегда примешивается даже к самым избранным, к самым высшим существам…

Приобретая все большую популярность в светском обществе, Петр Яковлевич подумает немалое количество подобных посланий, но, видимо, чаще всего проявляет в таких случаях «несовершенство в доброте», особенно если понимание его идей отступает на задний план перед слишком интимными излияниями, «Различные барыни, — замечает М. И. Жихарев, — по-своему изъясняя невеликое на них обращаемое внимание, ловили его в маскарадах и ему толковали про какую-то его обманутую любовь и про измену никогда и ни в какой стране не жившей, обожаемой женщины…» Однако усилия барынь оказывались напрасными.

А вот отношения Чаадаева с московской красавицей Марией Бравурой, итальянкой по происхождению, знакомство с которой поддерживали П. А. Вяземский, М. Ф. Орлов, А. И. Тургенев, М. И. Глинка, И. С. Гагарин и другие известные современники, кажется, не столь уж прохладные.

«Ваши глубокие размышления о религии, — отвечает она ему, получив «желанные рукописи», — были бы выше моего понимания, если бы я с детства не была напитана всем тем, что имеет отношение к католическому культу, который я исповедую, и всем, что ведет к Единству…» Не вдаваясь далеко в философию, Мария Бравура в посланиях к Петру Яковлевичу, называемому ею благородным и совершенным другом, просит его не забывать к ней дорогу, не закрытую непреодолимыми препятствиями, говорит о каких-то его новых правах на ее признательность, желает беседовать с ним наедине, цитирует любовные стихи на итальянском языке, надеется вылечить в общении с ним свою больную душу.

Судя по неопубликованным письмам красавицы, он избегает слишком интимных встреч с ней, вызывая у нее иронические вопросы: «Не заткнули ли вы уши с некоторого времени? Вас не видно более, что с вами? Боитесь ли вы встретить у меня гусеницу?» Трудно сказать, какие желания пробуждало женское самолюбие у госпожи Бравуры и в какой степени они осуществились. Во всяком случае, подливая масла в огонь для досужих домыслов, она двусмысленно сообщала Вяземскому в Петербург летом 1832 года: «Автор письма к даме постоянно пребывает в заоблачных сферах. Однако иногда ему приходит в голову фантазия очеловечиться, и тогда кого, по-вашему,

выбирает, он в качестве цели, спускаясь к простым смертным? В нем есть вещи, не согласующиеся с его философией и более подходящие к вашей, дорогой князь, но о них я не могу вам поведать. Не подвергнется ли пытке ваш ум, если я предложу вам разгадать эту загадку?»

Ум Вяземского не находил иной разгадки, кроме вопроса в письме к А. И. Тургеневу, которому он изложил намеки итальянской красавицы; «Не ходит ли он (Чаадаев. — *Б. Т.*) миссионерничать по (…)ям. Это вовсе не по моей части и не по моей философии, но преувеличенная стыдливость, вызывающая молчание г-жи Бравуры, дает мне некоторое подозрение». Тургенев, сам неравнодушный к итальянской красавице, предложил в ответе Вяземскому свою разгадку, правда, тоже заканчивавшуюся вопросительным знаком: «Она думала, что он ей куры строит, вот и все тут. Перечти письмо ее и увидишь, что я прав: не знаю, права ли она?» Как бы то ни было, Петру Яковлевичу неприятны слишком усердные ухаживания светских львов за Бравурой, и он, например, с раздражением ждет отъезда в Петербург одного из них, молодого графа Кочубея.

7

Круг светских знакомых Чаадаева не перестает расширяться. Он часто бывает в доме другой московской красавицы, Екатерины Александровны Свербеевой, жены своего давнего приятеля и дальней родственницы по щербатовской линии. Сочетавшиеся с красотой ум, образованность и приветливость хозяйки, которую А. И. Тургенев называл «Рекамье-Свербеевой», а Вяземский — председательницей «bureau d'esprit et de poésie»[23], собирают вокруг нее писателей, ученых, мыслителей. «В течение десятков лет, — признавался ей позднее один из современников, — в вашем доме соединялась вся мыслящая часть русского общества, жившая или бывавшая проездом в Москве. Ваш дом и ваше семейство принадлежат к истории русской культуры и умственного развития России. Ничего подобного теперь нет, и молодым поколениям негде воспитываться и складываться, как мы воспитывались и складывались в вашем салоне».

В начале 30-х годов М. П. Погодин отмечал в дневнике, как он слушал в салоне Свербеевых «парадоксальные разговоры» А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, любовался «примечательною физиономиею и важною речью» Чаадаева, который читал там свои философические письма и с неожиданными сравнениями рассуждал о связи древней архитектуры с бессмертием души.

Отрывки умственных трудов Петра Яковлевича ходят но рукам, копируются, и в 1832 году, видимо, не без тайного согласия автора» в журнале «Телескоп» печатается анонимно его небольшое сочинение под заглавием «Нечто из переписки NN (с французского)». Оно включает в себя афоризмы религиозного характера, а также размышления о зодчестве.

Растущий авторитет Чаадаева отразился в ряде основных рассуждений в книге «О системе наук, приличных в наше время детям, назначаемым к образованнейшему классу общества», удостоенной в 1833 году Демидовской премии. Ее автор, доктор Иван Максимович Ястребцов, ранее врачевал в Ардатовском уезде, где находилось родовое имение Чаадаевых, а затем, живя в Москве, лечил в Алексеевском и Анну Михайловну Щербатову. Увлекаясь философскими проблемами педагогики, он испытывает сильное влияние идей Петра Яковлевича. Жизнь отдельного человека, размышляет Ястребцов на страницах книги, становится осмысленной, когда, освобождаясь от эгоистических начал, он вносит деятельный вклад в совершенствование человеческого рода. То же самое можно сказать и о каждой нации, положительное знание которой должно определяться развитием

какой-нибудь полезной для человечества единящей цели. Однако сложность здесь заключается в том, что прошлое народа, влиял на его настоящее и будущее, составляет цепь исторических предубеждений, от коих невозможно избавиться. «Сии предубеждения входят, так сказать, в кровь, пускают корни во все существо человека. Таким образом, до сих пор, как думает одна особа, не погибла еще в египетском мире власть языческих преданий». Предания, продолжает автор, действуют в нравственном мире, подобно магнетизму в физическом, и умножают силы души, способные служить добру и злу. Россия, по его мнению, свободна от всяких предубеждений, ибо прошлое не имеет над ней никакой власти, а потому, используя полезные и отбрасывая вредные традиции, может достигнуть высокой степени совершенства на путях всечеловеческого прогресса.

Упоминаемая Ястребцовым одна особа и есть Чаадаев, чьи идеи, как видим, претерпевают дальнейшее изменение, начавшееся после вспышки революционных событий в Европе. Этому изменению способствует и обмен мнений в мыслящем московском обществе, где он все больше распространяет свое влияние. Петр Яковлевич становится желанным гостем и в доме А. П. Елагиной.

«В последние годы царствования Александра I, — писал К. Д. Кавелин, — и в продолжение всего царствования императора Николая, когда литературные кружки играли такую важную роль, салон Авдотьи Петровны Елагиной в Москве был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что было у нас самого просвещенного, литературно и научно образованного. За все это продолжительное время под ее глазами составлялись в Москве литературные кружки, сменялись московские литературные и научные предприятия, совершались различные переходы русской мысли. Невозможно писать историю русского литературного и научного движения, не встречаясь на каждом шагу с именем Авдотьи Петровны».

Живой и ясный ум, широкая образованность, тонкая наблюдательность сочетались в ее характере с веселым нравом и добродушием. Большой знаток европейских литератур, она много переводила с иностранных языков, и о ее стиле с высокой похвалой отзывался Жуковский, близкий ее родственник. Последний представлял на ее суд произведения еще в рукописи и учитывал ее замечания в окончательной их редакции. В «Республике привольной у Красных ворот», как называл дом Елагиных поэт Николай Языков, гостеприимная и просвещенная хозяйка принимала в конце 20-х — начале 30-х годов А. С. Пушкина, В. Ф. Одоевского, А. С. Хомякова, Е. А. Баратынского,

М. П. Погодина, С. П. Шевырева, П. А. Вяземского, И. И. Дмитриева, Д. Н. Свербеева, М. Ф. Орлова, А. И. Тургенева. «Тут, — замечал А. И. Кошелев, — бывали нескончаемые разговоры и споры, начинавшиеся вечером и кончавшиеся в 3, 4, даже в 5 и 6-м часу ночи или утра». Участником разговоров и споров на елагинских воскресных вечерах сделался и Чаадаев, часто появлявшийся там с неразлучным Салтыковым.

В доме Авдотьи Петровны особенно выделялся в глазах Чаадаева ее старший сын Иван Киреевский, который был моложе Петра Яковлевича на двенадцать лет, но уже отличился на поприще литературной критики и которого Жуковский называл «самым чистым, добрым и даже философическим творением». Аполлон Григорьев писал, что И. В. Киреевский является автором «первого философского обозрения нашей словесности», имея в виду опубликованное в 1830 году в альманахе «Денница» его «Обозрение русской словесности 1829 года». Пушкин так оценил его: «…Там, где двадцатитрехлетний критик мог написать столь занимательное, столь красноречивое Обозрение словесности, там есть словесность — и время зрелости оной уже недалеко». Но еще двумя годами раньше в «Московском вестнике» появилась его статья «Нечто о характере поэзии Пушкина», ставшая первым опытом проницательного истолкования творческой эволюции писателя. Прочитав эту работу, Жуковский писал матери ее автора: «Благословляю его обеими руками писать — умная, сочная, философическая проза».

Философскому уклону литературных интересов Ивана Киреевского способствовали и основательное домашнее образование в кругу просвещенных родителей и родственников, и общение с «любомудрами» в ранней молодости, и природные свойства его личности, соединявшей, если говорить словами Жуковского, глубокий ум и душевную чистоту. Благородство его натуры выразилось и в осознании им собственного призвания. «Не думай, однако же, — писал он в начале своей литературной деятельности другу А. И. Кошелеву, — чтобы я забыл, что Русский, и не считал себя обязанным действовать для блага своего отечества. Нет! все силы мои посвящены ему. Но мне кажется, что вне службы — я могу быть ему полезнее, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть литератором, а содействовать просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать?»

Поставив себе целью образовываться всю жизнь, Киреевский в 1830 году, едет за границу, где слушает лекции тогдашних философских знаменитостей, знакомится с Шеллингом и Гегелем. Вернувшись на родину, он осенью 1831 года приступает к

исполнению заветного решения издавать журнал, к сотрудничеству в котором привлекает В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, Н. М. Языкова, А. И. Тургенева, А. С. Хомякова. Пушкин (не оставивший еще замысла создания политической газеты) готов присылать для нового журнала, названного «Европейцем», пока еще не оконченные произведения, но журнал неожиданно запрещается на третьем номере вследствие весьма примечательного доноса. «Киреевский, добрый и скромный Киреевский, — замечает Пушкин в одном из писем, — представлен правительству сорванцом и якобинцем! Все здесь надеются, что он оправдается и что клеветники — или, по крайней мере, клевета — успокоится и будет изобличена».

Клевета легла на почву, подготовленную самим правительством в удобренную им. Мании подозрении и недоверия к благородным и стремящимся приносить пользу соотечественникам заставляла начальство III отделения прибегать к таким средствам, которые подрывали моральный авторитет государства, отталкивали от него лучших представителен народа и тем самым незаметно, но верно участвовали в расшатывании его могущества и в подготовке его грядущего падения. Один из мемуаристов, рассказывал о конце 20-х и о 30-х годах, писал: «Москва наполнилась шпионами. Все промотавшиеся купеческие сынки, вся бродячая дрянь, неспособная к трудам службы; весь сброд человеческого общества подвинулся отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон: и от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом». Доносчик на Киреевского принадлежал скорео всего не к сброду, а к литературной братии, и его усилие легко наложилось на давний интерес III отделения к личности издателя нового журнала. В число подозреваемых (к ним не переставал относиться и Чаадаев) попал даже Жуковский, который, узнав о незаконной проверке его послании, сообщал А. И. Тургеневу: «Кто вверит себя почте? Что выиграли, разрушив святыню, веру и уважение к правительству? Это бесит! Как же хотят уважения к законам в частных лицах, когда правительство все беззаконие себе позволяет?»

Сам император обнаружил в статье И. В. Киреевского «Девятнадцатый век», напечатанной в первом номере «Европейца», «сокровенный» смысл. Сочинитель, передает мнение Николая I Бенкендорф, рассуждая о литературе, разумеет совсем иное: «Под словом *просвещение* он понимает *свободу… деятельность разума* означает у него *революцию,* а *искусно отысканная середина* не что иное как *конституция».*

И хотя Жуковский обоснованно доказывал полную несостоятельность подобных истолкований и обвинении

Киреевского в желании замаскировать философией политику, журнал окончательно прикрыли, изъяв из участия в общественной жизни литератора с благородными помыслами.

«Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным», — писал Баратынский Киреевскому после запрещении «Европейца».

Издателю журнала позволили нарушить мыслительное молчание лишь оправдательной запиской. А составил ее… Чаадаев. Иван Васильевич прибегнул к услугам Петра Яковлевича не только потому, что часто беседовал с ним у себя дома, слушал его речи в других московских салонах. Чаадаев, очевидно, давно приметил талантливого и чистого сердцем молодого человека, пытаясь посвятить его в «тайну времени», в «одну мысль». И, кажется, на первых порах небезуспешно. «Вы знаете, — замечал в неопубликованном послании к Ивану Киреевскому автор философических писем, — что время мчится галопом. Остерегайтесь, оно может унести меня на своем крупе, и тогда прощай наши общие надежды, наши общие ожидания! Что станет со всем этим? Печальное воспоминание, возможно, раскаяние. Очевидно, что время катится очень быстро: есть чему вызвать головокружение у того, кто чувствует его движение. И посреди этого видеть людей с закрытыми глазами, полууснувших, ждущих, когда вихрь их опрокинет и унесет вверх тормашками неизвестно куда, возможно в пекло, где происходит великая переплавка всех вещей…»

Общие надежды и ожидания отразились и в злополучной статье «Девятнадцатый век». Вслед за Чаадаевым ее автор желает видеть примирение яростной борьбы противоборствующих начал быстротекущей эпохи в «просвещении общего мнения», в результате чего частная и социальная жизнь должны составить одно целое, существующее по законам разума и природы: «Вера в эту мечту или в эту истину составляет основание господствующего характера настоящего времени и служит связью между деятельностью практическою и стремлением к просвещению вообще». Просвещение, понятое «как мысль, как наука», созидающая успехи общечеловеческой цивилизации и обеспечивающая «прогрессию человеческого ума», становится важнейшим понятием опубликованной работы Киреевского.

Такое просвещение, по логике автора, наблюдается лишь в Европе, где оно постепенно и последовательно создавалось взаимодействием влияния христианской религии, воинственности варварских народов и наследия древнего мира. Последнему элементу, который как бы проницает и оформляет первые два, он, уже в отличие от Чаадаева, приписывает особую

роль. Римские законы, воздействуя на быт и обычаи варваров, способствовали образованию независимых городов, сделавшихся существенным источником европейской образованности. Еще важнее, подчеркивает Киреевский, влияние античности на внешнее устройство католической церкви и ее политическое значение в средние века. Светское правление епископов, ориентированное на римские образцы, не только направляло образование, но и цементировало межгосударственное единство, придало «один дух всей Европе». Церковь распространила просвещение, которое, замечает автор «Девятнадцатого века», могло уже развиваться и без ее помощи, прямо обратившись к римским и греческим праисточникам (в эпоху возрожденческого культурного переворота) и вступая в отличные от предшествующих стадий социального прогресса.

Если в системе мышления Чаадаева «элементы» и «зародыши» этого прогресса представляются результатом преодоления языческого начала христианским, что и предопределяет его идею «царства божия» на земле, то в более диалектичном умопостроении Киреевского, расплывчато определяющем поступательное развитие, плоды просвещения являются процессом взаимопроникновения этих начал.

Но у обоих мыслителей вырабатывается однотипное отношение к русскому просвещению, в котором они не обнаруживают «прогрессистской» образованности, хотя в объяснениях такого положения выделяют разные стороны. Рассуждения Чаадаева о разделении церквей и «неотмирности» православия уже известны. Киреевский же видит причину в отсутствии влияния на русскую историю опять-таки «классического древнего мира», не воздействовавшего ни на церковную, ни на социальную жизнь. Поэтому, пишет он, чтобы достигнуть европейской образованности путем внешнего заимствования, Петру I необходимо было сражаться «с нашей национальностью на жизнь и смерть» и совершить «перелом в нашем развитии». Подобное заимствование стало возможным также благодаря тому, что Запад вступил в новую стадию, как бы конфликтующую с предшествующими этапами его истории, которые, следовательно, России не было необходимости повторять. «Старое просвещение связано неразрывно с целою системою своего постепенного развития, и, чтобы быть ему причастным, надобно пережить снова всю прежнюю жизнь Европы. Новое просвещение противоположно старому и существует самобытно. Потому народ, начинающий образовываться, может заимствовать его прямо и водворить у себя без предыдущего, непосредственно применяя его к своему

настоящему быту». Что и необходимо, по мнению Киреевского, постоянно делать для усиления роли России в созидании общечеловеческой цивилизации и в «просвещении общего мнения».

Как видим, мысль автора «Девятнадцатого века» движется в границах общей историософской схемы автора «Философических писем», но с весьма и весьма существенными изменениями внутри ее, с выделением в ней «языческих» и «светских» элементов, «нового», а не «старого» просвещения. Общность, а также сходное желание блага России, своеобразно ими понимаемого, и заставила первого обратиться ко второму. Возможно, что Чаадаев сам предложил свою помощь Киреевскому. Объясняясь от его имени с Бенкендорфом, Петр Яковлевич не может не вносить собственных, уже достаточно изменившихся по сравнению с первым философическим письмом, суждений, носящих в данном случае и защитный характер. «И какое нам дело до того, что происходит в настоящее время на поверхности европейского общества? Что у нас может быть общего с этой новой Европой, столь жестоко терзаемой потугами некоего рождения, в смысле которого она сама не может отдать тебе отчета? Мы должны, как я уже говорил, искать уроков себе в старой Европе, где совершены были столь великие дела, в коих мы не принимали участия, где возникло столько великих мыслей, не дошедших до нас».

Различая разные Европы и отдавая предпочтение католической, а не революционной, Чаадаев уже разрывает логику прежних переходов между ними и видит необходимость заимствования для России не всех этапов западной истории, а только ее основ. Он надеется, что именно эти католические основы в соединении с современной философией и наукой могут помочь Европе выдавить из себя анархическое начало. Россия же, когда усвоит их, может отказаться от поверхностного подражания взращенным на иной почве конституциям и учреждениям и воспринять лишь самые лучшие, основанные на «действенной религии» достижения, а тем самым упрочить свою мощь и самостоятельное значение.

Неизвестно, дошло ли до Бенкендорфа объяснение Киреевского, написанное Чаадаевым. Во всяком случае, в московском обществе оно получило широкое хождение и живо обсуждалось. (Вспоминая позднее запрещение «Европейца», его неудачливый редактор писал Л. С. Хомякову: «Оправдание мое, которое ходило тогда по Москве, было написано не мною, и не по моим мыслям, и распущено не по моему желанию».) Петр Яковлевич же частично менял свои взгляды под воздействием

текущих событий и активно распространял их в интеллектуальной среде, искал, как когда-то в юности, «надлежащий путь» к славе и, кажется, готовился к отнюдь не анонимному диалогу с правительством.

Изменение этих взглядов отражало взаимосвязь подспудно продолжающегося разочарования в исторической роли Европы и растущей надежды на Россию в деле определяющего влияния на «вселенскую судьбу всех вещей». В письмах 1832 и 1833 годов к Шеллингу и к А. И. Тургеневу вдруг обнаруживаются новые штрихи живого и в будущем постоянно противоречивого развития чаадаевской мысли. Его надежда питается наблюдениями над молодым поколением, жадно устремленным к просвещению, а также отсутствием на русской духовной почве «закоренелых предрассудков», «старых привычек», «упорной рутины», которые мешают в Европе воплощению «великих идей».

В послании к Николаю I, составленному в июле 1833 года, появшиеся надежды значительно усилены. «Я полагаю, что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире. Мне кажется, что нам необходимо обособиться в наших взглядах на науку не менее, чем в наших политических воззрениях, и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, во всем не подчиняться воздействию других народов, но со своей стороны воздействовать на них…» Благоприятным условием для такого воздействия Чаадаев считает и особенности единящего государственного строя, способствующего совершенному подчинению чувств и мыслей русских подданных чувствам и мыслям монарха. Давая подобные рекомендации царю, Петр Яковлевич предлагал свои услуги по их осуществлению и просил себе должность в министерстве просвещения, тайно надеясь на роль главного советника в этой важной отрасли правительственной деятельности.

К службе подвигали его и финансовые затруднения, и повышавшийся авторитет, и популярность в обществе, что укрепляло его желание взять на себя роль одного из активных проводников «политики рода человеческого». За протекцией ему пришлось обратиться в начале 1833 года к тому самому генералу Васильчикову, под началом которого он некогда служил. Если бы он руководил каким-нибудь административным учреждением, отвечал последний, то дело Чаадаева было бы улажено наилучшим образом. В теперешнем же своем положении Васильчиков может быть только просителем и посредником.

Люди, к которым он обращался, признают высокие качества и прежние заслуги Петра Яковлевича, но затрудняются найти место, соответствующее его чину отставного ротмистра. Он извещает далее своего бывшего адъютанта, что Бенкендорф изъявил готовность помочь ему и просит его написать подробнее о своих желаниях. И Екатерина Гавриловна Левашева советовала Чаадаеву не пренебрегать расположением начальника III отделения, которого она считала добрым и образованным человеком.

Бенкендорф искренне надеялся помочь своему бывшему сослуживцу и боевому товарищу, с которым он встречался лично при неустановленных обстоятельствах после возвращения Петра Яковлевича из заграничного путешествия. Одновременно он отдавал приказы о наблюдении за образом жизни и знакомствами отставного ротмистра, чья возраставшая известность и пропагандистская активность привлекали внимание соглядатаев.

Отставной гвардии полковник Чеодаев, говорилось в одном из доносов, перевирающем фамилию и повышающем в ранге подозрительное лицо, ведет жизнь странную и пишет какие-то сочинения, которые все потихоньку читают, а достать невозможно. Но слух идет, «что они основаны на преобразовании России и там будто выводится, что католическая Религия есть настоящая и потому должно всем ее принять…». Александру Христофоровичу хорошо было известно, сколько раз в неделю Петр Яковлевич обедает в Английском клубе, с кем встречается ежедневно, а с кем — пореже, какой замок в его квартире и как заперта дверь в ней, когда приходят гости. Столь же тщательно велось наблюдение во время приездов в Россию и за Александром Ивановичем Тургеневым, который, по секретному сообщению соглядатая, даже во время бритья убегал от парихмахера что-то писать.

В феврале 1833 года жандармский генерал Лесовский, обобщая подобные детали, докладывал начальнику III отделения, что Чаадаев первую половину дня проводит у себя на квартире, а затем всякий раз выезжает и возвращается очень поздно, иногда же вовсе не ночует дома. Лошадей своих не имеет, а ездит с наемным кучером, живущим у него уже два года. Кучер тот весьма скромен и трезв, а на вопрос, куда чаще всего ездит его барин, отвечать не желает. Господина «Чеодаева» почитают «человеком умным, начитанным и даже мистиком; говорят, что в церковь довольно часто ходит и богомолен… О сочинениях его к преобразованию России, и о превосходстве Католической религии ничего сему подобного и даже близко не открывается…»

А в начале 1833 года отставной ротмистр лично напомнил о

себе Бенкендорфу, рассказывая в послания о плохом состоянии своего здоровья и имущественных дел, что долгое время препятствовало его поступлению на царскую службу и поставило под сомнение законность его хлопот. Но за это время он приобрел знания, способные принести пользу России. Своеобразие исследовательских трудов и отсутствие навыков в гражданских делах, замечает Петр Яковлевич, заставляют его просить генерала Васильчикова ходатайствовать о предоставлении ему дипломатической должности, готовясь к которой он пристально изучает современные события и расстановку политических сил в мире. «Мне кажется, — пишет Чаадаев до конца понятные лишь ему слова на полях книги Мартенса «Дипломатический путеводитель», — что опасность действительно существует. И главным образом потому, что Правительство станет на сторону народа… Боде может быть в Вюртенберге, нужно, прежде всего, сблизиться с Баварией… Миссия во все правительства Германии. — Система миссий. — Вспомните императора Александра. — Система жестоких репрессий будет иметь нежелательные результаты».

Отставной ротмистр убеждает Бенкендорфа, что мог бы «пристально следить за движением умов в Германии. Да и в настоящую минуту я вижу, что это было бы той службой, на которой я мог бы лучше всего использовать плоды моих научных занятий и труды всей моей жизни. Но положение вещей в мире политическом усложняется со дня на день, и при этих условиях правительство может положиться в таком деле лишь на хорошо известных ему лиц. Теперь я стремлюсь лишь и счастью быть известным Его Величеству…» Далее Чаадаев выражает надежду на мудрость монарха, августейшего судьи всех возможных достоинств своих подданных, в руки которого он н вверяет покорно свою грядущую судьбу.

Однако мудрость его величества весьма затейливо распорядилась способностями Петра Яковлевича, расстроившего свое наследственное имение и погрязшего в долгах. Николай I разрешил ему поступить на службу по министерству финансов. Тогда Чаадаев осмелился обратиться прямо к царю, объясняя свою неосведомленность в финансовых вопросах и выражая стремление не только к собственной выгоде, но и к славе полезного служения отечеству. «Я много размышлял над положением образования в России и думаю, Государь, что, заняв должность по народному просвещению, я мог бы действовать соответственно предначертаниям Вашего правительства. Я думаю, что в этой области можно много сделать, и именно в том духе, и котором, как мне представляется, направлена мысль Вашего

Величества…» Далее Чаадаев излагает уже известные мысли об укреплении национальной основы и обособленного характера русского просвещения.

Прося Бенкендорфа передать свое послание императору, он замечает, что оно написано по-французски и тем самым являет живой и жалкий пример несовершенства нашего образования. Но Петр Яковлевич обещает, если поступит на службу, не писать более на иностранном языке. «По сие время писал я на том языке, на котором мне всего легче было писать. Когда стану делать дело, то Бог поможет, найду и слово русское: но первого опыта не посмел сделать писав Государю…»

Однако сопроводительные слова насторожили начальника III отделения, и он вернул Чаадаеву всеподданнейшее послание нераспечатанным, дабы высочайшее неудовольствие не повредило беспокойному просителю. «Ибо Его Величество, конечно бы, изволил удивиться, найдя диссертацию о недостатках нашего образования, где, вероятно, ожидал одного лишь изъявления благодарности и скромной готовности самому образоваться в делах, Вам вовсе незнакомых. Одна лишь служба, и служба долговременная, дает нам право и возможность судить о делах государственных, и потому я боялся, чтобы Его Величество, прочитав Ваше письмо, не получил о Вас мнение, что Вы по примеру легкомысленных французов принимаете на себя судить о предметах, Вам неизвестных…»

Петр Яковлевич чрезвычайно огорчается таким оборотом дела, снова пишет Бенкендорфу, выражая благодарность за заботу о нем он пытаясь разъяснить возникшие недоразумения. Он вновь отправляет непрочитанное послание к Николаю I, где нет безумных рассуждений о государственных делах и «ничего похожего на преступные действия французов, которыми более кого-либо гнушаюсь». Чаадаев не имеет дерзости ожидать, что письмо попадет в руки государя, но надеется, что с ним ознакомится сам Александр Христофорович, чье мнение для него так же драгоценно. Он осмеливается лишь высказать «скромное прекословие» в связи с показавшимися Бенкендорфу предосудительными словами о несовершенстве нашего образования, которое не следует смешивать с положением дел в учебных учреждениях и с правительственными мерами в облает просвещения. Состояние народной образованности «не есть вещь государственная», и о ней можно судить по опыту собственного и наблюдаемого обучения, по затрагивая министерских решений.

Подобное прекословие, видимо, показалось бывшему «брату» по ложе «Соединенных друзей» недостаточно скромным, и он оставил разъяснения и оправдания отставного ротмистра без

всякого ответа. Почувствовав промах, последний в очередном письме к начальнику III отделения рассуждает о неоценимом безрассудстве и неописуемой горести лишить себя счастья служить государю, но тот продолжает хранить молчание, хотя, вероятно, и как-то способствует удовлетворению намерении Петра Яковлевича. Во всяком случае, известно, что в конце 1833 года царь соизволил определить его по министерству юстиции.

Но теперь уже для Петра Яковлевича наступила очередь гордого молчания. Он, кажется, недоволен непониманием своего желания служить именно для русского просвещения и решает пренебречь другими правительственными предложениями. Как и много лет назад, попытка найти надлежащий путь к славе, осуществленная на другой мировоззренческой основе и в иных жизненных обстоятельствах, оказалась обреченной на неудачу.

Остается надежда на публикацию философических писем, возможности осуществления которой Чаадаев не перестает искать. После того как Пушкину не удалось в Петербурге напечатать два его письма, касающихся мирового исторического процесса, Петр Яковлевич старается обнародовать их через типографию Семена с помощью московских знакомых, в частности Авдотьи Петровны Елагиной и Екатерины Гавриловны Левашевой. «Два письма об истории, адресованные даме» были представлены в обычную цензуру, где цензор И. М. Снегирев, его старинный университетский приятель, благосклонно отнесся к ним. А вот в духовной цензуре возникли затруднения. На хлопоты А. П. Елагиной духовный цензор, протоиерей Ф. Голубинский, отвечал, что уважает Чаадаева как философа, чтит его мысли о египетских обелисках, но никак не может одобрить его представления о единстве западной церкви как существенном порождении истинного духа христианства.

Узнав о неудаче в цензурном комитете, Е. Г. Левашева предлагает Петру Яковлевичу тайно переправить рукопись с одним своим знакомым за границу. К публикации, замечает она, сделают предисловие, где отметят, что произведение похищено у автора и печатается без его ведома. Таким образом снимается ответственность автора, который к тому же совсем не рассуждает о правительстве. Поэтому сочинителю ничто не грозит, а для большей надежности можно что-то вставить в посылаемый материал из написанного от имени Киреевского объяснения Бенкендорфу…

Неизвестно, воспользовался ли Чаадаев предложением Левашевой, но вообще он распространял за границей философические письма столь же активно, как и на родине. Помогал ему в этом А. И. Тургенев, периодически путешествовавший по западным странам, а по возвращении, но словам А. И. Кошелева, мило сплетничавший «обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген…» В 10-х и начале 20-х годов Александр Иванович занимал высокие должности по министерству юстиции и просвещения, выполнял многочисленные служебные обязанности и часто ходатайствовал за своих приятелей и знакомых по самым разным их делам. После заочного осуждения брата Николая, ставшего эмигрантом, он целиком отдался разнообразным научным и литературным интересам.

Путешествуя по Европе, Александр Иванович завел широкие

связи в политических, научных, литературных кругах и посылал в Россию многокрасочные путевые заметки, которые печатались в «Московском телеграфе», «Современнике», «Москвитянине». По воспоминаниям Вяземского, он состоял в постоянной переписке с братьями и друзьями, со знакомыми и незнакомыми, с писателями и учеными, с духовными лицами всех возможных исповеданий, с дамами всех возрастов, короче говоря, со «всею Россией, Францией, Германией, Англией и другими государствами…».

Одним из самых постоянных и значительных корреспондентов Тургенева был Чаадаев, который после кратковременных встреч с ним во время заграничного путешествия особенно сблизился со старым университетским товарищем в начале 30-х годов, после выхода из затворничества. Вяземскому, часто наблюдавшему за обоими, они казались антиподами. Если Тургенев вел жизнь более открытую и внешнюю, где не было ничего заранее продуманного и подготовленного, то Чаадаев «рисовался серьезно и с некоторым благоговением смотрел на подлинник, в который преображался. Он был гораздо умнее того, чем он прикидывался. Природный ум его был чище того систематического и поучительного ума, который он на него нахлобучил. Не будь этой слабости, он остался бы замечательным человеком и деятелем на том или другом поприще. Чаадаев, особенно в Москве, предначертал себе план особничества и ни на волос, ни на йоту от него не отступал… Чаадаев был всегда погружен в себя, погружен в созерцание личности своей, пребывал во внимательном прислушивании к тому, что сам скажет… был ума и обхождения властолюбивого. Он хотел быть основателем чего-то. Он готов был сказать и, вероятно, говорил себе, в подражание Людовику XIV: «Моя философия — это я!..» Тургенев был ручнее, общедоступнее его. И положение его в обществе было блистательнее. Чаадаев, при всей приязни своей, смотрел на него свысока. Пуританизм его смущался развязностью Тургенева; он осуждал некоторое легкомыслие его и отсутствие в нем всякого формализма и обрядного священнодействия…»

Действительно, в посланиях Петра Яковлевича встречаются беспрекословные поучительные интонации, которые безобидчивый и незлобивый Александр Иванович воспринимал с известной долей иронии. К тому же, по замечанию проницательного наблюдателя и тонкого психолога Вяземского, между ними существовали и реальные точки соприкосновения (ум, образованность, благородство, честная независимость).

Тургенев делает для «щеголя-философа», как он называет

Чаадаева, многочисленные выписки из нашумевших на Западе книг и статей, присылает и привозит ему из-за границы новейшие сочинения по различным отраслям знания, знакомит европейские салоны с его философическими письмами. Сблизившись с Шеллингом и путешествуя с ним по Италии, Александр Иванович рассказывает ему о своеобразии рукописей, об интеллектуальных и моральных достоинствах «московского философа», который, в свою очередь, пересылает через Тургенева уже не раз цитированное послание к немецкому мыслителю. В нем Чаадаев напоминает Шеллингу об их карлсбадских встречах, выражает удовлетворение по поводу поворота его философии в сторону «небесной науки» и заверяет: «Мои научные занятия и труды делают меня достойным общения с вами…»

В довольно обстоятельном ответе, посланном опять-таки через Тургенева, Шеллинг несколько разъясняет этот поворот, призванный, по его убеждению, примирить христианство и философию, рационализм и мистику, дать полное формальное обоснование всеобщим и непреходящим началам. Петр Яковлевич весьма доволен полученным посланием, автор которого говорит о их солидарности и о проявляющемся через их мысли общем духе времени, показывает письмо знакомым, позволяет копировать. Отрывки из письма Шеллинга к Чаадаеву печатаются без ведома адресата в журнале «Библиотека для чтения», где неожиданно для Петра Яковлевича высмеивается самомнение немецкого мыслителя.

Имя «московского философа» вскоре становится известным и другому высокому для него авторитету — Балланшу. Последний, прочитав отдельные рукописи Чаадаева, выразил А. И. Тургеневу свои восторженные и сочувственные впечатления и пожелал ознакомиться со всем, что написано Петром Яковлевичем. Многие иностранные писатели, знакомясь с его статьями, удивлялись, как русский так искусно излагает свои мысли на французском языке. Чаадаев же, изучая посылаемые Александром Ивановичем известия, периодические издания и книги; внимательно следит за движением умов на Западе и просит его собирать сведения о заинтересовавших его лицах… Его привлекают имевшие огромный успех в Париже проповеди знаменитого аббата Лакордера, знающего, по словам А. И. Тургенева, «умственные буйства нашего века, рационализм и мистицизм Германии, сен-симонистов и пр.». Он хочет войти в сношения и с известным публицистом ультрамонтанского и роялистского толка, священником Генудом, которого Людовик XVIII называл «доблестным рыцарем трона и алтаря», и другими представителями французского католического легитимизма. В

середине 30-х годов Петр Яковлевич возобновил связи с бароном д'Экштейном, начатые еще либо в в период заграничных походов 1813–1814 годов, либо во время европейского путешествия. Католический мыслитель и публицист, Фердинанд д'Экштейн много занимался и изучением Востока, и автор философических писем находил в его творчестве родственные устремления к единству и к «слиянию всех земных мудростей». Надо только, замечал Чаадаев в послании к нему, найти в разных культурах определенные грани, через которые они соприкасаются. Корреспондент отвечал, посылая ему свои произведения, что подобное соприкосновение с восточной мудростью может обновить источники творчества в Европе, с недавнего времена ставшей пожирать самое себя в революционном движении. Метр Яковлевич налаживает также отношения с известным французским публицистом Адольфом до Сиркуром и его женой Анастасией Семеновной Хлюстиной, собирающих на своих вечерах избранное парижское общество.

10

В расширении круга общения в России и за ее пределами, в распространении его идей Петру Яковлевичу деятельно помогает Екатерина Гавриловна Левашова. В ее доме он бывает все чаще и дольше и просит наконец хозяйку поселить его в качестве пансионера, на что та с радостью соглашается. Петр Яковлевич, пишет она И. Д. Якушкину, весь погружен в умственные занятия, лишен времени для заботы о своих материальных делах, а потому при разумном для холостяка доходе не имеет достаточных прожиточных средств. Переезд же должен облегчить его положение.

Семейство Левашовых, пишет М. И. Жихарев, «жило в Новой Басманной, в приходе Петра и Павла и собственном пространном доме, со всех сторон окаймленном огромным вековым садом в пяти или шести помещениях, окруженное полудюжиной по разным резонам при них проживающих различных лиц, поминутно посещаемое обширным кругом более или менее знатного, более или менее богатого родства и зпакомства, содержа около полсотни человек прислуги, до двадцати лошадей, несколько дойных коров и издерживая от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей ассигнациями в год».

Когда Петр Яковлевич располагается в трех небольших комнатах одного из флигелей дома Левашовых, Екатерина Гавриловна отказывается брать с него плату за жилье, на что тот не соглашается, но, видимо, до поры до времени. «Для поддержания своего состояния, — замечал о Чаадаеве ее зять, — он беспрерывно делал долги, возможность уплатить которые была весьма сомнительна. Имея уже весьма малые средства и живя во флигеле дома Левашовых, нанятом им за 600 рублей ассигнациями (171 рубль серебром) в год, которые Левашевы никогда не получали, он нанимал помесячно весьма элегантный экипаж, держал камердинера, которому дозволялось заниматься только чистою работою. Вся прочая работа по дому была поручена женщине и другому человеку, который не только чистил сапоги Чаадаева, но и его камердинера. Нечего и говорить, что Чаадаев был всегда безукоризненно одет. Перчатки он покупал дюжинами…»

Несмотря на новую философию «высшего синтеза» всех добрых и единящих сил в мире, Петр Яковлевич в интеллектуальном и бытовом общении сохранял некоторые старые привычки своей горделивой натуры, подчеркивающие и закрепляющие обособленность и разделенность людей.

Своеобразное сословное и индивидуалистическое высокомерие Чаадаева отмечал и С. Л. Соболевский, писавший много позднее Жихареву по прочтении его биографии: «Никак невозможно, чтобы Пушкин дал руку Ивану Яковлеву; если бы он это сделал, то Петр Яковлевич не дал бы ему своей…» «Басманный философ», как стали называть Чаадаева по новому месту жительства москвичи, держал на почтительном от себя расстоянии не только слуг. «С знакомыми Чаадаев был учтив, но вообще весьма сдержан, — пишет часто наблюдавший его современник, — с людьми малого образования, по фешенебельными и в особенности с теми, которые не пользовались хорошей репутацией, он вел себя гордо, за что не был любим некоторою частью московского общества».

В доме Екатерины Гавриловны с появлением нового жильца происходит смена иерархии отношений. По воспоминаниям А. И. Дельвига, Петр Яковлевич завладел за обеденным столом и в кабинете, хозяйки теми местами, которые ранее занимал его друг М. А. Салтыков, игравший доселе первостепенную роль у Левашевых. Это сильно расстроило старика, переставшего к ним ездить и писавшего Екатерине Гавриловне гневные письма, вызывавшие у нее опасения за его здоровье и разум.

Такие «странности» поначалу вызывали заметное неудовольствие у мужа Левашевой, Николая Васильевича, у ее взрослых детей и отдельных гостей. Например, приходилось неприятно удивляться, когда Чаадаев, примерив первую пару оказавшихся неэлегатными перчаток, выбрасывал всю дюжину, которой завладевал камердинер и продавал в приютившей его хозяина семье. Однако подобное случалось не часто, да и Екатерина Гавриловна постоянно доказывала домочадцам и знакомым, какая легко ранимая и богато одаренная натура, стремящаяся к совершенству, скрывается за гордо независимым видом и внешней неприступностью Чаадаева.

Постепенно все члены семейства проникаются чувством искреннего благоговения перед личностью Петра Яковлевича. С радостью находя понимание своей привязанности у дорогих и близких людей, Екатерина Гавриловна по-родственному опекает его. Она пишет И. Д. Якушкину, что любит Чаадаева со всею нежностью сестры и бесконечно рада заботиться о нем, в чем так нуждается «эта теплая душа и чувствительное сердце». Комнаты нового жильца подвергаются капитальному ремонту, полы в них всегда свежевыкрашены и не имеют щелей, беспокоивших его на старой квартире и когда-то удручавших Авдотью Сергеевну Норову. Простуда или кашель, малейшие недомогания Петра Яковлевича находят врачевателя в хозяйке дома, которая

доставляет ему также нужные книги, театральные билеты и другие необходимые вещи.

Он проводит все больше и больше времени в ее семействе и становится как бы его членом. Чаадаев знакомит Левашеву с двоюродными сестрами, которые благодарны ей за такие теплые чувства к брату. Сам он старается быть чем-то полезным ее детям, беседуя со старшими на философские и социальные темы, а с младшими совершая прогулки по Москве. Екатерина Гавриловна опасается развития в душах детей нравственной летаргии, и Петр Яковлевич поверяет им на доступном языке свои заветные идеи о совершенствовании человеческого рода. Эмилия, четырнадцатилетняя дочь Левашовой, признается в письме к И. Д. Якушкину, что не понимает философии, но очень любит поэзию и «нашего философа господина Чаадаева. У него не сухое сердце, и он добр ко всем нам. Тем не менее я его боюсь, не знаю почему…» Один из старших ее братьев, Василий, обожавший Чаадаева, объясняет сестре, что такой «священный» страх необходимо вытекает из уважения и восхищения перед Петром Яковлевичем.

Иногда между необычным жильцом и обитателями дома на Новой Басманной возникают интимные недоразумения, когда он, например, не поддается на уговоры и продолжает платить за квартиру или на подносимые подарки дарит им что-нибудь в ответ. Но подобные «конфликты» счастливо разрешаются, и спустя время Екатерина Гавриловна признается двоюродному брату, что Чаадаев самый лучший из ее друзей. «Мы проводим нашу жизнь вместе, и его дружба самое большое мое утешение». И для Петра Яковлевича, во внутренне замкнутой и одинокой жизни которого нет достаточного простора для простых человеческих чувств даже в общении с ближайшими родственниками, дружба Левашевой является не меньшим душевным утешением и поддержкой в повседневном существовании. «Чаадаев потолстел, похорошел и поздоровел», — сообщает Пушкин жене в один из редких в последние годы его жизни приездов в Москву.

Петр Яковлевич делится с Екатериной Гавриловной всеми нюансами своих внутренних переживаний и взаимоотношений. Он рассказывает ей о столкновениях в Английском клубе, когда, находя занятыми облюбованные им места в газетной или каминной комнатах, он нередко отпускает колкие остроты, что не может не вызывать соответствующей реакции, но одновременно привлекает и дополнительное внимание к нему. Среди завсегдатаев избранного общества московских сановников и вельмож он становится одной из наиболее колоритных фигур.

В 1833 году члены Английского клуба изъявили желание

выбрать своим почетным старшиной московского военного генерал-губернатора Д. В. Голицына. Это событие решили отметить экстраординарным обедом, который надолго запомнился москвичам. Новичок клуба М. П. Погодин, участвовавший в торжестве, отмечал в дневнике: «Какие клики поднялись за благоденствие России. И руками и ногами. Слезы навернулись на глазах. Энтузиазм. Сердце билось. Живое чувствуется в людях. Музыка. Чаадаев».

Заметность Чаадаева, выделяющегося даже на праздничном фоне, становится явной в обычном течении клубной жизни. В «шуме» дебатов, когда, например, решается вопрос об исключении одного члена за «дерзкие и непристойные выражения с угрозою рукою» другому, философические и иронические беседы Петра Яковлевича с избранными им лицами становятся своеобразными маленькими событиями, отмеченными неизвестным стихотворцем:

Чета московских краснобаев,
Михаил Федрович Орлов
И Петар Яковлич Чадаев
Витийствуют средь пошляков…

С участием выслушивая друга, Екатерина Гавриловна советует ему: «Что вас ждет сегодня в клубе? Очень возможно, что вы встретите там людей, которые поднимут целое облако пыли, чтобы защититься от слишком яркого света. Что вам до этого? Пыль неприятна, но она не преграждает пути». Левашова считает, что многие люди из уязвленного самолюбия постоянно зорко следят за малейшими поступками Чаадаева. Поэтому ему необходимо взвешивать каждый свои шаг, преодолевать последствия свойственных его характеру уныния и нетерпения, предупреждать злословие и клевету. «Провидение, — пишет она ему, — вручило вам бесценный клад: этот клад — вы сами. Ваш долг — не только не делать ничего недостойного, но и всеми возможными способами внушать людям уважение к той, если можно так выразиться, всецело интеллектуальной добродетели, которою наделило вас Провидение… Искусный врач, сняв катаракту, надевает повязку на глаза больного; если же он не сделает этого, больной ослепнет навеки. В нравственном мире то же, что в физическом; человеческое сознание также требует постепенности. Если Провидение вручило вам свет слишком яркий, слишком ослепительный для наших потемок, не лучше ли вводить его понемногу, нежели ослеплять людей как бы Фаворским сиянием и заставлять их падать лицом на землю? Я

вижу ваше назначение в ином; мне кажется, что вы призваны протягивать руку тем, кто жаждет подняться, и приучать их к истине, не вызывая в них того бурного потрясения, которое пе всякий может вывести. Я твердо убеждена, что именно таково ваше призвание на земле; иначе зачем наша наружность производила бы такое необыкновенное впечатление даже на детей? Зачем были бы даны нам такая сила внушения, такое красноречие, такая страстная убежденность, такой возвышенный и глубокий ум? Зачем так пылала бы в вас любовь к человечеству? Зачем ваша жизнь была бы полна стольких треволнении? Зачем столько тайных страдании, столько разочарований?..»

Преклоняясь перед «всецело интеллектуальной добродетелью» Петра Яковлевича, которая, по ее мнению, намного возвышает его над другими людьми, Екатерина Гавриловна не понимает, почему его глубокий ум, убеждающее красноречие, любовь ко всему человечеству не воздействуют благотворно и примиряюще на отдельного человека. Но почему же, спрашивает она взволнованно Чаадаева, доверившего ей письма Авдотьи Сергеевны Норовой, «чувство, вызванное таким высшим и чистым существом, приняло такое несчастное и фатальное направление» у болезненной девушки? Для облегчения страданий последней Петр Яковлевич хотел бы услышать из ее уст более откровенные признания, которые, по мнению Левашевой, могут лишь усилить напрасные иллюзии и привести к обратному эффекту. Екатерина Гавриловна советует ему не бросать любопытных и испытующих взглядов в простую и наивную душу, похожую на открытое письмо, а оставить и без того понятную сердечную тайну под целомудренной вуалью. Только время и отсутствие встреч способны вылечить глубокую любовную рану в этой душе.

Трудно сказать, как воспользовался Чаадаев советами своей хозяйки и друга — прервал ли совсем отношения с Авдотьей Сергеевной или поддерживал их в той или иной степени. А вот в его отношениях с братом наступает очередное охлаждение. Побывав в декабре 1833 года на новой квартире Петра, Михаил больше нее ездит к нему, что сильно огорчает тетку, призывающую братьев жить мирно и дружно.

В отличие от брата, Михаил Яковлевич Чаадаев жил в Москве тихо и незаметно, особенно с 1831 года, когда он обвенчался с дочерью своего слуги Ольгой Захаровной Мордашевой (поручителями при женихе были П. Я. Чаадаев и М. А. Салтыков). «Ведет жизнь обыкновенную», — говорилось о Михаиле в полицейском донесении, относящемся к Петру. «Спрашиваешь

мой друг» — писала как обычно, почти без знаков препинания Шереметева Якушкину, — есть ли у Чаадаева дети кажется нет я бы слыхала о жене его ничего не могу сказать много раз говорила ему познакомить меня всегда один ответ зачем. — А Петр Яковлич говорит, что она не глупая и добрая женщина…»

В 1832 году Опекунский совет продал по третьей закладной последнее имение Петра Яковлевича, числившееся за ним после раздела наследства, и ему теперь оставались на прожиток только те 7 тысяч рублей ассигнациями, которые ежегодно выплачивал ему брат по раздельному акту. И хотя, как замечала Надежда Николаевна, «для одного человека довольно етова», Петр при своих непомерных расходах оказывается в еще более сложном положении, ибо ему теперь, по словам тетки, придется «себя лишать в своих удовольствиях, что для него очень тяжело». И когда Михаил иной раз из-за собственных денежных неурядиц нарушает регулярность выплаты, брат проявляет недовольство. Михаил Яковлевич успокаивает его, подробно отчитывается перед ним о своих делах, рассказывает о срубке леса и сдаче земли под вспашку, за что деньги дают на несколько лет вперед и что раньше он мало использовал. Для разрешения финансовых затруднений владелец Хрипунова, к тому же так и не нашедший себе места в древней столице, отправился летом 1834 года вместе с женой в наследственное нижегородское имение. Прощались братья буднично, не подозревая, что больше не увидятся…

11

Уезжая, Михаил возвратил брату список «Горя от ума», какие-то произведения сенсимонистов, политико-экономические трактаты и среди прочих книг сочинение «О государственном кредите», изданное анонимно в 1833 году М. Ф. Орловым — одним из самых близких друзей Петра Яковлевича в эту пору. Двенадцать лет назад Михаил Федорович предлагал членам тайного общества печатать фальшивые ассигнации для подрыва царских финансов и свержения правительства, а теперь выступал за неограниченный рост крупной частной собственности и свободную игру экономических сил, дабы опережающим развитием хозяйственных реформ «закрыть навсегда ужасную эпоху политических переворотов и начать счастливую эру постепенных гражданских преобразований». После окончания суда над декабристами царь заявил своим приближенным, что М. Ф. Орлова следовало бы повесить первым. Однако высочайшее расположение к его брату, А. Ф. Орлову, спасло Михаила Федоровича от сурового наказания: декабрист отделался деревенской ссылкой. Уже в 1831 году ему разрешили перебраться в Москву, где он купил и богато отделал большой дом на Пречистенке.

По словам Герцена, «бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала». Эта жажда заставляла Михаила Федоровича то углубляться на время в изучение химии, то браться за организацию хрустальной фабрики, не приносившей доходов. Принимался он и за метафизические системы, пока не остановился на политической экономии, рассматриваемой им, весьма расширительно, сквозь призму популярного в 30-е годы понятия просвещение, соединяемого ранее декабристами с политической основой. У Орлова же это понятие теперь замыкается на увеличивающихся и утончающихся потребностях людей: «Чем более народ имеет искусственных нужд, тем он более близок к просвещению».

Подобная теория, ведущая в исторической перспективе к демократической деспотии и к обществу потребления, должна была вызывать возражения у Чаадаева, в рассуждениях которого само понятие просвещения намного превосходит экономические обоснования. Возможно, он искал и какие-то точки соприкосновения с мыслями сочинения Орлова «О государственном кредите», которое, распространяясь в обществе (с ним знакомился и Пушкин), не находило отклика среди

современников. Петр Яковлевич и Михаил Федорович часто встречались не только в скромном флигеле на Новой Басманной или в богатом доме на Пречистенке, но и в Английском клубе, на гуляньях и балах, в салонах Елагиной, Свербеевой, Левашевой. «Московские львы», как их называл Герцен, оказавшись в клетках, привлекали к себе внимание.

Герцен и Огарев, вокруг которых группировалась университетская либеральная молодежь, видели в их оторванности от социально-государственной активности своеобразную оппозицию существующему режиму, вынужденную молчаливую форму продолжения декабристских традиций. Заинтересовали их и необычные идеи Чаадаева. В июне 1833 года Вяземский писал А. И. Тургеневу из Петербурга: «Знаете ли, что Чаадаев надел черный галстух? C'est tout dire»[24]. Он в Москве кажется сенсимонствует. Впрочем, и здесь та же ссылка от меня: «Voyez m-me Sverbeeff»[25], которая расскажет много забавного о нем».

Сенсимонствование Петра Яковлевича в гостиных и салонах не могло не привлекать внимания молодых Герцена и Огарева, как раз в ото время занятых идеями христианского социализма. В июле 1833 года Герцен писал своему другу, что «мир ждет обновления, что революции 89-го года ломала — и только, но надобно создать новое, палингенезическое (возрождающее. — *Б. Т.*) время, надобно другие основания положить обществам Европы, более права, более нравственности, более просвещения. Вот опыт, это S.-Sim…». Через год на допросе Герцен заявит, что находил в сенсимонизме развитие учения о совершенствовании человеческого рода, начало той фазы в христианстве, когда оно будет принято и исполнено не столько в наружных формах, сколько в смысле «истинной благодати и нравственности».

По письму Чаадаева к 1831 году к Пушкину известно, что он рассматривал сенсимонизм как «католицизм нового рода», способный завершить судьбы рода человеческого. Есть определенное сходство между идейными исканиями Петра Яковлевича и Герцена в стремлении соединить на общей осноне естественнонаучное и социально-философское знание с «божественным откровением» религии и в ряде других вопросов.

Познакомились они только летом 1834 года на званом обеде в доме Михаила Федоровича, видевшего в молодом человеке, по словам автора «Былого и дум», «восходящую возможность». Когда все гости были и сборе, вспоминал Герцен, «взошел, холодно кланяясь, человек, которого оригинальная наружность, красивая и самобытно резкая, должна была каждого остановить на себе. Орлов взял меня за руку и представил; это был Чаадаев. Я мало

помню об этой первой встрече, мне было не до него; он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол. После обеда Раевская, мать Орловой, сказала мне:

— Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали!

— А вы думаете, — сказал Чаадаев, — что нынче еще есть молодые люди?

Вот все, что осталось у меня и памяти…».

Герцену, позднее находившемуся с Петром Яковлевичем в самых лучших отношениях, действительно было не до того. Он хотел посоветоваться с Орловым в связи с арестом Огарева по «Делу о лицах, певших в Москве пасквильные песни». В начале июля 1834 года тайный осведомитель камер-юнкер Кашинцов сообщил в III отделение об этих песнях, распеваемых некоторыми студентами московского университета и их друзьями и оскорблявших царскую фамилию. Обер-полицмейстер Цынский убедился лично в достоверности доноса, явившпсь переодетым на подстроенную провокатором вечеринку. Из допросов арестованных выяснилось их знакомство с Огаревым, которого также взяли под стражу. От его бумаг потянулась ниточка к Герцену, чей арест и философско-поэтическая переписка с другом о Шиллере и Гете, о Шеллинге и Гегеле, об античности и христианстве и особенно о сенсимонизме послужили причиной для заведения особого дела. Позднее Герцен писал, что их обвинили в намерении создать тайное общество с целью пропаганды сенсимонистских идей. Представитель следственной комиссии, попечитель московского учебного округа князь С. М. Голицын при вынесении приговора докладывал Бенкендорфу, что суждения подсудимых представляют собою «одне мечты пылкого воображения», но, «укореняясь временем, могут образовать расположение ума, готового к противным порядку предприятиям». И хотя Герцен и Огарев оказались непричастными к делу о пении пасквильных песен, их, по словам первого, отправили «в ссылку за сенсимонизм».

Надо отметить, что Чаадаев, пристрастно следивший за всяким заметным движением умов в обществе, но обходил своим вниманием ссыльных молодых людей, которые рассчитывали на его авторитет и участие в их литературных делах. Об этом можно судить по декабрьскому письму 1835 года Огарева к приятелю Н. Х. Кетчеру, часто бывавшему в доме Ловашевых и хороню знавшему Петра Яковлевича. В нем идет речь о проекте журнала, издавать который еще за несколько месяцев до ареста задумывал Герцен. Предполагаемое издание должно было включать в себя разнообразные сведения по многим наукам, философские и

исторические труды, критические разборы иностранной и отечественной словесности, теорию литературы, поэзию, прозу.

Главная же, объединяющая все разделы, цель подразумевала необходимость «следить за человечеством в главнейших фазах его развития» и рассматривать современные проблемы сквозь призму эволюции мирового социального процесса. Философско-исторический эволюционизм, пронизывающий также чаадаевскую систему мысли, составляет стержень и проекта Огарева, замечавшего, что в основных научных статьях следует показывать «ход обстоятельств, произведших факт или идею, настоящее их положение и ожидание в будущем». Читатель должен видеть, «как было, как есть, как будет, но последнее со всеми предосторожностями, чтобы только читателю давать намек, что китайской стоячести нет в делах человеческих…». Материалы нового издания должны будить в читателях возвышенные чувства и стремления к действию, а потому желательно избегать в нем карикатурных изображений и, байронического пессимизма. Желательно также, добавляет Огарев, привлечь к журналу «все литературные славы с покровительством Чаадаева, которому об этом поговори…».

Почтительное отношение либеральной молодежи к Чаадаеву и Орлову, их саркастические реплики и критические суждения в Английском клубе и в аристократических домах вызывали раздражительную реакцию в высшем свете, доходившую до правительства. «Вы верно слышали, — сообщал о ходивших по Москве слухах близкий к кругу Герцена Н. А. Мельгунов члену кружка Станкевича Я. М. Неверову в январе 1835 года, — что Загоскин пишет комедию «Недовольные», для которой тему ему дал государь». Тему дал государь, а вот прототипами действующих лиц служили Михаил Федорович и Петр Яковлевич. Главный герой, князь Радугин, находясь в отставке и тратя много денег на прихоти жизни, сердится, что правительство не замечает его талантов и не использует их должным образом. На его желание получить государственную должность министр отвечает отказом почти теми же словами, что Бенкендорф Чаадаеву: для этого нужна «большая опытность, которая приобретается продолжительной и постоянной службою…». Сын князя Владимир, которым восхищаются ученые умы Германии и Франции, говорит и пишет на нескольких иностранных языках, но плохо знает русский и презирает все отечественное. Из-за нерадивого исполнения служебных обязанностей его увольняют и дают ему совет получше изучить русскую грамматику. В довершение всего неоплаченные долги Радугиных приводят к тому, что, как выражается глава семейства, непросвещенные

варвары из гражданской палаты, не знающие римского права, описывают их имение.

В подобных штрихах легко проглядываются сатирически преувеличенные черты биографии Чаадаева, писавшего А. И. Тургеневу незадолго до премьеры: «Недовольные! Понимаете вы всю тонкую иронию этого заглавия? Чего я, с своей стороны, не могу понять, это — где автор разыскал действущих лиц своей пьесы. У нас, слава Богу, только и видишь, что совершенно довольных и счастливых людей. Глуповатое благополучие, блаженное самодовольство, вот наиболее выдающаяся черта эпохи у нас… Говорят, что О… и я выведены в новой пьесе. Странная мысль сделать недовольного из О…, из этого светского человека, во всех отношениях счастливого, счастливого до фанатичности. А я, что я сделал, что я сказал такого, что могло бы послужить основанием к обвинению меня в оппозиции? Я только одно непрестанно говорю, только и делаю, что повторяю, что все стремится к одной цели и что эта цель есть Царство Божие…»

Однако, как известно, «одна мысль» Чаадаева трудно усваивалась иными современниками, другие считали ее утопичной и отвергали вовсе, третьи обращали внимание лишь на резкие суждения о России, не зная или не замечая постоянного и постепенного изменения его мнений о ней. Как бы то ни было, за ним и за его другом закрепилась репутация «недовольных». И многие москвичи, хорошо знавшие их лично, спешили познакомиться с театральным представлением. «Театр был полон, — писал Белинский о премьере комедии, — ни одного свободного кресла, ни одной пустой ложи; не говорим уже о прочих местах. Самая внешность театра отзывалась какою-то бенефисною торжественностью; необыкновенное освещение, суетливость и давка в дверях, множество экипажей всех родов возвещали, что во внутренности должно произойти что-то необыкновенное и важное…»

Однако ценители подлинного искусства выходили из театра разочарованными. Заданность темы и нарочитое высмеивание, упрощающие реальную сложность характеров и нарушающие правдивость повествования, заведомо обрекают комедию Загоскина на неуспех; «Недовольные», — замечал Пушкин, — в самом деле скучная, тяжелая пиеса, писанная довольно легкими стихами. Лица, выведенные на сцену, не смешны и не естественны. Нет ни одного комического положения, а разговор пошлый и натянутый не заставляет забывать отсутствие действия».

А вот с другим сатирическим изображением Петра

Яковлевича, в «Современной песне» Д. В. Давыдова, дело обстояло гораздо сложнее. Прославленный партизан, который знал Чаадаева еще со времеи Отечественной войны и службы в Ахтырском гусарском полку, не только сочинял оригинальные стихи, но и с острой проницательностью оценивал многие социальные процессы современной жизни. Например, как человека военного, его сильно беспокоило положение в армии, о котором можно судить по цифрам одного из отчетов за 1835 год: из 231099 человек 173892 оказались больными, причем 11023, то есть каждый двадцатый, умерли. Болезни подавляющего большинства носили изнурительный и воспалительный характер. «Явилась мысль пересоздать человека. Требуют, чтобы солдат шагал в армии… после всех вытяжек и растяжек солдат идет в казармы, как разбитая на ноги лошадь…»

Но и без подобных цифр из докладной записки царю Давыдов по собственным впечатлениям хорошо представлял себе последствия вдохновенного изучения правил вытягивания носков, равнения шеренг, исполнения ружейных приемов и т. д., чем «щеголяют все наши фронтовые генералы и офицеры, признающие устав верхом непогрешимости, служащим для них источником самых высоких поэтических наслаждений». С вступлением на престол Николая I, замечает наследник суворовских традиций, ряды армии постепенно наполняются грубыми невеждами, ненавидящими всякую мысль.

«Грустно думать, — сетует Давыдов, — что к этому стремится правительство, но понимающее истинных требовании века, и какио заботы и огромные материальные средства посвящены им на гибельное развитие системы, которая, если продлится надолго, лишит Россию полезных и способных слуг. Не дай боже убедиться нам на опыте, что не в одной механической формалистике заключается залог всякого успеха. Это страшное зло не уступает, конечно, по своим последствиям татарскому игу!

Мне, уже состарившемуся в старых, но несравненно более светлых понятиях, не удастся видеть эпоху возрождения России. Горе ей, если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей будет ей наиболее необходима, наше правительство будет окружено лишь толпою неспособных и упорных в своем невежество людей. Усилия этих лиц не допускать до него справедливых требований века могут ввергнуть государство в ряд страшных дел».

Подобно Чаадаеву, но в ином духе размышлял Денис Давыдов и о «тайне времени», в котором «польза, благосостояние и свобода народов все остаются и определены вечно остаться на кресте между двух разбойников: честолюбия военного и

честолюбия гражданского, разбойников не распятых и без раскаяния… пока всепоглощающее «я» будет нашим единым рычагом, единым нашим идолом, единым нашим богом, до тех пор напрасны будут все наши усилия; и до тех пор наш удел один из двух: рабство или анархия…».

Чаадаев, не раз встречавшийся с Давыдовым в московских салонах, служил для последнего одним из примеров живого противоречия между утопической теорией и реальным поведением ее носителя, когда непобежденный «разбойник» честолюбия, препятствующий живому и непосредственному объединению людей и еще более раздражающий их, заставляет размышлять о невозможности осуществления «царства божия» на земле.

Проявлением такого раздражения, удаляющего от поисков подлинного взаимопонимания, служат строки самого Давыдова, писавшего Пушкину после неприятностей, которые возникли в связи с публикацией первого философического письма: «Ты спрашиваешь о Чаадаеве? Как очевидец, я ничего не могу сказать о нем; я прежде не езжал к нему и теперь не езжу. Я всегда почитал его человеком весьма начитанным и, без сомнения, весьма умным шарлатаном в беспрерывном пароксизме честолюбия, но без духа и характера, как белокурая кокетка, в чем я, кажется, не ошибаюсь».

Злая ирония, касаясь больного места, не излечивает, а лишь усиливает боль, и, подобно честолюбию, способствует, со своей стороны, развитию в душах людей не объединяющих, а разъединяющих свойств. У людей истинно добродетельных, замечал Герцен, ее нет, как нет ее и «у людей, живущих в эпохи живые, — у апостолов, например. Ирония или от холода души (Вольтер), или от ненависти к миру и людям (Шекспир и Байрон). Это отзыв на обиду, ответ на оскорбление — но ответ гордости, а не христианина».

Ответ гордости, точно подмечающий живые противоречия, но не охватывающий их интимной глубины, слышен и в «Современной песне», где о Чаадаеве говорится так:

…Все вокруг стола, и скок
В кипет совещания
Утопист, идеолóг,
Президент собрания,

Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык

В маленький набатик.

Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им в ответ:
«Dominus vobiscum!»[26]

Иронический подход к личности и философским поискам Чаадаева уводил Давыдова от понимания их подспудной сложности, от разговора и спора по существу. В «Современной песне» поэт пишет о смене «века богатырей» веком «мошек да букашек», корчащих из себя либералов и напитавшихся из газет модными бреднями о ниспровержении существующих правительств. Говоря о хулителях деспотизма и проповедниках равенства, замысливших ослабить Россию, Давыдов замечает:

…Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

Петр Яковлевич, конечно, не хлестал своих слуг ни в ус, ни в рыло и никак не вмещался в компанию загоскинских «недовольных», ратующих за прогресс буржуазной цивилизации и подчинение ей русского общества.

Более того, как раз в пору появления «Современной песни» у Чаадаева происходило дальнейшее критическое осмысление текущих тенденций европейского развития. Продолжая внимательно следить за последствиями июльской революции 1830 года, он в письмах к А. И. Тургеневу 1835 года рассуждает о «волканическом извержении всей накопленной Францией грязи, выбросившем в свет плачевную золотую посредственность». По его мнению, «несказанная прелесть» этой посредственности отбросила мир, подобно декабристскому восстанию, на полстолетия назад и до того спутала все социальные, идеи, что неизвестно, когда они распутаются.

Изучая по иностранным журналам и первоисточникам движение умов в Европе, он все чаще обнаруживает удручающие для «одной мысли» симптомы, например, в сочинениях Гейне, которого называет по имени цареубийцы «Фиески в философии». «Вы знаете, — обращается Петр Яковлевич к А. И. Тургеневу, — что он проводит параллель между Кантом и Робеспьером, Фихте и Наполеоном, Шеллингом и Карлом X. Я, следовательно, только продолжил параллель и вполне естественно пришел к ужасающему сочетанию этих двух сатанинских существ, представляющих, как тот, так и другой, цареубийц, каждый на свой лад. Смею думать, что этот новый Фиески немногим лучше старого; но, во всяком случае, его книга есть покушение, во всем подобное бульварному, с тою только разницею, что короли Гейне законнее короля Фиески; ибо это, во-первых, сам Господь Бог, а затем все помазанные науки и философии. В остальном тот же анархический принцип, то же следствие вашей прославленной революции; наконец, как тот, так и другой бесспорно вышли из парижской грязи».

Подобные оценки Чаадаев называет беспристрастными суждениями, обусловленными безличностью русского ума, который может отстраненно, с должного расстояния смотреть на протекающие в других странах события. «Мы стоим, по отношению к Европе, на исторической точке зрения, или, если угодно, мы — публика, а там актеры, нам и принадлежит право судить пьесу… Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику… ее дело в мире есть политика рода человеческого… Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами… оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества… все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от

этого и к этому приходить… в этом наше будущее, наш прогресс…». Петр Яковлевич неожиданно для многих подчеркивает, что Россия призвана к необъятному умственному делу: не только к разрешению всех вопросов, возбуждающих споры в Европе, но и к «разгадке человеческой загадки».

Залог такой высокой миссии, не перестает повторять Чаадаев, именно в ее отделенности от современной «крутни Запада», его идей, страстей и интересов, раздробляющих и распыляющих умы. Но не только от современной, которая, следуя его логике культурно-исторического единства и преемственности, не могла не зависеть от предшествующих этапов европейского развития. И еще в 1833 году, говоря о вселенской роли России, Петр Яковлевич писал о том, что у нас нет «ни закоренелых предрассудков, ни старых привычек, ни упорной рутины». На данном этапе развития его своеобразно пульсирующей мысли эта роль определяется такой изолированностью России от настоящего и прошлого Европы, которая обусловливает состояние духовной отрешенности от ложных уклонов в эволюции цивилизации. Подобная отрешенность, непосредственность и незамутненность сознания может позволить, по мнению Чаадаева, верно оценить не только ошибки и просчеты, по завоевания и достижения чужого опыта, воспринять великие идеи всеединства и братства в их целости и чистоте. «Мы призваны, напротив, — замечает он в послании к А. И. Тургеневу, — обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого. Не смейтесь; вы знаете, что это мое глубокое убеждение. Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу. Таков будет логический результат нашего долгого одиночества; все великое приходило из пустыни…»

С точки зрения нового поворота в своих философско-исторических рассуждениях Чаадаев осуждает зарождавшиеся на его глазах и в известной степени провоцируемые его проповедью славянофильские поиски самоценного значения русского прошлого, что, по его мнению, сужает вселенское предназначение России до узкой идеи национальной замкнутости. Однако он не уверен до конца в правоте своего осуждения: «В настоящее время невозможно предвидеть, куда это нас приведет; быть может, в глубине всего этого скрывается некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час…»

Так, возвратно-поступательными скачками противоречивая мысль Петра Яковлевича уходит весьма далеко от логики и

пафоса первого философического письма, которое в представлении многих современников продолжает оставаться, вызывая публичное раздражение и полемику, выражением всей полноты его взглядов.

Живая подвижность его воззрений в восприятии современников является одновременно причиной их одностороннего и неадекватного понимания и вместе с тем сопровождается дальнейшим ростом недоразумений, популярности и легенд вокруг его личности. «Про Чаадаева, — замечает М. И. Жихарев, — узнали люди, которые никогда его не видали, кругом своего существования были от него совершенно отделены, никогда не имели никакой возможности с ним встретиться, и без того, быть может, про него во всю жизнь бы не сведали. По милости его блистательного, искрившегося мыслями разговора стали ему приписывать то, чего он никогда не говорил; по той причине, что писал он не по-русски, стяжал, — чего с кровно русскими почти что никогда не бывает, — очень большую популярность между иностранцами, у нас проживающими. Его сочинения начали уже ходить по рукам, разными лицами переписанные с ошибками и пропусками, а про него самого выдумывали небывалые анекдоты, которые повторялись даже людьми высокопоставленными. Насколько то возможно в России, подвергнулся почестям карикатуры, и в виде бессильно-завистливого, озлобленного осмеяния, и в виде любящей добродушной шутки…» В пример подобных анекдотов Жихарев приводит рассказ одной известной графини, поверившей важным гостям, что «вот, мол, какой дурак Чаадаев: он заказал свой портрет и велел написать себя в кандалах».

Репутация «недовольного», «католика», «русофоба» и т. п., наслаиваясь на ассоциации, вызываемые чтением разрозненных философических писем и их отрывков в русском и иностранном обществе, создавала весьма своеобразную и разно толкуемую славу их автору. Таким образом, по словам биографа, он «очень скоро получил, и не в одной даже России, некоторую, так сказать, полупубличную известность не печатающего, но очень даровитого, оригинального и значительного писателя. Всякий знает, что этого рода известности вследствие таинственности и до известной степени непроницаемости всегда и везде, а в России особенно, сопровождаются догадками и предположениями, их очень увеличивающими и видоизменяющими…»

Рост «таинственной» известности, появление столь же «таинственных» учеников согревает сердце Петра Яковлевича. Один из учеников — сын орловской помещицы Александр Сергеевич Цуриков, богатый и оригинальный молодой человек,

склонный к фрондерству и оппозиции.

Вскоре после приезда в Москву Цуриков сошелся с А. С. Хомяковым, с которым в салоне Е. А. Свербеевой вел длительные беседы по-французски на исторические темы, и с Чаадаевым, который не мог не заинтересоваться новым заметным лицом в московском обществе и не попытаться очаровать его своей «одной мыслью». И не без успеха. Прося задержать еще на один день философические письма, Цуриков называет Петра Яковлевича гением, чье каждое слово требует усердного и глубокого осмысления, а свои послания к нему нередко заканчивает так: «Целую ваши руки, дорогой и добрый учитель». В конце 30-х годов ученик перевел на французский язык и издал отдельной брошюрой стихотворение Пушкина «Клеветникам России». Даря экземпляр перевода Чаадаеву, он сделал на нем надпись: «Могущественному властителю дум и мыслей, высокому апостолу и проповеднику истины, пламенно уважаемому и любимому наставнику и другу».

В 1835 году Цуриков просит разрешения представить Петру Яковлевичу его поклонника, сотрудника русского посольства в Мюнхене князя И. С. Гагарина, которому Шеллинг горячо рекомендовал познакомиться с московским философом. «Это совсем молодой человек, без определенных убеждений, но богатый поэтическим энтузиазмом и уже сильный в науке. Говорит, что великий немец Вами бредит; ловит всех русских и жадно расспрашивает о Вас».

Чаадаев очень тронут комплиментами Шеллинга и, как он замечает в письме к А. И. Тургеневу, «приложением учения о Тождестве к моей незначительной персоне». Что же касается Гагарина, то он, сблизившись с Чаадаевым, не нашел, по его собственным словам, ничего преувеличенного в отзывах великого немца. «Бывая в Москве, я часто виделся с этим замечательным человеком и подолгу беседовал с ним. Эти сношения имели громадное влияние на мою будущность, и я исполняю долг благодарности, громко заявляя, что всем обязан этому человеку».

К середине 30-х годов Чаадаев прочно завоевывает в московском обществе заметное место своеобразного учителя и одновременно безукоризненно светского человека. Он находится и средоточии умственных сил, в развитии которых зарождаются ростки грядущих идейных споров между славянофилами и западниками. «По пятницам, — писал в это вромя И. Л. Мельгунов, — мы собираемся у Свербеевых, по воскресеньям у Киреевских, иногда по четвергам у Кошелевых и время от времени у Баратынских. Два или три раза в неделю мы все в сборе, дамы — непременные участницы наших бесед, и мы

проводим время как нельзя веселее: Хомяков спорит, Киреевский поучает, Кошелев рассказывает, Баратынский поэтизирует, Чаадаев проповедует или возводит очи к небу, Герке дурачится, Мещерской молчит; подчас наши беседы оживляются хором цыган, танцами, беганьем взапуски…»

Петр Яковлевич, конечно, не бегал взапуски, а характерная для него проповедническая жестикуляция (ранее отмеченная Л. В. Якушкиной) красноречиво говорит о взятой им на себя роли практически во всех салонах, где его почти везде встречают как желанного гостя.

Чаадаев бывает у матери декабристов Е. Ф. Муравьевой, у Ушаковой, Нарышкиной, Пашковой, Киндяковой, Ховриной и многих других, дам, ждущих его, как всегда, с большим нетерпением. Петр Яковлевич жалуется А. И. Тургеневу, что такие умные женщины, как Бравура, Елагина, Мещерская, Орлова, уезжают в заграничное путешествие. Отмечая характерные черты… его поведения в светском обществе, жандармский генерал Перфильев в 1830 году доносил своему начальству: «Чеодаев особенно привлекал к себе внимание дам, доставлял удовольствие в беседах и передавал все читаемое им в иностранных газетах и журналах и вообще вновь выходящих сочинениях с возможной отчетливостью, имея счастливую память и обладая даром слова. Когда нарождался разговор общий, Чеодаев разрешал вопрос, при суждениях о политике, религии и подобных предметах, со свойственным уму образованному, обилующему материалами, убеждением. Знакомство он имеет большое… Образ жизни Чеодаев ведет весьма скромный, страстей но имеет, но честолюбии выше меры. Сие-то самое и увлекает его иногда с пути, благоразумием предписываемого».

Под неблагоразумным честолюбием Перфильев подразумевает обнародование в октябре 1836 года первого философического письма, что, говоря словами М. И. Жихарева, давало Петру Яковлевичу возможность выйти на полупубличной известности и обрести более авторитетное признание. Попытки к обретению такого признания становятся с его стороны в середине 30-х годов все более настойчивыми. В 1833 году московские литераторы Е. А. Баратынский, И. В. Киреевский, Н. А. Мельгунов, Н. М. Языков собрались издавать так и не вышедший альманах «Шехерезада» и привлекали к участию в нем Пушкина и Гоголя. В числе составителей альманаха находился и Чаадаев, предложивший перевод своих сочинений. С помощью А. И. Тургенева и другого приятеля, А. К. Мейендорфа, с которым когда-то жил вместе в Париже, он намеревался поместить отдельные философические письма в одном из французских

журналов, репутации которых предварительно выяснял.

Но, конечно же, Петру Яковлевичу хотелось бы сначала издать их на родине. Это желание в письме 1835 года к Вяземскому он объясняет своими новыми мыслями о вселенском предназначении России, свободной от огромного давящего груза воспоминаний, привычек, пережитков европейского прошлого и потому призванной распространять в мире идеи высшего синтеза. Чаадаев просит Вяземского, который уже давно был знаком с разными фрагментами его сочинения, узнать о возможности его напечатания в Петербурге. Там, замечает он, больше свободы, ибо высшие власти более широко смотрят на вещи, нежели их исполнители на местах. «Философические письма, адресованные даме» — такое название должна носить будущая книга, заключает Петр Яковлевич свою просьбу, впрочем, не рассчитывая на успех.

Однако и в «несвободной» Москве он хочет их напечатать в только что созданном журнале «Московский наблюдатель», который в 1835–1837 годах выходит под редакцией статистика и экономиста В. П. Андросова и продолжает идейные традиции «Московского вестника» и «Европейца». В состав участников нового издания вошли А. С. Хомяков, Е. А. Баратынский, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Н. Ф. Павлов, Н. М. Языков, Д. Н. Свербеев, Н. А. Мельгунов. «Московский наблюдатель» задумывался как орган борьбы с «промышленной» журналистикой, главным образом, с «Библиотекой для чтения» Сенковского и с «торговым» направлением в литературе. В программной статье первого номера «Словесность и торговля» Шевырев показывал губительность денежных отношений для развития искусства. О том же говорилось и в стихотворении «Последний поэт», где Баратынский по-своему вникает, говоря словами Чаадаева, в «тайну времени».

Век шествует путем своим железным,
В сердцах корысть, и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.

Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии младенческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы…

Неприятием буржуазно-капиталистического процесса проникнута статья Андросова «Производимость и живые силы», а в стихотворении Хомякова содержится горькое и близкое

чаадаевскому сожаление об увядании европейской культуры:

О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес:
Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываются с небес.

В последующих номерах журнала в числе прочих материалов помещался критический разбор комедии Загоскина «Недовольные», статья небезызвестного Ястребцова «Взгляд на направление истории», составленная в форме письма к М. Ф. Орлову и отражающая влияние Чаадаева. Эти материалы говорят о близости последнего к редакции «Московского наблюдателя», со многими участниками которого он постоянно общался в московских салонах. И поэтому неудивительно, что вскоре после образования журнала он предложил Андросову напечатать, начав с первого, некоторые философические письма. Однако редактор после долгих колебаний все-таки не решился на это.

13

Возможно, Петр Яковлевич вторично предлагал свое сочинение и Пушкину, который с начала 1836 года стал издавать «Современник», а в мае приехал в Москву, где и произошла их последняя встреча. В первой половине 30-х годов, в редкие наезды поэта в древнюю столицу, они виделись лишь мельком. До Петербурга доходили разные слухи о «сенсимонствовании» и честолюбивых причудах «московского Ламенне», и Пушкин в светских гостиных защищал как мог своего друга. Самодовольный вид и учительский тон «басманного философа» Александр Сергеевич объяснял его превосходством в начитанности и образованности. Толки же о превращении Чаадаева во французского эмигранта начисто опровергая: «Он честный и порядочный человек, и я его очень люблю. Но это Алкивиад, находящий счастье в удовлетворении своего честолюбия. Быть может, это еще счастье, что честолюбие может ублаготворить сорокалетнего человека. Можно позавидовать ему».

До Петра Яковлевича тоже доходили сведения о жизни Пушкина, но всю ее внутреннюю сложность ему было трудно представить.

В тесный клубок многообразно переплетающихся писательских, семейных, светских, денежных проблем органично завязывались взаимоотношения Пушкина с Николаем I. Вскоре после свадьбы он доверительно сообщал Нащокину, что царь взял его на службу, «т. е. дал мне жалованья и позволил рыться в архивах для составления «Истории Петра I». Высочайшая милость не только частично разрешала творческие и финансовые вопросы, но и позволяла поэту надеяться на, так сказать, историографическую форму сотрудничества с правительством. Однако в этой «выгоде» оказалась своя оборотная сторона, поневоле втягивающая в издержки неравноправного общения.

Что же касается царя, то он, вероятно, намеревался теснее привязать и «обуздать» поэта привычными и спокойными формами жизни. Он продолжал не доверять «умнейшему человеку России», как он сам когда-то назвал его, и не гнушался прочтением его интимной корреспонденции.

Незадолго до смерти Пушкин сочинил такое четверостишие:

Забыв и рощу и свободу,
Невольный чижик надо мной
Зерно клюет и брызжет воду,
И песнью тешится живой.

С 1833 года поэт постоянно ощущает, как вместе с «выгодами» сделанного им выбора и сопутствующих ему обстоятельств незаметно выстраивается клетка для «живых» песен. Он желает выйти в отставку, но царь разрешает ее лишь с условием прекращения работы в архивах, что нарушило бы его творческие планы. Писатель не любит деньги, по его наблюдениям с каждым годом все более извращающие человеческие отношения, видит в них средство благопристойной независимости. Однако вынужден, как сам замечает, «делать деньги» для жены. «Клетка обстоятельств» становится для поэта все более тесной. В его письмах нередко встречаются сетования, что ему «стихи в голову нейдут», что его поэзия иссякла. Даже в любимое время года, в осеннем уединении от столицы ему не работается, и в 1835 году он пишет Плетневу из Михайловского: «Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен». Писать же книги ради денег, как он признается жене, Пушкин не может. В Петербурге он все более ощущает себя узником, которому хочется удрать на «чистый воздух», на волю, «домой».

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

В рукописи этих строк, написанных в 1834 году, имеется примечание: «Юность не имеет нужды в at home[27], зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он домой.

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть».

Пушкин размышляет над дальнейшим развитием своего жизненно-творческого пути и как бы намечает программу, первым пунктом которой являлось освобождение от стеснительных пут «шума» светско-городской жизни. В его творчестве вновь обостряется противоречие свободы и неволи, но уже не на романтически-бунтарском, а на реалистически-продуманном, обогащенном многообразным опытом уровне (новый уровень противоречия требовал и качественно нового его разрешения). Неволя теперь отождествляется им с зависимостью от ложных условий и прав неподлинного существования человека. Но бежать

в «обитель дальную трудов и чистых нег» Пушкин не мог среди прочих причин и потому, что его натура не удовлетворялась стихийным самозабвенным творчеством.

Одновременно с пантеистическим восторгом приятия жизни Пушкин чувствует себя «странником», не перестающим вопрошать: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?» Лирический герой стихотворения «Странник» перед лицом грядущей смерти сокрушается своей неготовностью к загробному суду и, видя «некий свет», спешит

…перебежать городовое поле,
Дабы скорей узнать — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

Действия «странника», настроением которого проникнуты такие стихи Пушкина 1836 года, как «Отцы пустынники и жены непорочны» или «Напрасно я бегу к Сионским высотам», не находят понимания у друзей, жены и детей.

Когда-то поэт написал:

Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.

На последние годы жизни Пушкину выпало много страданий, окрашивающих его мысли. «Ты не можешь вообразить, — пишет он жене, — как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова кружится…» Так напряженно думать ему приходилось не только о высшем смысле бытия, но и о повседневных житейских делах, о долгах, ибо содержание семьи, помощь брату и сестре требовали постоянно денег, о придворных мнениях и слухах, ибо царь не позволял «записаться в помещики». К тому же многообразные литературные и издательские отношения предполагали его постоянное присутствие в столице. Так что мечты и планы Пушкина о покое и воле, о бегстве в «обитель дальную трудов и чистых нег» или к «Сионским высотам» требовали еще долгого «головокружительного» думанья и соседствовали с привычными, милыми сердцу и тягостными заботами.

Несмотря на жизненные сложности, а может быть, благодаря им, писатель не прекращает напряженной творческой работы. Он продолжает по-своему осмыслять темы и логику Чаадаева и исследовать изнутри побудительные причины европейского

прогресса. Постоянное присутствие в его сознании рассуждений Петра Яковлевича отражено и в отрывке незаконченной статьи 1834 года «О ничтожестве литературы русской», где речь заходит о своеобразии и высоком предназначении исторического развития России. Отдельные положения этого отрывка поэт почти дословно повторит через два года в своих возражениях на опубликованное в «Телескопе» первое философическое письмо. Несомненно, не мог не вспомнить Пушкин и это письмо, и излюбленную «одну мысль» Чаадаева и при работе над «Капитанской дочкой», где отчасти ведет и непрекращающийся внутренний диалог с другом.

Противопоставление Петром Яковлевичем «живых» лиц просвещенных европейских граждан и «немых» физиономий необразованных россиян всегда казалось Александру Сергеевичу неистинным в своей прямолинейности. Последние же годы жизни заставляют его еще пристальнее сравнивать высококультурное общество столицы и так называемый мир «маленьких людей». Исследуя в «Маленьких трагедиях» порожденные богатством европейской цивилизации индивидуалистические типы, Пушкин не находит в них твердого нравственного стержня, очеловечивающего людей. Разнообразные интеллектуальные достижения как бы украшали и полировали душу, маскируя ее глубинные пороки и усложняя противоречия между блестящей наружностью и внутренним несовершенством. Эти достижения еще более надмевали их обладателей и тем самым укрепляли сущностную разъединенность людей. Парадоксы такого внешнего просвещения, не улучшающего, а искажающего нравственную природу человека, писатель наблюдал и вокруг себя.

В представителях же простого народа Пушкин чаще встречал самые глубокие нравственные чувства — совестливость, доброту, преданность, простодушие, искренность, скромность, бескорыстие, самоотверженность, без которых не только невозможно совершенствование человеческого бытия, но и самое его существование. Но и простой человек попадает во власть разных «стихий» и на пересечение многих «правд», где в горниле «оборачиваемости» добра и зла именно сохранение человечности (несмотря на кажущуюся простоту по сравнению с целями чаадаевского «высшего синтеза») оказывается все более важной задачей, заглушаемой гулом трагических общественных конфликтов. Не об этом ли думал Пушкин, когда писал «Капитанскую дочку» и изображал в ней «простых» и «непросвещенных» героев, покорных чувству сострадания и самоотверженной любви, голосу чистой совести и долга, составляющих неразрушимое ядро их личности и поддерживающих энергию добра в мире?

Трудно сказать, как протекал диалог писателя с мыслителем в их последнюю встречу после долгой разлуки. Александр Сергеевич в эту пору находился далеко не в лучшем состоянии духа. В начале 1836 года ставшее более настойчивым ухаживание молодого кавалергарда Дантеса за Натальей Николаевной привлекает особое внимание петербургского общества и раздражает писателя. В феврале, как бы возвращаясь ко временам своей неспокойной молодости, он делает три дуэльных вызова. «Я не помню его в таком отвратительном состоянии духа», — писала сестра поэта. Однако от тягчайших дум, как всегда, отвлекала работа. Пушкин приехал в Москву для изучения архивов и по делам, связанным с изданием «Современника». Беседы с сотрудниками «Московского наблюдателя», визиты вежливости также занимают много времени, хотя по душе ему лишь общество П. В. Нащокина, с которым он проводит целые дни. «Нащокин здесь одна моя отрада», — признается он жене, сухо сообщая в другом послании, что Чаадаева видел только один раз. О том, что свидание состоялось не сразу, свидетельствует и записка Петра Яковлевича к Александру Сергеевичу: «Я ждал тебя, любезный друг, вчера, по слову Нащокина, а нынче жду по сердцу. Я пробуду до восьми часов дома, а потом поеду к тебе. В два часа хожу гулять и прихожу в 4. Твой Чаадаев».

О чем говорили в это свидание друзья, не подозревавшие, что оно последнее? Затеяли ли вновь серьезный разговор о «тайне времени» и о судьбах человечества или поверяли сложности своей духовной жизни, протекавшей в столь разных обстоятельствах? Думается, беседа ограничилась рассказами о внешней канве событий. Известно только, что Чаадаев показал Пушкину статью Белинского о поэте, которую тот охотно прочитал, а через несколько месяцев прислал Петру Яковлевичу номер «Современника» для передачи критику. Во всяком случае, Пушкин продолжал оставаться загадкой для «басманного философа», писавшего А. И. Тургеневу: «У нас здесь Пушкин. Он очень занят своим Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого: она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что он издает также журнал под названием *Современник.* Современник чего? XVI столетия, да и то нет? Странная у нас страсть приравнивать себя к остальному свету. Что у нас общего с Европой? Паровая машина, и только…»

«Загадка Пушкина» заставляла Чаадаева снова и снова размышлять о «тайне времени». В конце года он прочтет в «Современнике» «Капитанскую дочку» и напишет А. И. Тургеневу, что его очаровала в ней «полная простота, утонченность вкуса, столь редкие в настоящее время, столь трудно достижимые в наш

век, век фатовства и пылких увлечений, рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в мерзости нечистот, подлинной блудницы в бальном платье и с ногами в грязи».

Предлагал ли Петр Яковлевич издателю «Современника» философические письма или нет, намерения напечатать их он не оставлял. Так, Чаадаев обратился к редактору «Телескопа» Н. И. Надеждину, отношения с которым у него ранее, как уже говорилось, не складывались и который в определенных вопросах занимал полемическую позицию к деятельности «Московского наблюдателя». Сын сельского священника, Николай Иванович очень быстро прошел путь от провинциального семинариста и слушателя духовной академии до профессора Московского университета и издателя крупного журнала. Начало его собственного литературно-критического творчества характеризовалось стремлением показать сущность эстетики романтизма как «чада безверия и революции» и раскрыть социальный смысл искусства. В 1831 году Надеждин получил кафедру теории изящных искусств и археологии в университете, где на его лекциях воспитывались Н. В. Станкевич, И. П. Огарев, К. С. Аксаков, И. А. Гончаров и другие деятели русской культуры. Тогда же он приступил к изданию «Телескопа», «журнала современного просвещения», с приложением «Молвы», газеты «мод и новостей». В программной статье редактор говорил о великом всемирном назначении России, которое он обосновывал, как позднее Чаадаев, отличным от европейского развитием образования в ней и отсутствием культурно-исторического прошлого, что и позволит ей обогнать терзаемый революциями Запад. «Тучи бродят над Европой, но на чистом небе русском загораются там и здесь мирные звезды, утешительные вестницы утра. Всегда ль должно будет их разглядывать в телескоп?.. Придет время, когда они сольются в яркую пучину света».

Одним из наиболее разработанных отделов в журнале был критический, где в своих статьях Надеждин сочетал монархическо-охранительные начала с демократическо-просветительными, с призывами к началам действительности и народности в литературе, к «торжественному соединению жизни с поэзией». Проповедь народного и реалистического искусства, с позиций которого критиковался «Московский наблюдатель», усилилась с появлением в 1834 году в «Телескопе» Белинского, ставшего главным помощником редактора и несколько месяцев заменявшего его. Однако с основанием популярной «Библиотеки для чтения» журнал Надеждина стал терять своих рядовых читателей, которые нелегко воспринимали печатаемые там материалы.

Как явствует из показаний последнего на следствии по делу о запрещении «Телескопа», летом 1836 года Чаадаев подошел к нему в Английском клубе, стал хвалить его журнал и предложил ему напечатать философические письма. Надеждина удивила такая перемена в человеке, которого он считал нерасположенным к себе лично и к своему журналу. Но любезный тон Петра Яковлевича заставил его принять предложение, и он получил перевод третьего и четвертого писем. Эти два письма понравились Николаю Ивановичу, особенно мысли о безусловной подчиненности божьей воле как о последней степени человеческого совершенства. Надеждин нанес визит их автору и имел с ним, как признавался на допросе, «длинный разговор, в котором он убеждал меня принять для моего журнала нравственно-религиозное направление, как единственное основание общественного благоденствия и личного совершенствования каждого человека. Признаюсь, это меня совершенно расположило в его пользу и загладило прежние против него предубеждения. Разговор его был весь проникнут любовью к общественному порядку и неприязнью к потрясениям, волнующим Западную Европу. Главною причиною этих волнений он полагал отсутствие веры, упадок религии, в чем я совершенно с ним соглашался».

И в высшем слое русского общества Петр Яковлевич не находил той силы веры, каковая необходима для подлинного просвещения. Тут же он передал Надеждину ряд иностранных книг, где обсуждались подобные вопросы, рекомендуя ему сделать из них переводы для журнала. Беседа, проникнутая чувствами покорности и долга, очаровала Николая Ивановича, только несколько смутившегося похвалами в адрес католицизма. Узнав о существовании цикла философических писем, он изъявил готовность целиком опубликовать его. Тогда Чаадаев предложил начать с первого, служившего своеобразным введением ко всем остальным, и через несколько дней прислал редактору «Телескопа» его перевод. За первым должны были идти третье и четвертое письма, так как их автор почему-то отказался дать второе (видимо, из-за резкости тона в рассуждении о крепостных крестьянах).

Надеждин не мог не заметить, что возбужденной публицистической интонацией и резкой критикой русской истории и культуры введение сильно отличается от дальнейшего повествования. Тем не менее он решился печатать его, надеясь, что публикация последующих писем внесет должные разъяснения, и готовясь сам выступить с полемическими рассуждениями, которые напоминали неизвестные ему мысли

Чаадаева о высоком предназначении России. Редактор предполагал оживить «Телескоп» и привлечь к нему угасавшее внимание читателей, о чем он и говорил на следствии. «Зная известность и вес автора в высшем обществе, я ожидал впечатления от самого имени его, которого он нисколько не думал скрывать… Такой авторитет для известности и хода журнала, конечно, мог быть выгоден. Что же касается до вредных последствий, то я никак не ожидал их, предоставляя себе немедленно сделать на эту статью возражение и тем, изгладив дурные впечатления, поддержать вместе занимательность журнала».

До Николая Ивановича доходят разговоры Петра Яковлевича в московских салонах об их сотрудничестве, однако остается еще открытым вопрос преодоления цензурных сложностей. Цензор «Телескопа», ректор Московского университета А. В. Болдырев, жил на казенной квартире в одном доме с редактором. По словам известного ученого Ф. И. Буслаева, бывшего тогда студентом и вхожего к ректору, последний из-за преклонного возраста мог работать только по утрам, а вечера обыкновенно проводил за копеечной игрой в карты. Именно в это время и принес ему Надеждин на подпись корректурные листы пятнадцатого номера своего журнала, уговорив Болдырева не читать философического письма, а лишь прослушать его. «Цензурное чтение проходило между робберами и во время самой игры, и Болдырев написал дозволение, не проникнув сути дела и положившись на то, что товарищ и ежедневный собеседник не подведет его». Варианты свидетельства Буслаева встречаются в дневнике О. М. Бодянского, а также в ряде других мемуаров. Сам цензор объяснял на следствии свою невнимательность особенной занятостью в те дни по университетским обязанностям.

Так или иначе пятнадцатый номер «Телескопа» был подписан. И пока в типографии печатались его экземпляры, готовились корректурные листы семнадцатого номера с третьим философическим письмом, Петр Яковлевич мог быть доволен достигнутой наконец-то целью и началом обнародования своих сочинений. Однако Екатерина Гавриловна Левашева словно предвидела возможные последствия и просила помощи у известного литератора М. А. Дмитриева, писавшего в неопубликованных воспоминаниях: «Зная некоторое влияние мое на Чаадаева, она просила меня уговорить его не издавать этих писем, как содержащих в себе такие мнения, которые для него лично могли быть опасны. Но ничего не помогло, и первое письмо было напечатано…»

Пятнадцатая книжка «Телескопа» за 1836 год вышла с

запозданием, не в августе, как полагалось, а в конце сентября. В отделе «Науки и искусства» читатели увидели статью под заглавием «Философические письма к г-же ***. Письмо 1-е», которая сопровождалась хвалебным редакторским замечанием и уведомлением о последующем продолжении публикаций, развивающих «одну главную мысль».

Однако «одна мысль» Петра Яковлевича так и не получила печатного воплощения, которое оборвалось на введении, сразу вызвавшем повсеместную бурю негодования, прежде всего в обеих столицах. И хотя вместо подписи значилось: «Некрополис, 1829 г., декабря 17», установление автора, в течение нескольких лет распространявшего свои идеи в рукописном и устном виде, не составляло никакого труда.

Философическое письмо первоначально взволновало и возмутило не правительство, а общество. «Никогда, с тех пор как в России стали писать и читать, — утверждает с явным преувеличением М. И. Жихарев, — с тех пор, как завелась в ней книжная и грамотная деятельность, никакое литературное или ученое событие, ни после, ни прежде этого (не исключая даже и смерти Пушкина) не производило такого огромного влияния и такого обширного действия, не разносилось с такой скоростью и с таким шумом. Около месяца среди целой Москвы почти не было дома, в котором не говорили бы про «чаадаевскую статью» и про «чаадаевскую историю»… Вследствие большой известности, которой Чаадаев пользовался в московском иностранном населении, весьма многочисленном и состоящем из людей всякого рода, всех занятий и всякого образования, — этим случаем занялись иностранцы, живущие у нас, обыкновенно никогда никакого внимания не обращающие ни на какое ученое или литературное дело в России и только по слуху едва знающие, что существует русская письменность. Не говоря про несколько вышепоставленных иностранцев, из-за «чаадаевской статьи» выходили из себя в различных горячих спорах невежественные преподаватели французской грамматики и немецких правильных и неправильных глаголов, личный состав актеров московской французской труппы, иностранное торговое и мастеровое сословие, разные практикующие и не практикующие врачи, музыканты с уроками и без уроков, живописцы с заказами и без заказов, — даже немецкие аптекари… Они разделились между собою на партии и волновались по маленькому образцу и подобию великих волнений в своих отечествах…»

А. И. Тургенев писал Вяземскому из Москвы в Петербург: «Здесь большие толки о статье Чаадаева; ожидают грозы от вас…» Большие толки сильно взволновали Надеждина, приехавшего к

Петру Яковлевичу, который стал успокаивать его и уверять в благонамеренности своих идей. По признанию редактора «Телескопа», Чаадаев говорил ему, что его сочинения известны не только в Москве, но и в правительственных сферах Петербурга, с ними знаком даже начальник III отделения Бенкендорф. Однако Надеждин не успокаивался, и было отчего… «Я нахожусь в большом страхе, — писал он Белинскому 12 октября. — Письмо Чаадаева, помещенное в 15-й книжке, возбудило ужасный гвалт в Москве… Ужас что говорят…»

А говорили, громко, грозно, в основном то, что писала в эти дни Чаадаеву одна неизвестная дама: «Высокое чувство любви к отечеству, столь часто воспламеняющее и наше женское сердце, есть преимущественное ваше достояние, а вы, простит вас Господь, отнимаете это родное чувство у русских!» Лишь желание своей родине большей славы извиняет в глазах дамы хулу автора философического письма, и она приводит на его основные положения пространные возражения. А вот простодушное восприятие, выраженное в неопубликованной переписке других неизвестных лиц: «Я его истинно полюбил, полюбил в нем ум, познания, обхождение… Но он мне досадил, досадил аж до злобы! Когда он мне давал читать статью свою по-французски, я смеялся, а больше дивился ненависти его ко всему русскому, отечественному! И как не дивиться? Это надобно так возненавидеть свой народ… но когда он дал статью эту перевести и напечатать по-русски, оскорбил меня, глубоко меня обидел, так глубоко, сколь глубоко я русский. Не уверен, что не оскорблю его при свидании…» В очередном послании к Вяземскому А. И. Тургенев сообщает: «Здесь остервенение продолжается, а паче молва бывает…» Студенты Московского университета явились к его попечителю и председателю московского цензурного комитета графу С. Г. Строганову и заявили, что готовы с оружием в руках вступиться за оскорбленную Россию.

Строганов, по свидетельству Надеждина, пораженный масштабами разросшегося шума, вышел наконец из оцепенения и докладывал министру народного просвещения о необходимости закрыть «Телескоп» с начала следующего года. Не мог не реагировать на происходившее и московский жандармский генерал Перфильев, доносивший 15 октября Бенкендорфу, что чаадаевская статья «произвела в публике много толков и суждений и заслужила по достоинству своему общее негодование, сопровождаемое восклицанием: как позволили ее напечатать?»

Правительство было осведомлено о необычайном журнальном происшествии и по незамедлительной реакции петербуржцев. «Я должна рассказать тебе о том, что занимает все

петербургское общество, начиная с литераторов, духовенства и кончая вельможами и модными дамами; это — письмо, которое напечатал Чедаев в «Телескопе»… оно вызвало всеобщее удивление и негодование», — сообщает С. Н. Карамзина брату. «Здесь такой трезвон по гостиным, что ужас», — пишет В. Ф. Одоевский С. П. Шевыреву из северной столицы. «Ужасная суматоха в цензуре и в литературе», — отмечает А. В. Никитенко. Никого нельзя уверить, жалуется москвичам Вяземский, что у автора не было ни преступного замысла, ни явной неблагонамеренности, а лишь «жажда театральной эффектности и большая неясность, зыбкость и туманность в понятиях… самоотвержения, мученичества тут, разумеется, нет; не говорю уже о том, что вольная страсть была бы в этом случае нелепость…».

Е. М. Хитрово писала Пушкину, что опубликованные строки свидетельствуют о каком-то глубоком несчастье Чаадаева. Сходное ощущение владело и Герценом, на которого чтение «телескопской» статьи в далекой Вятке произвело впечатление раздавшегося в темную ночь выстрела: «От каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда… Читаю далее. «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце. Я раза два останавливался, чтобы отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. Я боялся, не сошел ли я с ума… Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах…»

Существенные оттенки в понимании первого философического письма менялись в зависимости от своеобразия восприятия и личного отношения к его автору. 21 октября действительный статский советник Ф. Ф. Вигель, бывший в эту пору директором департамента иностранных исповеданий, писал петербургскому митрополиту Серафиму, что чтение «телескопской» статьи возбудило в нем негодование и повергло в отчаяние.

Тайную причину «безумной злобы сего несчастного против России» Вигель усматривает в его отступничестве от веры отцов и переходе в католичество, обвиняет издателя и цензора в преступной снисходительности и призывает митрополита указать правительству средства «к обузданию толиких дерзостей». Митрополит не замедлил снетись с Бенкендорфом и просил его

обратить внимание тосударя на отмеченные им в статье Чаадаева суждения, кои «столько ложны, безрассудны и преступны сами по себе, что я не могу принудить себя даже к тому, чтоб хотя одно из них выписать здесь для примера…».

Но правительство уже приняло соответствующее решение. Еще 19 октября состоялось заседание главного управления цензуры, после которого министр народного просвещения С. С. Уваров представил всеподданнейший доклад.

Резолюция Николая I от 22 октября, когда-то любезничавшего с отставным ротмистром в манеже, гласила: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного: это мы узнаем непременно, но не извинительны ни редактор журнала, ни цензор. Велите сейчас журнал запретить, обоих виновных отрешить от должности и вытребовать сюда к ответу». В тот же день он вызвал к себе Бенкендорфа, которому поручил немедленно составить проект отношения к московскому военному генерал-губернатору Д. В. Голицыну. Начальнику III отделения понадобилось очень мало времени, чтобы оценить высочайшую резолюцию, и уже через несколько, часов он представил требуемый текст, на котором царь написал: «Очень хорошо».

Текст этот определял весьма своеобразное наказание автору «дерзостной бессмыслицы»: «В последневышедшем № 15 журнала «Телескоп» помещена статья под названием Философические письма, коей сочинитель есть живущий в Москве г. Чеодаев. Статья сия, конечно уже Вашему Сиятельству известная, возбудила в жителях московских всеобщее удивление. В ней говорится о России, о народе русском, его понятиях, вере и истории с таким презрением, что непонятно даже, каким образом русский мог унизить себя до такой степени, чтоб нечто подобное написать. Но жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, здравым смыслом и будучи преисполнены чувства достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому, — как дошли сюда слухи, — не только не обратили своего негодования против г. Чеодаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Здесь получены сведения, что чувство сострадания о несчастном положении г. Чеодаева единодушно разделяется всею московскою публикою. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания вашего, приняли надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских

пособий. Его Величество повелевает, дабы Вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева, и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтоб были употреблены все средства к восстановлению его здоровья — Государю Императору угодно, чтоб Ваше Сиятельство о положении Чеодаева каждомесячно доносили Его Величеству».

В то время как некогда боевой товарищ и «брат» по масонской ложе проявлял столь необычную заботу о здоровье «г. Чеодаева», Петр Яковлевич проникался все большей тревогой за собственную судьбу, хотя поначалу и бодрился при известиях о непрерывно растущих великосветских толках. «Говорят, — пишет он одной из своих корреспонденток 15 октября, посылая ей экземпляр напечатанного сочинения, — что шум идет большой; я этому нисколько не удивляюсь. Однако же мне известно, что моя статья заслужила некоторую благосклонность в известном слое общества. Конечно, не с тем она была писана, чтобы понравиться блаженному народонаселению наших гостиных, предавшихся достославному быту виста и реверси. Вы меня слишком хорошо знаете и, конечно, не сомневаетесь, что весь этот гвалт занимает меня весьма мало. Вам известно, что я никогда не думал о публике, что я даже никогда не мог постигнуть, как можно писать для такой публики, как наша: все равно обращаться к рыбам морским, к птицам небесным. Как бы то ни было, если то, что я сказал, правда, оно останется; если нет, незачем ему оставаться…»

Однако требования «отцов семейств» выслать из Москвы «развратителя юношества», множащиеся слухи о подготовке официальных мер против автора дерзкой статьи подтачивали его надежду на то, что правительство окажется благоразумнее публики. К тому же никто из ближайших приятелей Петра Яковлевича не был согласен с обнародованными им суждениями. А. И. Тургенев рассказывал Вяземскому о положении дел в Москве в конце октября: «Ежедневно, с утра до шумного вечера (который проводят у меня в сильном и громогласном споре Чаадаев, Орлов, Свербеев, Павлов и прочие), оглашаем я прениями собственными и сообщаемыми из других салонов об этой филиппике… Чаадаев сам против себя пишет и отвечает себе языком и мнениями Орлова…»

Предчувствуя неладное, Петр Яковлевич от имени своего друга подвергает сомнению уместность публикации первого философического письма, как некогда от имени Киреевского оправдывался перед Бенкендорфом, и как бы снимает с себя

ответственность за инициативу в его обнародовании. Чаадаев не успел закончить это письмо к самому себе, оно оказалось в числе прочих арестованных его бумаг.

Как только до Москвы дошло выражающее высочайшую волю предписание от 23 октября забрать у провинившегося автора все его бумаги без исключения и тотчас прислать их с надежным жандармом, полковники Брянчанинов и Бегичев в точности исполнили приказ, забрав даже целый ворох «Московских ведомостей».

И тут Петр Яковлевич и его друзья встревожились не на шутку. «Мы здесь очень беспокоимся за Чаадаева, — сообщает Е. А. Свербеева Вяземскому, — что с ним будет». Он срочно забирает у переписчика и знакомой дамы какие-то две свои работы, и уже на следующий день после визита полковников доставляет их по собственной инициативе Брянчанинову. Однако 1 ноября на него обрушивается новое официальное известие. Московский обер-полицмейстер пригласил его к себе и объявил правительственные меры. «Прочтя предписание, — сообщал генерал Перфильев Бенкендорфу о реакции Чаадаева, — он смутился, чрезвычайно побледнел, слезы брызнули из глаз и не мог выговорить слова. Наконец, собравшись с силами, трепещущим голосом сказал: «Справедливо, совершенно справедливо», — объявляя, что действительно в то время, как сочинял сии письма, был болен и тогда образ жизни и мыслей имел противный настоящим, что ныне согласился издать в свет сумасбродные, скверные сии письма (это его собственные слова) по убеждению издателя Надеждина, быв в твердой уверенности, что цензура пропустит оныя; но что крайне был удивлен, когда Надеждин, приехав к нему и потирая руками, объявил, что оне пропущены; и что будто он, Чеодаев, узнав о сем, сам хотел писать на свое сочинение возражение. В противоречие же сему, продолжая разговор, говорил, что философические письма, давно написанные, были читаемы многими здесь и в Петербурге; что сие самое ободряло его и обольщало надеждою, что они будут одобрены, как и прежде, читавшими и что к сему он был увлечен авторским честолюбием. Впрочем, в продолжение разговора Чеодаев несколько раз повторял, с изъявлением удивления, как могла цензура пропустить подобное сочинение… Из отзывов Надеждина и Чеодаева заметно, что они друг друга обвиняют, упрекая в сих неприятных последствиях, которые теперь испытывают, и хотя видно было, что мера, объявленная Чеодаеву, его поразила и оскорбила чрезвычайно: но он принял сие с покорностию, повторяя: «Справедливо, совершенно справедливо». В публике поговаривают, что велено его лечить, но еще без уверенности в

справедливости, а потому и общих суждений насчет сего еще не слышно».

Петр Яковлевич, действительно, был чрезвычайно поражен официальным признанием расстройства его ума, которым он так гордился. А. И. Тургенев, регулярно сообщавший Вяземскому в Петербург о развитии «телескопской» истории, пишет 3 ноября: «Сказывают, что Чаадаев сильно потрясен постигшим его наказанием; отпустил лошадей, сидит дома, похудел вдруг страшно и какие-то пятна на лице. Его кузины навещали его и сильно поражены его положением. Доктор приезжает наведываться о его официальной болезни». Через несколько дней в Петербург отправляется новый бюллетень: «Доктор ежедневно навещает Чаадаева. Он никуда из дома не выходит. Боюсь, чтобы он и в самом деле не помешался». 12 ноября Тургенев извещал Вяземского о состоянии Петра Яковлевича: «Я был у него и нашел его более в ажитации, чем прежде. Посещение доктора очень больно ему. Он писал третьего дня к графу Строганову и послал ему книгу Ястребцова…»

Подавленный наказанием, Чаадаев послал попечителю московского учебного округа уже упоминавшуюся книгу «О системе наук, приличных в наше время детям, назначаемым к образованнейшему классу общества», где отметил места о будущности России, которые ее автор писал «под мою диктовку». Отмеченные места, поясняет он в сопроводительном письме, показывают, как менялись абсолютные и слишком резкие мнения, которые он излагал шесть лет назад под воздействием болезненных впечатлений. «Для меня очень важно в интересе моей репутации хорошего гражданина, чтобы знали, что преследуемая статья не заключает в себе моего «profession de foi»[28], а только выражение горького чувства, давно истощенного. Я далек от того, чтобы отрекаться от всех мыслей, изложенных в означенном сочинении; в нем есть такие, которые я готов подписать кровью. Когда я в нем говорил, например, что «народы Запада, отыскивая истину, нашли благополучие и свободу», я только перефразировал изречение Спасителя: «Ищите царствия небесного, и все остальное приложится вам», и вы понимаете, что это не одна из тех мыслей, которые бросаешь сегодня на бумагу, чтобы завтра стереть, но верно также и то, что в нем много таких вещей, которых бы я, конечно, не сказал теперь. Так, например, я дал слишком большую долю католицизму, и думаю ныне, что он не всегда был верен своей миссии; я не довольно оценил стоимость элементов, которых у нас недоставало, и думаю теперь, что они намного содействовали сооружению нового общества; я не говорил о выгодах нашего изолированного положения, на

которые я теперь смотрю, как на самую глубокую черту нашей социальной физиономии и как на основание нашего дальнейшего успеха; я не показал, что всеми, сколько есть прекрасных страниц в нашей истории, мы обязаны христианству, — факт, который в настоящее время послужил бы мне к опоре моей системы…».

Петр Яковлевич не удовольствовался письменным объяснением происходивших с ним мировоззренческих перемен и встретился лично с С. Г. Строгановым, с которым когда-то вместе служил в лейб-гвардии Гусарском полку. Об их беседе известно со слов Д. В. Давыдова, отвечавшего на запрос Пушкина о положении Чаадаева. «Строганов рассказывал мне весь разговор его с ним от доски до доски. Видя беду неминуемую, он старался свалить всю беду на журналиста и цензуру, на первого потому, что он очаровал его и увлек его к дозволению отдать в печать этот пасквиль, а на последнюю за то, что пропустила оный. Это просто гадко, но что смешно, это скорбь его о том, что скажут о признании его умалишенным его друзья и ученые: Ballanche, Lamennais, Guizot — и какие-то немецкие шустера-метафизики!.. Но полно, если бы не вызвал меня, я бы о нем промолчал, потому что не люблю разочаровывать…»

Автор «Современной песни» не мог обойтись без негодующих и преувеличивающих нот в описании растерянности и раскаяния Петра Яковлевича. Но сами факты, приводимые им, видимо, верны. Они сходны с показаниями Чаадаева 17 ноября 1836 года, которые он давал в связи с ответами Надеждина в III отделении. Петр Яковлевич заявлял, что никогда не имел ни намерения, ни желания публиковать философическое письмо и узнал о его печатании только после одобрения цензуры, когда увидел свое сочинение уже в корректуре. Отрицая факт передачи вызвавшего волнение произведения в руки издателя и удивляясь либеральности цензуры, он подчеркивал неожиданность его широкого обнародования и пытался снять с себя значительную долю ответственности за это, прямо противореча здесь Надеждину, который поведал жандармам изложенную предысторию появления письма. На основные вопросы Чаадаев, сравнительно с показаниями редактора «Телескопа», давал уклончивые ответы.

В конце ноября комиссия, в которую входили Бенкендорф, один из его помощников, Уваров и обер-прокурор Святого синода Протасов, как известно, служивший вместе с Чаадаевым адъютантом у Васильчикова, после изучения протоколов допросов автора, издателя и цензора представила всеподданнейший доклад. Надеждин, говорилось в нем, несмотря на изворотливость в ответах и преувеличенный монархический образ мыслей, усердно

содействовал напечатанию статьи, без чего она не могла бы появиться в свет. Ее появлению способствовали и усилия со стороны сочинителя, заметно старавшегося свалить вину на издателя.

Высочайшая резолюция от 30 ноября 1836 года гласила: «Чаадаева продолжать считать умалишенным и как за таковым иметь медико-полицейский надзор; Надеждина выслать на житье в Усть-Сысольск под присмотр полиции, а Болдырева отставить за нерадение от службы».

В числе пострадавших едва не оказался сотрудник «Телескопа» Белинский, чьи бумаги также были арестованы. Но в них ничего подозрительного не обнаружили. Позднее ходили слухи, что именно он перевел для публикации философическое письмо. Однако личность переводчика хотя и интересовала III отделение, но почему-то оставалась в тени и до сих пор окончательно не установлена. Многие современники не без оснований полагали, что перевод сделан Н. Х. Кетчером, часто встречавшимся с Чаадаевым у Левашевой. Например, М. А. Дмитриев утверждает это, ссылаясь на слова Екатерины Гавриловны, более всех осведомленной в делах Петра Яковлевича. Судя же по документам следствия в связи с запрещением журнала «Телескоп», переводчиком мог быть брат Авдотьи Сергеевны Норовой Александр.

Возможно, Кетчер существенно отредактировал перевод Александра Норова, не на шутку перепуганного «чаадаевской историей». Немало волнений испытал в связи с ней и А. И. Тургенев, портрет которого со смелой надписью «без боязни обличаху» оказался в III отделении в числе забранных у Петра Яковлевича бумаг. Об этой надписи жандармам уже давно было известно через тайного осведомителя, камер-юнкера Кашинцова. Сейчас же последний доносил, что Тургенев струсил, узнав об аресте портрета и слухах, приписывавших ему участие в публикации, и «ускакал» в Петербург.

А слухи ходили по Москве самые разные. Говорили, например, что Чаадаева велено посадить в сумасшедший дом, если доктора определят у него расстройство ума, или сослать куда-нибудь подальше от столицы, если признают его здоровым. Не обошел своим вниманием автора философического письма и богатый московский барин и присяжный остроумец С. А. Неелов, который в Английском клубе и на балах по горячим следам сочинял эпиграммы на заметные события в древней столице. «Чаадаеву, которому после Телескопа начали щупать пульс» — так назывались его переходившие из уст в уста двустишия, среди которых были и следующие:

Бежал Чадаев наш к бессмертию галопом,
Но остановлен Телескопом.

Достоин крест иметь, поверьте в этом мне,
Но не на шее — на спине.

Он генерал, и по рассудку
Его определить возможно даже в будку.

Злые строки Неелова — одно из предельных выражений негодования в адрес Петра Яковлевича. «Что же касается до моего положения, — пишет он брату, — то оно теперь состоит в том, что я должен довольствоваться одною прогулкою в день и видеть у себя ежедневно господ медиков, ex officio меня навещающих. Один из них, пьяный частный штаб-лекарь, долго ругался надо мною самым наглым образом, но теперь прекратил свои посещения, вероятно по предписанию начальства». Жалоба Чаадаева обер-полицмейстеру с угрозой писать выше Бенкендорфу возымела быстрое действие, и «умалишенного» на Басманной вскоре стал посещать давний и некогда лечивший его приятель, доктор Гульковский. Визиты врачей носили формальный, но регулярный характер, и об их исполнении ежемесячно докладывал в Петербург московский военный генерал-губернатор.

Среди слухов, особенно усугублявших подавленное состояние Петра Яковлевича, выделялись двусмысленные разговоры о «даме» и ее взаимоотношениях с автором философического письма. Они вскоре приняли опять-таки «сумасшедший» оборот, когда 17 декабря московское губернское правление освидетельствовало умственные способности Екатерины Дмитриевны Пановой по настоятельной просьбе мужа, пожелавшего поместить свою тридцатидвухлетнюю жену в лечебное заведение Саблера. Когда до «басманного философа» дошли отклики об ответах Пановой на предложенные ей вопросы, он через пристава испросил разрешение явиться к московскому обер-полицмейстеру Цынскому, которому сделал письменно следующее заявление: «Коллежская секретарша Панова во время свидетельствования ее губернским правлением в умственных способностях, рассказывала в присутствии, что она республиканка и что во время войны в 1831 году она молилась за поляков, и тому подобные вздоры говорила»; а потому он опасается, чтобы «по прежним его с Пановой связям правительство не заключило, что он причиною внушения ей

подобного рода мыслей, так как философические письма, напечатанные в Телескопе, были писаны к ней».

Не удовлетворившись таким уведомлением и не успокоив тревоги за ухудшение своего «сумасшедшего» положения, Чаадаев на следующий же день отправил Цынскому послание с более пространными объяснениями. Он подробно рассказал историю знакомства с Екатериной Дмитриевной и ее мужем, а также еще раз убеждал обер-полицмейстера: «Что касается до того, что эта несчастная женщина теперь, в сумасшествии, говорит, например, что она республиканка, что она молилась за поляков и прочий вздор, то я уверен, что если спросить ее, говорил ли я с ней когда-либо про что-нибудь подобное, то она, несмотря на свое жалкое положение, несмотря на то, что почитает себя бессмертною и в припадках бьет людей, конечно, скажет, что нет. Сверх того и муж ее тоже может подтвердить… Впрочем, я убежден, что мудрое правительство не обратит никакого внимания на слова безумной женщины, тем более что имеет в руках мои бумаги, из которых можно ясно видеть, сколь мало я разделяю мнения ныне бредствующих умствователей…»

Когда-то Петр Яковлевич советовал «безумной женщине» облечься в одежду смирения и умиротворять взволнованный дух всецелой покорностью религиозному чувству. Но его советы, как оказалось, не помогли ей, как не помогала преображению внутреннего мира самого Чаадаева его антииндивидуалистическая теория «высшего синтеза», входившая в очередное противоречие с эгоиста ческими началами конкретного поведения. Попав в затруднительное положение, он не только открещивался от реальной помощи своей бывшей «ученице», но и сжигал мосты возможного общения с ней.

Екатерину Дмитриевну поместили на время в сумасшедший дом. Следы дальнейшего ее жизненного пути теряются. Но кое-что известно из последних, не менее драматичных, лет ее жизни, о которых позднее вспоминал внук Александра Улыбышева Н. Вильде. Он рассказывал, что, проводя лето в нижегородском родовом имении умершего деда, с любопытством и страхом проходил мимо ветхой избы, где жила старая безногая женщина, которую бабушка презрительно и насмешливо называла «философкой», а то и просто сумасшедшей. «Философка» (а ею оказалась Екатерина Дмитриевна Панова) много лет находилась в разладе с братом Александром, смертельно враждовала с его женой, а вот теперь приехала к ней в простой телеге, без копейки денег, имея при себе лишь костыли, и чуть ли не на коленях умоляла о помощи и пристанище. Судя по всему, она недолго прожила в старом домике, куда ей носили обед с барского, стола.

«Где она умерла? — вопрошает Вильде. — В больнице для умалишенных или в каком-нибудь нищем доме, или из милости у чужих людей? Где ее могила?»

Петр Яковлевич впоследствии, наверно, не раз задавал себе такие вопросы. Как не мог он не мучиться совестью из-за малодушных объяснений относительно помещенной в психиатрическую лечебницу «философки». Но подобные переживания, болезненно ущемляющие гордость, растворялись в мрачности и угнетенности духа от собственного «сумасшествия» и скрывались от глаз многочисленных посетителей, приходивших выразить сочувствие в постигшем его столь необычном наказании, странность которого, по мнению современников и самого Чаадаева, предупреждала возможную суровость осуждения и ссылку. «Поведение личных друзей Чаадаева, — замечает М. И. Жихарев, — то есть почти всего мыслящего и просвещенного меньшинства московского народонаселения и даже всех его знакомых, исполненное самого редкого утонченного благородства, было выше всякой похвалы. Чаадаев в несчастии сделался предметом общей заботливости и общего внимания. Все наперерыв старались ему обнаружить знаки своего участия и своего уважения, и это не в одной Москве только. Замечательно, что наиболее с ним несогласные, самые с ним в мнениях противоположные, были в то же время и наиболее к нему симпатичными и предупредительными…»

Поначалу растерявшись, продолжает биограф, Петр Яковлевич постепенно смирился с новым положением и даже, стал находить в нем удовлетворение своему тщеславию и гордости. Благодаря шумным последствиям вокруг обнародования философического письма имя его автора стало еще более известным. Пятнадцатый номер «Телескопа», где оно появилось, невозможно было достать, и повсюду распространялись его рукописные копии. «Кажется, все строгие запретительные меры относительно литературы, — вспоминал И. И. Панаев, — никогда не действовали во вред ей… статья, вследствие которой запрещался журнал, приобретала популярность не только между всеми грамотными и читающими людьми, но даже и между полуграмотными, которые придавали ей бог знает какие невежественные толкования».

Невежественных толкований, основанных на незнании личности автора и всей системы его идей, оказалось действительно предостаточно. Но выступать против его мнений собирались и люди, хорошо знавшие Чаадаева, его мысли. Они, однако, оставили свои намерения публичных выступлений, чтобы не усугублять наказание «басманного философа» (к тому же

всякое обсуждение «телескопской» публикации в печати было запрещено). Так, А. С. Хомяков готовил «громовое опровержение», узнав же, о правительственных мерах, заметил, что «и без него уже Чаадаеву достаточно неучтиво отвечали». Отказался от опровержения и Е. А. Баратынский. П. А. Вяземский, составлявший проект письма к министру народного просвещения, на котором имеются пометки Пушкина, замечал в послании к А. И. Тургеневу: «Что за глупость пророчествовать о прошедшем? Пророков и о будущем сажают в желтый дом, когда они предсказывают преставление света, а тут предсказание о бывшем преставлении народа. Это верх безумия! И думать, что народ скажет за это спасибо, за то, что выводят по старым счетам из него не то что ложное число, а просто нуль! Такого рода парадоксы хороши у камина для оживления разговора, но далее пускать их нельзя, особенно же у нас, где умы не приготовлены и не обдержаны прениями противоположных мнений. Даже и опровергать их нельзя, потому что опровержение было бы обвинением, доносом…»

Одним из первых собрался отвечать Петру Яковлевичу Пушкин. Еще 19 октября, дописав последние страницы «Капитанской дочки», он составил послание к Чаадаеву, от которого только что получил экземпляр «телескопской» статьи. Оно так и не было отправлено все по тем же причинам, из-за принятия правительственных мер, но читалось в петербургском обществе. Среди других с ним познакомился прибывший в декабре в северную столицу А. И. Тургенев. Поэт, обладавший, по словам последнего, редкими сокровищами «таланта, наблюдений и начитанности о России», решительно опровергал бездоказательный вывод Чаадаева об исторической ничтожности России. «Войны Олега и Святослава и даже отдельные усобицы — разве это не жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?»

Не согласен Пушкин и с мыслью Чаадаева о «нечистоте

источника нашего христианства», заимствованного из Византии и направившего русскую историю не по западному пути. Но что мы заимствовали, спрашивал он автора философических писем? «У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофания, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве».

Так же вопреки Чаадаеву Пушкин видел в разделении церквей, которое отъединило страну от остальной Европы, свое особое предназначение: «Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех».

Не соглашаясь с оценкой Чаадаевым русского прошлого в первом философическом письме, Пушкин был согласен со своим другом в критике настоящего. Он одобрял, что тот громко сказал о равнодушии к долгу, справедливости и истине, о циничном презрении к человеческой мысли и достоинству в современном обществе. Поэт и сам восторгался далеко не всем, что видел вокруг себя: он раздражен как литератор, оскорблен «как человек с предрассудками». «Но, — заверял Пушкин Чаадаева, — клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». Таково было «последнее слово» (выражение Чаадаева) поэта к мыслителю.

Об истории предков метафорически рассуждал в кругу близких друзей и Жуковский: «Порицать Россию за то, что она с христианством не приняла католичества, предвидеть, что католическою она была бы лучше — все равно, что жалеть о черноволосом красавце, зачем он не белокурый. Красавец за изменением цвета волос был бы и наружностью и характером совсем не тот, каков он есть. Россия, изначала католическая, была бы совсем не та, какова теперь; допустим, пожалуй, что католическая была бы она и лучше, но она не была бы Россиею».

Ограничиваться выражением своих мыслей лишь в частной переписке был вынужден и В. Ф. Одоевский, у которого положения опубликованного философического письма вызывали

желание развивать собственные выработанные мысли: «Глупая статья Чаадаева затворяет рот всякому, кто бы хотел вступиться за литературу. Как мне жаль, что я не успел прежде окончить печатание моего Дома Сумасшедших; два года тому назад, не имея почти никакого понятия о мыслях Чаадаева, я написал эпилог, заключающий книгу и как будто нарочно совершенно противоположный статье Чаадаева; то, что он говорит об России, я говорю об Европе и наоборот… Россия должна такое же действие произвести на ученый мир, как некогда открытие новой части света, и спасти издыхающую в европейском рубище науку…»

Так, отрывочными или систематическими размышлениями, в мягких интонациях или негодующих репликах, начинало проявляться возбуждающее воздействие «телескопской» публикации Чаадаева на русское общественно-литературное мнение. Одним «Философическим письмом», замечал Плеханов, он сделал для развития нашей мысли бесконечно больше, чем сделает целыми кубическими саженями своих сочинений иной трудолюбивый исследователь России «по данным земской статистики» или бойкий социолог фельетонной «школы».

Эта публикация способствовала уточнению, углублению и размежеванию различных концепций исторического развития России, заставляла философов, писателей, художников ставить и исследовать принципиально важные, но систематически не разрабатывавшиеся вопросы.

VII глава
В ПЛЕНУ У ВРЕМЕНИ

1

Хотя Петр Яковлевич и сумел найти, как отмечал М. И. Жихарев, некоторое удовлетворение собственному тщеславию в столь неожиданных и парадоксальных результатах на «надлежащем пути» к славе, тем не менее в первые месяцы он пребывал в глубоко подавленном состоянии. «Развязки покамест не предвижу, — пишет он брату в январе 1837 года, — да и признаться не разумею, какая тут может быть развязка? Сказать человеку, «ты с ума сошел», не мудрено, но как сказать ему, «ты теперь в полном разуме»? Окончательно скажу тебе, мой друг, что многое потерял я невозвратно, что многие связи рушились, что многие труды останутся незаконченными, и наконец, что земная твердость бытия моего поколеблена навеки».

Фаталистическим настроением, которое, со своей стороны, будет содействовать частичному изменению прежних взглядов Петра Яковлевича на «прогрессистскую» сущность христианства, проникнуто и его послание гостившему в конце 1836 года в Петербурге А. И. Тургеневу: «Меня часто называли безумцем, и я никогда не отрекался от этого звания и на этот раз говорю — аминь — как я всегда это делаю, когда мне на голову падает кирпич, так как всякий кирпич надает с неба. И вот я снова в своей Фиваиде, снова челнок мой пристал к подножию креста, и так до конца дней моих; скажу еще раз: «буди, буди». Чаадаев, несколько патетически призывает М. Ф. Орлова не склонять «нашего обнаженного чела перед шквалами, свистящими вокруг нас» и сохранять среди треплющих их обоих бурь «нашу прославленную дружбу». Было бы высшим неразумием с их стороны надеяться на что-то лучшее, и пусть мир скатится к своим неисповедимым судьбинам».

В феврале 1837 года тяжелый груз размышлений о «неисповедимых судьбинах» мира пополнился неожиданным известием о трагической кончине Пушкина, смертельно раненного на дуэли Дантесом. «Странно, я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет», — произнес после дуэли Пушкин, чьи последние часы жизни поражали Чаадаева.

Из письма Жуковского к отцу Пушкина Чаадаев узнает о проявлении всенародной любви к поэту, проститься с которым приходили тысячи людей, «…Многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться и лицо его; было что-то разительное в его неподвижности, посреди этого движения, и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так

тихо, так однозвучно слышалась среди этого смутного говора». Первого февраля было отпевание, а через день друзья проводили сани с гробом в Михайловское, где поэт хотел обрести покой и волю и где «неукрашенным могилам есть простор». При свете месяца, пишет Жуковский, сани, повернув за угол дома, исчезли из вида и «все, что было на земле Пушкин, навсегда пропало из глаз моих».

Перечитывая письмо, Петр Яковлевич всякий раз задерживается на описании первых посмертных минут поэта, который в постоянном возрастании своей духовной жизни словно полностью преобразился и обрел наконец мучительно искомую им подлинность собственного бытия. «Когда все ушли, я сел перед ним, и долго, один, смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было на нем в ту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражало его лицо, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это не было ни сон, ни покой; не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выражение поэтическое, нет! какая-то важная, удивительная мысль на нем развивалась; что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубоко-удовлетворяющее знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я увидел лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо смерти без покрывала. Какую печать на него наложила она! и как удивительно высказала на нем и свою и его тайну! Я уверяю тебя, что никогда на лице не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, таилась в нем и прежде, будучи свойственна его высокой природе, но в этой чистоте обнаруживалась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина».

Смерть словно раскрыла все волновавшие поэта в «шуме» и «звоне» бытия тайны борьбы «гадов» и «ангелов» и восполнила его пророческое знание. Само это абсолютное знание усиливало в глазах Чаадаева загадочность судьбы друга, возбуждая в его уме и скорбные и вопросительные мысли. Он тоскливо рассматривает пятно, оставленное прислонявшейся к стене головой друга, вертит в руках подаренное поэтом еще в молодости, перед

отъездом в южную ссылку, серебряное кольцо с надписью на внутренней стороне «sub rosa», что в буквальном смысле означает «под розой», а в переносном — «в тайне». Петру Яковлевичу только что возвратили арестованные бумаги, и он с радостью находит строки пушкинского послания. «Это единственное сохранившееся у меня письмо (Алекс.) из многих, написанных в разные периоды его жизни, и я счастлив, что оно ко мне вернулось», — сообщает он отцу поэта, прося у него разрешения задержать еще немного письмо Жуковского. Желая познакомиться с возражениями Пушкина на «телескопскую» публикацию, Чаадаев через два года признается Жуковскому, разбиравшему архив Александра Сергеевича, что все относящееся к дружбе с поэтом для него драгоценно.

Возвращение бумаг несколько ободряет дух Чаадаева, особенно врачуемый самим пребыванием в доме Левашевой. Он пишет брату: «Но всего утешительнее для меня дружба моих милых хозяев». Петр Яковлевич постоянно обедает у них, проводя вместе с ними большую часть дня, что служит поводом досужим умам для его обвинений в иждивенчестве. Он начинает считать себя обузой для владельцев басманной «Фиваиды», в чем Екатерина Гавриловна пылко разубеждает его. Она сообщает И. Д. Якушкину про свои переживания, связанные с «чаадаевской историей», которая отразилась на ее здоровье, но вместе с тем еще более укрепила их верный союз. Опальный философ по-прежнему для нее самый дорогой и любезный друг, стоящий рядом в радостях и страданиях и являющийся для нее «благодеянием Провидения». Окружающие вообразили даже, признается она двоюродному брату, что Чаадаев заменил его в ее сердце, в котором ссыльный декабрист всегда остается на первом месте.

Екатерина Гавриловна и Петр Яковлевич часто перечитывали письма Ивана Дмитриевича, которому его бывший «ученик» еще в 1834 году послал небольшую картину с подписью художника Романелли, изображающую семейную группу. Она висела в камере «учителя», а затем хранилась у его детей. Вместе со своей доброй хозяйкой и с Н. Н. Шереметевой Чаадаев подбирает книги для Якушкина, который в сибирском уединении постоянно занимается самообразованием и усердно старается следить за ходом современных идей в различных сферах знания. Однако первое послание далекому другу «басманный философ» написал лишь за несколько месяцев до «телескопской» катастрофы, сопровождая им посланный родственниками трактат французского физика Беккереля об электричестве и магнетизме. Петр Яковлевич рад, что Иван Дмитриевич сохранил вкус к науке

среди ужасов, обрушившихся на него по людскому суду, и, видимо, благодарит за это того, от кого исходят любые блага. Он уверен также, хотя и не знает теперешних философских убеждений декабриста, что в награду за спокойную покорность выпавшему жребию и за неизменное сохранение чувства кроткого расположения и совершенной любви ему дарованы новые откровения в постижении многих вещей. А потому «приглашая тебя тщательно вникнуть в некоторые из подчеркнутых в этой книге отрывков, наверное, лишь продолжаю дело, уже начатое богом».

Давние роли «учителя» и «ученика», носившие когда-то формальный характер, теперь в сознании Чаадаева переменились по существу. Он пытается внушить другу юности, что все последние открытия в области естествознания и вообще всякий новый шаг человеческого разума раскрывают христианские предания и подтверждают космогоническую систему Книги Бытия.

Петр Яковлевич не может также не окинуть горестным взглядом прошлое, не воскресить в памяти дни, протекавшие «в сладостном общении на самом краю бездны». Он упрекает Ивана Дмитриевича в былом легкомыслии, когда на карту была поставлена «судьба великого народа», и призывает его покаяться в ответном послании: «Как бы я был счастлив, если бы… первые твои слова, направленные ко мне, подтвердили, что ты. теперь осознал свою страшную ошибку и что в своем уединении ты пришел к заключению, что заблуждение может быть искуплено перед высшей правдой не иначе, как путем его исповедания, подобно тому, как ошибка в счете может быть исправлена лишь после ее признания. Прощай, друг мой. Я горжусь тем, что смог сказать тебе эти вещи с уверенностью, что душа твоя этим, не оскорбится и что твое высокое понимание сумеет разглядеть в сказанном внушившее его чувство».

Послание Чаадаева не дошло до адресата, и год спустя он снова пишет ему, рассказывая свою «унылую и смешную историю» и излагая главные мысли недошедшего послания. Он извиняется, что слишком занят собственными идеями, составляющими в теперешних условиях весь интерес его жизни, единственную опору «опрокинутого существования».

Эти идеи, жалуется Петр Яковлевич уже А. И. Тургеневу, привели его к столь «прекрасной развязке», что после ареста всех рукописей: и вынужденного домоседства не остается: ничего иного, как целиком предаться чтению. Он просит своего вездесущего приятеля присылать побольше французских и немецких каталогов, а также нашумевшие сочинения Гегеля и Д.

Штрауса, которыми увлечена московская молодежь. Система Гегеля, выводящая все явления природы, общества и сознания из «абсолютной идеи», в поступательном развитии которой рационально снимаются противоречия между ними и разрешаются тайны мироздания и человеческого духа, а реальные отношения заменяются логическими, называется Чаадаевым «заносчивой философией». По его мнению, она претендует «с помощью нескольких варварских формул примирить все непримиримое, выступить посредницей между глубокими и искренними убеждениями, природы которых она не может понять и значения которых она не может измерить, и тем свести всю эту святую работу религиозных умов к какому-нибудь неудачному компромиссу, к каким-нибудь философским пересудам, недостойным религии Христа».

В одном из писем Вигель не без оснований заметил, что Петр Яковлевич всю свою жизнь провел в чтении, которое в период вынужденного заточения в «Фиаиде» стало особенно интенсивным. Книги, заслуживающие, с его точки зрения, особого интереса, «басманный философ» рекомендует Левашовой, посылающей их Герцену. Последний все еще занят размышлениями о христианстве, пытается писать статьи о религии и философии, и Чаадаеву хотелось бы направить его усилия в русло собственных идей.

Любвеобильная Екатерина Гавриловна, помогающая ссыльному «сенсимонисту», не оставляет без внимания и другого молодого человека, подающего большие надежды, — Михаила Александровича Бакунина. Он пополняет число «непонятных» обитателей ее дома и становится соседом Чаадаева. Этому молодому человеку суждено в недалеком будущем превратиться в европейски знаменитого анархиста, видящего во всеобщем разрушении «божественное» начало. Сейчас же он целиком погружен в изучение Гегеля, пока еще используя его систему для своеобразного «примирения» с окружающей реальностью, в которой «все действительное разумно». Настало время, поверяет он свои думы прославленному опальному соседу, когда политика должна превратиться в религию, а религия — в политику, направленную на возвышение практической жизни; назначение человека не в том, чтобы страдать, сложа руки, в ожидании загробного спасения, а в том, чтобы собственными усилиями свести небо на землю, а землю поднять до небес. В мыслях нового жильца Петр Яковлевич слышит нечто созвучное своей идее «царства божия», хотя его и настораживают отвлеченность и определенные «своевольные» крайности, избавиться от которых он стремится помочь новоиспеченному гегельянцу, увлеченному

«заносчивой философией», излюбленными рассуждениями. В одном из писем Бакунин сообщает о своей «длительной беседе с Чаадаевым о прогрессе человеческого рода», говоря, что тот «воображает себя руководителем и знаменосцем» сего прогресса.

В 1837 году в семействе Левашовых стал появляться еще одни молодой человек, которого Петр Яковлевич мог рассматривать в качестве очередного объекта своей, теперь суженной до пространства собственного флигеля, проповеди. По рекомендации Бакунина или Кетчера Екатерина Гавриловна предложила Виссариону Григорьевичу Белинскому давать уроки литературы ее сыну и дочери. Заочно Чаадаев знал Белинского уже давно, с начала его литературной деятельности в «Телескопе» и «Молве», а в 1836 году собирался даже (видимо, не без помощи Надеждина) познакомить его с Пушкиным, отметившим успехи молодого критика. Последний, по словам поэта, «обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и остроумием своим соединил он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного».

Словно прислушиваясь к совету Пушкина, Белинский не переставая читал и учился, сочетая в своих размышлениях самые разные идеи. «Как часто случается у нас слышать, — замечает Виссарион Григорьевич в одной из статей, внутренне полемизируя с интонациями первого философического письма, — что у нас нет страстей, волнование которых составляет романтическую прелесть жизни, что у нас нет этого внутреннего беспокойства, которое даже в людях низшего класса пробуждает стремление возвыситься над своею сферою и собственными силами создать себе средства и проложить дорогу к славе. Какое нелепое наглое мнение». Вместе с тем критик развивает мысли, в чем-то сходные с новыми взглядами Чаадаева на особое призвание России, основанное на разумном использовании мировых достижений. «Мы, русские, — наследники целого мира, не только европейской жизни, и наследники по праву. Мы не должны и не можем быть ни англичанами, ни французами, ни немцами, потому что мы должны быть русскими; но мы возьмем, как свое, все, что составляет исключительную сторону жизни каждого европейского народа, и возьмем ее не как исключительную сторону, а как элемент для пополнения нашей жизни, исключительная сторона которой должна быть — многосторонность, не отвлеченная, а живая, конкретная, имеющая свою собственную народную физиономию и народный характер».

Рассуждения Белинского в известной степени связаны с опубликованными и неопубликованными идеями Чаадаева, который, со своей стороны, видит за литературными разборами критика, за его увлечением красотой старорусского быта и Шеллингом искание, говоря словами П. В. Анненкова, «основ для трезвого мышления, способного устроить разумным образом личное и общественное существование». Подобно Бакунину и под его влиянием Белинский открывает в своих поисках философию Гегеля и рассматривает постоянные изменения как «великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии», а исторический процесс — как нарастание «успехов человечества на поприще самосовершенствования». В свете положения немецкого философа о разумности всего существующего он утверждает, что «вся надежда России на просвещение, а не на перевороты, не на революции и не на конституции».

Однако остроумие и независимость страстной натуры критика противоречат умозрительному «примирению» с действительностью. Тем более ему должны казаться отвлеченными религиозные обоснования Чаадаевым мирового прогресса. Личное знакомство не приносит им взаимного удовлетворения, а дух левашевского дома показался Белинскому чуждым. «Добрые люди, прекрасные люди, — писал он Бакунину, — но их мир — не наш мир». О недоразумениях между двумя современниками говорят и строки другого послания критика тому же адресату: «В 8 № «Наблюдателя», в статье «Петровский театр» у меня есть выходка против людей, которые в французском языке не уступают французам, а русской орфографии не знают: Чаадаев принял ее на свой счет и взбесился. Теперь самому стыдно стало. Он же говорил, что слышал от кого-то или сам читал, что в одной немецкой газете пишут о тебе, Мишель, как о единственном человеке в России, который с ревностию занимается немецкою философией…»

Петр Яковлевич продолжает внимательно следить за состоянием умов в Европе и на родине, ищет в мыслях представителей нового поколения точки соприкосновения со своими религиозно-прогрессистскими устремлениями. Однако ближайшее десятилетие покажет, как изменятся и сколь отличными путями пойдут по жизни люди, с которыми он сталкивается в доме Левашевой (здесь же во флигеле вскоре поселяется друг Герцена и Огарева Кетчер).

Пока же Чаадаев появляется в светском обществе с опаской. Рассуждения Белинского напоминают ему фрагменты пьесы Загоскина «Недовольные» и вызывают обиду на критика. Еще в апреле 1837 года А. И. Тургенев сообщал Вяземскому:

«Закрасноворотский философ очень оправился, хотя еще никуда не является, но духом опять воспрянул. Ему сказали о твоих словах о нем в письме к Давыдову, и, кажется, это кольнуло его истиною замечания, а я еще не читал твоего письма». Настроение Петра Яковлевича заметно улучшается не только потому, что ему возвращают бумаги, заключающие, как он писал брату, труды и цель всей ого жизни, но и потому, что постепенно рассеивается двусмысленность в его положении «сумасшедшего» благодаря стараниям московского генерал-губернатора — Дмитрия Владимировича Голицына. Жуковский характеризовал Дмитрия Владимировича как «друга человечества н твердого друга закона, сочетавшего в своих доблестях: и день брани мужество, в день мира — правый суд», как ревностного представителя «за древний град у трона». Героический участник Отечественной войны 1812 года, Голицын много сделал для Москвы и течение своего долгого пребывания (с 1820 по 1844 г.) в должности градоначальника: заботился оо устроении бульваров, о замене дров торфом на заводах и фабриках для предотвращения истребления лесов и Московской губернии, боролся со злоупотреблениями, вникая в участь бедняков, арестантов, безвинно пострадавших п т. п.

Дмитрий Владимирович был женат на сестре И. В. Васильчикова и знал Чаадаева еще со времен его адъютантской службы у командира гвардейского корпуса. Когда разворачивались кульминационные события и выносились приговоры в связи с «телескопской» историей, Голицын находился в отъезде. Вернувшись же и Москву и повидавшись с «безумцем», он, по словам М. И. Жихарева, расхохотался и заявил: «Ça n'a que trop duré; il faut pourtant que cete farce finisse»[29]. Посылал ежемесячные рапорты в Петербург, генерал-губернатор, например, докладывал в апреле 1837 года: «Ныне г. Чаадаев уже не находится в таком расположения духа, как было при сочинении известных Вашему Императорскому Величеству философических писем, он вполне восчувствовал и заблуждение свое, которое ого завлекло к изложению ложных понятий, через что подвергнулся он справедливому гневу Вашего Величества и общему нареканию». Целеустремленные и методичные ходатайства Голицына возымели свое действие, и уже на рапорте от 9 июля Бенкендорф пометил: «Написать кн. Голицыну, что по приезде государя в Москву князь должен доложить о прекращении сего лечения». И в конце концов на всеподданнейшем докладе московского градоначальника была наложена резолюция: «Освободить от медицинского надзора под условием не сметь ничего писать».

Тяжелое для Петра Яковлевича условие ничего не писать, то

есть не печатать, смягчалось официальным «выздоровлением» и позволением не только прогуливаться по московским улицам или среди многочисленных цветников огромного старинного сада в доме Левашовых, но и посещать дома знакомых или общественные места. Однако эта приятная свобода омрачалась в его сознании необходимостью лично выслушивать колкие замечания, которые доходили и из северной столицы.

Находясь в конце 1836 года в Петербурге, Александр Иванович Тургенев побывал у Вильегорских, Вяземских, Голицыных, Карамзиных, Мещерских, Пушкиных, Путятиных, беседовал с Жуковским, Щербининым, Бравурой, Фикельмон, Хитрово и многими другими известными всей столице людьми, и везде его разговоры о Баадере или Шеллинге, об открытии театра или приеме у государя, о гомеопатии или народности перемежались толками о Петре Яковлевиче. По возвращении в Москву Тургенев рассказывал последнему об единодушном осуждении в Петербурге общего тона и направления первого философического письма. Например, в семействе Карамзиных его называют «пасквилем» и «галиматьей», где есть справедливые мысли при ложных принципах и умозаключениях. Чаадаев «все зло видит только у нас и все ругает бедную Россию там, где нужно ругать весь век, все человечество. Кроме того, он смешивает частности одного времени с общим характером народа и, наконец, все увеличивает, доказывает вред, происшедший от одной причины, а не видит, что эта же самая причина спасла нас от других, может быть, больших бедствий. Словом, видно, что он человек с большим умом, но, к несчастью, несколько помешался от излишнего самолюбия или от того, что слишком влюбился в свои мысли и мнения, всмотрелся в них пристально и забыл все, что видел прежде, все, что слышал прежде, все, что не непосредственно принадлежало к этим мыслям, которые, наконец, свели его несколько с ума…»

Такие оценки перекликались с высказываниями Вяземского, называвшего первое философическое письмо «ультрамонтанской эпцикликой, пущенной из Басманного Ватикана», а его автора — настоятелем «московских прихожанок своих». В представлении Вяземского оно является отрицанием той России, которую «с подлинника списал Карамзин. Тут никакого умысла и помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостью воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по части искажения Русской Истории…».

Подобные отзывы, доходившие из Петербурга, Чаадаеву передают и его московские знакомые. Поэтому его первые появления в обществе после кратковременного затворничества

отмечены настороженностью. «Басманный философ» узнает о публикации ходившей ранее по рукам в рукописи «Современной песни» Дениса Давыдова. Он посылает ее в соседний флигель А. И. Дельвигу, написав против слов «маленький аббатик» примечание: «это я», а вечером с большим неудовольствием обсуждает с ним обнародованную сатиру, для чего даже, против обыкновения, отлучается в театре от своего кресла.

Дельвиг, женившийся в конце апреля 1838 года на дочери Екатерины Гавриловны, Эмилии, в числе других членов семейства Левашовых старался отвлекать Петра Яковлевича от неприятных впечатлений. Весна в этот год была очень ранняя, теплая, к середине месяца уже зазеленело, и Чаадаев нередко присоединялся в саду к обсуждению готовящейся свадьбы, на которой ему предстояло быть посаженым отцом невесты, хотя обычай и не позволял брать на себя такую роль неженатому человеку.

Екатерина Гавриловна радовалась счастью дочери и участию в нем Петра Яковлевича. Сама она последние три года не выезжает из дому и неделями прикована к постели, но даже в тяжелые дни последнего года жизни не перестает принимать друзей и знакомых, деятельно помогать им. В спальне, когда Екатерина Гавриловна теряет сознание, постоянно дежурит ее любимый жилец, наблюдающий медленное угасание столь дорогой для него хозяйки. Незадолго до кончины Левашева пишет Якушкину, что, если бы не дети, она и не думала бы о смерти. Да и так она не боится ее и радуется возможности непрерывного общения с Петром Яковлевичем: «Шесть недель он за мной ухаживал как нежный брат…»

Смерть Екатерины Гавриловны в 1839 году была для Петра Яковлевича большой потерей, которая, помимо глубоких переживаний, грозила ему болезненным нарушением сложившегося образа жизни.

В том же 1839 году скончался его дядя, Дмитрий Михайлович Щербатов, с которым Чаадаев виделся довольно редко. Посылая скорбную весть в Алексеевское, он успокаивает тетку рассуждениями, что ее брат дожил до тех лет, когда жизнь становится скорее тяжелой ношей, нежели удовольствием. Племянник просит Анну Михайловну (а ей уже под восемьдесят) принять печальное известие «с той покорностью, которую нам предписывает религия… Смерть есть закон, чей приговор можно отсрочить только на немного дней». После отъезда Михаила уже Петр посылал ей французские романы и другие книги, стараясь, чтобы она не испытывала в них недостатка. Однако сам он не появлялся в Дмитровском уезде, ссылаясь то на плохое здоровье,

то на дурные дороги. Постоянно обещая в кратких посланиях к тетке приехать, он так ни разу и не навестил ее.

Но вот новые обстоятельства вынуждают Петра Яковлевича серьезно задуматься над возможностью переселения в Алексеевское. «Смерть моей приятельницы Левашевой, — признается он Анне Михайловне, — заставившая меня завести хозяйство, и чрезмерная дороговизна на все меня расстроили». Удрученный муж покойной Екатерины Гавриловны задумал продавать дом и переселяться в свое нижегородское имение. С кончиной жены Николай Васильевич вдруг оказался в таких долгах, что даже просил Чаадаева занять денег у его двоюродных сестер. Тот же, искренне чувствуя обязательства перед Левашовым, который продолжает считать его членом семьи и называет одним из самых выдающихся людей «этого мира и нашего века», предлагает оплатить какие-то старые счета, связанные, видимо, с проживанием во флигеле.

Чаадаев, кажется, получает долю наследства, положенную ему после раздела имения дальней родственницы Варвары Петровны Чаадаевой, которую он никогда не видел, и собирается после продажи дома на Новой Басманной перебраться к тетке. Анна Михайловна напоминает, что комнаты в ее жилище малы и в них нет достаточного комфорта. «Соединив наши общие средства, — успокаивает ее племянник, — мы можем произвести в нем некоторые переделки или построить флигель».

Пробуя в своем воображении возможные варианты жизни на новом месте, Петр Яковлевич заводит переписку и с Михаилом. В феврале 1840 года А. И. Тургенев сообщает Вяземскому, что Чаадаев помышляет «удалиться в деревню к пьяному братцу».

2

Несмотря на неудачу первого опыта, Михаил Чаадаев не терял надежды обрести душевный покой в деревенском уединении и в заботах о своих крестьянах. Но поначалу ему как исконному столичному дворянину, незнакомому с практическим хозяйствованием, необходимо было справиться с создавшимися вследствие недоимок по займам финансовыми затруднениями.

Для предотвращения разорения и поправки дел хрипуновский помещик стал учиться новым наукам, заказывал соответствующие книги из столицы, выписал «Земледельческую газету», Следя за развитием фабрик в России, интересуясь экспонатами заграничных сельскохозяйственных выставок, он «примеривал» некоторые, особенно недорогие, технические новинки на собственную вотчину. Исследование подобных вопросов навело его на мысль написать сочинение «Об обязательной ренте».

Но не только хозяйственные нужды составляли предмет умственных занятии Михаила Чаадаева. Он имел богатую библиотеку, выписывал «Отечественные записки», «Современник» и позднее «Москвитянин», наблюдал за развитием русской литературы, за метаморфозами таланта Гоголя. Особенно понравившиеся стихи Пушкина, Лермонтова, Дениса Давыдова, Федора Глинки он переносил в дневник. Он постоянно делал выписки из русских и иностранных изданий, заказываемых в Москве и Петербурге, размышлял о значении духовенства в отношении нравственности и быта крестьян, о широком распространении начального образования в китайских деревнях. Последнее обстоятельство сильно заинтересовало хрипуновского помещика, и он составил проект сочинения о распространении начального образования в сельской местности и о развитии народных школ в России, заказал несколько экземпляров «Чтения дли детей из священной истории». Одно время он и сам давал уроки по иностранным языкам сыну соседского помещика. Выписываемые «Московские ведомости» Михаил Яковлевич читал не торопясь и делая обширные извлечения.

Умственная деятельность Михаила Яковлевича Чаадаева не приносила ему, однако, внутреннего удовлетворенны и душевного спокойствия, а многие преобразовательские, просветительские и писательские планы так и оставались неисполненными, поскольку носили заданный головной характер и не были согреты сердечным теплом. Делая выписки из «Мыслей» Паскаля, он замечал позднее, что «человек есть часть или член великого целого и что он должен любить это целое,

отдельно от которого он не имеет существования, и что любить себя — значит любить это целое». С горькой иронией он обнаруживает отделенное от целого самолюбие, холодность сердца, отсутствие жертвенной любви к другим людям. И это несмотря на искреннее с его стороны желание поддерживать с окружающими, в частности с крепостными крестьянами, предельно честные и законные отношения. По позднейшему отзыву местного священника А. Вилкова, Михаил Чаадаев всякого желающего нз своих крестьян выйти на волю отпускал незамедлительно без выкупа. «Крестьяне под его управлением жили счастливы, довольны и спокойны. Любили, боялись, гордились им. До сего времени воспоминание о нем вызывает у них невольное и неподдельное чувство гордости и приятности, сознания мощи, веры, надежды и разума».

Эта в целом верная оценка требует определенных дополнении, освещающих внутренние противоречия хрипуновского помещика. Разделываясь с недоимками, Михаил Чаадаев уменьшал оброк в своей вотчине, намеревался отпустить крепостных на волю и отдать им землю в бесплатное пользование. Но дело кончилось тем, что он, по словам исправника Ардатовского уезда П. Л. Бетлинга, устроил в имении нечто вроде самоуправления под его наблюдением и «торговался с обществом своих крестьян, как с людьми ему посторонними, например о выкупе родственника его жены от рекрутчины. Землю всю он считал своею собственностью». Объявив своих крестьян лично свободными и предоставив им возможность переселяться куда угодно, Михаил Чаадаев вместе с тем предлагал им покупать у него по умеренной цене земельные участки.

Он, как и многие декабристы, оказался сторонником безземельного освобождения крестьян, что при сдаче земли в аренду способствовало развитию аграрно-капиталистических отношений в деревне и еще большей эксплуатации освобожденных. Еще в 1820-е годы Петр писал из-за границы Михаилу по поводу задуманных последним крестьянских реформ:

«Разве эти добрые люди так уж торопятся насладиться тем счастьем, которое вы им приуготовляете? Не думаю, чтобы это было так».

Размышляя над недоразумениями собственной и окружающей жизнт, Михаил Чаадаев с ужасом обнаруживал в себе наиболее неприятные ему пороки, которые невольно отражаются на устройстве судеб других людей. Возникавшие противоречия вызывали в Михаиле Яковлевиче страх умственного расстройства, отчаяния и крушения под бременем житейских забот. Он видел свое спасение в подлинной мудрости и мужестве, в бодрости и

терпении, в осмысленной деятельности и полезном трудолюбии и т. п. Но и чувствовал также, что обрести эти качества можно, лишь имея «хотя искру любви, благодарности, которые составляют величайшее блаженство человека».

Выход из состояния нравственной запутанности хрипуновский помещик находил в водке, за употребление которой, как известно, упрекал его Петр, еще будучи за границей. До «басманного философа» порою доходят слухи о неослабевающем пристрастии брата. Возможно, он догадывается (хотя не может знать ничего конкретного) и о его внутренних противоречиях, способных осложнить их совместную жизнь. Тем не менее собственное житейское положение кажется Чаадаеву столь безнадежным, что он просит у Михаила Яковлевича пристанища, выясняет, нельзя ли летом построить в Хрипунове жилище или найти квартиру в Ардатове. Петр Яковлевич понимает, что у брата нет лишнего строения. Но ведь у тетушки дом очень худ и зимой в нем почти нельзя жить. К кому же ему теперь обращаться? «К тому же, имея в руках мои деньги, ты можешь предложить мне какие тебе угодно условия».

А что же Михаил? Еще в начале 1837 года, узнав о «безумстве» брата, он пытался по возможности помочь ему. Если объявление сумасшедшим сделано неправильно, писал он Петру, его долг — просить где следует. Однако для этого надо знать, как и какое присутственное место или лицо производило следствие, от кого последовал указ и т. п. «Если все происходило законным образом, то и просить не о чем и нельзя». Когда Михаилу стало известно, кто и как производил следствие и откуда последовал указ, его несколько наивная доброта, ограниченная законническим пиететом, осталась без приложения.

Вот и сейчас, получив послание Петра, который всегда пишет лишь по делу и в затруднительных случаях, он готов оказать ему помощь, но хочет соблюсти надлежащую справедливость и логику. Михаил Яковлевич обстоятельно отвечает на все его вопросы и предлагает два помещения, где жил сам до переезда в недавно поставленный домик. Михаил советует Петру, прежде чем тот отправится в Хрипуново, навестить старую и больную тетку, уже почти не покидающую своей деревни: «Вероятно, ты ее уже не увидишь, если перед отъездом с ней не повидаешься».

3

Однако Петр Яковлевич не едет ни в Хрипуново, ни в Алексеевское, а рассматривает возможность проживания в Рожествене — имении своей незамужней двоюродной сестры Елизаветы Дмитриевны Щербатовой, которая тяготится такими его планами. Житейские сомнения надолго затягивают поиски квартиры, а новый хозяин дома Левашовых Шульц собирается менять его планировку, перестраивать флигеля и, видимо, настоятельно просит Чаадаева покинуть свое убежище. В июле 1842 года Петр Яковлевич сообщает Е. А. Свербеевой о своем выборе: «Приближаясь к моменту моего удаления в изгнание из города, где я провел 15 лет моей жизни над созданием себе существования, полного привязанностей и симпатий, которое не могли сокрушить ни преследования, ни неудачи, я вижу, что эта вынужденная эмиграция есть настоящая катастрофа. Вы находите, что Рожествено одиноко; что же сказали бы вы об очаровательном убежище, которому предстоит меня принять, если бы вы имели о нем какое-либо представление? Вообразите себе — один кустарник и болота на версты кругом и, помимо всего прочего, отсутствие места в доме для целой половины моих книг! Так пишет мне добрая тетушка, несмотря на ее горячее желание видеть меня у себя. Расположенное в довольно веселой местности, с удобным домом, украшенное вашим соседством, Рожествено по сравнению является обетованного землею…»

Необходимость покинуть Москву и оставить излюбленные привычки и занятия, устоявшийся уклад удобного и спокойного существования представляется Чаадаеву тем более тяжелым бедствием, что к этому времени еще более упрочивается его авторитет в высшем свете и становится активным участие в идейных исканиях общества. Другой своей приятельнице, С. С. Мещерской, он пишет, что давно уже ему не жилось так хорошо в Москве. И «никогда она не была для меня столь любезна. Никогда перед серьезными умами не выставлялось здесь столько предметов для плодотворных размышлений. И теперь приходится сказать спокойной ночи всему этому…».

Москвичи быстро забыли прежнее негодование и с еще большим радушием стали принимать Петра Яковлевича. А число посетителей его обветшалого флигеля, где он принимал сначала по средам, а потом по понедельникам, заметно увеличивается и разнообразится, «Вся Москва, как говорится фигурально, знала, любила, уважала Чаадаева, снисходила к его слабостям, даже ласкала в нем эти слабости, — пишет Д. И. Свербеев. — Кто бы ни

проезжал через город из людей замечательных, давний знакомец посещал его, незнакомый спешил с ним знакомиться. Кюстин, Моген, Мармье, Сиркур, Мериме, Лист, Берлиоз, Гакстгаузен — все у него перебывали. Конечно, Чаадаев сам заискивал знакомства с известными чем-либо иностранными путешественниками и заботился, чтобы их у него видели; не менее старался он сближаться и с русскими литературными и другими знаменитостями…»

Посещение России известным путешественником и литератором маркизом до Кюстином отозвалось неожиданным эхом по всей Европе. Изъездив Англию, Шотландию, Швейцарию, Испанию, Кюстин, страстный клерикал и консерватор в политике, запечатлел свои наблюдения в книгах. Его сочинение об Испании с похвалой отмечал Грановский. Друг Шатобриана, маркиз был постоянным посетителем литературного салона знаменитой Аделаиды Рекамье, где среди избранного общества он встречался и с приезжавшими из России А. И. Тургеневым, Вяземским, Гречем и другими. Так что, отправляясь в Россию в надежде найти там убедительные аргументы против представительных форм правления, Кюстин мог рассчитывать на самую разнообразную поддержку. Поручая знатного потомка старинного рода попечительству Вяземского, А. И. Тургенев просит его рекомендовать маркиза в Петербурге В. Ф. Одоевскому, а в Москве передать «Булгакову и Чаадаеву моим именем и Свербеевой для чести русской красоты».

В России у Кюстина были и более высокие покровители. Его принимал сам Николай I, выслушавший немало придворных комплиментов от учтивого маркиза. Когда же в 1843 году Кюстин выпустил в Париже книгу «Россия в 1839 году», царь, прочитав ее, не удержался от восклицания: «Моя вина, зачем я говорил с этим негодяем!» Не меньшее удивление выражал и Вяземский в письме к Тургеневу: «Хорош ваш Кюстин. Эта история походит на историю Геккерна с Дантесом».

Какие же впечатления, нашедшие отражение в его сочинении, запали в сознание французского путешественника? Прежде всего они касаются пребывания в придворном и светском обществе Петербурга, представители которого кажутся ему марионетками, рабски подражающими поверхностно усвоенным формам европейской жизни. Петербург представляется ему городом фасадов, где все подчинено почти военной дисциплине и безмерно покорно верховной власти. Кюстин отмечает не лишенное барской заносчивости подобострастие царедворцев, от которых неприятно пахнет мускусом.

Физиологическое раздражение маркиз испытывал и при

поездке в Нижний Новгород, когда в гостиницах его кусали клопы, а от простонародья исходил запах кислой капусты, лука и старой дубленой кожи. «Полудикий народ» производил на него впечатление «немой нации», которую лютый мороз и жуткий зной толкают на крайности необузданных страстей и рабской покорности, бунта и механического подчинения. Маркиза поражает глубокая грусть русских напевов, прорывающаяся даже в веселых песнях.

Подобно русской песне, озадачивает Кюстина и Москва, где множество церковных глав, острых шпилей и причудливых башен, блестящих на солнце, кажется ему «настоящей фантасмагорией среди бела дня». Многое для него в этом городе чуждо, «неправильно», «не похоже ни на что на свете».

Прогуливаясь в тени деревьев Английского клуба, маркиз ищет ответы на интересующие его вопросы в беседе «с образованным и независимым в суждениях человеком», который рассказывает ему о сектах в России, объясняет их существование отсутствием религиозного обучения; такие разногласия могут привести страну к гибели, ибо правительство не допускает идейных споров, а насильственные меры против сектаптов не помогают. Возможно, образованным и независимым в суждениях человеком являлся Чаадаев, которого Кюстин упоминает в своей книге, не называя его имени. Говоря о наказании автора философического письма, маркиз называет его мучеником во имя истины, который после трех лет унизительного лечения может наконец общаться в своем убежище с немногими друзьями. Но и поныне несчастный богослов продолжает сомневаться в собственном рассудке и, следуя императорскому диагнозу, признает себя сумасшедшим. Страх и даже жалость, пишет Кюстин, удержали его от посещения несчастного богослова, чье самолюбие было бы оскорблено любопытством иностранного путешественника.

Трудно установить, при каких обстоятельствах встречались (если встреча имела место) Адольф де Кюстин и Петр Яковлевич Чаадаев. Во всяком случае, последний просил свою двоюродную сестру, Е. Д. Щербатову, видавшуюся с маркизом, передать знатному гостю то, что, «ему следует знать». Если Петр Яковлевич имел при этом в виду «телескопскую» историю, то, читая книгу «Россия в 1839 году», ему пришлось немало удивляться ироническим преувеличениям ее автора в отношении сумасшествия несчастного богослова, как, впрочем, и общим умозаключениям. Можно предположить, что «басманный философ» каким-то образом познакомился еще и с первым, оставшимся незамеченным, вариантом книги. Находившаяся в

1843 году в Париже Е. Д. Щербатова сообщала ему о втором издании упомянутого сочинения, которое «вы уже давно читаете».

Тон книги Кюстина, быстро распространившейся в обеих русских столицах, несмотря на запрещение ввоза, вызывал возмущение русских читателей, отмечавших и ее достоинства. Сразу после ее выхода появились опровержения. В наиболее проницательных, обоснованных из них отмечалось незнание автором русской истории, культуры, языка, неправомерное отождествление придворного окружения с понятием «народ», ограниченность наблюдений автора, переходящих в глобальные метафорические обобщения. Тютчев сравнивал такой несерьезный подход к важным вопросам с критическим разбором водевиля и писал в статье «Россия и Германия»: «Истинный защитник России — это История; ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу».

С Тютчевым (об этом еще подробно будет сказано) Чаадаев хорошо был знаком и наверняка не раз обсуждал книгу Кюстина. Он примет также непосредственное участие в ее косвенном опровержении и критически учтет ее особенности в собственных размышлениях.

Сейчас же скажем несколько слов еще об одном путешественнике, уже упоминавшемся графе Адольфе де Сиркуре, который в первой половине 40-х годов приезжал в Москву вместе с женой, урожденной Анастасией Семеновной Хлюстиной, хорошо знавшей писателей-славянофилов и писавшей о русской литературе во французских журналах. Увлекшись Гоголем, она в одном из писем просила Чаадаева прислать ей «Тараса Бульбу». Граф интересовался судьбами православия и национальным своеобразием России, и Петр Яковлевич станет, пожалуй, основным его корреспондентом по этим вопросам.

А пока он внимательно выслушивает рассказы Сиркура о Шеллинге, который расспрашивал графа в Берлине о «басманном философе».

Дебют Шеллинга на кафедре Гегеля, когда, по рассказу очевидца, Фридриха Энгельса, в аудитории слышался смешанный гул немецкой, французской, английской, венгерской, польской, русской, новогреческой, турецкой речи, предвещал большой успех. Среди задорной молодежи и важных сановников в числе слушателей находились выдающиеся деятели самого разного рода и духа: Серен Кьеркегор, Михаил Бакунин, Фердинанд Лассаль, Владимир Одоевский, Якоб Бурхардт… Семестр закончился овациями и факельным шествием.

Многочисленные отзвуки берлинских лекций доходят и до

Петра Яковлевича. В конце весны 1842 года он поздравляет Шеллинга с успехом, называя гегелевскую систему «подслужливым царедворцем человеческого разума», льстящим всем его притязаниям и пристрастиям; рассказывает ему о приобщении жаждущей новых знаний русской молодежи «к этой готовой мудрости, разнообразные формулы которой являются для нетерпеливого неофита драгоценным преимуществом, избавляя его от трудностей размышления, и горделивые заметки которой так нравятся юношеским умам…». Чаадаев здесь имеет в виду и западников Бакунина, Белинского, Герцена, и славянофилов К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, пытавшихся одно время приложить диалектику Гегеля к русской истории. Он выражает надежду, что торжество над высокомерной философией, низвергнуть которую Шеллинг явился в Берлин, поможет и русским мыслителям в выборе правильного пути.

4

В первой половине 40-х годов иностранные гости Чаадаева существенно дополнят представительный круг его знакомств. Министры, сенаторы, почетные опекуны, директора департаментов, губернаторы, вице-губернаторы, жандармские начальники, генералы, цензоры, профессора, графы, князья находили удовольствие в общении с Чаадаевым. Проезжая через Москву, его относительно удаленным от центра города флигель посещал даже сам Л. Ф. Орлов, ставший после смерти Бенкендорфа начальником III отделения. «Старикам и молодым, — вспоминает Герцен в «Былом и думах», — было неловко с ним, не по себе; они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения. Что же заставляло их принимать его, звать и, еще больше, ездить к нему?.. Откуда же шло влияние, зачем в его небольшом, скромном кабинете… толпились по понедельникам «тузы» Английского клуба, патриции Тверского бульвара? Зачем модные дамы заглядывали в келью угрюмого мыслителя, зачем, генералы, не понимающие ничего штатского, считали себя обязанными явиться к старику, неловко прикинуться образованными людьми и хвастаться потом, перевирая какое-нибудь слово Чаадаева, сказанное на их же счет? Зачем я встречал у него дикого Американца Толстого и дикого генерал-адъютанта Шилова, уничтожавшего просвещение в Польше?..»

Объяснение своим вопросам Герцен находит и тщеславии важных гостей, приезжавших к Петру Яковлевичу и приглашавших его на свои рауты, а также в том, что мысль постепенно становилась мощной силой, признававшейся в умственной власти Чаадаева настолько, насколько уменьшалась административная власть Николая I. Об иных причинах можно судить по более позднему письму Чаадаева к брату, где он говорит о больших нравственных затратах, потребовавшихся для повторного завоевания положения в обществе после «телескопской» катастрофы. Важные гости не только удостоверяли власть «безумного» ротмистра, о которой говорит Герцен, в глазах окружающих, но и залечивали самолюбивую рану и его собственной душе.

Вяземский отмечал, что особенное удовольствие хозяину новобасманного флигеля доставляли визиты бывших товарищей и сослуживцев из Петербурга, вышедших, как говорится, в люди и способных своим присутствием внушать москвичам, что и он

имеет какое-то значение в высоких общественных сферах. Вяземский, некогда негодовавший в связи с публикацией первого философического письма, внутренне и внешне примирился, как и многие другие, с его автором, объективно оценивая его достоинства и прощая слабости.

Однако не только суетиость и слабодушие, желание чувствовать себя социально значимой и почитаемой личностью обусловили своеобразие отношений Чаадаева с выделяющимися на общем фоне людьми, занимавшими когда-то вместе с ним гораздо более скромное общественное положение. Так, его товарищ по университетской скамье Л. А. Перовский стал министром внутренних дел. С. Г. Строганов, с которым он служил в лейб-гвардии Гусарском полку и с которым объяснялся по поводу «телескопской» публикации, исполнял обязанности попечителя Московского учебного округа, В. Л. Олсуфьев, с кем он часто обедал в петербургском ресторане Фельета, играл в свайку в офицерской компании и слушал в гостинице Демута стихи только что окончившего лицей Пушкина, занимал пост гофмейстера двора цесаревича. Особенно же должна была впечатлять Петра Яковлевича карьера Н. А. Протасова, который в давние времена был самым младшим адъютантом (вслед за Чаадаевым) у И. В. Васильчикова, а затем принимал участие в турецкой войне и подавлении польского восстания, получал чины и ордена, быстро став товарищем министра народного просвещения, а вскоре — и обер-прокурором Синода. Он пользовался неизменным доверием и безусловным расположением Николая I, и, возможно, благодаря его участию в комиссии по делу напечатания первого философического письма наказание Чаадаева оказалось столь неопределенным.

Сложная натура Петра Яковлевича заставляла его невольно подчеркивать в той или иной форме свое превосходство над высокопоставленными знакомцами. Его простодушно-колкие замечания нередко чередовались со справедливо-едкой иронией, выразительные примеры которой приводит Герцен: «Чаадаев часто бывал в Английском клубе. Раз как-то морской министр Меншиков подошел к нему со словами:

— Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете?

— Ах, это вы! — отвечал Чаадаев. — Действительно, не узнал. Да и что у вас черный воротник, прежде, кажется, был красный?

— Да, разве вы на знаете, что я морской министр?

— Вы? Да я думаю, вы никогда шлюпкой не управляли.

— Не черти горшки обжигают, — отвечал несколько недовольный Меншиков.

— Да разве на этом основании, — заключил Чаадаев.

Какой-то сенатор сильно жаловался на то, что очень занят.

— Чем же? — спросил Чаадаев.

— Помилуйте, одно чтение записок, дел, — и сенатор показал аршин от полу.

— Да ведь вы их не читаете.

— Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать свое мнение.

— Вот в этом я уж никакой надобности не вижу, — заметил Чаадаев».

Петр Яковлевич часто посещал большой дом Соймоновых на Малой Дмитровке, отличавшийся старинным московским радушием. Здесь в гостиной собирались ученые, литераторы, европейские артисты с рекомендательными письмами, путешественники. Живой и веселый хозяин дома, до семидесяти лет каждый день ездивший верхом по улицам, своими манерами напоминал маркиза XVIII века. На вечерах у Соймоновых, как, впрочем, и в других домах древней столицы, Чаадаеву нередко приходилось сталкиваться с Вигелем, что доставляло ему немало тревожных минут.

Как известно, Петр Яковлевич уже много лет являлся лакомым кусочком для колкой иронии Филиппа Филипповича. С начала же 40-х годов, когда Вигель стал постоянно жить в Москве, желчная натура особенно не давала ему покоя при виде «басманного философа».

Утешение язвительности Вигеля доставляли записки, которые он вел много лет и которые жадно читались и переписывались современниками. Он и сам любил знакомить с отрывками из них слушателей в петербургских и московских салонах, поражавшихся остроумию, наблюдательности, злоречию и безыскусственности автора.

Самолюбие невольно заставляло Вигеля видеть в Чаадаеве своеобразного соперника. Величая Петра Яковлевича «плешивым лжепророком», он старался уверить своих знакомых, что влияние его прозелитизма не распространяется далее двух-трех кружков. «Но никто не подозревает, — писал он Хомякову, — тлеющего во тьме в углу старой Басманной сенсимонизма: когда случится назвать Московского Анфантеня, все спрашивают: кто бишь это такой?» Насмешки над ученостью и претензиями «Московского Анфантеня» были рассыпаны и на страницах записок Филиппа Филипповича, о чем Петр Яковлевич, несомненно, знал, но старался никак не реагировать на них при неизбежных встречах. «Но всего любопытнее, — замечает в своих неопубликованных воспоминаниях известный литератор М. А. Дмитриев, — было

видеть его (Вигеля. — *Б. Т.*) вместе с Чаадаевым… Оба они хотели первенства. Но Чаадаев не показывал явно своего притязания на главенство, а Вигель дулся и томился, боясь беспрестанно второго места в мнении общества: он страдал и не мог скрыть своего страдания».

Столкнуть «басманного философа» с «первого места» Вигелю так и не удавалось. Петр Яковлевич же вникает во все маломальски заметные события московской жизни, к участию в которых относится с ревностным интересом. Так, прибытие в древнюю столицу Ф. И. Тютчева вскоре после его возвращения в Россию с дипломатической службы пробудило в нем своеобразное любопытное недовольство. Отвечая на вопросы И. Д. Якушкина о братьях Чаадаевых, Н. Н. Шереметева пишет: «Слышу, здоров, по обыкновению самолюбив. Настя мне сказывала, что он был у нас и с удивлением говорил, как это Тютчев Федор с неделю в Москве, и до сих пор у меня не был».

5

По видимости утопая в мелочах, Чаадаев не только продолжает духовные поиски разрешения все новых и новых вопросов, но и включается в их активное общественное обсуждение. Получая сведения о положении христианства в Китае, о содержании циркуляров константинопольского патриарха, он обсуждает конфессиональные вопросы с митрополитом Филаретом и с посещавшим его обер-прокурором Синода Протасовым, которого называет «мой дорогой и достойный ученик». Филарет в свое время осторожно осудил «телескопскую» публикацию, сейчас же относится к ее автору с гораздо большей благосклонностью. «Их первое свидание, — пишет М. И. Жихарев, вероятно, со слов Петра Яковлевича, — в очень морозный день в шесть часов вечера было эффектно-театрально. Любезностями друг другу они не скупились и, друг друга взапуски похваливая, до того увлеклись, что spontanément[30] друг другу объявили будто день, в который они встретились, для обоих на веки вечные останется памятным. Разговор про римскую церковь совсем был устранен, а больше вращался вокруг протестантизма, над которым оба собеседника с тонкою и лукавою мудростью посмеивались. Чаадаев воротился от митрополита в восхищении, а вскоре затем начал переводить его французскую проповедь, сказанную при освящении церкви при московском остроге. Этим митрополит опять был очень доволен и про такое его занятие с удовольствием благодушно сообщал различным лицам, которые до того Чаадаева терпеть не могли, но теперь, видя его на таком душеспасительном пути, ему многое прощали и даже пожелали с ним войти в общение».

В присутствии священнослужителей, входивших в состав тюремного комитета, а также московских градоначальников, почетных особ и множества других лиц обоего пола, среди которых мог находиться и Петр Яковлевич, митрополит Филарет произнес в конце 1843 года «Слово по освящении храма Пресвятыя Богородицы Взыскательницы Погибших, устроенного при замке пересыльных арестантов».

Проповедь митрополита получила широкое распространение в обществе. Чаадаев перевел ее и отправил и Париж, где с помощью А. И. Тургенева и Сиркура она была напечатана в журнале «Сеятель».

«Басманный философ» наверняка присутствовал на открытии храма при пересыльном остроге и не мог по заметить там «святого доктора», так его называли одни москвичи, или

«утрированного филантропа», как именовали другие. Речь идет об обрусевшем немце Федоре Петровиче Гаазе, который, получив профессию врача, еще в начале века перебрался в Россию, прошел всю Отечественную войну до самого Парижа, а затем долгие годы служил главным тюремным врачом в Москве. Сострадая всем сердцем горю и несчастью ближних, он лечил бедных бесплатно и, невзирая на преклонные лета, ездил их навещать по чердакам и подвалам. Благодаря его усилиям открылась Полицейская, или, как ее называли, «Гаазовская», больница для бесприютных. Страждущие стекались в нее отовсюду, поскольку у Гааза, по народному убеждению, не было отказа. Он осматривал лично все партии ссыльных, проходящих через Москву, устроил для их детей школу при тюрьме, добился замены тяжелых, мучительных кандалов более легкими, обшитыми изнутри кожей или сукном. Гааз заботился об арестантах, как о родных детях, и снабжал уходящих по этапу съестными припасами, деньгами, одеждой, составленной им азбукой христианского благочестия. Когда в 1853 году приблизился час кончины, он разрешил допускать к нему всех, кто пожелает с ним проститься. Он скончался спокойно, в присутствии бедного, нуждающегося люда, которому посвятил свою многотрудную деятельность. Вся Москва хоронила «святого доктора», сделавшего девизом своего поприща слова «Спешите делать добро». В его завещании упомянуто и имя Чаадаева, с которым он нередко сталкивался в московских салонах.

Так, в неопубликованных воспоминаниях сын Д. Н. Свербеева рассказывает о горячих религиозно-философских и культурно-исторических спорах в их доме Гоголя, братьев Киреевских, Аксаковых, Языковых, В. Ф. Одоевского, Чаадаева, Грановского, Герцена, С. М. Соловьева, Мельгунова и других. Шумные дебаты прерывались появлением Гааза, приезжавшего на забавной пролетке-шторе с белой старой клячей и с кучером в потертом армяке. Как только он показывался, дети бросались к нему, чтобы передать подарки сыновьям и дочерям осужденных в пересыльной тюрьме.

Федор Петрович и Петр Яковлевич, чисто внешне выделяясь среди окружающих, казались разными людьми. Как отмечает сын Свербеева, «прекрасная элегантная фигура» Чаадаева, ведущего в их доме тонкий разговор на изысканном французском языке, контрастировала с несколько нелепой оригинальностью фигуры Гааза. «Святой доктор» в черном фраке с белым галстуком и жабо, в коротких панталонах до колен, шелковых чулках и башмаках со стальными пряжками казался нотариусом XVIII века. Оба должны были чувствовать существенное различие и противоречие между

теоретическим и конкретным добром. Однако они не могли не ценить друг в друге благородство натуры, чистоту помыслов и возвышенность устремлений. Сближал их и интерес к философии, почтительное отношение к Шеллингу, с которым Гааз также переписывался. Именно Петру Яковлевичу и числе других лиц Федор Петрович завещал напечатать, считая разбираемые вопросы полезными для своих современников, его рукопись «Проблемы Сократа» — «принять в сем дело христианское участие и стараться совершить эти размышления так, как следует».

Понимая огромную преображающую силу жертвенного милосердия как на окружающих, так и на собственное сознание, Чаадаев старается делом участвовать в осуществлении идеи «высшего синтеза». Жена Ф. Н. Глинки Авдотья Павловна задумала оказать помощь 90 бедным семьям, проживавшим, как и Чаадаев, на Новой Басманной. С этой целью составился проект «Общества доброхотной копейки для бедных», горячо поддержанный и Гаазом. «Петр Яковлевич ходил к нам часто, полюбил этот проект и перевел его на французский язык с целью сообщить иностранной прессе», — комментировал Глинка посылаемый Вяземскому в Петербург перевод, которым, видимо, и ограничилось участие Чаадаева. Да и само «Общество», кажется, не сладилось.

6

В последние 10–15 лет жизни продолжало изменяться и мирочувствие Чаадаева, его взгляды, чему в немалой степени способствовало вращение во всех умственных кружках древней столицы, знакомство с новыми общественно-литературными тенденциями. Он — свой человек в маленьком доме на Садовой, по соседству с Сухаревой башней, окна которого в летнее время совсем закрыты от взглядов прохожих кустами и деревьями. В гостиной дома с изящной мебелью и цветами можно было увидеть черные фраки, белые галстуки, военные мундиры, открытые платья. Около дивана, где сидела хозяйка, кто-нибудь читал нашумевшую газетную статью или стихи. Кто-то листал разложенные на красивом инкрустированном столике журналы, альманахи и брошюры. Когда гостиная все более наполнялась гостями, хозяин, Федор Николаевич Глинка, предлагал мужчинами пройти в кабинет, где начиналась долгие разговоры и разгорались жаркие споры, но где не было, как в иных салонах, ни сигар, ни трубок.

Поэт Федор Глинка, герой битвы при Аустерлице, Бородинского сражения и заграничных походов 1813–1814 годов, один из первых учредителей декабристских обществ, вернувшись в 1835 году из ссылки в Олонецкую губернию после восстания на Сенатской площади, жил в Москве. Он был уже автором популярных песен «Вот мчится тройка удалая» и «Не слышно шуму городского», написал «Письма русского офицера», а в 1839 году издал «Очерки Бородинского сражения», вызвавшие известную статью Белинского, где выразилось так называемое примирение критика с действительностью, утверждался монархический принцип как стихия русской народности. Поэт разделял славянофильские воззрения, теснее сближался с профессорами Московского университета Погодиным и Шевыревым, издававшими с 1841 года журнал «Москвитянин».

Среди новых друзей Глинки оказался и Чаадаев, о котором через несколько лет после его смерти Федор Николаевич писал М. И. Жихареву, благодаря за присланную фотографию кабинета «незабвенного и часто поминаемого Петра Яковлевича»: «У меня портрет Петра Яковлевича, им же подаренный, стоит в красном углу, а под портретом (для не знавших его) вместе с его аутографом помещены стишки, с которых копию Вам посылаю». Речь идет об уже цитированном стихотворении «Одетый праздником, с осанкой важной, смелой…», где есть и такие строки:

Но пил и он из чаши жизни муку
И выпил Горе от Ума!..

Размышляя о накоплении неразрешимых противоречий в «чаше бытия», которые все труднее выразить в слове и донести до сознания окружающих, Чаадаев и Глинка не могли не сравнивать теперешнее время пустосложных забот и устремлений с военными годами простых тревог и открытых чувств.

Конечно же, Петр Яковлевич и Федор Николаевич в беседах не раз вспомнили и годы либеральной молодости, и ссыльных друзей-декабристов, связующая нить с которыми почти оборвалась.

Несомненно, что большая часть времени при встречах философа и поэта посвящалась текущим проблемам и интересам, о чем свидетельствует их неопубликованная переписка. Чаадаев с испытующим вниманием относится к стихотворениям Глинки, где используются библейские образы и сюжеты, и, не довольствуясь их слушанием на литературных вечерах, просит взять для прочтения.

Среди текущих интересов и проблем, занимавших и мыслителя и писателя, немалое место уделялось вопросам, связанным с выходом нового журнала «Москвитянин». Идейным противником нового издания стали петербургские «Отечественные записки», где главной фигурой выступил переехавший в 1839 году в северную столицу Белинский, который не без влияния Герцена переиначил свое понимание гегелевской философии, осудил примирение с «гнусной действительностью» и перешел к пониманию диалектики как «алгебры революции». Материалистические и атеистические воззрения темпераментного критика во многом обусловливали его упование на настоящие и будущие плоды западного просвещения в России и деле совершенствования как отдельной личности, так и всего человечества. Подобные воззрении и упования во многом предопределили либерально-прогрессистское направление «Отечественных записок», которому издатели «Москвитянина» пытались противопоставить христианскую философию, углубленное изучение национального прошлого и на этой основе отстаивать возможность самобытпого развития русского будущего.

1 января 1841 года вышла первая книжка нового журнала, открывавшаяся исследованном Погодина «Петр Великий», известным стихотворением Федора Глинки «Москва» и программной статьей Шевырева «Взгляд русского на образование

Европы».

Возможно, в доме Глинки, как, впрочем, и в других домах, где бывали издатели «Москвитянина», Чаадаев обсуждал с ними исторические и литературные вопросы, и их отношения становились постепенно более тесными. «Они люди добрые и честные, — пишет Петр Яковлевич А. И. Тургеневу, пожелавшему сотрудничать в новом журнале. — Шевырев особенно совершенно благородный человек. То же можно сказать о Погодине».

Чаадаев благодарит последнего за подаренный билет на «Москвитянина», обещает ему попросить у Вельтмана черновые бумаги Ломоносова. Шевырев добивается у Петра Яковлевича разрешения опубликовать какие-то документы, на что получает благоприятный ответ. «Наконец П. Я. Чаадаев разрешил печатание очень любезною запискою», — получает Погодин сообщение своего соратника.

Внешнее участие Чаадаева в составлении журнала дополняется, если можио так выразиться, его косвенным присутствием в самих материалах. Так, не без ориентации на структуру размышлений в первом философическом письме упомянутая программная статья Шевырева начиналась следующими словами: «Запад и Россия, Россия и Запад — вот результат, вытекающий из всего предыдущего, вот последнее слово истории, вот два данные для будущего». Внутренне полемизируя с автором «телескопской» публикации, Шевырев указывает на симптомы разложении в западных странах: падение христианской веры в народе, отрыв философии от религии, анархии в обществе, издержки личной свободы, эгоизм, политиканство и т. д. и т. п. Россия же сохранила национальные начала, не создающие почвы для разрушительных принципов. «Тремя коренными чувствами крепка наша Русь и верно ее будущее…. древнее чувство религиозное, чувство ее государственного единства и сознание своей народности».

Познакомившись с логикой рассуждений Шевырева, Белинский писал в седьмом номере «Отечественных записок» за 1841 год: «Как можно писать и печатать подобные вещи в 1841 году от Р. Х.?.. Да ведь это хула на науку, на искусство, на все живое; человеческое, на самый прогресс человечества!!.» Чаадаев, как известно, крайне отрицательно воспринимал идею самопроизвольного и самодостаточного прогресса, не выдерживающую, с его точки зрения, разумной критики. Ему ближе было религиозное направление «Москвитянина», воздействовавшее на изменение его сознания, по одновременно и не укладывавшееся в логику «одной мысли», «высшего синтеза». Эта двойственность и окончательная непроясненность взглядов

Чаадаева в отношении к славянофильству и западничеству, равно как и к выразителям иных тенденций в общественных устремлениях, будет существенно влиять на драматическое напряжение его последующей жизни, нередко разрешающееся едкой иронией. И чем сильнее становилась насмешка над слабостями тех или иных лиц и явлений, тем менее отчетливо формулировалась собственная положительная позиция.

Впрочем, к иронии Петра Яковлевича многие, относились дружелюбно. Например, среди жителей древней столицы ходила его острота: «В Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью». Федор Глинка, конечно, знал эту шутку и поэтически возражал частому гостю своих литературных вечеров в «Москвитянине».

…Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто сорвет златую шапку
У Ивана-звонаря?..

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы-кто, гордец, не снимет
У святых Кремля ворот?!

Ты не гнула кроткой выи
В бедовой своей судьбе;
Разве пасынки России
Не поклонятся тебе!..

Характерное для ряда славянофилов противопоставление Москвы как исконной русской столицы Петербургу как воплощению западной цивилизации раздражало Чаадаева, и он познакомил Глинку с иной картиной любимого города, сделанной поэтессой Е. П. Растопчиной.

О! Как пуста, о! как мертва
Первопрестольная Москва!
Ее напрасно украшают,
Ее напрасно наряжают…
С домов боярских герб старинный
Пропал, исчез… и с каждым днем

Расчетливым покупщиком
В слепом неведеньи невинно
Стираются следы веков,
Следы событий позабытых,
Следы вельможей знаменитых.
Обычай, нравы, дух отцов,
Все изменилось!.. Просвещенье
И подражанье новизне
Уж водворили пресыщенье
На православной стороне…

Отдельные недоразумения и идейные расхождения не нарушали достаточно ровных отношений Чаадаева с Погодиным и Шевыревым, с которыми он встречался и в салоне Павловых, куда наведывался чаще, чем к Глинке. Еще в 1835 году Николай Филиппович Павлов опубликовал повести «Именины», «Аукцион», «Ятаган», получившие широкое признание и высокую оценку Пушкина, Гоголя, Белинского. Не остались они не замеченными и Петром Яковлевичем. Ему особенно понравилась первая повесть, которую он называл несомненным событием в русской литературе.

В конце тридцатых — начале сороковых годов салон супругов Павловых в большом доме на Рождественском бульваре широко открывает свои двери для всех литературных и профессорских партий и мнений. (Не минуют гостеприимных хозяев ученые иностранные гости, посещающие Россию.) У них собирались, вспоминает Б. Н. Чичерин, многочисленные представители славянофилов и западников и «до глубокой ночи происходили оживленные споры: Редкин с Шевыревым, Кавелин с Аксаковым, Герцен и Крюков с Хомяковым. Здесь появлялись Киреевские и молодой еще тогда Юрий Самарин. Постоянным гостем был Чаадаев с его голою, как рука, головою, с его неукоризненно светскими манерами, с его образованным и оригинальным умом и вечною позою. Это было самое блестящее литературное время Москвы. Все вопросы, и философские, и исторические, и политические, все, что занимало высшие современные умы, обсуждалось на этих собраниях, где соперники являлись во всеоружии, с противоположными взглядами, но с запасом знания и обаянием красноречия».

По словам мемуариста И. А. Арсеньева, оставшимся без подтверждающих примеров, Павлов являлся единственным достойным оппонентом «басманного философа», постоянно разбивал все его доводы и заставлял присутствовавших

соглашаться со своим мнением. Мемуарист приводит и любопытную деталь, раскрывающую за привычным внешним хладнокровием темперамент Петра Яковлевича. Чаадаев в диалектических дуэлях постоянно кусал себе губы, и они иной раз распухали до того, что ему приходилось обращаться к доктору.

Как и в тридцатые, в сороковых годах подобные дуэли разворачиваются и на Страстном бульваре в доме Е. А. Свербеевой, и у Красных ворот в доме А. П. Елагиной, где тоже собираются представители различных поколений и пристрастий. И на этих собраниях Чаадаев по-прежнему находится в центре оживленных споров. Ф. И. Буслаев, впоследствии известный ученый-филолог, вспоминал о своем посещении Свербеевых, где с любопытством вслушивался и всматривался в происходившее вокруг. «У глухой стены против двери на диване с двумя или тремя дамами сидела молодая и красивая хозяйка и курила сигару — папиросы тогда еще не вошли в общее употребление. Ее муж переходил из одной комнаты в другую, занимая одиноких гостей или прислушиваясь к беседам говорящих между собой. Против хозяйки от двери в заднем углу у стены был тоже диван; на диване сидят рядышком Чаадаев с Хомяковым и горячо о чем-то между собою рассуждают; первый в спокойной позе, а другой вертится из стороны в сторону и дополняет свою скороговорку жестами обеих рук. Для Алексея Степановича Хомякова разговаривать значило вести диспут. В этом деле он был неукротимый боец…» Молодой гость с интересом наблюдал за престарелым А. И. Тургеневым, который, наклонив голову и сложив руки за спиною, медленно шагал по комнате и периодически останавливался возле говорящих. «Легкий гул оживленной беседы время от времени покрывался зычным возгласом К. С. Аксакова, который пылко ораторствовал в соседней комнате». Буслаева заинтересовал также господин в синем фраке с позолоченными пуговицами, расположившийся в кресле возле дивана с дамами и лишь изредка отвечающий на вопросы хозяйки. Оказалось, что это А. И. Герцен, недавно вернувшийся из вятской ссылки.

Появившись снова в Москве, Александр Иванович нашел, по его собственным словам, множество самых непонятных партий. «Партия католиков всех дальше в нелепости… ибо католицизм имел торжественный момент развития и столь же торжественный момент признания дряхлости, бессилия:., каково же в наш век сделаться католиком par affinité élective[31], сделаться иезуитским пропагандистом! Жаль откровенность, с которой бросаются в эти мертвые путы. Таков князь Гагарин, он считает Чаадаева

отсталым… Таланты Чаадаева делают его более ответственным. Vice versa[32]. Партия православных, Киреевский en tête[33], а потом и Шевырев — дилетанты религии, и славянофилы, и русофилы, и Аксаков — полугегельянец и полуправославный. Они перед католиками имеют важный шаг вперед тем, что они родились в православии, связаны воспитанием, народными воспоминаниями etc.».

В сороковых годах, пишет Герцен, в Москве наблюдалось небывалое оживление умственных интересов, когда философские и литературные проблемы становились вопросами жизни и обсуждались при всякой встрече в присутствии многолюдного общества. Появление примечательной книги вызывало критику и антикритику, читаемую и комментируемую даже некомпетентными барами и барынями. На обсуждения съезжались «охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого…». Жизнь плетется потихоньку, писал Хомяков А. В. Веневитинову в 1842 году, «одни споры идут шибкою рысью».

В этих спорах поначалу высказывались и перемешивались всевозможные оттенки самых разных религиозных, философских, социальных, исторических и литературных мнений. Однако постепенно они поляризовались и выстраивались в твердые убеждения так называемых западников и славянофилов, чьи идейные столкновения и противоречия определили содержание русской общественной мысли сороковых годов. И те и другие, замечал Ю. Ф. Самарин, не соглашались почти ни в чем, но жили до поры до времени дружно, почти ежедневно сходились и составляли как бы одно общество — оба крыла «нуждались один в другом и притягивались взаимным сочувствием, основанным на единстве умственных интересов и на глубоком обоюдном уважении».

Обоюдное уважение западников и славянофилов обусловливалось высотой их нравственных запросов, личным благородством, стремлением к улучшению человеческих отношений. Единство же интересов составляли вопросы перспектив культуры и цивилизации, судьбы человека вообще в свете исторического своеобразия Европы и России. Однако сами же эти интересы предопределили коренное различие в подходах и оценках. Чаадаев в подобных расхождениях занимает особое и трудноуловимое место: оказав в известной степени катализирующее и системообразующее воздействие и на славянофилов, и на западников, он вместе с тем сам испытывал влияние первых, не переставая разделять идеи вторых. Те и

другие, в свою очередь, ценили его и находили в его воззрениях нечто для укрепления собственных убеждений.

7

Когда весной 1840 года Герцен вернулся в Москву, он не замедлил посетить Петра Яковлевича, о чем сообщал М. Н. Похвисневу, впоследствии сенатору, директору департамента полиции и начальнику главного управления по делам печати, а тогда молодому человеку, интересовавшемуся философическими и литературными вопросами: «Был я у Чаадаева, конечно, индивидуальность этого человека — à plus d'un sens[34] любопытна». Но вполне удовлетворить свое любопытство Александр Иванович смог только через полтора года, когда после пребывания в Петербурге и Новгороде вновь появился в древней столице.

Петр Яковлевич рассказал ему о недавней кончине М. Ф. Орлова. Москвичи, даже не знавшие опального генерала, выказали участие к больному. Множество людей присутствовало на отпевании и похоронах. Чаадаев составил текст эпитафии, где говорилось о заметном участии покойного «в достославном увенчании всенародной войны против Франции… Друзья любили его добрую душу!». Он поведал также своему молодому приятелю, что полиция опечатала бумаги покойного генерала и отправила их в Петербург. Неладно получилось и с некрологом для «Московских ведомостей», написанным Шевыревым и переданным на одобрение Петру Яковлевичу. Последний назвал его умной и благородной статьей, за которую должны сказать спасибо все друзья и близкие Орлова. Однако цензор обругал почившего каторжным и не пропустил статьи.

Рассказав о последних событиях и общей умственной атмосфере московской жизни, Чаадаев внимательно прислушивался к рассуждениям Герцена об увлечении петербуржцев эмансипаторскими романами Жорж Санд, экономическими и политическими идеями и утопиями Оуэна, Прудона, Конта, Кабе. Несомненно, заинтересовало его столкновение между магистром университета Я. М. Неверовым и Белинским, описанное позднее на страницах «Былого и дум». На одной из литературных вечеринок магистр, укорив поэта А. В. Кольцова за то, что тот перестал носить народный костюм, завел речь о первом философическом письме и характеризовал его напечатание как гнусный, вызывающий презрение поступок. Герцен стал возражать, что подобные эпитеты неприложимы к человеку, смело выразившему свое мнение и пострадавшему за него. «Вдруг мою речь подкосил Белинский. Он вскочил с своего дивана, подошел ко мне уже бледный, как полотно, и, ударив

меня по плечу, сказал:

— Вот они, высказались — инквизиторы, цензоры — на веревочке мысль водить… и пошел и пошел.

С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями.

— Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить, речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?

— В образованных странах, — сказал с неподражаемым самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит… и прекрасно делают.

Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза…»

Об изменении взглядов Белинского Чаадаеву говорил и Кольцов, сообщавший в начале 1841 года критику в Петербург о своем посещении «басманного философа». Но, конечно, вряд ли кто лучше Герцена мог рассказать о том, как «неистовый Виссарион» обрушился со всей страстью «гладиаторской натуры» на «индийский покой созерцания и изучения вместо борьбы» в своих прежних воззрениях. В эпизоде, описанном в «Былом и думах», как бы представлены в едином сплаве духовно-психологические и идейно-мировоззренческие особенности новых убеждений критика. Белинский считал личный и общечеловеческий разум двигателем, а степень образования критерием социального прогресса. Поэтому в спорах со славянофилами критик «зрячие» и «более образованные» страны противопоставлял «лапотной и сермяжной действительности» в «слепой» России, которой необходимо усвоить последние достижения европейской мысли, науки и цивилизации, чтобы включиться в мировую борьбу за освобождение личности от исторических предрассудков и установление на земле справедливого социального строя. Подобная борьба не может обойтись и без гильотины, имеющейся в «еще более образованных странах», ибо трудно представить, что принципиальные перемены

могут сделаться «само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови». Так в сороковых годах осуществлялось, говоря словами Герцена, «выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы» Белинского.

Чаадаеву все время слышалось что-то знакомое в рассуждениях критика о европейской культуре как мощном факторе в поступательном движении к всечеловеческому братству. Однако ни гильотина на этом пути, ни замена его весомого объяснения непонятным устремлением людей к какому-то абстрактному новому будущему, без чего, по словам Белинского, «не было бы прогресса, истории, жизни», не могли удовлетворить Петра Яковлевича.

Как не мог не возражать он самому Герцену, которого безуспешно пытался склонить к религиозному обоснованию общественной эволюции. В духовном развитии Александра Ивановича происходил обратный процесс отказа, говоря его собственными словами, от «содомизма религии и философии» и перехода к «реализму», который его идейный противник Хомяков называл «свирепейшей имманенцией». Преодолению сенсимонистских мечтаний способствовало и чтение «Сущности христианства» Фейербаха, и серьезное изучение Гегеля. В результате Герцен отверг диалектику как средство «гонять сквозь строй категорий всякую всячину» и как логическую гимнастику в оправдании наличного бытия и воспринимал ее как «алгебру революции», не оставляющую «камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя».

Герцен считал также, что необходимо сражаться с «буддизмом» в науке, «одействотворять» знание и усовершенствовать на его основе текущую жизнь. Таково, по его мнению, направление истории в борьбе «консервативности» старого мира религиозных призраков и социального неравенства с «вечным движением и обновлением».

«Реализм» Герцена заставлял его не только, скажем, выступать против крепостного права или обосновывать правомерность революционных действий в России, но и порою связывать социальные и нравственные преобразования с физиологическими законами. А отсюда выводы о прогрессе, случалось, сводились к тому, что «человек равно может найти «пантеистическое» наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слушая песни Шуберта и запах индейки с трюфелями». Подобные выводы создавали немалое драматическое напряжение в жизни Александра Ивановича. Однако, как писал П. В. Анненков, едкий анализ критического и обличительного ума Герцена, переходившего «с неистощимым

остроумием, блеском и непонятной быстротой от предмета к предмету», умолкал перед нравственными побуждениями и благородными помыслами.

Такие побуждения и помыслы и привлекали его в личности Петра Яковлевича. «Всякий раз, как я вижу Чаадаева, например, — отмечает он, — я содрогаюсь. Какая благородная, чистая личность, и что же — в этой жизни тяжелая атмосфера северная сгибает в ничтожную жизнь маленьких прений, пустой траты себя словами о ненужном, ложной заменой истинного слова и дела». Автор «Былого и дум» вспоминал, что, несмотря на странности и слабости, озлобленность и избалованность «басманного философа», он его «всегда любил и уважал и был любим им». Но мнимое снятие Чаадаевым всех противоречий «своим высшим единством, своей вечной фата морганой, своим urbi et orbi[35]» никак не удовлетворяло Герцена, записавшего в дневнике: «Спор с Чаадаевым о католицизме и современности: при всем большом уме, при всей начитанности и ловкости в изложении и развитии своей мысли он ужасно отстал… это голос из гроба, — голос из страны смерти и уничтожения. Нам страшен этот голос. Истинного оправдания нет им, что они не понимают живого голоса современности».

Друг Герцена, Огарев, когда-то прочивший «басманного философа» на важное место в несостоявшемся журнале, теперь скучает на его журфиксах. А их общий приятель Грановский находит Чаадаева не только «отсталым», но и «погибшим». В одном из писем он, говоря о своем знакомстве с Петром Яковлевичем вскоре после своего приезда в Москву, замечает, что тот «мог бы быть по уму замечательным человеком, но его погубило самолюбие, доходящее до смешных крайностей».

Тимофей Николаевич Грановский после обучения в Петербургском и Берлинском университетах с 1839 года преподавал всеобщую историю в Московском университете. Эта история, нередко сужавшаяся в его изложении до европейской, истолковывалась молодым профессором как закономерное развитие абсолютного духа к царству свободы, правды и справедливости. Рассуждая об этапах раскрытия абсолютного духа, он говорил: «Свобода, равенство и братство — таков лозунг, который французская революция написала на своем знамени. Достигнуть этого нелегко. После долгой борьбы французы получили наконец свободу; теперь они стремятся к равенству, а когда упрочатся свобода и равенство, явится и братство. Таков высший идеал человечества». Как Белинский и Герцен, Грановский интересовался социалистическими идеями, ратовал за распространение западных начал в России с целью

приближения искомого идеала, но в отличие от них разрешал неизбежно возникавшие проблемы не «реалистически», а «поэтически».

Философская позиция Грановского не должна была удовлетворять Чаадаева с противоположной стороны — из-за недостаточной «поэтичности». Деистический пантеизм, растворявший личного бога и устранявший верховную волю в истории, не согласовывался с умонастроением и логикой Чаадаева. Тем не менее, когда речь заходила о Герцене или Грановском, Петр Яковлевич, желавший иметь последователей и любивший поражать слушателей неожиданными сравнениями, называл их иной раз, возможно иронически, своими учениками, что было верным лишь отчасти.

Д. Н. Свербеев замечал, что многие второстепенные мысли Петра Яковлевича принимались с сочувствием «всеми поборниками западной гражданственности». То есть «одна мысль» Чаадаева расщеплялась, и выделялось скептическое отношение к прошлому и настоящему России. Одновременно подчеркивалась необходимость заимствовать европейские достижения для ее лучшего будущего, но — в отрыве от религиозной основы и без учета духовных изменений автора «Философических писем».

«Отсталый» и «погибший» Петр Яковлевич, конечно, видел сужение собственных мыслей у «учеников», замечал присущую и трезвому знанию «поэтичность», выражавшуюся в замкнутости близлежащими проблемами, в преобладании обличительства и отвлеченных социологических формул над конкретным показом и рассмотрением положительных начал. Проповедь прогрессивного исторического развития с помощью европейского просвещения и науки ограничивалась в своих выводах абстрактным гуманизмом и освобождением человека от всех сковывающих его доселе пут. Однако, как и у декабристов, оставался открытым вопрос о качестве духовных ценностей раскрепощенной личности, ее способности отклонить полученную свободу от естественного эгоистического русла. Западники, писал П. В. Анненков, занимались «исследованиями текущих вопросов, критикой и разбором современных явлений и не отваживались на составление чего-либо похожего на идеал гражданского существования при тех материалах, какие им давала русская и европейская жизнь».

Позднее Герцен признавался: «Наша европейская западническая партия тогда только получит место и значение общественной силы, когда овладеет темами и вопросами, пущенными в обращение славянофилами». Отсутствие внимания к органическим фактам русского прошлого, упущение которых

способно привести к искаженным формам их сочетания с иными духовными традициями и установлениями, заставляло и Петра Яковлевича называть западников «поверхностными умами, вылившимися в формы, свойственные чуждому миру».

Приглядываясь к «ученикам» и не разделяя всей совокупности их воззрений, Чаадаев с еще большим вниманием следил за деятельностью их идейных противников. Славянофилы, по словам Чернышевского, принадлежали к числу «образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе». И те и другие, писал Герцен, воодушевлялись горячей любовью к истине и к родине, но ум их видел разные стороны явлений. Со славянофилами Петр Яковлевич находился в гораздо более тесном, хотя не менее противоречивом общении, что объясняется, помимо взаимных симпатий, определенным сходством основных категорий, в которых протекала их мысль.

8

Острота и масштабность вопросов о призвании России и Европы требовали многостороннего изучения возникавших проблем и углубления национального самосознания. Призыв Чаадаева к всецелому копированию европейского пути способствовал ускорению кристаллизации славянофильских идей. «…Явление славянофильства, — замечал позднее Белинский, — есть факт замечательный до известной степени, как протест против безусловной подражательности и как свидетельство потребности русского общества в самостоятельном развитии».

Для опровержения необходимости безусловной подражательности и обоснования возможности самостоятельного развития следовало всесторонне показать, что не все на историческом пути России было плохо, а Европы — хорошо. Сразу после «телескопской» публикации в типографии «Московского наблюдателя» набиралось опровержение, принадлежавшее, возможно, перу виднейшего славянофила Хомякова, но так и оставшееся по известным причинам в верстке.

В один из вечеров у Авдотьи Павловны Елагиной Хомяков огласил положения своей статьи «О старом и новом», представляя мнение Чаадаева и не называя его имени: «Если ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то нам приходится все черпать из жизни других народов, из собственных теорий, из примеров и трудов племен просвещенных эпохи из стремлений современных». Но такова ли в действительности прежняя жизнь России? Да, рассуждал оратор, в ней есть много примеров неграмотности и взяток, вражды и междоусобиц. Но не меньше в ней и обратных примеров. В основании нашей истории, продолжал он свою мысль, нет пятен крови и завоевания, а в преданиях и традициях нет уроков несправедливости и насилия. «Эти-то лучшие инстинкты души русской, образованной и облагороженной христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы можем гордиться».

Вместе с тем Хомяков указывал в противоположность Чаадаеву историческую двусмысленность римской церкви. «Связанная с бытом житейским и языческим на Западе, она долго была темною и бессознательно-деятельною и сухо-практическою; потом, оторвавшись от Востока и стремясь пояснить себя, она обратилась к рационализму, утратила чистоту, заключила в себе ядовитое начало будущего падения, но овладела грубым человечеством, развила его силы вещественные и умственные и

создала мир прекрасный, соблазнительный, но обреченный на гибель, мир Католицизма и Реформатства».

Оратор призывал объективно разобраться в разных «плодах просвещения» и определить, нет ли в русском «старом» чего-либо такого, что утеряно в «новом» и что могло бы помочь сделать человеческие отношения более доброразумными. На его призыв откликнулся И. В. Киреевский, написавший статью «В ответ А. С. Хомякову», также ставшую программным документом славянофильства. Отношение прошлого России к ее настоящему, рассуждал он, составляет существенную часть сознания каждого мыслящего русского человека и входит во многие обстоятельства повседневного существования, слагающегося из «старых» национальных элементов и «новых» заимствований с Запада в эпоху Петра I. Вопрос, какой из них лучше и какой следует развивать предпочтительнее, неправильно поставлен, ибо и тот и другой органично присутствуют в действительности. «Не в том дело: который из двух? Но в том, какое оба они должны принять направление, чтобы действовать благодетельно?»

Чтобы определить это направление, замечал Киреевский, необходимо глубоко понять главные конфессиональные, духовные и народно-бытовые различия между Европой и Россией, обусловившие своеобразие их исторического развития. По его мнению, отличительные черты западного сознания и быта сформировались во взаимодействии католического христианства, мира необразованных варваров, разрушивших Римскую империю, и классического мира древнего язычества, который не учитывался Чаадаевым в качестве конструктивного при характеристике западной цивилизации, но, однако, накладывал на нее неизгладимый отпечаток. «Господство чисто христианского направления, — писал позднее Киреевский, — не могло совершенно изгладить из их (европейцев. — *Б. Т.*) ума особенность римской физиономии». И потому на Западе наблюдалось «взаимное прорастание образованности языческой и христианской», «сопроницание церковности и светскости». «Так искусственно устроив себе наружное единство, поставив над собою единую главу, соединившую власть духовную и светскую, церковь западная произвела раздвоение в своей духовной деятельности, в своих внутренних интересах и во внешних своих отношениях к миру».

Важнейшим результатом подобного сопроницания и раздвоения автор «В ответ А. С. Хомякову» считал господство рационализма над «внутренним духовным разумом». «В этом последнем торжестве формального разума над верою и преданием проницательный ум мог уже наперед видеть в

зародыше всю теперешнюю судьбу Европы как следствие вотще начатого начала…» Это начало, как он думал, объединило и последующие важные этапы европейского развития — все виды новой философии, искусства и литературы, материальное большинство парламентаризма, «индустриализм как пружину общественной жизни» и комфортабельные удобства как ее цель, систему воспитания, ускоряемую «силою возбуждаемой зависти», филантропию, основанную «на рассчитанном своекорыстии», и т. п.

«Самое торжество ума европейского, — писал Киреевский в другой своей работе, внутренне полемизируя с чаадаевской публикацией в «Телескопе» и с собственными положениями злополучной статьи в «Европейце», — обнаружило односторонность его коренных стремлений; потому что при всем богатстве, при всей, можно сказать, громадности частных открытий и успехов в науках общий вывод из всей совокупности знания представил только отрицательное значение для внутреннего сознания человека; потому что при всем блеске, при всех удобствах наружных усовершенствований жизни самая жизнь лишена была своего существенного смысла…» Нравственная апатия, скептицизм, ирония, недостаток высоких убеждений, всеобщий эгоизм, жизнь по расчету — такова оборотная сторона предательских обольщений и двусмысленных выгод рационального подхода к действительности.

Другими путями, переходил Киреевский к новому витку рассуждений, просвещалось сознание и создавалась культура в России, где восточное христианство не смешивалось с наследием этой древности и воздействовало на национальные начала. Отсюда особый тип образованности, направленной не на овладение внешним миром для — в итоге — увеличения и утончения материальных удобств наружной жизни, а на очищение сердца и добролюбящее устроение ума. Такая образованность незаметна, ибо не предполагает, по его мнению, блестящей игры автономной культуры в смене различных научных методов, художественных школ, философских систем, в борьбе сословных и частнособственнических интересов и т. д. Но она глубока, ибо предполагает духовное преображение человека, способного направить свои усилия не на украшение по видимости живых, а по сути скрыто-враждебных (и потому бессмысленных) экономико-юридических и рационально-политических отношений между людьми, а на подлинное единение с другими поверх писаных кодексов, теоретических программ, социальных барьеров, индивидуалистических пристрастий.

Киреевский, как видим, весьма и весьма далеко ушел теперь

от выраженного в «Девятнадцатом веке» и сходного с чаадаевским положительного понимания просвещения «как мысли, как науки», созидающей успехи общечеловеческой цивилизации и обеспечивающей «прогрессию человеческого ума».

Не давая действенных ответов на поставленные вопросы о современном использовании «старого» и «нового» в России и в Европе, он ограничивался призывом к лучшему пониманию живительного духа национального прошлого, вообще к большему вниманию к истории, без чего нельзя уяснить до конца текущей действительности, к человеческой личности, обладающей не только разумом, но и иными мощными силами, способными созидать и разрушать.

Хомяков и Киреевский осуществляли свои исследования в структурном единстве с историософскими мыслями Чаадаева и словно выворачивали их наизнанку, заостряя противоположные акценты.

«Принимая все без разбора, — писал Хомяков, — добродушно признавая просвещением всякое явление Западного мира, всякую новую моду и оттенок моды, всякий плод досуга немецких философов и французских портных, всякое изменение в мысли или в быте, мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть и в полусомнении спросить у Запада: все ли то правда, что он говорит? Все ли то прекрасно, что он делает? Ежедневно, в своем беспрестанном волнении, называет он свои мысли ложью, заменяя старую ложь, может быть, новою, и старое безобразие, может быть, новым, и при всякой перемене мы с ним вместе осуждаем прошедшее, хвалим настоящее и ждем от него нового приговора, чтобы снова переменить наши мысли».

Оба мыслителя уверяют, что они не противники западного просвещения, которое они изучали с любовью и многочисленными плодами которого сами пользуются на каждом шагу. «…Все прекрасное, благородное, христианское по необходимости нам свое, хотя бы оно было европейское, хотя бы африканское, — замечает Киреевский. — Голос истины не слабеет, но усиливается своим созвучием со всем, что является истинного где бы то ни было».

Славянофилы много размышляли об особенностях усвоения плодов европейского просвещения на русской почве. Инстинктом прирожденного реформатора Петр I, по их мнению, чувствовал, что добиться успехов во внешнем прогрессе и могуществе можно, лишь переключив сознание с культа на культуру и рассредоточив его в разных сферах мысли и жизнеустроения. Потому таким нацеленным оказался удар по культу, по традициям и обычаям, и происходила их замена принципиально новыми предписаниями,

законами, установлениями, учреждениями.

При этом, полагали Хомяков и Киреевский, происходят определенные эксцессы юношеского увлечения, когда, например, более культурный, нежели метафизический, французский язык заменяет русский, бездумно осваиваются деизм, вольтерьянство, масонство, политический радикализм и другие модные идеи с иностранной этикеткой, а желанными наставниками и учителями становятся французские лакеи, парикмахеры и дворники.

Это, по мнению славянофилов, усиливало разрыв между самобытной жизнью и заимствованным просвещением, увеличивало существовавшее отделение высших слоев общества от народа, приводило к забвению духовной сущности родной земли и ее истории. Редкая семья, замечает Хомяков, располагает какими-то знаниями о своем прапрадеде, думая, что «он был чем-то вроде дикаря в глазах своих образованных правнуков». Собственные же традиции, нравственные уроки и исторические противоречия забывались настолько, что их приходилось потом открывать, как Колумбу Америку. Именно так воспринималась, как известно, карамзинская «История государства Российского».

Именно такую работу осуществляли и. славянофнлы, с которых, по словам Герцена, начинается «перелом русской мысли». В сороковые годы стала особенно осознаваться переходность времени. В спорах славянофилов и западников с небывалой доселе теоретической резкостью ставились вопросы выбора дальнейшего пути «старой» России, глубоко охваченной «новыми» стихиями европейских начал. «Мы (со славянофилами) разно поняли вопрос о современности, — замечал Герцен, — мы разного ждем, желаем… Им нужно былое, предание, прошедшее — нам хочется оторвать от него Россию».

И Хомяков и Киреевский призывали не к оживлению старины как таковой, в которой они видели свои отрицательные стороны и противоречия, а к сохранению корней и духа, сдерживавших напор дурного и оставлявших все доброе в тяжелейших испытаниях России, а также способных, по их представлению, обнять своего полнотою и придать цельность лучшим достижениям европейского просвещения. Речь шла именно о полноте нравственного закона (а не ущербности его исторического выражения), который следует принять за высокую норму человеческого развития.

9

С размышлениями Хомякова и Киреевского, затрагивавшими нервные узлы «одной мысли», Петр Яковлевич знакомился не только в московских салонах, но и в своей басманной «Фиваиде», где оба наверняка были частыми гостями. Алексей Степанович Хомяков, один из самых принципиальных его идейных противников, сделался и одним из самых близких его приятелей.

Многие современники отмечали цельность мировоззрения Хомякова с самых юных лет, отсутствие сомнений и философских исканий. Вместе с тем идейная страстность и полемический талант заставляют Алексея Степановича вмешиваться во все спорные вопросы современности. Герцен называл его «бретером диалектики», который, подобно средневековым рыцарям, стерегущим храм богородицы, «спал вооруженным».

И обширные познания, и любовь к беседам, и склонность к спорам не могли, помимо личных симпатий, не сближать Алексея Степановича и Петра Яковлевича, хотя соглашаться друг с другом им приходилось не так уж часто. «Я очень рад, — писал однажды Хомяков больному Чаадаеву, — что вам лучше, и надеюсь на хорошую погоду, что она вас совершенно поправит, ибо имею твердое намерение с вами долго и долго вести дружеские споры, которые нисколько не мешают еще более дружескому согласию». Об этих дружеских спорах в атмосфере дружеского согласия не раз рассказывали современники, упоминая о постоянно сидящих «рядышком», выделяющихся в обществе москвичах. Сразу же после смерти Чаадаева Вяземский писал Шевыреву: «Москва без него и без Хомяковской бороды как без двух родинок, которые придавали особое выражение лицу ее».

Петр Яковлевич называл Алексея Степановича «корифеем национальной школы», внимательно прислушивался к его размышлениям, хотя и полемизировал с ними, переводил его статьи для иностранных изданий. Так, он перевел на французский язык статью Хомякова «Мнения иностранцев о России», где, помимо теоретических взглядов на внешнюю и внутреннюю образованность, на подражательность мнимого и подлинного самобытного просвещения, содержалась легко прочитываемая полемика с книгой маркиза де Кюстина. Зарубежные гости, замечал автор, часто слышат у себя на родине от русских путешественников усердные похвалы в адрес Европы и чрезмерную критику по отношению к России. Приезжая же сюда и бывая главным образом в высших слоях петербургского и московского общества, они не только слышат то же самое, но и

видят многочисленные примеры рабских заимствований, не имеют возможности познакомиться теснее ни с русским народом, ни с его историей. Вместе с тем созерцание мощи Русского государства внушает им безотчетное чувство опасливости, окрашивающее затем их односторонние суждения о России.

Как бы расшифровывая мысли Хомякова, Сиркур, основательно знакомый с русской жизнью, писал в 1843 году в неопубликованном послании Чаадаеву: «Было бы хорошо, если бы реальный исторический и социальный характер славян был хорошо известен на Западе. У нас в ходу по этим вопросам только клеветнические романы, большей частью вдохновленные и комментируемые вашими собственными соотечественниками…» Славянофилы, замечал далее Сиркур, своими изысканиями оказывают Европе большую услугу, показывая реальное величие прошлого России, где «были дни славы, поколения мучеников. Вы спасли восточную форму христианской религии, остановили кровавое течение азиатских вторжений в Европу, дали возможность восторжествовать в мире европейскому принципу над азиатским. В эпоху бесконечных социальных и интеллектуальных сложностей сохранили существование простых начал и идей, величественных в своей простоте». Чаадаев был согласен с Сиркуром в том, что «точное знание нашей страны и благожелательный тон редки среди иностранных писателей, пишущих о нас».

В менее тесных, нежели с Хомяковым, но столь же дружеских отношениях находился Петр Яковлевич и с Иваном Васильевичем Киреевским, которому, как известно, он также в свое время оказывал своеобразные услуги.

Взаимной симпатией и дружеским общением были проникнуты отношения Чаадаева и с другим известным представителем славянофильства, Юрием Федоровичем Самариным, который именно на одном из понедельников «басманного философа» познакомился со своими будущими идейными наставниками. Самарину в ту пору едва минуло двадцать лет, и он со своим столь же молодым другом Константином Сергеевичем Аксаковым изучал летописи, старинные грамоты, акты, памятники древней и более поздней русской словесности. Оба приятеля вместе с тем были страстными поклонниками немецкой идеалистической философии и рассматривали открываемый мир русской истории и культуры в категориях диалектического процесса. Они пытались, по словам И. С. Аксакова, «построить на началах же Гегеля целое миросозерцание, целую систему своего рода «феноменологии» Русского народного духа, с его историей,

бытовыми явлениями и даже Православием». Однако постепенно и К. С. Аксаков, и Самарин под влиянием Хомякова и И. В. Киреевского склонялись к их философии и отходили от Гегеля.

Слушая приходивших на Новую Басманную молодых славянофилов, Петр Яковлевич не мог не замечать разности их характеров, несмотря на сходство мировоззрений и душевное благородство. Константин Аксаков был старшим сыном в многочисленной семье известного писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Дружный с ним до идейного разрыва Герцен, называвший Аксакова «неистовым Константином» и «Белинским славянофильства», писал о нем: «Вся его жизнь была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны. Он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир и артель…»

Своеобразие воспитания, склад характера, направление деятельности, простота и искренность поведения отдаляли Константина Сергеевича от «комически важного», как выражался его отец, Чаадаева. Но К. С. Аксаков уважал Петра Яковлевича, защищал его от резких нападок идейных противников, представлял ему на суд свои сочинения, помогал в затруднительных бытовых ситуациях.

А благодарный Петр Яковлевич тем не менее с известной иронией относился к его увлечениям и проповедям и подшучивал над ними. Так, он шутя рассказывал Герцену, что одевшегося в национальное платье К. С. Аксакова народ принимает на улице за персиянина.

Иначе Петр Яковлевич относился к появлявшемуся с Константином Аксаковым на его понедельниках Юрию Самарину, который был ему ближе своими «философическими», «светскими» и «саркастическими» качествами. Впоследствии Юрий Федорович усердно работал в земских учреждениях, много занимался крестьянским вопросом, составил в середине 50-х годов один из самых влиятельных проектов отмены крепостного права, участвовал в подготовке и проведении крестьянской реформы в России, писал о социально-экономических и национальных проблемах в Прибалтике. В начале же 40-х годов, в период знакомства и общения с Чаадаевым, деятельные и публицистические способности Самарина скрывались за его философскими увлечениями, которые, видимо, вместе с проблемами христианства, национальной культуры и

самосознания составляли главные темы их разговоров.

Чаадаев называл Юрия Федоровича «добрым малым» и признавался ему, что высоко ценит не только аналитические способности его ума и неподкупную логику, но и доброту сердца, возвышенность чувств, чистоту помыслов. «Я рад случаю сказать вам свое мнение о вас, — писал он ему не без гордости, — и мне отрадно думать, что, может быть, я способствовал развитию наиболее ценных свойств вашей природы. Примите, мой друг, это наследство человека, влияние которого на его ближних бывало порой не бесплодно». Молодой человек находился, несомненно, под обаянием личности Петра Яковлевича, который был старше на двадцать пять лет, и ему западали в душу его комплименты. «Слова, сказанные мне вами при нашем последнем свидании о том мнении, которое вы имеете обо мне, — отвечал Самарин «басманному философу», — доставили мне величайшую радость. Я всегда и превыше всего домогался таких слов, и мне весьма редко доводилось их выслушивать. Ручаюсь вам, что не забуду их».

Оба они сохраняли взаимную симпатию, несмотря на осознаваемое различие воззрений. Самарину не стеснялся Чаадаев поверять и свои задушевные движения, и изменения в мыслях: «Если мы и не всегда были одного мнения о некоторых вещах, мы, может быть, со временем увидим, что разница в наших взглядах была не так глубока, как мы думали. Я любил мою страну по-своему, вот и все, и прослыть за ненавистника России было мне тяжелее, нежели я могу вам выразить. Довольно жертв. Теперь, когда моя задача исполнена, когда я сказал почти все, что имел сказать, ничто не мешает мне более отдаться тому врожденному чувству любви к родине, которое я слишком долго сдерживал в своей груди. Дело в том, что я, как и многие мои предшественники, большие меня, думал, что Россия, стоя лицом к лицу с громадной цивилизацией, не могла иметь другого дела, как стараться усвоить себе эту цивилизацию всеми возможными способами; что в том исключительном положении, в которое мы были поставлены, для нас было немыслимо продолжать шаг за шагом нашу прежнюю историю, так как мы были уже во власти этой новой всемирной истории, которая мчит нас к любой развязке. Быть может, это была ошибка, но, согласитесь, ошибка очень естественная. Как бы то ни было, новые работы, новые изыскания познакомили нас со множеством вещей, остававшихся до сих пор неизвестными, и теперь уже совершенно ясно, что мы слишком мало походим на остальной мир, чтобы с успехом подвигаться по одной с ним дороге…»

10

Славянофильские исследования своеобразно подстрекались, помимо прочих причин, и негативными интонациями первого философического письма. Так, брат Ивана Киреевского Петр собранием народных песен по-своему опровергал мысли Чаадаева о национальном прошлом, показывая «грациозные образы в памяти народа» и «мощные поучения в его преданиях», находя в фольклоре «почтенные памятники», воссоздающие героизм и величие прошедших исторических событий, которые воскрешались и в соответствующих научных исследованиях. Изучение древнерусской письменности вносит дополнительные важные черты в открывающуюся картину. «Ничто не может быть благодатнее, — писал Петр Яковлевич Сиркуру в 1846 году, — того направления, которое приняла теперь наша умственная жизнь. Благодаря ему огромное число фактов воскрешено из забвения, интереснейшие эпохи нашей истории воссозданы вполне».

В библиотеке Петра Яковлевича было мало книг на русском языке вообще и сочинений по истории России в частности, о которой он прежде судил предвзято, в заданном русле своей «одной мысли». Поэтому исследования славянофилов и симпатизирующих им ученых значительно уточняли его отвлеченные представления. Процесс этот сопровождался дальнейшим наблюдением за европейскими достижениями и обнаружением противоречий в «зародышах» «царства божия на земле». В «Апологии сумасшедшего», написанной в 1837 году, Чаадаев призывал читателя взглянуть на то, что делается в тех странах, которые являются наиболее полными, образцами цивилизации во всех ее формах и которые он. по его собственным словам, слишком превозносил: «Там неоднократно наблюдалось: едва появится на свет божий новая идея, тотчас все узкие эгоизмы, все ребяческие тщеславия, вся упрямая партийность, которые копошатся на поверхности общества, набрасываются на нее, овладевают ею, выворачивают ее наизнанку, искажают ее, и минуту спустя, размельченная всеми этими факторами, она уносится в те отвлеченные сферы, где исчезает всякая бесплодная пыль».

Единство религиозно-философских и прогрессистских убеждений Петра Яковлевича подтачивалось сразу с нескольких сторон, и его мысль выказывает признаки явной растерянности. В пору бытовых неустройств и мрачных настроений 1842 года он писал Шевыреву: «Остальные, немногие предсмертные дни хотел

бы провести в труде полезном, а для этого нужно или укрепиться в своих убеждениях, или уступить потоку времени и принять другие. Ваша теплая душа поймет, что с сомнениями тяжело умирать, какие бы они ни были».

Принять другие убеждения среди отмеченных причин его склоняли и постоянные воспоминания о беседах с Пушкиным, в которых ему теперь слышалось много сходного с рассуждениями славянофилов. Поэт, замечал Вяземский, «хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы». Немалое место в раздумьях Чаадаева об особенностях русской истории занимало и пристальное чтение трудов Карамзина. В письме к А. И. Тургеневу он признавался, что с каждым днем все более и более чтит память знаменитого историка: «Как здраво, как толково любил он свое отечество!.. А между тем, как и всему чужому знал цену и отдавал должную справедливость!.. Живописность его пера необычайна: в истории же России это главное дело; мысль разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее создать» (отсюда тянется нить к герценовскому определению России как загадочного сфинкса и к тютчевским строкам: «Умом Россию не понять…»). Сама духовная эволюция и Карамзина и Пушкина, открывавших во второй половине своей жизни национальные духовные богатства, не могла не направлять размышления Петра Яковлевича в определенное русло.

Да и теперь он гораздо спокойнее относится в них к отрицательным оценкам «телескопской» публикации, отделяя в них недоброжелательство хулителей от верных замечаний приятелей и знакомых. Матвей Иванович Муравьев-Апостол рассказывал в мемуарах о том, какое впечатление произвели на него рассуждения первого философического письма об отсутствии в России прошлого и будущего, и замечал: «Человек, который участвовал в походе 1812 года и который мог это написать, — положительно сошел с ума». Об Отечественной войне напоминали Чаадаеву многие, и возникавшие в сознании эпизоды ее освещались теперь дополнительным светом славянофильских бесед.

Так же само глубоко противоречивое развитие европейского общества во многом изменяло взгляд Чаадаева на западную цивилизацию как промежуточную стадию на пути к совершенному строю на земле и сдвигало всю логику его размышлений в обратную сторону. Нет, он не менял образа мыслей совершенно, но все чаще обнаруживал точки

соприкосновения с раздумьями друзей-противников. Не без их влияния он снова и снова обращает внимание на то, как за чредой буржуазных революций, когда «бедное человечество впадает в варварство, погружается в анархию, тонет в крови», за блестящим фасадом социально-культурных достижений и научно-технических открытий на Западе все яснее вырисовывалась «плачевная золотая посредственность». В критике «несказанной прелести золотой посредственности» он предвосхитил некоторые мысли Герцена. «Самодержавная толпа сплоченной посредственности», «мещанство — вот последнее слово цивилизации», — скажет Герцен вслед за Чаадаевым.

Это «последнее слово цивилизации», вообще явное несовершенство «зародышей» и «элементов» взыскуемого земного благоденствия натолкнули Петра Яковлевича на переосмысление прямой и жесткой связи между внешним социальным прогрессом и «христианской истиной», заставили его несколько иначе взглянуть на историческую «вдвинутость», общественно-преобразовательную активность и теократическую мощь католичества. Теперь, опять-таки не без влияния славянофилов, Чаадаев готов, видеть в социальной идее католичества, в его «чисто исторической стороне», «людские страсти» и «земные интересы», искажающие чистоту «христианской истины», а потому и приводящие к такому несовершенству. Более того, он начинает сомневаться в самой возможности слияния религиозного и социально-прогрессистского начал в «одну мысль», в возможности установления «царства божия» на земле. Эта «одна мысль» как бы расщепляется на составные части, которые соприкасаются друг с другом через принципиальную опосредованность. «Христианство, — замечал Чаадаев в письме 1837 года к А. И. Тургеневу, — предполагает жительство истины не на земли, а на небеси… Политическое христианство отжило свой век… должно было уступить место христианству чисто духовному… должно действовать на гражданственность только посредственно, властью мысли, а не вещества. Более, нежели когда оно должно жить в области *духа* и оттуда озарять мир, и там искать себе окончательного выражения».

Именно традиции «духовного христианства», считал Чаадаев, лежат в основании русского религиозно-психического уклада и являются плодотворным началом своеобразного развития России. «Мы искони были люди смирные и умы смиренные; так воспитала нас церковь наша, единственная наставница наша. Горе нам, если мы изменим ее мудрому учению! Ему мы обязаны всеми лучшими народными свойствами, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши», — писал он

Вяземскому в 1847 году. В отличие от католичества плодами православия на Руси являются не наука и благоустроенная жизнь, а особое духовное и душевное устройство человека — бескорыстие сердца и скромность ума, терпение и надежда, совестливость и самоотречение. Эти качества Чаадаев теперь обнаруживал там, где раньше он видел только одну «немоту лиц» и «беспечность жизни», отсутствие «прелести» и «изящества».

Свойства подлинной духовности, заключающейся для него, как известно, в отказе от своеволия и покорности Провидению в индивидуальном, национальном, всечеловеческом масштабе, подтверждаются согласно его изменяющимся воззрениям определенными особенностями русской истории. Интересна в данном отношении (в новой, не культурно-прогрессистской трактовке проблемы подлинной и мнимой свободы) частично не опубликованная работа Чаадаева, имеющая в виду статью Хомякова «О сельских условиях». С известной долей рисовки признаваясь, что у него нет ни клока земли, ни одной души, о которой надо заботиться, Петр Яковлевич говорит о своем совершенном невежестве в вопросах сельского хозяйства и не обсуждает специальную часть статьи. Но он принимает живое участие в умственном движении своей страны, любит изучать ее историю, и именно с общих точек зрения заинтересовало его сочинение Хомякова, поражающее «глубоким познанием отечественной древности».

Исходя из своей излюбленной мысли, что отправная точка определяет своеобразие и значение дальнейших судеб нации, Чаадаев в духе Хомякова или Киреевского, Шевырева или Погодина рассуждает о начальных этапах истории России и Европы. Если первые моменты жизни западных народов ознаменовались «необузданным своеволием», которое хотя и укрощалось ростом гражданственности, но постоянно проявлялось и колебало общество, то в истоках русского национального развития стояло добровольное и обдуманное освобождение от безначалия в мирном и безнасильственном призвании варягов, что являлось «дивным подвигом самоотвержения и ума».

Оборванные на полуслове размышления Чаадаева своеобразно продолжаются в его письме к А. И. Тургеневу, где они принимают уже отличное от славянофильского направление и предвосхищают отдельные положения представителей «государственной школы» в русской историографии (Кавелин, Соловьев, Чичерин). По его мнению, азиатское нашествие не только не разрушило русскую народность, но помогло ей еще более развиться, ибо «приучило нас ко всем возможным формам

повиновения, сделало возможным и знаменитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, царствования, во время которых упрочилось наше могущество и завершилось наше политическое воспитание, во время которых с таким блеском проявились благочестивые добродетели наших предков».

Если славянофилы считали плодотворным началом национального общественного развития сельскую общину, то в послании к Тургеневу Чаадаев противопоставляет ей, с его точки зрения, более централизующее и стабилизирующее государственное начало. В этом плане он высоко оценивал в противоположность «узкой прописной морали» роль Ивана Грозного, чей «кровавый топор в течение сорока лет не переставал рубить вокруг себя в интересах народа…».

Способность русского народа к покорности и «отречениям», с одной стороны, необходимость государственного развития и централизации власти — с другой, естественно обусловили и подготовили, считает Петр Яковлевич, реформу Петра I, которая, следственно, не была ни столь революционной и насильственной, ни столь ретроградной и вредной, как он сам недавно полагал.

К цепи «отречений», из которых слагалась, по его мнению, история России, Чаадаев добавляет и введение крепостного права, трактуемое им как попытка пресечь текучесть населения в Древней Руси.

Письмо к Тургеневу также обрывается на полуслове, что не случайно и свидетельствует о незаконченности неоднозначно изменявшихся взглядов Чаадаева. Отвечая на упреки Александра Ивановича в непостоянстве, Петр Яковлевич относит себя к числу тех, кто не застывает добровольно на одной идее и всеподчиняющей теории: «Я неоднократно менял сваю точку зрения на многое и уверяю Вас, что буду менять ее всякий раз, когда увижу свою ошибку».

В процессе развития все положительные знаки в размышлениях Петра Яковлевича менялись на противоположные, а логика — от предпосылок до выводов — как бы выворачивалась наизнанку. Наблюдая с сочувствием за деятельностью славянофилов, он писал в 1846 году Сиркуру: «Туземная идея торжествует, ибо в ее глубине есть истина и добро. Она естественно должна торжествовать после долгого подчинения иностранным идеям…» Однако хотя Чаадаева сближало со славянофилами признание религиозного начала как определяющего фактора мировой истории, оценка ими разных форм выражения этого начала (православия и католичества), повлиявшего на различие судеб России и Европы, и соответственно оценка самих особенностей их исторического

пути были в отдельных пунктах неодинаковыми. Мысль Чаадаева постоянно возвращалась к интонациям «телескопского» письма. Так, например, свое мнение о провиденциальной роли России в деле осуществления христианских обетовании он в письме к М. Ф. Орлову называл химерой, славянофилов в письме к Вяземскому осуждал за то, что они приписывают «нашей скромной, богомольной Руси» роль наставницы других народов, хотя сам неоднократно говорил то же самое, а в послании к Сиркуру замечал, что «прогресс еще невозможен у нас без апелляции к суду Европы», от тяжелого прошлого и закоснелых предрассудков которой он призывал совсем недавно отказаться.

Подобные логические противоречия во множестве рассыпаны по страницам чаадаевской переписки и другим его произведениям. Они встречаются не только в пределах одного временного отрезка его жизни и творчества, но и внутри одного и того же сочинения. Мысль философа не эволюционировала, а пульсировала, развиваясь поступательно-возвратно. В «Апологии сумасшедшего» написанной для объяснения своей позиции вскоре после «телескопской» публикации, Чаадаев, объясняясь в ошибках, так характеризовал своеобразие своего патриотизма: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее…»

Однако иметь открытые глаза и ясно видеть оказывалось недостаточным. Говоря о борьбе славянофилов и западников, целью которой было по-разному понимаемое ими благо России, Герцен писал: «И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно». Сложность и необычность фигуры Чаадаева состоит в том, что он, будучи внутренне таким «двуглавым орлом», вобрал в свое творчество разнородные вопросы, волновавшие и славянофилов и западников. Одна голова «орла» смотрела на Запад, ожидая от всеобъемлющей и целенаправленной внешней деятельности людей благотворного преображения их внутреннего мира; другая — на Восток, надеясь, что углубленная духовная сосредоточенность и соответствующее духовное расположение человека гармонизируют весь строй его отношений со всем окружающим. Чем пристальнее становились разнонаправленные взгляды, тем сильнее напрягалось сердце. Само сосуществование в сознании Чаадаева проблем, связанных с разгадкой «сфинкса русской жизни», принимало драматический характер сокровенного диспута, не имеющего возможности завершиться.

В этом внутреннем драматическом диалоге Чаадаева, то принимающем комический бытовой оборот, то возвышающемся до подлинного трагизма мысли, оказывались невольными участниками многие его выдающиеся современники, в том числе и Николай Васильевич Гоголь.

Чаадаев и Гоголь встречались на именинных обедах последнего, в литературных салонах, где читались отдельные главы «Мертвых душ», но, по-видимому, не симпатизировали друг другу и не находили сближающего языка. К тому же Николай Васильевич не любил заводить особенно тесных «светских» знакомств, о чем сохранилось немало свидетельств. Так, по словам М. А. Дмитриева, он долго не соглашался ехать к генерал-губернатору Д. В. Голицыну, а когда решился и приехал, то «сел на указанные ему кресла, сложил ладонями вместе обе протянутые руки, опустил их между колен, согнулся в три погибели и сидел в этом положении, наклонив голову и почти показывая затылок».

Подобным образом вел себя писатель и в басманной «Фиваиде». «Я помню, — замечал Д. Н. Свербеев, — как ленивый и необщительный Гоголь, еще до появления своих «Мервых душ», приехал в среду середу вечером к Чаадаеву. Долго он на это не решался, сколько ни уговаривали общие приятели… Наконец он приехал и, почти не обращая внимания на хозяина и гостей, уселся в углу на покойное кресло, закрыл глаза, начал дремать… Долго не мог забыть Чаадаев такого оригинального посещения».

Немногочисленные, непосредственно личные контакты Гоголя и Чаадаева носили болезненный для обоих отпечаток духовного недоразумения. Весной 1836 года в Петербурге и в Москве с большим успехом прошла премьера гоголевского «Ревизора», а осенью того же года столичное общество возбужденно негодовало по поводу опубликованного в «Телескопе» чаадаевского философического письма, пронизанного пессимистическими рассуждениями с судьбах России.

Оскорбленный разным отношением к пьесе и к статье, путая в раздражении даты представления и публикации, Чаадаев писал на следующий год в «Апологии сумасшедшего»: «…капризы нашей публики удивительны. Вспомним, что вскоре после злополучной статьи, о которой здесь идет речь, на нашей сцене была разыграна новая пьеса. И вот, никогда ни один народ не был так бичуем, никогда ни одну страну не волочили так в грязи,

никогда не бросали в лицо публике столько грубой брани, и, однако, никогда не достигалось более полного успеха. Неужели же серьезный ум, глубоко размышлявший о своей стране, ее истории и характере народа, должен быть осужден на молчание, потому что он не может устами скомороха высказать патриотическое чувство, которое его гнетет? Почему же мы так снисходительны к циничному уроку комедии и столь пугливы по отношению к строгому слову, проникающему в сущность явлений?»

Высокомерие, ясно различаемое в горделивом противопоставлении «скомороха» и «серьезного ума», «цинического урока комедии» и постигающего сущность явлений «строгого слова», не позволило Чаадаеву проникнуть за оболочку изображенных в «Ревизоре» событий, подобрать верный ключ к общественно-нравственному значению пьесы, постигнуть ее, так сказать, сверхзадачу, как ее понимал сам Гоголь.

Как бы отвечая на слова Чаадаева и на другие подобные замечания, Гоголь позднее в «Развязке ревизора» говорил устами первого комического актера, что он не «какой-нибудь скоморох, созданный для потехи пустых людей, но честный чиновник великого божьего государства и возбудил в вас смех — не тот беспутный, которым пересмехает в свете человек человека, который рождается от бездельной пустоты праздного времени, но смех, родившийся от любви к человеку».

Чаадаев не увидел возвышающего начала обличительного смеха в комедии, как не открыл он всего объема мысли писателя в поэме «Мертвые души». В мае 1842 года стали выходить из печати первые экземпляры поэмы, вызвавшей разную реакцию. Богатый помещик и известный в молодости дуэлянт, посещавший Петра Яковлевича, Ф. И. Толстой-Американец говорил, что ее автор «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь». Бывший редактор «Телескопа» Надеждин считал, что «больно читать эту книгу, больно за Россию и за русских». И подобных мнений, как и при появлении «Ревизора», было немало. «Вообрази, что многие нападают», — писал 25 мая 1842 года Юрию Самарину Константин Аксаков, не сумевший накануне попасть на день рождения Чаадаева, где горячо обсуждалось новое произведение Гоголя. Посетив Е. А. Свербееву, отправлявшуюся в гости к «басманному философу», и узнав о его оценках, он сообщает другу в том же послании: «Скажите Чаадаеву, — просил я Свербееву, — что я с ним не согласен». — «О, он знает это, — ответила она, — он уже говорил мне: вот Аксаков, верно, будет защищать». — «Да, сказал я: он не ошибся». Я считаю это произведение великим явлением, такого не было не

только в нашей литературе, но в мире искусства. Вечером заезжал я к Хомякову. Он сказывал мне, что спор был жаркий; Хомяков защищал; Чаадаев и Дмитриев нападали. Свербеева с жаром защищала, так что Чаадаев говорил ей, что это род опьянения, и сказал ей: «Vous êtes ivre-morte»[36]».

Выход поэмы мгновенно породил полемику, и в конце июля 1842 года Герцен отметил в дневнике: «Толки о «Мертвых душах». Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это апотеоза Руси, Илиада наша, и хвалят, другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже раздвоились антиславянисты. Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда! Видеть одну апотеозу смешно, видеть одну анафему несправедливо».

Спор о «Мертвых душах» выходил из узкоэстетических рамок и связывался, как когда-то «телескопская» публикация, с проблемой становления национального самосознания и осмысления судеб России, приводил к дальнейшему размежеванию славянофилов и западников. Петр Яковлевич скорее принадлежал к числу тех «анти-славянистов», которые в отличие от Константина Аксакова или Герцена с неудовольствием находили в сочинениях Гоголя избыток сатиры и не видели в глубине художественной ткани возвышающих начал. Взаимообусловленное и взаимодополняющее сосуществование в поэме отрицательного и положительного начал составляло неуловимый для однозначного заключения пафос. Затрудняясь раскрыть этот пафос, Белинский отмечал как его существенный элемент «противоречие общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциональным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не открывшимся собственному сознанию и неуловимым ни для какого определения».

Белинский, как и Герцен, как и многие его современники, ставил вопрос о «сфинксе русской жизни», для разгадки которого снова оказывалось недостаточным, говоря словами Чаадаева, иметь открытые глаза и незапертые уста. Важно было не только осознавать, где стоишь и с какой точки зрения смотришь, но и учитывать невидимую сторону. Вслушиваясь в дискуссии, возникавшие вокруг «Мертвых душ», всматриваясь в борьбу славянофилов и западников, Гоголь писал в 1844 году, что они говорят о разных сторонах одного и того же предмета. Западник «подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его»; славянофил «отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад и, стало быть, все-таки говорит о главном, а не о частях». Пока же оба мнения окончательно не определились в

понимании тех частей истины, которые в них содержатся, этим, замечает писатель, пользуются разные пройдохи. Они ищут возможность «под маской славяниста или европиста, смотря по тому, что хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни в качестве как поборника старины, так и поборника новизны». Такова, по мнению Гоголя, панорама картины животрепещущих разногласий, к которым «люди умные и пожилые покамест не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ее дело… нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались, затем именно, дабы умные могли в это время надуматься вдоволь…»

Сам Гоголь думал над тайной России и человеческой души, говоря словами Пушкина, до головокружения и приходил к выводу, что для уразумения подобных вопросов важны не только открытые глаза и объемное, всеохватывающее зрение. Важно и кто смотрит, насколько чисто его сердце и светло сознание, насколько чувствует он собственную вину за не исполненный до конца долг. Об этом он станет вскоре говорить в «Выбранных местах из переписки с друзьями», которые могут служить в известной степени комментирующим разъяснением к спорам о «Мертвых душах», как бы ответом на хвалу «защитников» и критику «нападающих», среди которых был Чаадаев.

Если Петр Яковлевич затруднялся усмотреть невидимое, определявшее своеобразие художественного творчества Николая Васильевича, то последнему было еще сложнее постичь подлинный дух всех философических писем, поскольку появление в печати лишь одного из них не давало возможности и даже препятствовало их целостному пониманию. Поэтому в своем лично-творческом отношении к Чаадаеву Гоголь основывался скорее на идейных репутациях. Сам мучительный процесс колебаний и сомнений реальной мысли Петра Яковлевича был скрыт от посторонних глаз внешним светским хладнокровием, горделивой независимостью, нарастанием иронических оценок, как бы служивших своеобразной защитой.

12

Не переставая активно участвовать в общественной жизни Москвы, Петр Яковлевич с ноября 1843 года усердно посещает публичные лекции Грановского, имевшие шумный успех. По воспоминанию П. В. Анненкова, на них стекались не только люди науки, представители всех литературных партий и восторженная университетская молодежь, но и «весь образованный класс города — от стариков, только что покинувших ломберные столы, до девиц, еще не отдохнувших после подвигов на паркете, и от губернаторских чиновников до неслужащих дворян». Особенно много приезжало дам, которые забывали о балах, вечерах, привычных зимних катаниях на тройках и, по словам Герцена, «тройным венком» окружали кафедру.

Перед столь разнообразной публикой тридцатилетний профессор живописал прошлое Европы, давал выразительные характеристики исторических деятелей, представлял Карла Великого как восстановителя цивилизации на Западе. Перед слушателями возникала величавая панорама феодализма, католицизма и рыцарства, «как бы живыми проходили образы молодых Гогенштауфенов и великих пап… чистая и кроткая фигура Людовика IX, скорбно озирающегося назад, и гордая, смело и беззастенчиво идущая вперед фигура Филиппа Красивого».

Многое из излагаемого Чаадаев знал настолько, что безошибочно предсказывал, на какие факты Грановский станет опираться в следующей лекции и какую мысль в ней проводить. Напоминали ему собственные интонации и выводы, хотя и сильно пошатнувшиеся, и призывы профессора не забывать о долге перед Европой, где в кровавых трудах и горьких опытах выработались блага цивилизации, которыми мы пользуемся. Подобные призывы, как замечал Герцен, встречали буйный восторг: «Крики, рукоплескания, шум, слезы, какое-то торжественное беспокойство, несколько шапок было брошено в воздух. Дамы бросились к доценту, жали его руку, я вышел из аудитории в лихорадке». В отличие от своего молодого приятеля пятидесятилетний Чаадаев сохранял спокойствие, хотя тоже находился под впечатлением всеобщего энтузиазма и говорил Герцену, что лекции Грановского имеют историческое значение, не поясняя, впрочем, в чем оно состоит. Да и вряд ли мог пояснить, ибо их конкретную сущность было трудно раскрыть содержательно. Привлекала именно общая атмосфера, создаваемая яркой поэтической личностью, благородной

независимостью тона, изящной отделкой речи лектора, проникнутой гуманистическим пафосом, любовью к культуре и просвещению, верой в поступательное движение истории.

Эта атмосфера привлекала и славянофилов, которых, однако, не удовлетворяла отвлеченность рассуждений и подразумеваемая необходимость полного отказа от национальных начал во имя неопределенного прогресса. Лекции коллеги не устраивали и профессора Шевырева, начавшего в конце 1844 года читать публичный курс истории русской словесности, тоже имевший успех. Опять университетская аудитория заполнялась самыми разными представителями московского общества — от студентов с синими воротниками до полудекольтированных дам. И снова среди них выделялась величественная фигура и непроницаемое лицо Петра Яковлевича, получившего личное приглашение. Благодаря за любезность, Петр Яковлевич отвечал, что будет «прилежным и покорным слушателем. Будьте уверены, что если во всех мнениях ваших сочувствовать не могу, то в том, чтоб через изучение нашего прекрасного прошлого сотворить любимому отечеству нашему благо, совершенно с вами сочувствую».

Отдавая должное лекциям Грановского, исполненным, помимо ярких мыслей и живых описаний, сердечным сочувствием ко всему прекрасному и великодушному в прошедшей жизни «многострадальной Европы», И. В. Киреевский подчеркивал и заслуги Шевырева. Они, по его мнению, заключаются «не в новых фразах, но в новых вещах, в богатом, малоизвестном и многозначительном их содержании». Лектору, затратившему на изучение своего предмета долгие годы работы, удалось, замечает Иван Васильевич, собрать в одно стройное целое разбросанные сочинения древнерусской письменности (духовной и светской, литературной и государственной) и народные предания, сохранившиеся в сказках и поверьях, поговорках и песнях. Воссоздание разрушенного и оживление забытого не только открывает новый мир старой словесности, но и вносит существеный вклад в историческое самопознание. Перед слушателями возникает вся древняя история отечества — «не та история, которая заключается в сцеплении войн и договорах, в случайных событиях и громких личностях, но та внутренняя история, из которой, как из невидимого источника, истекает весь разум внешних действий». Эта внутренняя история, подчеркивает Киреевский, чрезвычайна важна для понимания значительного смысла древнерусского просвещения, о котором сам он, как известно, очень много размышлял и которое профессор рассматривает на фоне соответствующих явлений европейского

мира.

Иван Васильевич пишет о всеобщем интересе и неравнодушии к лекциям Шевырева, что отмечает и Петр Яковлевич в письме к Сиркуру, говоря об их оглушительном успехе. «Замечательно! Сторонники и противники, все рукоплещут ему, — последние даже громче первых, очевидно, прельщенные тем, что им также представляется торжеством их нелепых идей. Не сомневаюсь, что нашему профессору в конце концов удастся доказать с полной очевидностью превосходство нашей цивилизации над вашей, — тезис, к которому сводится вся его программа. Во всяком случае, несомненно, что уже многим непокорным головам пришлось склониться перед мощью его кристально ясной, пламенной и картинной речи, вдохновляемой просвещенным патриотическим чувством, столь родственным патриотизму наших отцов, и в особенности несомненной благосклонностью высших сфер, которые неоднократно во всеуслышание выражали свой взгляд на эти любопытные вопросы…»

В отличие от Киреевского оценочные рассуждения Чаадаева двусмысленно раздваиваются. Не называя предметного состава курса и косвенно признавая его убедительность и ценность, он намекает на прислужничество Шевырева правительственным сферам, говорит о его высокомерии и узком национализме при противопоставлении благородной старины православной России и жалкого прошлого католической Европы. Вместе с тем, несмотря на эти отрицательные оценки, противоречащие его собственным мыслям о положительной роли государственного начала в истории России и об основаниях ее вселенского призвания, Петр Яковлевич готов перевести лекции, когда их напечатают (они вышли в 1846 году отдельным изданием, и Шевырев подарил Чаадаеву экземпляр с дарственной надписью), о чем, видимо, его просил сам автор. «Сочту за счастье представить его ученой Европе на языке, общем всему цивилизованному миру. Изданная по-французски, эта книга несомненно произведет глубокое впечатление в ваших широтах и даже, может быть, обратит на путь истины изрядное число обитателей вашей дряхлой Европы, истомленной своей бесплодной рутиной и наверно не подозревающей, что бок о бок с нею существует целый неизвестный мир, который изобилует всеми не доставшимися ей элементами прогресса и содержит в себе решение всех занимающих ее и не разрешимых для нее проблем», — заключает Петр Яковлевич свой рассказ Сиркуру.

Оценочная ирония при отсутствии содержательного раскрытия свидетельствует о духовной неопределенности.

Признавая истинность «внутреннего просвещения», одобряя, как он выражался, свойственный предкам патриотизм смирения, Чаадаев одновременно ядовито подмечал, иной раз преувеличивая, нагнетание у отдельных сторонников славянофильских убеждений чрезмерного противопоставления «гнилого Запада» и «цветущей России».

Подобные противоречия при неустойчивости взглядов, а также затруднения при согласовании старых идеалов и новой действительности, абсолютных норм и исторического движения, всемирности христианства и национальных форм его выражения вызывают у Петра Яковлевича мучительные вопросы.

Не находя ответов на них, «басманный философ» язвительно будоражил ими современников. В одном из неопубликованных писем, соединяя в неразрывную связь критику собственной неопределенности и подзадоривание славянофилов, он замечает: «…иду лишь пятясь и чувствую себя от этого превосходно; способ передвижения тем более приятный в некоторых частях земного шара, что такая манера путешествовать весьма надежна в самых разных компаниях…» Едкость замечаний Петра Яковлевича, проистекавшая из неудовлетворенного поиска истины и душевного покоя, взывала к углублению размышлений и не обижала его идейных противников.

«Почти все мы знали Чаадаева, — говорил Хомяков после его кончины, — многие его любили, и, может быть, никому не был он так дорог, как тем, которые считались его противниками. Просвещенный ум, художественное чувство, благородное сердце — таковы те качества, которые всех к нему привлекали; но в такое время, когда, по-видимому, мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был дорог тем, что он и сам бодрствовал и других пробуждал, — тем, что в сгущающемся сумраке того времени он не давал потухать лампаде и играл в ту игру, которая известна под именем «жив курилка». Есть эпохи, в которые такая игра есть уже большая заслуга. Еще более дорог он был друзьям своим какою-то постоянной печалью, которая сопровождала бодрость его живого ума…»

13

Если игра, которую вел Чаадаев и которую Хомяков обозначил словами «жив курилка», отражалась на окружающих людях в разной мере благодетельности, то во внутренней жизни и самосознании самого «басманного философа» она отражалась ускользавшими от посторонних глаз непростыми и тяжелыми переживаниями. Когда разъезжались засидевшиеся допоздна гости, которых он поражал удивительным даром речи и очаровательной любезностью, Петр Яковлевич убирал подаренные ему на именины матерью декабристов Е. Ф. Муравьевой подсвечники, доставал другой, с которым обычно сиживал, и снова погружался в полумраке во «внешние» и внутренние» противоречия, вряд ли радовавшие его. Купленные им еще в Швейцарии столовые часы, стоявшие на невысокой этажерке рядом с покрытыми стеклянными колпаками букетами восковых цветов, мирно отбивали свой вечный бой, тайна которого ему казалась когда-то почти совсем раскрытой, а теперь то удалялась, то поворачивалась иной, далеко не радужной, перспективой. В один из редких моментов искреннего душевного излияния он признавался Юрию Самарину: «Да и есть ли возможность неподвижно держаться своих мнений среди той ужасающей скачки с препятствиями, в которую вовлечены все идеи, все науки и которая мчит пас в неведомый нам новый мир!» С середины сороковых годов «басманный философ» не перестает говорить об «общем перемещении вещей и людей», о «блуждающих бегах» непрерывно «галопирующего» мира к непредсказуемой развязке.

Около двадцати лет пролегло от поры непоколебимой уверенности в осуществлении «одной мысли», в грядущем торжестве царства божия на земле до нынешнего состояния растерянности перед неопознаваемостью будущего. Приятельница Петра Яковлевича княгиня С. С. Мещерская в спорах с ним постоянно указывает на те места Священного писании, которые не подчинялись его логике.

Чаадаев размышляет над евангельскими словами, которые ранее оставлял без особого внимания: «Царство мое не от мира сего», «мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него», ибо «люди более возлюбили тьму, нежели свет». А как же быть с достижениями науки, культуры и цивилизации, в которых он видел привносимый в наличную действительность «прибыток» и гарантию чаемой на этой земле гармонии братских отношений?

Наблюдение над живой, конкретностью человеческого бытия, размывающей его отвлеченную идею поступательного движения истории к внешнему всеединству, заставляет Петра Яковлевича задумываться об истоках своей философии, о безуспешности начавшихся в давние кризисные годы попыток отказаться от горделивого своеволия и подчиниться «всемогущему Богу». Философ, заключающий себя в сферу разума и логической законченности, является самовлюбленным нарциссом, ощущающим себя полновластным хозяином в творимых им рациональных системах. Постигается же истина, отмечает он красным карандашом, которым пользовался в последние годы жизни, не только разумением, но и всем сердцем и душой, той не поддающейся никакой логике любовью, которая долго терпит, милосердствует, не превозносится и «не ищет своего».

Проповедуя всеобщее братство на земле, любя все человечество, Чаадаев чувствовал мучительную разъединенность с рядом находящимися людьми и с живой жизнью, называя свое существование «холодным» и «ледяным». Один из исследователей, не без строгой пристрастности относившийся к личности Петра Яковлевича, в своей короткой и выразительной «физиогномической» зарисовке уловил действительные свойства его натуры. Он говорил о мраморном лице Петра Яковлевича, на которое «не сядет ни мотылек, ни муха, ни комар, не всползет во время сна козявка или червячок», о его маленьком, сухом и сжатом рте, который «даже на улыбку матери наверняка не ответил бы чем-нибудь соответствующим. Впрочем, как-то и невозможно представить себе «мать Чаадаева», «отца Чаадаева» и его «танцующих сестриц»: он вообще — без родства, solo, один, только с «знакомыми» в петербургском и европейском свете и «друзьями», беседующими с ним в кабинете, но не он их, а они его слушают… «Наконец Россия достигла состояния говорить с европейцами европейским языком: и этот первый говорящий — я», — говорят губы Чаадаева».

Однако исследователь не обращает внимания на то, что и несколько брезгливое отчуждение от другой плоти, крови и пота, и болезненное честолюбие служили для мыслителя источником тяжелых переживаний. «Что же мне вам сказать про себя? — писал он жене покойного друга Е. Н. Орловой в 1845 году. — Постоянная борьба без великого исхода, непрерывная работа мысли без плода, одна надежда, исчезающая вслед за другой, некоторые неожиданные сердечные услаждения, вскоре сменяемые слишком хорошо предвиденными разочарованиями, вот жизнь, созданная мне светом и моей бедной природой. Простите, что про себя мне нечего вам пересказать забавного».

Подчеркивая в одной из книг Мюссе строки о том, что все идет навыворот, как на столе — одно блюдо сырое, а другое подгорело, — Чаадаев с горечью отмечает: «Увы, все подгорело!» Огромные его духовные силы стеснялись жизненными обстоятельствами, а печать молчания, некогда наложенная на его уста правительством, еще более усугубляла эти обстоятельства.

Душевные терзания Петра Яковлевича окрашены так и не проходящей тоской по неосуществившимся надеждам на «надлежащем пути» к славе. В его архиве имеются стихотворения, возможно, им самим сочиненные. Во всяком случае, они отражают настроение, созвучное с интонациями его писем середины 40-х годов. В одном из них говорится о каком-то прославленном на всю Европу избраннике и добавляется:

Зачем и я не в этой славе?
Зачем мне счастие не то?
Сижу в Ремесленной управе
Бог ведает за что.
Сказал ты, Немец, очень круто,
Но тайну уловил с небес!
Нет жизни, нету абсолюта,
А только есть процесс.

Если стихи принадлежат перу Чаадаева, то последние строки, заключающие упоминание о нелюбимой им гегелевской философии, свидетельствуют о глубине происходившего с ним кризиса.

Защита тщеславием оказалась уязвимой для «действительного благосостояния души», которого искал Петр Яковлевич, и подвергалась постоянным испытаниям, участившимся с начала второй половины 40-х годов, когда стали обостряться споры и разрываться приятельские связи между славянофилами и западниками. «Наши личные отношения много вредят характерности и прямоте мнений, — записывал в дневнике Герцен. — Мы, уважая прекрасные качества лиц, жертвуем для них разностью мысли…» Но и характерностью, и прямотой мнений дело не ограничивалось. Для сражения со славянофилами, отмечал западник Б. Н. Чичерин, «приходилось напирать на темные стороны нашего быта», что вызывало ответное «напирание» со стороны отдельных представителей противоположного лагеря. Так, Николай Языков написал стихотворение «К не нашим», где Герцен назывался «легкомысленным сподвижником беспутных мнений и надежд», Грановский — «сладкоречивым книжником» и «оракулом

юношей-невежд», а Чаадаев — «жалким стариком», «торжественным изменником» и «надменным клеветником».

…Вы люд заносчивый и дерзкий,
Вы опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины,
В вас не живет, в вас помертвело
Родное чувство…

Будучи особенно неравнодушным среди «не наших» к Петру Яковлевичу, поэт сочинил еще послание к Константину Аксакову с укором за знакомство и симпатии к Чаадаеву:

…Дай руку мне. Но ту же руку
Ты дружелюбно подаешь
Тому, кто гордую науку
И торжествующую ложь
Глубокомысленно становит
Превыше истины святой,
Тому, кто нашу Русь злословит
И ненавидит всей душой,
И кто неметчине лукавой
Передался…

Не органичившись и этим, Языков обратился со стихами прямо к «басманному философу»:

Вполне чужда тебе Россия,
Твоя родимая страна:
Ее предания святые
Ты ненавидишь все сполна.
Ты их отрекся малодушно,
Ты лобызаешь туфлю пап…
Почтенных предков сын ослушный,
Всего чужого гордый раб!..
Ты все свое презрел и выдал…
И ты еще не сокрушен…
Ты все стоишь, красивый идол
Строптивых душ и слабых жен?!
Ты цел еще!.. Тебе поныне

Венки плетет большой наш свет;
Твоей насмешливой гордыне
У нас находишь ты привет…

По свидетельству Жихарева, это последнее послание хранилось в большой тайне, чтобы о нем не проведал адресат. Сам Жихарев, узнав о его существовании, попросил стихи у Хомякова, женатого на родной сестре Языкова. «Хомяков сию же минуту мне отказал, говоря, что «через меня может узнать про него Чаадаев». Племянник обещал никогда ничего не рассказывать дяде. «В таком случае, — смеясь, ответил Хомяков, — я вам, разумеется, дам».

Но до Петра Яковлевича доходили слухи, видимо, и об этих стихах, и наверняка о других посланиях, с охотою читавшихся в московских гостиных. Обо всех трех посланиях упоминает Герцен в своем дневнике, а Вигель с удовольствием расшифровывает в литературных салонах неназванные лица в стихотворении «К не нашим». Страсти накаляются. Константин Аксаков с негодованием отвечает стихами Языкову, а ссора Грановского с Петром Киреевским, еще недавно восторженно хлопавшим на его лекциях, чуть не доходит до дуэли.

Подобные события удручают Чаадаева, как не может не усиливать его одиночества среди людей смерть А. И. Тургенева в 1845 году. Шереметева сообщила Якушкину в Сибирь, что в день кончины Александр Иванович с утра засиделся у почт-директора А. Я. Булгакова, а вернувшись домой и пообедав, лег отдохнуть и «вскоре закричал поскорее священника у всех просил прощения через десять минут скончался священник уже не застал, а добрый был человек». Через несколько месяцев после его кончины Петр Яковлевич заметил в одном из писем, что Тургенев приучил его смотреть на себя как на существо необходимое в его духовной жизни. «В конце своих дней в особенности его добрые качества принимали такой характер чистоты и бескорыстия, что он стал для меня как бы второю совестью, куда я мог глядеть как в свою собственную». Посмеиваясь ранее над филантропией Александра Ивановича, Чаадаев теперь иначе смотрит на нее. В том же тоду умирает Анастасия Васильевна Якушкина, и круг множащихся могил близких людей напоминает о возможной близости и собственного ухода из жизни. «По мере того, как мы подвигаемся к пределу жизни, — пишет он в 1845 году Е. Н. Орловой, — люди вокруг нас исчезают, а могилы остаются, как будто для того, чтобы мы приблизились к собственной могиле с большим умилением и с большей сосредоточенностью».

14

Однако во второй половине 40-х годов ни об умилении, ни о сосредоточенности не могло быть для него и речи. Совокупность самых различных обстоятельств расшатывала прежнюю мировоззренческую целостность, порождая чувство духовной неустойчивости. Назревал тяжелый кризис, напоминавший давние времена, когда формировалась философия его «одной мысли». Письма Чаадаева наполняются многообразными жалобами на «бедное сердце, утомленное пустотой, произведенной в нем временем», на пропасть, куда увлекает его «ужасная сила вещей». Петр Яковлевич извещает родственников о посещающих его, против собственной воли, мыслях о самоубийстве, «побеге из мира». «Я готов, — сообщает он двоюродной сестре, — ко всем возможным перипетиям, не исключая той, которую древние рассматривали как героическое действие и которую современники считают, не знаю почему, грехом».

В жалобах Чаадаева кроется тяжелая боль и одновременно даже в искренних раскаяниях проявлется невольная рисовка, которой ему никак не удается избежать.

Хомяков сообщает А. Н. Попову о нервическом расстройстве «басманного философа», которое «очень близко к сумасшедствию». На Самарина Чаадаев производил очень «тягостное впечатление». Тютчев, старавшийся навещать Петра Яковлевича, бывая в Москве, летом 1846 года пишет жене о его никудышном здоровье и еще худшем состоянии его духа: «Он считает себя умирающим и просит у всех советов и утешений». Чаадаев поручает Михаилу исполнить последнее желание, а тот несколько иронично отвечает, что человек способен убедиться в действительной близости смерти: лишь за несколько минут до нее. «Письмо твое по почерку и слогу не такое, какое может быть написано за несколько минут перед смертью, следовательно, ты не можешь быть уверен в близости смерти, можно ли знать, что долго проживешь или скоро умрешь?»

Михаил Яковлевич понимает действительность одних и мнимость других проблем брата, хотя в своем нижегородском уединении и не может представить полной картины его состояния. А «бедный больной», как называет себя Чаадаев, иной раз на самом деле чувствует себя весьма и весьма худо. Припадки, чрезмерно мнительные беспокойства, слабость, кровотечения и т. д. сменяются периодами улучшения, а затем все опять начинается сначала. Находя, что «работа души всегда

ускользает от этих бедных врачевателей праха», он тем не менее собирается даже лечь в больницу и привлекает для лечения самых разных докторов. Миквиц, обиженно сообщает он Е. А. Свербеевой, всегда обещает чудо, однако чуда не происходит, и Чаадаев просит ее прислать Сокологорского. Сокологорский же, не имея возможности пока посещать его, уверяет «в совершенной безопасности этих временных и проходящих беспокойств», которые так сильно тревожат пациента, и рекомендует продолжать пить чай из сбора трав, уменьшающих раздражительность нервов и слабость. Если же ему станет совсем плохо, то надо принимать оставленные порошки.

Среди лечащих его врачей Петр Яковлевич выделял П. П. Заблоцкого-Десятовского, не чуждого литературе и близкого знакомого Е. Д. Щербатовой, автора путевых записок и медико-топографических обозрений в азиатских областях. Его лекарства помогают ему лучше всего: «Он не знает моей натуры, а тем не менее один он может быть мне полезен в данное время». По предписанию доктора он покидает квартиру и совершает ночные прогулки, чтобы подышать свежим воздухом и «приучить лицо к атмосфере». Чаадаеву нравится такое предложение, но одновременно оно поселяет опасение в том, что беречь его больше не намерены. Принимая ванны, он постоянно приглашает докторов, дабы убедиться, каково улучшение.

Приступы мнительности у больного досаждают не только врачам, но и родственникам и знакомым. Когда племянник Жихарев, двоюродные сестры Шаховская и Щербатова уверяют Чаадаева, что есть люди гораздо несчастнее его, он сердится и заговаривает о приближающейся катастрофе и печальной развязке своей судьбы.

Особенно тяготило Петра Яковлевича прохладное отношение к странностям его характера и нескладывавшейся жизни Елизаветы Дмитриевны Щербатовой, которую он называл дорогим и любимым с детства существом. Когда-то в письме к Александру Ивановичу Тургеневу он признался, что любит Лизу «более, чем в силах это выразить», но ему не удалось, со своей стороны, заставить ее «особенно полюбить себя». Действительно, не удалось. По словам будущего издателя «Русского Архива» П. И. Бартенева, посетившего Елизавету Дмитриевну года через два после кончины Чаадаева и остановившегося перед большим его портретом, она заметила: «Это вы с Лонгиновым произвели его в герои, а был он вовсе не умный человек».

Удаленному от заботливой тетки и лишенному попечительства Екатерины Гавриловны Левашевой, Петру Яковлевичу явно не хватало женского тепла, и он лелеял мечту

жить вместе с любимой двоюродной сестрой. Надежду на такое родственное соединение ему, как ни странно, давали новые беспокойства. Шульц, видимо, раздумал продавать купленный у Левашевых дом, но и ремонт в нем тоже не производил. Жуковский, навестивший Чаадаева в дни проезда через Москву, пустил в свет шутку, что его квартира «давным-давно держится не на столбах, а одним только духом». В этой шутке заключалась большая доля истины. И доктор Заблоцкий настоятельно советует переехать. А Петр Яковлевич спрашивает сестер: «Как вы хотите, чтобы я искал квартиру при таком состоянии здоровья?» Он присоединится к поискам, когда ему станет лучше, а пока: «Поднимите на ноги всех моих знакомых, пусть ищут квартиру — это главное».

Однако дело заключалось не только и, может быть, не столько в деньгах, сколько в упорном нежелании сестры соединиться с братом. Ради осуществления этого намерения он готов даже сделать невероятный шаг и переехать из Москвы в Рожествено — подмосковное имение Елизаветы Дмитриевны. Но ее страшит перспектива «иметь на руках», как она выражается в послании к сестре, капризного брата и проводить с ним бесчисленные вечера. «Если бы он мог вязать, прясть, раскладывать пасьянс», — замечает она иронически и просит ее отговорить Чаадаева от этого «ужасного плана». Так и не сумевшей выйти замуж Елизавете Дмитриевне, которой уже минуло пятьдесят, Петр Яковлевич кажется преследователем, нависшим над ее несчастной головой дамокловым мечом, угрожающим «превратить в фиаско отдых последних дней старости».

Вместе с тем и Щербатова и Шаховская, жалевшая брата гораздо больше сестры, не переставали искать для него квартиру. Елизавета Дмитриевна даже уже решилась остаться в деревне и предоставить в его распоряжение свой дом в Хлебном переулке при условии закрыть несколько комнат и самому приобрести дрова. Но дело почему-то не сладилось. Да и квартирные проблемы отступали на задний план по мере выздоровления Петра Яковлевича.

15

Чаадаев продолжал глотать порошки, пить травы, принимать ванны, совершать прогулки, предохраняя лицо от сильного ветра… Постепенно ему становилось легче, не столько от исполнения врачебных предписаний, сколько от проявления участливости и заботливости родственников, приятелей и знакомых. «К счастью, у меня были гости весь вечер», — признавался Петр Яковлевич, когда мысли о самоубийстве преследовали его целый день. «Жив благодаря гостям», — подобные фразы часто встречаются в его письмах кризисного периода. Ему радостно, что Н. Н. Шереметева, как и многие другие москвичи, не забывает навещать его в день именин, что всегда заходит к нему, бывая в Москве, Ф. И. Тютчев. «Ваша дружба, — признается он последнему, — одно из самых сладостных моих утешений, несмотря на разделяющие нас пространства, и сейчас, когда нам обещано ваше прибытие в наши широты, я добавлю, что это и моя самая очаровательная надежда. Приезжайте, и вы узнаете, как серьезные симпатии умного существа могут влиять на другое умное существо, по крайней мере, слывшее ранее за таковое…»

Чаадаеву приятно сознавать свою полезность и значимость, о которой ему постоянно напоминает и поэтесса Евдокия Петровна Растопчина, замечающая в одном из посланий: «Я испытываю потребность видеть вас, общение с вами дает отдохновение и возвышает, а дни, проведенные рядом с вами, но без лицезрения вас, кажутся мне потерянными…»

Как и ранее, врачущее воздействие на душевное состояние Чаадаева оказывает интерес молодежи к его личности. Он признается Юрию Самарину, что ничто не усладит более его последних дней, чем память о привязанности, которой «мне отвечали на мою любовь к ним несколько молодых, горячих сердец». Ему приятны строки письма сына Екатерины Гавриловны Левашевой, который в деревенском уединении «с несказанным удовольствием» перечитывает копии его рукописей. Радуют его и признания в неизменных чувствах А. С. Цурикова, после десятилетней разлуки посетившего его вместе с женой на пути из Орла в Троице-Сергиеву лавру.

Вместе с тем, по мере приближения к старости, поведение Петра Яковлевича приобретает черты свободной от тщеславия простоты, при которой становится возможным более искреннее раскаяние в своей прежней холодности к людям. Он признается Е. Л. Свербеевой, что чувствует себя грузом для других, который мог

выдержать лишь брат с его «евангельской терпимостью». Поверяет Жихареву свое настойчивое желание убедиться, что никогда и никому он не причинял сознательного вреда. Заслужить у бога прощение своих грехов, пишет он родственнице Н. П. Бреверн в 1847 году, составляет теперь его единственное желание и спрашивает не ради вежливости о здоровье, мыслях и чувствах ее детей. Он советует осмотрительно воспитывать их маленькие сердца, ибо «раннее развитие — бич молодости нашего времени, как гордость — бич зрелого возраста». Ласкающие взгляд фигуры детей «часто рисуются моему воображению и всегда его немного просветляют». Петр Яковлевич по-доброму завидует своему молодому племяннику, находящемуся под отцовской крышей, в лоне безграничной, как «русский горизонт», терпимости, ничего не запрещающей и ни за что не осуждающей…

Внешне деятельная жизнь Петра Яковлевича облегчает выход из тяжелого кризиса середины 40-х годов. По приглашению московского художественного общества он становится его членом и выражает желание вступить в какую-то компанию под названием «Саламандра», одним из основателей которой является его университетский товарищ В. А. Перовский. Однако Перовский отвечает, что не имеет никакого влияния на выбор агентов, к тому же многочисленные московские кандидаты уже давно заняли все места…

16

Непонятно, каким предпринимательством собирался заниматься разорившийся Чаадаев. В любом случае подобное занятие вряд ли принесло бы ему успех, а скорее вогнало бы в еще большие долги. И его внимание, как и прежде, приковано к развитию московской умственной жизни, в которой не только усиливалось размежевание между славянофилами и западниками, но и внутри лагерей не утихали разногласия. Пытаясь уяснить эти разногласия и тем самым устранить их, И. В. Киреевский в праздники по случаю 700-летия Москвы в 1847 году обращался к друзьям: «Во-первых, мы называем себя славянами, и каждый понимает под этим словом различный смысл. Иной видит в славянизме только язык и единоплеменность, другой понимает в нем противоположность европеизму, третий — стремление к народности, четвертый — стремление к православию. Каждый выдает свое понятие за единственно законное и исключает все выходящие из другого начала. Но противоречат ли эти понятия и стремления одно другому, или есть между ними что-либо общее, что связывает их в одно начало? Этого до сих пор между нами не объяснено». Точно так же, продолжает Киреевский, нет единства и в понятии народности, под которой один понимает простой народ, другие — идею выраженной в истории народной особенности, третьи — оставшиеся в жизни и обычаях народа следы церковного устройства и т. д. Когда же эти частные понятия принимаются за общие, в разной степени «растворившиеся» в каждом из них, возникают недоразумения и тупиковые противоречия, которые Киреевский пытался разрешать в редактируемом им два года назад «Москвитянине».

Однако журналистской деятельностью Киреевскому не суждено было заниматься, в том же году по личным, идейным и финансовым причинам он отказался от редактирования. «Москвитянин» снова перешел в руки Погодина, который в 1847 году приглашает Петра Яковлевича участвовать в нем и даже испрашивает разрешения включить его имя в число сотрудников. Воспоминания же его о Пушкине могли бы украсить первую книгу возобновленного журнала. Чаадаев благодарит за лестное приглашение, не почитает себя вправе отказаться, но напоминает, что его мнения считались «до сих пор не во всем согласными с позицией «Москвитянина». И предложение в сотрудничестве он понимает как демонстрацию стремления к большей идейной снисходительности и готов в таком случае оказывать посильное содействие. «Примирения с противоположными мнениями, в

наше спесивое время, ожидать нельзя, но менее исключительности вообще и более простора в мыслях, я думаю, можно пожелать, — замечает Петр Яковлевич, отчасти как бы перекликаясь с выраженным Киреевским пафосом уяснения и преодоления разногласий. — Мысль или сила, которая должна произвести сочетание всех разногласных понятий о жизни народной и ее законах, может быть, уже таится в современном духе, и может статься, как и прежде бывало, возникнет из той страны, откуда ее вовсе не ожидают; но до той поры, пока не настанет час ее появления, всякое честное мнение, каждый чистый и светлый ум должен молить об этом сочетании и вызывать его всеми силами. *Умеренность, терпимость и любовь* ко всему доброму, умному, хорошему, в каком бы цвете оно ни являлось, вот мое исповедание: оно, вероятно, будет и исповеданием возобновленного «Москвитянина».

Что же касается воспоминаний Чаадаева о Пушкине, которые, по мнению Погодина, могли бы украсить первую книгу возобновленного журнала, то вряд ли он успеет написать их к положенному сроку, хотя, несмотря на плохое здоровье, и хотел бы это сделать. Вместе с тем его одолевает сомнение: он знает, что сказать о покойном друге, но «как быть с тем, чего нельзя сказать?».

В ответном послании Погодин просит Чаадаева положиться на его цензурную опытность и писать о поэте по памяти и искреннему чувству — он уверен, что никаких изменений не понадобится. Он благодарен также Петру Яковлевичу за благосклонное согласие участвовать в «Москвитянине», объявление о котором, если бы раньше получил письмо, он украсил бы его словами об умеренности, терпимости и любви ко всему доброму, умному, хорошему. Однако ни мемуаров, ни статей «басманный философ» ни в этот журнал, ни в какой другой не давал: то ли они не складывались, то ли он вовсе не хотел ничего печатать. Номера же «Москвитянина» регулярно прочитывал, бывал у его издателя в гостях, где многое ему было знакомо издавна, ибо Погодин купил свой дом на Девичьем поле у его дяди Дмитрия Михайловича Щербатова, и где с любопытством рассматривал знаменитую коллекцию древностей хозяина, наносившего ответные визиты в ветхий флигель на Новой Басманной.

О живом обсуждении текущих вопросов общественной и литературной жизни говорят его постоянные встречи не только с близкими по философскому складу в мышлении Хомяковым и Киреевским, но и с молодыми учеными А. Н. Поповым, Ф. И. Чижовым, О. М. Бодянским, Ф. И. Буслаевым. Несогласные

полностью с позицией «Москвитянина» славянофилы решили издавать «Московский сборник», участие в котором Петра Яковлевича тоже оказалось желательным. «Московский сборник» прекраснейший, все его хвалят. Даже Чаадаев хочет дать статью в него, и Погодин тоже», — сообщал брату поэт Языков, чуть более года назад хуливший «торжественного изменника» и «красивого идола» в своих посланиях.

Как видим, страсти улеглись, обиды прошли, хотя и оставили в душе Чаадаева незаживаемый рубец. В письме к Самарину он признавался, что чувствует себя чужим в новом мире славянофильских идей и предпочел бы погибнуть скорее от одиночества, чем «от руки людей, которых я так любил, которых еще так люблю, которым посильно служил и хотел бы еще послужить…».

Еще более неопределенно, нежели с друзьями-противниками, складывались у Петра Яковлевича отношения с западниками, с которыми, как известно, он расходился в ряде важных мировоззренческих вопросов и в стане которых разногласия принимали жесткий характер. Грановского не устраивает атеизм Герцена и революционный максимализм Белинского, «торопившего» исторический прогресс и писавшего Боткину; «… дело ясно, что Робеспьер был не ограниченный человек, не интриган, не злодей, но ритор и что тысячелетнее царство божие утверждается на земле не сладенькими и восторженными фразами прекраснодушной жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьера и Сен-Жюстов». Революционный демократизм и социалистические убеждения Белинского сочетались с надеждой на капиталистическое развитие полупатриархальной страны. «Теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развитии в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию», — писал П. В. Анненкову умирающий от чахотки критик, совершавший ежедневно прогулку к вокзалу строящейся Николаевской железной дороги и с нетерпением ожидавший завершения работ.

Что же касается Герцена, то он еще воздерживается от окончательных суждений и оценок в разрешении столь принципиальных проблем и занят выяснением вопроса «кто виноват», показывая в повести под таким названием зависимость несовершенства бездействующей «лишней», но высоконравственной личности от условий и обстоятельств несовершенной общественной жизни. Виноватых надо «скорее искать в атмосфере, в окружающем, в влияниях и соприкосновениях, нежели в каком-нибудь нелепом психическом

устройстве человека». И взгляд Герцена устремлен с надеждой к иной атмосферо Запада, куда он уезжает в начале 1847 года с легким настроением, не подозревая о грядущих драматических разочарованиях. По рассказу мемуаристки, видевшей ого накануне отъезда в доме Грановского, он «вошел шумно, весело и крикнул: «Грановский, почему ты не обедал сегодня у Шевалье? Нам подали суп printanière[37], котлеты, спаржу и Чаадаева. Его остроты сыпались как фейерверк». За неделю до прощального вечера у Грановского Герцен передал Петру Яковлевичу с дарственно» надписью повесть «Кто виноват?».

17

Неизвестно мнение Чаадаева об этом нашумевшем сочинении, которое в силу определенных отличии мировоззренческих основ он не мог, конечно, принять целиком. А вот о другой, еще более бурно встреченной книге, в которой среди прочих ставился тот же вопрос, но разрешался противоположным образом, он высказался достаточно подробно. Это «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя. Отмечая в послании к последнему странную одновременность появления двух столь разных произведений, Аполлон Григорьев так представлял и оценивал основную мысль герценовской повести: «Виноваты не мы, а та ложь, сетями которой опутаны мы с детства. Сколько ума, расточенного на отрицание высшего двигателя человеческой деятельности — свободы и сопряженной с нею ответственности».

Об осознании этой ответственности каждой отдельной личностью и заводит речь Гоголь в своей книге, осмысляя пройденный творческий путь, споры славянофилов и западников о судьбах России и Европы, всего человечества, думая вслед за Чаадаевым и другими предшественниками над «тайной времени». А время, по мнению Гоголя, наступает такое, когда в искусстве сатира пли просто верное изображение действительности с точки зрения современного светского человека не трогают глубоко душу: «Богатырски задремал нынешний век». В атмосфере этого сна, этого забвения высших ценностей бытия, бесполезно чистое художество, явным и сердечным образом не связанное с общественно-нравственными запросами и идеалом. Поэзия, считает Гоголь, обязана участвовать в высшей битве — не за временную свободу, права и привилегии, а за человеческую душу, в которую для ее исцеления необходимо вернуть забытые и отвергнутые святыни.

Дела искусства определяются а еще одной особенностью времени, когда — парадокс! — «уснувшее человечество» «бежит опрометью, никто не стоит на месте». Подобно Чаадаеву, Гоголь озадачен галопирующей сменой разных веяний и тенденций в скачках бурной эпохи. Сегодня гегелисты, завтра шеллингисты, потом опять какие-нибудь «исты», замечает писатель, подчеркивая, что быстротечная смена модных идей лишь усиливает «дух нестроения» во времена борьбы старого с новым и еще более усыпляет способность человека видеть жизнь в абсолютных измерениях. Умножение различных начал, из которых строится жизнь, несходство верований, образования и

воспитания и т. п. приводят к развитию разнородных и противоречивых сил, каждая из которых принимается за панацею от всех бед. Отсюда, продолжает Гоголь, происходит необдуманное стремление преобразовывать, исправлять и вообще торопиться с выводами и средствами в борьбе против зла. Такая торопливость определяет самоуверенную односторонность, приводящую к ущербности духовного зрения (а то и к фанатизму) во всех сферах общественной деятельности.

Люди начали было думать, что «образованием выгонят злобу из мира, а злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир — дорогою ума». Никогда, замечает с горечью писатель, гордость ума не возрастала в такой степени, как в девятнадцатом веке, когда человек во всем сомневается, кроме своего ума: «Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движения и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть, и, стало быть, знать то, чего он не может знать. Не верит он этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь… Уж ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума начались: уже враждуют лично из-за несходства мнений, из-за противоречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных отношений еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие…»

Все сословия, продолжает писатель, перессорились точно кошки с собаками, и даже честные люди оказались в раздоре: «Только между плутами видится что-то похожее на дружбу или соединение». Почему же, несмотря на полуторастолетнее заимствование европейского просвещения, спрашивает Гоголь, раздирается его сердце от заунывных звуков тоскливой русской песни в пустынных и бесприютных пространствах? Отчего «неприветливо все вокруг нас, точно как будто мы до сих пор еще не у себя дома, не под родною нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братиев, но какою-то холодною, заснеженною вьюгою почтового станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего это? Кто виноват?»

В подобных вопросах слышатся интонации первого философического письма. Чтобы ответить на них, надо, по мнению Гоголя, честно выявить все скрытые противоречия и

разнородные начала современности и спокойно осмотреть их «многосторонним взглядом старца… Мы ребенки пред этим веком. Поверьте мне, что вы и я равно виноваты пред ним». Эти слова выражают убеждение Гоголя, что каждый человек виноват в распространении зла в мире в меру отсутствия всеобъемлющей мудрости, света в собственной душе, бескорыстной любви к людям. Виноват пропагандист высоких истин, невольно обращающий их от частого повторения в общие места, которым уже не верят. Виноват литератор, искренне проповедующий добро и находящийся под влиянием страстных увлечений, досады, гнева, группового или личного нерасположения к кому-либо и тем самым вызывающий не всегда и не сразу заметный обратный эффект. Еще более виноваты они оба, когда показывают пример несогласованности знания и жизни, слова и дела, которая, по убеждению писателя, более всего развращает нравственное сознание окружающих и обрекает на провал самые высокие, самые гуманные начинания. «Стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище», — обращается он к сеятелям разумного, доброго, вечного, чья проповедь тогда станет не только полезнее, но и мудрее.

Писателя мучила мысль, что и его творчество несет элементы несовершенства и порождает тем самым косвенные преступления, когда будоражит собственное тщеславие, вызывает зависть литературных соперников, провоцирует споры почитателей и хулителей. Мы виноваты, вы виноваты, ты виноват, я виноват, говорил Гоголь современникам, что не можем пока увидеть «нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были различных мыслей, образов воспитания и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине».

Велик был нравственный запрос Гоголя прежде всего по отношению к самому себе, неразрешима, как писал Чаадаев, «задача невозможного примирения добра со злом». Проповедь абсолютно нравственного подхода к жизни при окончательной неустроенности собственной души порождала не только искреннюю исповедь, но и высокомерные поучения, школярское отчитывание ближних, фарисейское морализаторство. Подобные противоречия затрудняли точное восприятие «Выбранных мест из переписки с друзьями», возбудивших общество не менее «телескопского» письма Чаадаева.

По свидетельству Шевырева, «в течение двух месяцев по выходе книги Гоголя она составляла любимый живой предмет всеобщих разговоров. В Москве не было вечерней беседы, где бы не толковали о ней, не раздавались бы жаркие споры, не читались бы из нее отрывки». Толки были самые разные: говорили о саморекламе и тщеславии автора, о его неискренности и склонности к мистификации, о низкопоклонстве и даже, как когда-то с Чаадаевым, о сумасшествии. Отдельные из подобных замечаний были верны в частных приложениях, при взгляде на книгу Гоголя как на бессвязное соединение общих мест и морализаторских предписаний. Но в ней заключалось и внутреннее единство, которое и являлось для Чаадаева ключом к пониманию «Выбранных мест из переписки с друзьями». Именно оно помогало «басманному философу», несмотря на прежние духовные недоразумения, искать и находить, в отличие от многих современников, пути к их правильному пониманию. Петр Яковлевич видел в необычном сочинении Гоголя определенную и близкую ему строгую иерархию, где личная боль и самоанализ обусловлены заботой об общем деле, о должном предназначении искусства и литературы, а общее дело вытекает из высших и абсолютных представлений о бытии и судьбах человеческого рода. Искренность и подлинность этой целостной соподчиненности в книге не вызывали у него никакого сомнения.

Читатели и почитатели прежнего Гоголя, замечал Чаадаев в ходившем по рукам письме к Вяземскому от 29 апреля 1847 года, так озлоблены против него, словно не могут простить ему перехода от чисто художественного творчества к прямой нравственной проповеди и исповеди. Но ведь художник не частный человек, ему невозможно и не должно скрывать свои самые заветные чувства, и Гоголь стал говорить о них «по вековечному обычаю писателей, питающих сознание своего значения». Не одним словом, но и душой, продолжал Петр Яковлевич, писатель «принадлежит тому народу, которому посвятил дар, свыше ему данный». И читателю следует объективно оценить, как Гоголь распорядился этим даром в своей проповеди, в которой «при слабых и даже грешных страницах есть страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной». Надо понять «необходимость оборота, происшедшего в мыслях автора», уяснить значение его попытки «сказать нам доброе и поучительное слово», определить важность его книги «в нравственном отношении».

А доброе и поучительное слово Гоголя Чаадаев ценил очень высоко. «Для того, чтобы писать хорошо на нашем языке, — замечал он в письме к А. И. Тургеневу, — надо быть

необыкновенным человеком, надо быть Пушкину или Карамзину». Необыкновенным человеком, то есть призванным через русское слово к прямому писательскому участию в деле совершенствования жизни, Чаадаев считал и Гоголя. Обсуждая в письме к Вяземскому отдельные страницы и темы «Выбранных мест…», Чаадаев замечал, «что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся».

Сам он находил в книге много полезных в нравственном отношении мыслей, сходных к тому же с его рассуждениями об истории, искусстве и даже о конкретных литературных произведениях. Так, и Чаадаев и Гоголь почти одинаковыми словами передают свое впечатление от простоты пушкинской прозы. «Сравнительно с «Капитанскою дочкой», — замечал последний, — все наши романы и повести кажутся приторною размазнею. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую ступень, что сама действительность кажется перед нею искусственною и карикатурною».

И не Чаадаева ли в числе прочих имел в виду Гоголь, когда с удовлетворением отмечал перемену в «современной близорукости». «Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде, во всякой вещи хотел увидеть ее глубокий смысл и значение: движение, вообще показывающее большой шаг общества вперед». И не автору ли первого философического письма относился упрек автора «Выбранных мест…», показывающего изъяны «большого шага», общего философического взгляда на историю: «От этого произошла торопливость делать выводы и заключения из двух-трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены».

Чаадаев, как известно, стремился, словно предугадывая упрек Гоголя, преодолеть односторонность торопливых выводов о прошлом и будущем своей страны. Но ему, как и Гоголю, чужда противоположная крайность, когда некоторые из славянофилов, в свою очередь, не взвешивали и не соображали все стороны, не видели сравнительно с Европой никаких противоречий на историческом пути России. «Многие у нас, — писал Гоголь, — уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы, мы лучше вас!» Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь». Гоголь, как известно, призывал вскрывать и трезвым пониманием уничтожать национальные

недостатки, но одновременно помнить об изначальных «вертикальных» чертах в «коренной природе нашей нами позабытой», которые способствуют просветлению всего духовного состава человека и «побратанию людей». С этим призывом был согласен и Чаадаев, видевший, как уже говорилось, залог высокой судьбы России в душевно-духовных свойствах «коренной природы нашей» и находивший несоответствие между «гордым патриотизмом» и «заветами старины разумной», «всеми нашими вековыми понятиями и привычками».

Сходное несоответствие, писал Чаадаев Вяземскому, обнаруживается и между духовным устремлением самого Гоголя к нравственному совершенству и высокомерием, самодовольным тоном «Выбранных мест…», который изнутри подрывает благую цель. Но подобное несоответствие характерно и для собирательной, синтезирующей мысли Чаадаева, содержанию и направлению которой нередко противоречило гордо-индивидуалистическое поведение ее проповедника. Так что внутренний диалог между автором философических писем и автором «Выбранных мест…» был гораздо сложнее высказанного ими публично и простирался в своем общественном значении в грядущие поколения.

Оба они, и Гоголь и Чаадаев, в тяжелой борьбе с сопротивляющимся временем и с собственной несовершенной природой горели, говоря словами автора «Выбранных мест из переписки с друзьями», «желанием лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания своего человек», и мечтали хотя «день провести не в событиях девятнадцатого века, но в событиях вечного века».

Однако понимание Гоголя у Чаадаева оказывалось все-таки скорее теоретическим, и Петр Яковлевич в гораздо меньшей степени был озабочен проблемой собственных «косвенных преступлений» на пути осуществления абсолютных желаний и мечтаний. Трудно предположить, чтобы с его уст сорвались слова «я виноват», хотя позднее он будет все больше думать об этом. Петр Яковлевич уверен в своей исторической значимости, о которой должны знать потомки и к которой причастны входящие с ним в отношения люди. Е. Д. Щербатова передает его мнение, что имеющие честь переписываться с ним войдут в историю, которая по достоинству оценит его заслуги. Чаадаев сердится, когда кто-то не понимает этого, как, например, один француз, своеобразно засвидетельствовавший ему в письме свое почтение. «Он, — жалуется Петр Яковлевич Елизавете Дмитриевне, — поставил меня в хвосте целого ряда лиц, которых он знает только со вчерашнего дня. Я отлично понимаю, что его шарлатанство не находит более в моей личности того интереса, который он некогда находил в ней, но все-таки следовало бы соблюдать приличия…»

Петру Яковлевичу нравится передавать близким людям заранее продуманные письма к приятелям, что, по справедливому суждению исследователя, служило удовлетворением его «публицистических потребностей, его жажды быть услышанным возможно большим кругом лиц, а не просто рисовкой или тщеславием выдающегося ума, искавшего поклонения среди верных ему, хотя… и такой мотив играл некоторую роль в этой привычке распространять копии собственных писем». Вяземский вспоминал об одном случае, рассказанном ему Тютчевым, которого Петр Яковлевич заманил в свою «Фиваиду» и прочитал ему «длинную, нравоучительную и несколько укорительную грамоту» к А. И. Тургеневу. Затем хозяин спросил гостя: «Не правда ли, что это напоминает письмо Руссо к парижскому архиепископу»?

Среди знакомых и почитателей Чаадаева, особенно усердно переписывавших его отосланные и неотосланные послания, находился Сергей Дмитриевич Полторацкий, крупный библиофил и библиограф, чье имя хорошо знали в России и за границей. «Доброму моему другу Полторацкому», — подписывает Петр Яковлевич копию цитированного письма к Вяземскому, касающегося «Выбранных мест из переписки с друзьями», Страстный книголюб часто ездил во Францию, что также

сближало его с «басманным философом», который давал ему поручения за границу и получал через него известия от парижских знакомых. Одно из таких поручений, вроде бы незначительное само по себе, было важно для Чаадаева, заботившегося о том, чтобы его существование не исчезло из памяти современников и потомков.

Как когда-то выход из угнетенного состояния знаменовался широким появлением в обществе, распространением философических писем и публикацией одного из них, так и тяжелый кризис середины 40-х годов во многом облегчался врачующей тщеславие умственной деятельностью, копированием неоконченных фрагментов и посланий. Как бы еще одним способом исцеления с помощью этих средств является стремление Петра Яковлевича дарить в большом количестве свое изображение разным людям.

Тютчев, в числе первых получивший один из его портретов, рассказывал Феоктистову, автору известных мемуаров «За кулисами политики и литературы», о взаимоотношениях Чаадаева и молодого талантливого живописца, для которого работа над портретом «басманного философа» делалась мучением, ибо пришлось раз пятнадцать переделывать ее по просьбе Петра Яковлевича.

Портрет, более всего понравившийся ему, Петр Яковлевич задумал литографировать, однако в Москве не нашелся хороший мастер. Он просит Тютчева найти в Петербурге самого лучшего мастера, замечая одновременно с легкой иронией и едва заметным самолюбованием, что друзья уже давно требуют от него «мое бедное изображение». Но, видимо, и в северной столице мастера оказались не совсем пригодными, и Полторацкий увозит портрет в Париж. Заказанная литография не удовлетворила ни Сергея Дмитриевича, ни Петра Яковлевича. По свидетельству последнего, знатоки находили ошибку в гравюрном оттиске. Вторая попытка с использованием тонкой китайской бумаги показалась Полторацкому более удачной, и он отправил морем 200 литографий Чаадаеву, обещая привезти подлинник в полной сохранности.

19

В те самые месяцы 1848 года, когда Сергей Дмитриевич стремился как можно лучше выполнить просьбу друга, во Франции происходили революционные события, охватившие вскоре почти всю Европу. Русские, долго не бывшие на родине и узнававшие в Париже от Герцена о жизни в России, удивлялись, что его новости относились больше к литературному и университетскому миру, чем к политической сфере. По словам автора «Былого и дум», они «ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах (при Николае!), об оппозиции (в 1847!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов и даже семинаристов».

Но пока умы Москвы и Петербурга были заняты общегуманитарными разговорами и спорами о лучших путях исторического развития, действия партий и оппозиций в европейских столицах вносили свой вклад в разрешение «тайны времени». В феврале 1848 года Шевырев спрашивал Погодина: «Слышал ли ты, что произошло в Париже? Ужас! Король прогнан и скрывается. Пале-рояль сожжен. Париж опять вверх дном… Что будет в Европе?» А в Европе проходили заседания клубов и народные манифестации, распространялись афиши и прокламации, соединялись и разъединялись буржуазия, интеллигенция, рабочие, строились баррикады и не смолкали выстрелы. Находившийся в восставшей французской столице бывший сосед Петра Яковлевича в левашевском доме Бакунин испытывал, по его собственным словам, состояние «духовного пьянства»: «Я вставал в пять, в четыре часа поутру, а ложился в два; был целый день на ногах, участвовал решительно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, прогулках, демонстрациях — одним словом, втягивал в себя всеми чувствами, всеми порами упоительную революционную атмосферу. Это был пир без начала и конца; тут я видел всех и никого не видел, потому что все терялись в одной бесчисленной толпе, — говорил со всеми и не помнил, что сам говорил, ни что мне говорили, потому что на каждом шагу новые предметы, новые приключения, новые известия». Застигнутый вихрем политических бурь в чужих краях, Жуковский сообщая А. Я. Булгакову в Москву: «Что скажешь о скачке по железной дороге политического мира?.. Бывало, такие события происходили в течение веков. Ныне хронология переменилась. Дни стали веком. Это значит, что скоро наступит вечность… Россия есть теперь

убежище покоя».

В словах Жуковского характерно сходное с Чаадаевым, Гоголем и другими современниками восприятие времени в 40-х годах как убыстряющегося, «скачущего», захватывающего в свой водоворот все большие массы народа, перемешивающего и бросающего их непонятно куда. На железную дорогу, образ которой использует поэт, возлагал, как известно, иные надежды Белинский. Да и Петр Яковлевич еще в 1846 году видел в ней, хотя и с сомнением, возможный символ сближения и братания народов. Но после европейских революционных событий, за которыми он внимательно следил, его сомнения и растерянность перед завихряющимся временем лишь усиливаются.

Полторацкий, как очевидец событий, сожалел, что Чаадаев сам не может наблюдать их, сообщает ему о «бурях и смутах», поражающих воображение. Петр Яковлевич просит Сергея Дмитриевича писать подробнее о происходящих событиях, а также — навестить «старого друга Шеллинга и узнать, что с ним происходит в эпоху всеобщего смешения всех явлений в мире». Философское царство немецкого мыслителя, считает Петр Яковлевич, должно быть сильно поколеблено в годину свержения стольких монархий.

Сведения о событиях в Париже, Берлине и других европейских городах Чаадаев узнает также из газет, зарубежные сводки из которых жадно поглощаются в Английском клубе, читальнях, кондитерских. По свидельству барона Корфа, мир политики глубоко захватил русское общество, и где собиралось несколько человек, там непременно речь заходила о современных процессах на Западе.

Узнавая новости от Полторацкого, Петр Яковлевиче горечью рассуждал в неопубликованном послании к нему 1848 года о «бедном человечестве, снова впавшем в варварство, уничтожающем себя в анархии, потопляющем себя в крови». На следующий год он также признавался Хомякову: «Гнушаюсь тем, что делается в так называемой Европе».

Об отношении Петра Яковлевича к революционным событиям на Западе красноречиво свидетельствует и его письмо к Федору Ивановичу Тютчеву, называвшему «басманного философа» человеком, которому он более чем кому-либо возражает, но которого более всех любит.

20

Получив через несколько лет после смерти Чаадаева, как и прочие упомянутые современники, изображение его кабинета, Тютчев, благодаря Жихарева, писал: «Не без умиления узнал я в присланной вами фотографии знакомую, памятную местность — этот скромный, ветхий домик, о котором незабвенный жилец его любил повторять кем-то сказанное слово, что весь он только одним духом держится.

И этим-то его духом запечатлены и долго держаться будут в памяти друзей все воспоминания, относящиеся к замечательной, благородной личности одного из лучших умов нашего времени».

После 22-летней дипломатической службы за границей Федор Иванович в 1844 году поселился в Петербурге и стал, по словам Вяземского, «львом сезона». Умный собеседник, знавший изнутри европейскую культуру, любил светскую жизнь и невольно привлекал к себе внимание на балах и раутах. Напоминая внешне в этом отношении Петра Яковлевича, он по своему духовно-психологическому складу являлся его прямой противоположностью. По словам И. С. Аксакова, в основе характера Тютчева жило искреннее смирение. Смирение как «постоянное сознание ограниченности человеческого разума и как постоянное же сознание личной нравственной немощи. Он возводил *смирение* в степень философско-нравственного исторического принципа. Поклонение человеческому «я» было вообще, по его мнению, тем лживым началом, которое легло в основание исторического развития современных народных обществ на Западе».

И Чаадаев, как известно, обличал это лживое начало, проникавшее тем не менее в его теорию и жизнь. Противоречия мучили и Тютчева, у которого, как замечает И. С. Аксаков, предельное сознание ограниченности человеческого разума не восполнялось всецело управляющим волей «живительным началом веры»: «В этой двойственности, в этом противоречии и заключался трагизм его существования. Он не находил ни успокоения своей мысли, ни мира своей душе. Он избегал оставаться наедине с самим собой, не выдерживал одиночества и как ни раздражался «бессмертной пошлостью людской», по его собственному выражению, однако не в силах был обойтись без людей, без общества, даже на короткое время».

Среди людей, общество которых привлекало Федора Ивановича, находился и Петр Яковлевич. Последний, замечает племянник, «не мог не ценить ума и дарований Тютчева, не мог

не любить его, не мог не признавать в Тютчеве человека вполне европейского, более европейского, чем он сам, Чаадаев; пред ним был уже не последователь, не поклонник западной цивилизации, а сама эта цивилизация, сам Запад в лице Тютчева, который к тому же и во французском языке был таким хозяином, как никто в России, и редкие из французов». И тем необъяснимее казались «басманному философу» речи поэта, напоминавшие ему славянофильские рассуждения: «Чаадаев глубоко огорчался и даже раздражался таким неприличным, непостижимым именно в Тютчеве заблуждением, аберрациею, русоманиею ума, просветившегося знанием и наукою у самого источника света, непосредствен по от самой Европы».

О степени взаимных огорчений и раздражений, до которой возрастали теоретические дебаты Петра Яковлевича и Федора Ивановича, свидетельствует Жихарев: «Их споры между собой доходили до невероятных крайностей. Раз, среди Английского клуба, оба приятеля подняли такой шум, что клубный швейцар, от них в довольно почтенном расстоянии находившийся, серьезно подумал и с благим матом прибежал посмотреть, не произошло ли в клубе небывалого явления рукопашной схватки и не пришлось бы разнимать драку».

Конечно, не все споры заканчивались так бурно, а иной раз Чаадаеву приходилось и соглашаться с Тютчевым. В связи с европейскими волнениями весной 1848 года Тютчев составил одобренную Николаем I записку «Россия и революция», напечатанную в Париже в следующем году. Петр Яковлевич прочитал ее еще в рукописи и знакомил с ней московское общество летом 1848 года. Посылая статью Шевыреву и желая, чтобы тот дал ее прочесть Погодину, Чаадаев замечал: «Прочитав, увидите, что вещь очень любопытная. Жаль, что нет здесь Хомякова: послушал бы его об ней толков. Если сами ко мне не пожалуете в понедельник, то пришлите тетрадку». Видимо, на очередном журфиксе Петр Яковлевич собирался обсудить записку Федора Ивановича, который ставил близкий для многих посетителей ветхого флигеля вопрос о судьбах России и Европы в несколько иной плоскости и в более резкой форме: «Уже с давних пор в Европе только две действительные силы, две истинные державы: Революция и Россия. Они теперь сошлись лицом к лицу, а завтра, может, схватятся. Между тою и другою не может быть ни договоров, ни сделок. Что для одной жизнь — для другой смерть. От исхода борьбы, завязавшейся между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества».

Революция для автора есть такое явление европейского духа,

в основе которого лежит возведение в политическое и общественное право самовластие человеческого «я», не признающего иных авторитетов, кроме собственного волеизъявления.

Сила России, считает автор записки, заключается в противоположных началах смирения и самоотречения, призванных предохранять историческое развитие от разрушительных последствий.

Подобная постановка вопроса произвела на Чаадаева сильное впечатление. Он писал Тютчеву: «Как вы очень правильно заметили, борьба, в самом деле, идет лишь между революцией и Россией: лучше невозможно охарактеризовать современный вопрос». Однако Петра. Яковлевича удивляет не то, что европейские умы «под давлением неисчислимых потребностей и необузданных инстинктов» не постигают этого, а то, что «мы до сих пор не осознали нашего назначения в мире».

Пытаясь разобраться, Чаадаев возводит современную социальную драму к религиозной драме XVI века, когда гордый человеческий разум в протестантизме восстал против авторитета предания, внес анархию в религиозные идеи и «обрушился на самые основы общества, отвергнув божественный источник верховной власти».

Русские, продолжает Петр Яковлевич, были беспристрастными свидетелями происходивших тогда событий и могли воспользоваться их уроками. Но не воспользовались, а, напротив, безоглядно устремились к очагам европейских ценностей, познакомившись с которыми забыли свои отечественные идеи, старинные обычаи, почтенные традиции. Спокойно претерпевая последовательное ниспровержение своих вековечных учреждений, «мы почти целиком отреклись от всего нашего прошлого, мы сохранили одни только наши религиозные верования. Правда, эти верования, составляющие самое сокровенное нашего социального бытия, были достаточны, дабы оградить нас от нашествия самых негодных принципов иноземной цивилизации, против дыхания самих зловредных ее истечений, но они были бессильны развить в нас сознание той роли, которую мы были призваны выполнить среди народов земли».

Подчинившись игу этой цивилизации, пишет Чаадаев, «мы все же сохранили доблести наших отцов, их дух покорности, их привязанность к государю, их *пристрастие к самоотречению*, но в то же время идея, *заложенная в нашей душе рукой провидения*, в ней не созревала. Совершенно не сознавая этой великой идеи, мы изо дня в день все более поддавались новым влияниям…»

По словам Петра Яковлевича, чреда революционных

катаклизмов в Европе XVIII–XIX веков, обнаруживших преимущества социального существования в России и раскрывавших ее высокое предназначение, снова ничему не научила, а лишь еще более затемнила сознание русских. «И если в настоящее время некоторое пробуждение национального начала, некоторый возврат к старым традициям, которые составляли счастие наших отцов и были источником их доблестей, обнаруживаются среди нас более или менее явственно, приходится сознаться, что это явление лишь назревает и что оно в настоящее время носит лишь характер исторического изыскания, литературного течения, совершенно неведомого стране».

Записка Тютчева заставила Чаадаева вновь заговорить о вселенской миссии России и природных свойствах русского народа, над которыми он в зависимости от контекста идейных споров, смены собственных настроений и убеждений, то серьезно размышлял в положительном смысле, то язвительно иронизировал. В послании к Федору Ивановичу Петр Яковлевич выступает более радикально, нежели автор записки и славянофилы, сетуя на недостаточную внедренность в жизнь их религиозно-культурных исследований, которые он называл ранее с насмешкой «попятным развитием» и «ретроспективной утопией», а теперь в революционные годы считает важным началом для осознания высокого призвания России.

Однако уже следующая статья Тютчева «Папство и римский вопрос с русской точки зрения», в которой он лишь продолжил логику первой статьи, вызвала возражения Чаадаева. В ней автор, как бы следуя за мыслью письма Петра Яковлевича и одновременно полемизируя с его общими воззрениями периода философических писем, идет еще глубже в историю для определения истоков современных событий. По мнению Федора Ивановича, корень революции как апофеоза человеческого «я» следует искать в отделившейся от вселенской римской церкви, отождествившей собственные интересы с интересами самого христианства и переиначившей завет Спасителя: «Царство мое не от мира сего» в устроение «царства мира сего».

Статья Тютчева, напечатанная в парижском журнале, наделала много шума за границей, а Чаадаев, по свидетельству современников, собирался написать на нее опровержение, так, по-видимому, и не сочиненное, но отчасти выраженное в его письме к княгине Долгоруковой. Петра Яковлевича явно не устраивает столь дальний экскурс в истоки европейской революционной ситуации, задевающий центральный нерв его «одной мысли», и он приводит аргументы в оправдание превращения западной церкви в «политическую силу», в «государство в государстве». Без такого

превращения, обусловленного, как он считает, исторической необходимостью, обществу и цивилизации угрожала бы гибель от наступления мощных сил варварства, с которыми, более покорная властям, более духовная и более совершенная церковь могла и не справиться. «Не папство создало историю Запада, как, кажется, думает наш приятель Тютчев, а, напротив, самая история и создала папство». Таким образом, светское могущество римских первосвященников оказалось неизбежным историческим результатом, который для них явился сначала тяжелым испытанием, но которым они затем «злоупотребили из-за естественных свойств человеческого сердца».

Когда вопрос уперся в извечные свойства человеческого сердца, дальнейшие рассуждения Петра Яковлевича в письме к Долгоруковой о царстве божием на земле, о сохранении европейской культуры от варваров как «залоге» мирового прогресса принимали характер двусмысленной незаконченности. Чаадаев сознавал ее, а потому, вероятно, и не стал сочинять опровержение в адрес самого Тютчева, чья статья пробудила в нем вспышку погасшего было интереса к излюбленным положениям из давнишнего цикла философических писем. Незаконченность мыслей и чувств продолжает оставаться тяжелым уделом Петра Яковлевича в осмыслении все новых загадок убыстряющего свой темп времени.

21

Возражая Тютчеву теоретически в границах своих прежних категорий, Чаадаев в практическом плане думает лишь о сохранении покоя в мире и наведении порядка в Европе. Говоря в письме Хомякову о подавлении русскими войсками в 1849 году мятежа в Венгрии, он как бы повторяет интонации цитированного письма к Тютчеву, вновь заводит речь о необходимости сознания «нашего высокого призвания спасти порядок, возвратить народам покой, научить их повиноваться властям так, как мы сами им повинуемся, одним словом, внести в мир, преданный безначалию, наше спасительное начало». В послании к М. А. Дмитриеву он рассуждает о созданной своеволием человека действительности, которая «никуда не годится».

Безначалие и отсутствие порядка, жалуется Петр Яковлевич в 1851 году находящемуся за границей Жуковскому, затрагивают и российскую современность, хотя она и не такая беспутная, «как ваше басурманское время». На словах и на бумаге, в приятельской беседе и перед публикой, замечает он, торжествует вранье и совершенная безнаказанность. И хотя, намекает он на славянофилов, за последнее десятилетие многое узнано из того, о чем «прежде и слуха не было», новое знание или поражено бесплодием, или выражено на непонятном для читателя наречии. Тоскуя по бесспорным авторитетам в общественном мнении и признавая таковой в Жуковском, Чаадаев призывает его: «Приезжайте с нами пожить, да нас научить. Зажились вы в чужой глуши, право, грех… Не поверите, как мы избаловались с тех пор, как проживаем без пестунов. Безначалие губит нас. Ни в печатном, ни в разговорном круге не осталось никого из той кучки людей почетных, которые недавно еще начальствовали в обществе и им руководили, а если кто и уцелел, то дряхлеет где-нибудь в одиночестве ума и сердца. Все у нас нынче толкуют про какое-то направление: не направление нам нужно, а правление…»

Копия послания к Жуковскому, написанного и с целью распространения в московских и петербургских салонах, оказалась также в руках Ф. Н. Глинки, который читал ее с тройным удовольствием — как чистую русскую прозу, очерк современных нравов и поучение. «Мне показалось, — хвалил Федор Николаевич Петра Яковлевича в неопубликованном письме, — что я слышу Гостомысла, вызывающего Рурика. Так и слышишь слова: «Земля наша пространна и богата, да нет в ней порядка!» Будете ли вы так счастливы, как Гостомысл? Приедет ли Рурик из Баден-Бадена володети русской землей, то есть

литературой? А худо без Рурика! Что разговор, то спор; что спор, то ссора; а дело от этого не выигрывает. Петербургские нахалы бьют московскую усобицу по носам и набегают как половцы, пользуясь семейными раздорами. Авторитет великое дело: он ставит все на свое место. Теперь у нас: «Кто раньше встал, тот и капрал». Все колеса спрыгнуты с осей, и всякому колесу хочется на чужой оси повертеться. Вот наше положение. Вызывайте же, вызывайте же Рурика из Баден-Бадена и напечатайте, непременно напечатайте ваше мастерское письмо».

Однако письмо Чаадаева не было напечатано, находившийся в Баден-Бадене больной Жуковский, едва успев поблагодарить его за добрые слова, скончался, а колеса жизни вертелись все быстрее и соскакивали со старых осей: открывались новые ландшафты времени и ставились все новые вопросы, на которые следовало искать и новые ответы. К числу таких вопросов относились социалистические идеи, которыми Петр Яковлевич интересовался и раньше, изучая с карандашом в руках труды Фурье и Оуэна, но которые после революционных событий в Европе 1848 года и ареста членов кружка Петрашевского весной 1849 года в Петербурге принимали в его глазах ужо далеко не теоретическое значение.

Герцен, вызывавший удивление у живших за границей соотечественников рассказами об отсутствии в России политических партий и кружков, возможно, знал, что с середины 40-х годов в северной столице на квартире М. В. Буташевича-Петрашевского образовался своеобразный политический клуб, где по пятницам собирались литераторы, студенты, чиновники, офицеры и обсуждали проблемы утопического социализма, пути их действенного решения. После европейских волнений разговоры все чаще заходили об устройстве тайной типографии, подготовке массового восстания и т. п.

Свойственное человеческому сердцу и проявляющееся в самых разнообразных формах право на своекорыстие перед лицом революционных событий конца 40-х годов и практического освоения социалистических идей осознавалось особенно совестливыми людьми как личная вина.

«Французский коммунизм должен был возникнуть, — замечал А. И. Кошелев, сам богатый человек, — потому что деньги сделались идолом всех и каждого, чрезмерное богатство некоторых и совершенная бедность прочих должны были породить нелепую мысль французского коммунизма. В христианском государстве французский коммунизм был бы невозможен; он силится взять то, что каждый христианин по совести должен сам положить к ногам своей братии». Уставший

от разговоров и споров Хомяков писал, что несмотря на самую пылкую любовь к России, тот является ее врагом, кто владеет крепостными соотечественниками, одуряет народ собственными барскими привычками и европейским комфортом, лишает себя и других возможности прочного укрепления в жизни истинного просвещения.

Подобные интонации слышатся и в размышлениях Чаадаева. «Социализм победит, — заявляет он решительно в одном из фрагментов, — не потому, что он прав, а потому, что мы не правы…» Петр Яковлевич рассуждает о естественном праве рабочих пользоваться многочисленными благами цивилизации, породившей во всех классах общества новые, требующие удовлетворения, потребности. «Рабочий хочет иметь досуг, чтобы так же, как и вы, иногда побеседовать с друзьями… прочесть новую книгу… посмотреть новую пьесу. Он, конечно, неправ, но тогда почему же вы так старались распространить просвещение, организовать начальное обучение, сделать науку всякому доступной? Следовало оставить массы в их грубом невежестве. Средства, пускаемые в ход обездоленными массами для завоевания земных благ, без сомнения, скверны, но думаете, ли вы, что те, которые феодальные сеньоры использовали для своего обогащения, были лучше?.. Бедняк, стремящийся к малой доле достатка, который вам девать некуда, бывает иногда жесток, это верно, но никогда не будет он так жесток, как жестоки были ваши отцы — те именно, кто сделал из вас то, чем вы есть; кто наделил вас тем, чем вы владеете».

На мысли о справедливом возмездии для обладателей земных благ наводят Чаадаева среди прочих фактов и распространявшиеся в России листовки. Одна из них оказалась у Петра Яковлевича, и он сделал с нее собственноручную копию: «Братья любезные, братья горемычные, люди русские, православные, дошла ли до вас весточка, весточка громогласная, что народы выступили, народы крестьянские взволновались, всколебались, аки волны окиана-моря, моря синего! Дошел ли до вас слух из земель далеких, что братья ваши, разных племен, на своих царей-государей поднялись все, восстали все до одного человека! Не хотим, говорят, своих царей, государей, не хотим их слушаться. Долго они нас угнетали, порабощали, часто горькую чашу испивать заставляли. Не хотим царя другого, окромя царя небесного».

Встреча Петра Яковлевича с попадьей из тетушкиной деревни, которую обокрали в богадельне и которая, обратившись за помощью к Е. Д. Щербатовой, не только не получила ни копейки, но даже не была принята, служит подтверждением

нового поворота его мыслей. «По-видимому, доступ к богатым окончательно воспрещен беднякам, — пишет он двоюродной сестре. — Удивляйтесь после этого кровавой республике и смутам, волнующим весь мир».

Мы не правы, обращается он к современникам, распространяя среди них копии своей проповеди «Воскресная беседа сельского священника, Пермской губернии, села Новых Рудников», ибо стремимся обезопасить собственное «я» имуществом и богатством, а попросту говоря, не исполняем заповедей и тем самым не прерываем цепь зла в мире. Избрав эпиграфом к проповеди евангельские слова о том, что «удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие», Чаадаев призывает прекратить неумеренное стяжательство, раздать имущество бедным и последовать за Христом: «Отрешитесь от богатств своих, докажите совершенное презрение свое к тем земным благам, которых излишество, если и не заключает в себе собственно греха, то всегда и необходимо бывает источником его; без того не видать вам царствия Божия; золото ваше есть непреодолимая преграда, вас с ним разлучающая…»

Свою проповедь Чаадаев подписал именем Петр Басманской, раздавал ее копии Е. А. Свербеевой, М. Н. Лонгинову, другим знакомым, в числе которых оказался и Шевырев. Степан Петрович любил рассказывать Петру Яковлевичу при встречах на вечерних прогулках в Сокольниках о прочитанных местах из «Четьих Миней», а тот озадачивал собеседника вопросами об исполнении заповедей. Эпиграф, выбранный автором «Воскресной беседы…», признается Шевырев в письме к Чаадаеву, является одним из труднейших текстов Евангелия для применения в жизни. «Главная трудность в определении самого богатства. Человек, имеющий копейку, уже богач в сравнении с тем, который ее не имеет. Всей он отдать не может, потому что с голоду сам умрет, но должен отдать половину, потому что важно любить ближнего не более самого себя. Если бы все богачи так поступали, то не было бы нищих…»

Читая эти несколько казуистические строки, Петр Яковлевич еще раз убеждался, как велико и трудноодолимо расстояние между «мышлением» и «чтением», с одной стороны, «жизнью» и «поведением» — с другой. Не мог он не думать и о мучительном разрыве между собственными призывами и действиями. Путь от «мы виноваты» к «я виноват» оказывался настолько великим, что последние слова как-то и не произносились вслух.

22

Главные трудности, вопреки суждению Степана Петровича, опять-таки упирались в извечные свойства человеческого сердца, потребности которого искали своего удовлетворения. Петру Яковлевичу невозможно отказаться от ласкающих тщеславие привычек выделяться в обществе и изысканно одеваться, что, вызывая раздражение и зависть окружающих, не только не способствует сближению с ними, но и требует обличаемого им самим богатства. Чаадаев уже приближался к 60-летнему возрасту, а, как и много лет назад, ездил на Тверскую или на Кузнецкий мост, чтобы заказать себе дорогую одежду в самых модных мастерских и магазинах.

Иногда его беспокоила язвительность современников, например, пасквиль на французском языке, который вместе с ним получили вскоре после начала революционных событий 1848 года и многие его знакомые. Автор под псевдонимом Луи Колардо, вспоминая давнишнее наказание сочинителя первого философического письма, объявлял себя врачом-психиатром, недавно приехавшим из Парижа, переполненного сейчас всевозможными безумцами. В Москве он не мог не обратить внимание на чрезвычайно занимательного субъекта, чье сумасшествие давно и хорошо известно. Оно состоит в том, что «г. Чаадаев, будучи пустым и ничтожным человеком, себя воображает гением». Луи Колардо предлагал Петру Яковлевичу безвозмездно свои медицинские услуги и просил их принять как большое одолжение для него самого, ибо совершенное исцеление столь любопытного больного навсегда упрочит его репутацию. Тогда он сможет надеяться на место врача у графа Мамонова, одного из самых родовитых и богатых людей в России, долгие годы страдающего неизлечимым расстройством ума. В письмах, направленных другим лицам, пасквилянт излагал то же содержание, прося их похлопотать, чтобы господин Чаадаев согласился у него лечиться.

Весьма своеобразно помнил о «телескопской» истории и шеф жандармов Алексей Федорович Орлов, по словам Жихарева, любивший Петра Яковлевича за независимость характера и беседовавший с ним без церемоний официальности, откровенно и доверительно. При их встречах в Москве Орлов спрашивал полушутя Чаадаева, зачем тот связался с римским папой. А друг покойного Михаила Федоровича не мог отказать себе в удовольствии поперечить и «ошеломить» здравствующего и высокопоставленного брата. Однажды, когда арестованный после

дрезденского возмущения и выданный австрийским правительством русскому М. А. Бакунин содержался в Петропавловской крепости, начальник III отделения во время одного из приездов двора в древнюю столицу спросил «басманного философа»: «Не знавал ли ты Бакунина?» Чаадаев ответил: «Бакунин жил у нас в доме и мой воспитанник». — «Нечего сказать, хорош у тебя воспитанник, — сказал граф Орлов, — и делу же ты его выучил».

С приведенным рассказом Жихарева констрастирует другой, где он показывает, как Петр Яковлевич чувствовал ситуации, в которых можно или нельзя раздражать сильных мира сего. В 1851 году за границей вышла брошюра Герцена «О развитии революционных идей в России», посвященная М. А. Бакунину. Разочаровавшись в неудачах европейских революций, принесших лишь новые плоды скучного буржуазного педантизма и «безукоризненной пошлости поведения», автор брошюры, по-своему понимая свойственные русскому народу общинные и артельные начала, возлагает особые надежды в деле грядущих общественных преобразований на Россию, которой, по его мнению, свойственны «свежесть молодости и природное тяготение к социалистическим установлениям». Прочерчивая исторические и современные линии, подводящие к таким преобразованиям, Герцен говорит и о Чаадаеве, не соглашаясь, правда, с западно-католическим решением вопроса о будущем России в его первом философическом письме. Значение этого письма он видит в протесте против мешающих прогрессу личности и общества традиций и учреждений, в «лиризме сурового негодования, которое потрясает душу и надолго ее оставляет под тягостным впечатлением». Подобный «лиризм» определяет для Герцена и главное значение творчества Гоголя (хотя в нем же он находит надежду на возрождение), являющегося для него «криком ужаса и стыда», «полным курсом патологической анатомии», «историей болезни» социальной жизни России.

В истолковании автора брошюры и Чаадаев и Гоголь получили видное место в истории русского освободительного движения, что не могло быть не замеченным начальником III отделения, внимательно следившим за деятельностью Герцена. Когда в сентябре 1850 года русский консул в Ницце познакомил Герцена с повелением Николая I о немедленном возвращении на родину, тот отказался его исполнить, о чем и написал А. Ф. Орлову. Последний, получив отказ и препроводив его к царю, высказал свое мнение: «Не прикажете ли поступить с сим дерзким преступником по всей строгости существующих законов?»

Согласие было дано, и Петербургский надворный уголовный суд вынес решение признать Герцена «за вечного изгнанника из пределов Российского государства».

О выходе «Развития революционных идей в России» Чаадаев узнал впервые именно от начальника III отделения, оказавшегося в Москве проездом и по обыкновению навестившего его. В разговоре с Петром Яковлевичем Орлов заметил: «В книге из живых никто по имени не назван, кроме тебя… и Гоголя, потому, должно быть, что к вам обоим ничего прибавить и от вас обоих ничего убавить, видно, уж нельзя».

Еще в 1849 году в письме к московским друзьям из Женевы Герцен просил показать Чаадаеву места, где речь идет о нем, и добавлял: «Он скажет: «Да, я его сформировал, мой ставленник». Теми же словами Петр Яковлевич мог, как и в случае с Бакуниным, озадачить еще раз Орлова. Но не стал. Напротив, составил милостивому государю, графу Алексею Федоровичу Орлову следующее послание: «Слышу, что в книге Герцена мне приписываются мнения, которые никогда не были и никогда не будут моими мнениями. Хотя из слов вашего сиятельства и вижу, что в этой наглой клевете не видите особенной важности, однако не могу не опасаться, чтобы она не оставила в уме вашем некоторого впечатления. Глубоко благодарен бы был вашему сиятельству, если бы вам угодно было доставить мне возможность ее опровергнуть и представить вам письменно это опровержение, а может быть, и опровержение всей книги. Для этого, разумеется, нужна мне самая книга, которой не могу иметь иначе, как из рук ваших…»

В июле того же 1851 года Чаадаев передал с оказией письмо к Герцену, в котором сожалел, что «события мира» разлучили их, наверное, навсегда, и благодарил его за известные строки, видимо, за лестные отзывы в упомянутом послании Александра Ивановича к московским друзьям или в испугавшей его брошюре. «Может быть, придется вам скоро сказать еще несколько слов об том же человеке, и вы, конечно, скажете не общие места — а общие мысли, — выражает Петр Яковлевич свою надежду. — Мне, вероятно, недолго остается быть земным свидетелем дел человеческих; но, веруя искренно в мир загробный, уверен, что мне и оттуда можно будет любить вас так же, как теперь люблю, и смотреть на вас с тою же любовью, с которою теперь смотрю. Простите».

Сердечные слова, в которых заметны ноты искренней благодарности и раскаяния, а одновременно и спокойной полемики по существу жизненных вопросов, позволяют высказать предположение, что послание Чаадаева к Герцену могло быть

написано после его беседы с А. Ф. Орловым.

Жихарев объясняет составление письма к начальнику III отделения преклонным возрастом, неудовлетворительным состоянием здоровья, стесненным материальным положением, общими нравственными расстройствами родственника. Ко всем этим причинам, усиливающим инстинктивные порывы к самосохранению, следует добавить резкое изменение общественной обстановки в России после европейских революций 1848–1849 годов.

23

Правительство, опасаясь «заразного» духа, предпринимало особые меры по ужесточению контроля над распространением идей и просвещения. Стали ходить слухи о закрытии университетов. Был создан так называемый бутурлинский комитет для постоянного контроля над цензурой и направлением периодических и прочих печатных изданий.

Говоря о создавшейся литературно-общественной обстановке этих лет, Погодин замечал, что цензуре подвергались уже почившие писатели Кантемир, Державин, Карамзин, Крылов, запрещались сочинения Платона, Эсхила, Тацита, исключались из публичного рассмотрения целые исторические периоды. Обсуждение богословских, философских, политических вопросов становилось затруднительным, а упоминание злоупотреблений или проявление каких-либо знаков неудовольствия вменялось в преступление. «Литература ушла, ограничилась только посредственными или гадкими повестями… порядочные люди решились молчать, и на поприще словесности остались одни голодные псы, способные лаять или лизать».

Но когда все пути выражения мыслей закрыты, продолжает Погодин свое рассуждение, когда нет ни гласности, ни общественного мнения, власть, но подозревая того, под видом усиления со ослабляется, а подчиненные развращаются. Ложь, обман и лесть получают право гражданства, ибо всякий желающий пользы отечеству и указывающий на недостатки может прослыть за либерального злоумышленника, а потому предпочитает искать любым путем благосклонности начальника и предугадывать его малейшие желания. А начальник, пишет Погодин, одуренный каждением мнимым успехам, ношением лент и звезд, всякое замечание принимает за личное оскорбление и неуважение государства. «Кто не хвалит его, тот беспокойный человек. Не давай ему ходу. А бездарностям, подлецам, посредственностям то и на руку: как мухи на мед, налетают они в наши канцелярии, а еще охотнее в комитеты, где скорее, без всякого труда, награждаются за отличие. Все они составляют одну круговую поруку, дружеское, тайное, масонское общество, чуют всякого мыслящего человека, для них противного, и, поддерживая себя взаимно, поддерживают и всю систему бумажного делопроизводства, систему взаимного обмана и общего молчания, систему тьмы, зла и разврата, в личине подчиненности и законного порядка».

Полное отстранение общественных сил от осуществления

правительственных начинаний, исполняемого исключительно бюрократическими средствами, пе только развращало многочисленный чиновный люд, но и сковывало здоровые силы нации. Сила и дисциплина, лишенные существенного нравственного содержания, лишь но видимости давали действенные результаты, а на деле естественно и незаметно ослабляли государство и подготавливали его будущий развал. Требуя жертв от других, многие высокопоставленные деятели, прикрываясь пышными фразами и дутыми отчетами, заботились лишь об увеличении собственного благосостояния и показывали народу примеры совсем иного рода.

Обсуждая подобные вопросы при встречах на Девичьем поле и на Новой Басманной, Погодин и Чаадаев не могли не видеть, до каких смешных, если не глупых, крайностей и мелочей доходила так называемая борьба с революционным духом. Например, в секретных документах III отделения говорится о том, что борода является «принадлежностью баррикадных героев». А потому носящие оную должны стать «предметом беспрерывного полицейского наблюдении, ибо в Европе бороды есть отпечаток принадлежности какому-либо злонамеренному политическому обществу». Шеф жандармов А. Ф. Орлов передавал бывшему университетскому товарищу Петра Яковлевича, а ныне министру внутренних дел Л. А. Перовскому решение Николая I о необходимости пресечь ношение бороды как недостойное подражание западной моде. Министр же весной 1849 года разослал циркуляр всем предводителям дворянства о том, что «государю неугодно, чтобы русские дворяне носили бороды, ибо с некоторого времени из всех губерний получаются известия, что число бород очень умножилось».

Особую «любовь» к славянофилам, в секретный список которых попал, как ни странно, и Чаадаев, питал давнишний приятель Петра Яковлевича А. Л. Закревский, назначенный в мае 1848 года московским военным генерал-губернатором и наделенный небывалыми полномочиями: он имел бланки с собственноручной подписью Николая I и мог написать на них какое угодно распоряжение. «Он нас не мог терпеть, — писал о Закревском Л. И. Кошелев, — называя то «славянофилами», то «красными», то «коммунистами». Как в это время всего чаще собирались у нас, то генерал-губернатор подверг нашу приемную дверь особому надзору и каждодневно подавали ему записку о лицах, нас посещающих».

Из Москвы в Петербург новый градоначальник не переставал посылать секретные донесения царю и начальнику III отделения о «загадочных» людях, носящих бороды и собирающихся то у Аксакова, то у Свербеевых, то у Кошелева, а чаще всего у Хомякова, где они засиживаются далеко за полночь и приглашают на свои собрания раскольников. Постоянно твердя о неблагонамеренных целях, Закревский никак не может выговорить их конкретное содержание, и годы наблюдений за входными дверями и замочными скважинами не приносят вразумительных результатов.

Сыскному усердию Закревского не было предела, а путаница в голове заставляла его неправомерно причислить к славянофилам не только общавшихся с ними историка С. М. Соловьева, профессора судебной медицины А. О. Армфельда, цензора В. В. Львова или отставного ротмистра П. Я. Чаадаева, но и находившегося во Франции анархиста М. А. Бакунина. Более умный и опытный жандармский генерал Перфильев докладывал со своей стороны, что Чаадаева и ряд других лиц «по самой строгой справедливости» нельзя отнести к указанному обществу, и ходатайствовал о снятии с них секретного надзора. Начальник III отделения одобрил ходатайство, однако московский генерал-губернатор настаивал на своем, мотивируя необходимость слежки за Петром Яковлевичем и его знакомыми недостатками сведений «о тайных видах славянофилов» и «их подозрительной скрытностью».

В конце 50-х годов И. С. Аксаков без особого преувеличения отмечал, «что ни один западник, ни один социалист не подвергается такому гонению». Говоря о постоянно приготавливаемых правительством цензурных и запретительных

ловушках для славянофилов, Герцен писал: «Оно само поставило знаменем народность, но оно и тут не позволяет идти дальше себя: о чем бы ни думали, как бы ни думали — нехорошо. Надобно слуг и солдат, которых вся жизнь проходит в случайных интересах и которые принимают за патриотизм дисциплину». Славянофилы хорошо понимали губительность для будущего России подобного «патриотизма», а потому в своих требованиях отмены крепостного права, созыва земских соборов, свободы выражения общественного мнения и т. п. ратовали не за казенный, а одухотворенный патриотизм. Именно такой патриотизм и не устраивал многих важных сановников и значительных лиц, ибо предполагал главенство нравственного начала в их деятельности. Не устраивал он и нового московского генерал-губернатора, для которого, по словам современника, древняя столица казалась беспокойным Кавказом с засадами и аулами в виде кружков и салонов.

Чаадаев двойственно относился к давнему знакомому и внешне как бы еще более сдружился с ним, что не мешало ему в интимном кругу отпускать далеко не лестные характеристики в адрес Закревского. Последний вроде бы тоже причислял Петра Яковлевича к своим приятелям, но, в свою очередь, настаивал, как известно, на продолжении секретного надзора за ним. Проницательный «басманный философ», вероятно, о многом догадывался, чем и объясняется его перестраховка в письменном осуждении Герцена перед шефом жандармов. По видимости же все обстояло как нельзя лучше: Чаадаев запросто бывал у градоначальника, занимая деньги, и, по словам мемуариста, «имел влияние на гр. Закревского, то есть мог иногда выпросить у него льготу тому или другому лицу, особенно невинно пострадавшему от графского гнева».

Так, одновременно под неусыпным оком и «дружеским» покровительством А. Ф. Орлова и А. А. Закревского протекали последние годы жизни Петра Яковлевича. По словам О. М. Бодянского, он, любя до страсти противоречия, продолжал спорить в московских гостиных, а в борьбе сильного со слабым старался поддерживать последнего. Сам Бодянский в 1849 году из-за издания перевода сочинения Флетчера о нравах и обычаях Русского государства в XVI веке был отстранен от преподавания в университете и от исполнения секретарских обязанностей в Обществе истории и древностей российских. В числе первых опального профессора, лишь после долгих хлопот восстановленного в должности, посетил Чаадаев, до того вовсе с ним незнакомый и затем специально искавший встреч с Бодянским в московском обществе.

По-прежнему Петр Яковлевич следит за новыми именами в литературе и отмечает творчество молодого писателя И. С. Тургенева, подарившего ему рукопись своей комедии «Нахлебник». С Е. П. Ростопчиной он обсуждает «Записки охотника», которые и властями и публикой воспринимались как проповедь освобождения крестьян. П. В. Анненков в связи с этим приводит диалог между Петром Яковлевичем и Евдокией Петровной, сказавшей: «Voilà un livre incendiare» — Потрудитесь перенести фразу по-русски, — отвечал Чаадаев, — так как мы говорим о русской книге». Оказалось, что в переводе фразы — зажигающая книга — получится неоспоримое преувеличение».

Выделяет Петр Яковлевич и И. Т. Кокорева, автора напечатанной в «Москвитянине» повести «Саввушка», где на судьбе портного показываются нравы и быт московской окраинной бедноты, и даже хочет познакомиться с автором. Чаадаев признается Погодину, что видит в этом писателе «необыкновенно даровитого человека, которому нужно только стать повыше, чтобы видеть побольше. Я не люблю дагерротипных изображений ни в искусстве, ни в литературе, но здесь верность истинно художественная, что нужды что фламандская».

Однако чаще приходилось не открывать новые имена, а прощаться со старыми. В 1852 году уходят из жизни Гоголь, Жуковский, Загоскин. Сын последнего, написавшего, как известно, пьесу «Недовольные», рассказывал в мемуарах, что был крайне удивлен, встретив на панихиде прототипа ее главного героя. «По окончании панихиды Чаадаев подошел ко мне и с

полным участием сказал, что, хотя он никогда не бывал у отца и не был с ним в близких отношениях, но считал своим долгом поклониться праху человека, которого глубоко уважал. Присутствие Петра Яковлевича и слова его искренно тронули меня и служили доказательством, что люди честные и благородные, подобно Чаадаеву, несмотря на недружелюбные отношения к отцу, не могли не отдать справедливости прямому характеру и благородным чувствам, постоянно одушевлявшим его в течение всей его жнзни».

Стоял Чаадаев и у гроба Гоголя. Огромная церковь Московского университета даже ночью заполнялась народом, приходившим проститься с писателем. В воскресный день, 24 февраля, состоялось погребение. «…Народу было всех сословий я обоего пола очень много, — докладывал Закревский начальнику III отделения, — а чтобы в это время все было тихо, я приехал сам в церковь». Гроб не дали поставить на колесницу, а профессора, студенты и прочий народ донесли его до кладбища в Даниловом монастыре.

И для Петра Яковлевича приближалась пора составления завещаний, подведения итогов собственным долгим думам о живых и мертвых душах, о судьбах своей «одной мысли». В год кончины Гоголя ему исполнилось 58 лет, и не получавшие о нем известий ссыльные декабристы сомневались, жив ли он, обитает ли по-прежнему в старом флигеле. Так, Якушкин, жалуясь сыну, что давно ничего не знает о братьях Чаадаевых, пишет ему: «Если ты поселишься на Басманной, то будешь жить недалеко от Петра Яковлевича Чаадаева, я полагаю, что он все еще живет, как и прежде, в большом доме Левашовых».

26

Петр Яковлевич вскоре напомнил Ивану Дмитриевичу о своем существовании, послав ому в Сибирь литографию собственного портрета. К басманной же «Фиваиде» он прирос настолько, что хотя бы на время покинуть ее представляется ему делом совершенно немыслимым. Даже болезни совсем уже старой тетки, постепенно угасавшей в одиночестве дмитровского имения, не могут сдвинуть его с места. Он благодарит двоюродную сестру за посещение Анны Михайловны, сам надеется съездить в Алексеевское, удивляясь состоянию тетки: «В ее года обычно переходят от этой жизни к той безбольно; откуда же эти страдания». Откуда эти страдания, Петр Яковлевич так и не услышал из ее уст. Не поехал он и на ее похороны в январе 1852 года, дав слуге усопшей владелицы Алексеевского 80 рублей серебром и выразив уверенность, что тот «будет в состоянии прилично обставить этот печальный обряд».

Сложно определить подлинные чувства и затруднения, препятствующие Петру Яковлевичу найти иные способы исполнения последнего долга перед заменившей ему когда-то мать Анной Михайловной. Среди ближайших родственников в Москве у него теперь оставались только двоюродные сестры, отношения с которыми носили характер взаимной вежливости и светской деловитости. Правда, в этих отношениях бывало моменты оттепели, когда, например, ветхий флигель посещали дети и даже внуки Натальи Дмитриевны, что всегда радовало сердце Чаадаева. Иногда Петр Яковлевич вдруг наезжал обедать к ней. Сближала теснее брата с сестрами и помощь, которую они ему оказывали. Но она же, если становилась слишком продолжительной или частой, и разделяла их.

Записки Петра Яковлевича к Наталье Дмитриевне и Елизавете Дмитриевне пестрят такими просьбами: «По можете ли вы, дорогая кузина, одолжить мне 150 руб. до 15-го будущего месяца? Не умею сказать вам, до чего мне эта сумма нужна на этой неделе…»; «Дорогая кузина, я снова принужден просить у вас помощи. Если вы в состоянии одолжить мне всего 100 руб, на несколько дней, то окажете мне этим величайшую услугу. Я надеюсь, на этот раз быть более аккуратным, чем прошлый раз, и неукоснительно верну вам ваши деньги 15 или 16 текущего месяца…»

Петр Яковлевич сообщает сестрам, что ему не остается ничего другого, как продать библиотеку, но для этого требуется долгая работа по составлению каталога. Рассказывает о

камердинере, заложившем серебро за несколько рублей под неимоверные проценты. Жалуется на затруднения в ломбарде, из которого никак не может вылезти. Признается, что занимать приходится даже у собственных слуг и у не совсем знакомых людей, круг которых далеко не безграничен.

Конечно же, такие рассказы действовали на сестер. А добрую Наталью Дмитриевну и не надо было особенно просить — она посылает со слугами деньги брату (иной раз больше необходимых ему сумм) и на Новую Басманную, и в Английский клуб, и в Купеческий клуб.

Продолжались у Петра Яковлевича недоразумения и с родным братом (его именем, Мишель Хрипуновский, Чаадаев иногда шутливо подписывал свои рукописи), хотя тот находился за сотни верст от Москвы и не каждый год писал ему письма. Михаил Яковлевич регулярно, в первых числах января, мая и октября, высылал положенные от давнишнего раздела имения суммы. Однако малейшие неурядицы в сроках получения кредитных билетов вызывают сильное раздражение Петра Яковлевича. Но Чаадаеву грех было жаловаться на Михаила Яковлевича, который в последние годы продолжал ему высылать уже погашенный долг и отказался в его пользу от своей части тетушкиного наследства. Справедливости ради следует отметить, что иногда хрипуновский помещик задерживался с оформлением нужных Чаадаеву бумаг в Опекунский совет или Воспитательный дом. Но это случалось редко и объяснялось своеобразием его образа жизни, о котором «басманный философ» мог лишь смутно догадываться по рассказам приезжавших из-под Нижнего Новгорода крестьян, ибо брат в письмах, как правило, говорил исключительно о делах и почти никогда не рассказывал о себе.

А жизнь Михаила Яковлевича так и не складывалась. Он все не находил в ней существенного, просветляющего любую деятельность смысла, что усиливало его пристрастие к вызывавшим забвение привычным средствам.

В реальных и возможных болезнях он видел предвестия грядущей смерти, страшащей его физическими страданиями. «Тяжелой смерти по слабости своей боюсь», — с беспощадной откровенностью замечал он в дневнике и умолял: «Не о ниспослании благ земных прошу — даже не о продлении жизни, но молю, не слишком трудную смерть даруй мне».

И опять-таки для избавления от тягостных раздумий и беспокоящих недугов Михаил Яковлевич прибегал к одновременно ненавистному и желанному «лекарству», лишь на время избавлявшему от тоски, а затем усугублявшему ее.

Когда уездное дворянство призывало его к какой-либо

деятельности, он сказывался больным и часто использовал этот предлог для отклонения свиданий с неугодными ему лицами. Лишь с управляющим Петром Синицыным и женой Ольгой Захаровной Михаил Чаадаев находился в тесном общении, в котором вспышки раздражительности и даже гнева чередовались с сердечным и ласковым обхождением.

Жену свою Михаил Чаадаев очень любил. «Ольга милая, добрая, — отмечал он в дневнике, — принимает живейшее участие в моих заботах, трудах и огорчениях, оказывает искреннюю любовь и снисхождение, говорит: нас только двое — действительно, она мне единственный друг, и я люблю ее как никого не любил. Мы одни на свете. Она единственный мой друг — мое утешение в жизни». Он нежно заботился о здоровье своего единственного друга, пытался, хотя и безуспешно, обучить ее письму и счету. Но общее духовное неустройство и недовольство жизнью иной раз круто меняли его отношение к жене. «Я очень был пьян, — записывал он в дневнике, — выгонял Ольгу Захаровну из дома, даже кидался бить… Правда, Ольга Захаровна не очень добра и очень груба и меня нисколько не любит… мужицкой грубостью своей меня часто выводит из терпения, но все это не оправдывает поступок мой…» Однако рядом с подобными записями в дневнике Михаила Яковлевича можно встретить и совсем противоположные замечания о жене вроде следующего: «Добрая, милая, умная — как не обожать ее».

Надежным и испытанным средством спасения от тоскливых дум и нарастающей раздражительности служили для Михаила Яковлевича неизбежные в сельской местности бытовые заботы и текущие планы. В круг хозяйственных занятий Михаила Яковлевича иногда просачивались и вести, напоминавшие о годах молодости, о дружеских и родственных связях. Так, получив однажды по почте книгу «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» с дарственной надписью «Петру Яковлевичу Чаадаеву от сочинителя», он догадался, что посылка от брата. Не забывал о старом друге и Якушкин, получавший от него в помощь деньги и переславший из Сибири Михаилу Яковлевичу птичью шавку. Якушкин же настоятельно советовал М. И. Жихареву познакомиться лично с Михаилом. Последний отвечал на просьбу племянника об этом в феврале 1864 года: «…Я признаюсь, не понимаю, что возбуждает в вас желание узнать лично человека, дряхлого, живущего в с лишком четырехстах верстах от места вашего пребывания, тридцать лет в глуши без выезда, не бывающего даже по несколько лет в уездном городе, отстоящем от него в осьми верстах». Так и глуши, в чреде умственных занятий и бытовых забот, воспоминаний о «старом

мире» юности и тоски по невоплотившемуся «новому миру», тревог от расстроенного здоровья и алкогольных опьянений клонилась к концу жизнь Михаила Яковлевича Чаадаева. И с каждым днем в его сознание все настойчивее стучались вопросы, заключенные в строках из выписанного им в дневник стихотворения:

…Где ж я, и что во гробе тесном?
Исчезну ль, в черве ль буду жить?
Иль в виде светлом, бестелесном
Незримо над землей парить?
Мой ум, сомнением томимый,
Стезею мрачною идет;
Как в осень ветром лист носимый,
Подъемлется — и вновь падет…

Незадолго до смерти, наступившей в 1866 году, чуткую совесть Михаила Яковлевича мучили два эпизода протекшей жизни, постоянно возникавшие в его беспокойной памяти. Когда-то, в далекой молодости, он ехал на извозчике по одной из петербургских улиц, а навстречу бежала лошадь, тащившая под дрожками умолявшего о помощи человека. Но Михаил Чаадаев, как он сам отмечал в дневнике, не нашелся в этой ситуации, проявил нерешительность и трусость, побоявшись грубого отказа своего извозчика, то есть «дал погибнуть человеку, которому мог подать помощь. — О мерзость! Простит ли мне ее он?» Другой случай имел место несколько позднее, когда он вместе с доктором Ястребцовым вез больной тетке в Алексеевское необходимые лекарства. По дороге им попался лежавший на обочине без всякого движения крестьянин, и Михаил собрался было остановиться возле него. Однако Ястребцов по поводу этого намерения выказал неудовольствие, вызвавшее самолюбивую боязнь у Чаадаева и заставившее его переменить первоначальное решение.

Угрызения совести Михаила Яковлевича на первый взгляд могут показаться непропорциональными побудившим их поступкам. Однако он не переставал постоянно чувствовать, что к совести, в отличие от закона, неприменимо понятие «весов».

Такие вот «трещины» и «зазоры» в несложившейся и полной противоречий жизни продолжали терзать до конца душу благородного человека Михаила Яковлевича Чаадаева.

27

В 1852 году Петр Яковлевич отвечал не без позы брату на вопрос, сопровождавший очередную посылку денег: «Чем буду жить потом, не твое дело; жизнь моя и без того давно загадка». Жить же оставалось всего три с половиной года. Незадолго до смерти Жуковского Чаадаев замечал в послании к нему, что знакомый поэту флигель на Новой Басманной продолжает «спокойно разрушаться, стращая своим видом меня и моих посетителей».

Чаадаев ревниво следит ва появлявшимися мемуарами, в которых, по его убеждению, должна идти речь и о нем. «Вообразите, — писал летом 1854 года М. А. Дмитриев Погодину, — что Чаадаев в претензии на меня за то, что я в моих «Мелочах», говоря о И. И. Дмитриеве, ни слова не сказал о нем, о Чаадаеве! Да что же о нем сказать? Он ни писатель, ни издатель, словом, человек неизвестный! До такой степени обольщает нас избалованное самолюбие».

Однако в несравненно большей степени взволновали Петра Яковлевича статьи П. И. Бартенева о Пушкине, в том же 1854 году начавшие появляться периодически в «Московских ведомостях». Чаадаев к концу жизни все больше гордился дружбой с Александром Сергеевичем, относя ее к лучшим годам своей жизни, охотно показывал гостям пятно в своем кабинете, оставленное головой прислонявшегося к стене поэта, часто цитировал им строки из стихотворных посланий к себе. И понятно раздраженное удивление Чаадаева, когда, читая описание лицейских лет и молодости писателя, он не встретил даже упоминание своего имени. Обращаясь к Шевыреву как представителю пушкинского поколения, сохраняющему его теплоту и бескорыстие и знающему, как все происходило на самом деле, Чаадаев пишет с глубокой обидой: «Пушкин *гордился моею дружбою*; он говорил, что *я спас от гибели его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому*, а г. Бартенев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство вместо стихов Пушкина будет читать его *Материялы*. Надеюсь, однако ж, что будущие биографы поэта заглянут и в его стихотворения».

Эти стихотворения Чаадаев передал в одну из частых встреч другому представителю уходящего поколения — И. В. Киреевскому, который, возвращая послания поэта к Петру Яковлевичу, заметил, что «невозможно рассказывать жизнь Пушкина, не говоря о его отношениях к Вам». Однако Иван

Васильевич не может не повторить своему старому идейному приятелю-противнику упреков в том, что тот сам до сих пор не оставил никаких воспоминаний о поэте. Несмотря на неточности, надо быть благодарным автору статей в «Московских ведомостях» за рассказ о жизни писателя, ибо он мог и совсем не говорить о ней: «На нем не было той обязанности спасти жизнь Пушкина от забвения, какая лежит на его друзьях. И чем больше он любил их, тем принудительнее эта обязанность. Потому надеюсь, что статья Бартенева будет введением к Вашей, которую ожидаю с большим нетерпением».

Точно так же и Шевырев, извиняя перед Чаадаевым Бартенева, собиравшегося говорить об «офицере гусарском» в последующих номерах газеты, призывает Петра Яковлевича очинить перо по-русски и передать всю историю его отношений с поэтом: «Вы даже обязаны это сделать, и биограф Пушкина не виноват, что Вы этого не сделали, а виноваты Вы же сами. Как таить такие сокровища в своей памяти и не дать об них отчета современникам?»

Но то ли принудительность обязанности была не так уж сильна, то ли нечто такое, что составляло одну из многочисленных загадок по видимости застывшего, а внутренне бесконечно подвижного и ускользавшего от однозначного определения существования Чаадаева, препятствовало — во всяком случае, отзываясь на просьбы и Киреевского, и Шевырева, он тем не менее так и не оставил потомкам своих воспоминаний о «незабвенном друге».

Что же касается Бартенева, то он посетил хозяина басманной «Фиваиды» и обещал отметить его значение в жизни Пушкина в последующих статьях. Петр Яковлевич вполне удовлетворился таким обещанием, ибо, по точному выражению его приятеля, литератора Н. В. Сурикова, обладал редким психологическим качеством — был «*простодушно тщеславен*». Будущий издатель известного журнала «Русский Архив», недолюбливающий Чаадаева, внешне вошел с ним даже в дружественно-вежливые отношения. Молодой Бартенев не замечал этого корректирующего тщеславие элемента простодушия и соответственно выделял другую сторону в поведении Петра Яковлевича, который казался ему подлинным представителем уже совсем уходившего александровского времени, когда преобладали «люди изысканной речи и напускной ходульности».

Гораздо лучше понимают друг друга, хотя все так же продолжают горячо спорить, Чаадаев и Хомяков. Последний — едва ли не самый частый гость новобасманного флигеля.

Однако, пожалуй, чаще всех навещал Петра Яковлевича

приятель еще с университетских лет, Иван Михайлович Снегирев, профессор университета, археолог и один из первых исследователей старой Москвы. К его трудам «Памятники московской древности» и «Русские простонародные праздники» с большим интересом относился Гоголь, называвший другую книгу Ивана Михайловича — «Русские в своих пословицах» — необходимой ему, «дабы окунуться покрепче в коренной русский дух». Жихарев признавался, что ему трудно было понять, как приятельские отношения «между людьми друг другу вполне противоположными пережили почти полустолетие: на похоронах Чаадаева Снегирев с глубоким чувством сказывал мне, что он самый старый из всех знакомых, провожавших покойника на вечное жилище».

Но старым товарищам, повидавшим многое на своем веку, очевидно, было что вспомнить. Тем более, по словам Д. Н. Свербеева, Петр Яковлевич любил под старость ехидно сравнивать былое с современностью. Наверняка Чаадаев рассказал Снегиреву и о том, как его навестила вдова их университетского однокашника, трагически погибшего много лет назад на дипломатической службе автора «Горя от ума». Мог пожаловаться ou ему и на очередную проделку Вигеля, сочинившего в эпистолярной форме статью «Москва и Петербург», где худил древнюю столицу и хвалил новую. Православие и Россия, писал Вигель, существуют там, где находятся царь, правительство и главное духовное управление. Бездеятельные же московские славянофилы являются немцами, увлеченными Шеллингом и Гегелем, Вообще в Москве уважение к России почитается, но его мнению, варварством. «Там знаменитейший Чаадаев, сочинитель без сочинении и ученый без познаний, останется навсегда англо-французом, тогда как, продолжая жить в Петербурге, он бы непременно сделался преполезнейшим человеком».

В новобасманном флигеле по-прежнему собираются по понедельникам самые разные лица. Высокопоставленный чиновник и цензор М. И. Похвиснев в апреле 1853 года записал в своем дневнике: «Был на утре у Чаадаева, московского умника, который когда-то был признан безумным. У него встретил Шипова, генерала Менда, бывшего с Муравьевым в Константинополе В 1839 году, говоруна-поэта Хомякова, предшественника моего, князя Львова с сыном-студентом, князя Черкасского и еше какого-то князя. Менд много говорил о Константинополе, о возможности овладеть этим городом en coup de main[38], о положения Босфора, о последней турецкой кампании, когда 20 тысяч болгар последовали за нашею армией в

Россию и опята впоследствии бежали в Турцию: так хорошо распорядились их водворением. Хомяков рассказывал чудеса об излечении холеры дегтем с конопляным маслом (пополам того и другого в рюмку). Всякий холерный припадок, если его захватить при начале, можно потушить как свечку»…

Петр Яковлевич, как и его брат, боялся холеры, ибо смерть от нее представлялась ему, по словам Свербеева, «в каком-то неприличном, отвратительном виде», а потому с интересом прислушивался к описаниям изобретенных его приятелем лекарств. В не меньшей степени занимал его и вопрос о Константинополе, куда два месяца назад отправился с чрезвычайными полномочиями его давний сослуживец князь Л. С. Меншиков для урегулирования обострившегося из-за происков французских дипломатов спора между православным и католическим духовенством о «святым местах» в Палестине. Меншиков потребовал от султана восстановить привилегии православной церкви в Палестине и подписать конвенцию, которая сделала бы Николая I покровителем всех православных в подданстве турецкого главы. Английское правительство подсказывало султану такое половинчатое решение вопроса, при котором не исключалась возможность. разжечь русско-турецкую войну, превратить ее затем под лозунгом «защиты Турции» в коалиционную и подорвать позиции России на Ближнем Востоке и Балканах.

За преобладающее влияние в этом районе и началась так называемая Крымская война между Россией и коалицией Турции, Англии, Франции и Сардинии, после того как Меншиков, не добившись заключения конвенции, объявил султану о разрыве русско-турецких отношений и в мае 1853 года покинул Константинополь. Осада Севастополя, завершившаяся в августе 1855 года, истощила силы союзников, не рисковавших более предпринимать активные наступательные действия. Обе воюющие стороны заговорили о мире, который они и заключили в Париже в марте 1856 года на невыгодных для России условиях.

Чаадаев внимательно следил за течением Крымской войны и с присущей для него во многих жизненных ситуациях противоречивостью переживал ее перипетии. «События последних трех лет, — замечает Свербеев, — тяготели над ним тяжким бременем. Ему, воину славной брани, подъятой за свободу отечества и освободившей Европу, — ему горьки были и начало и конец нашей последней войны». Предпочитая при сравнении настоящего с прошедшим минувшее, Петр Яковлевич с сожалением напоминает Закревскому о событиях 42-летней давности, когда в те же мартовские дни в том же Париже их

общий знакомый, ныне покойный генерал М. Ф. Орлов, подписывал мир на совсем иных условиях, а теперь его брат, начальник III отделения, участвовал в унизительных переговорах. О реакции Петра Яковлевича на сдачу Севастополя свидетельствует Свербеев, писавший жене: «Вот что говорит Чаадаев; не думаю, чтобы лгал. Он, как ты сама знаешь, теперь в близких отношениях с Закревским и сидел у него с Орловым. Последний у него спрашивает после долгого разговора: «Ну, что же ты думаешь, Чаадаев, чем это кончится?» Чаадаев отвечает: «Тем, что Россия останется надолго второстепенною державою». Орлов с Закревским в одно слово отвечают: «Лишь бы не навсегда».

Любя заводить речь о бородинских и кульмских героях, Петр Яковлевич по-своему сравнивал их с защитниками Севастополя, торжественно встреченными в Москве. По воспоминанию мемуариста, он «говаривал, что некоторых из возданных им почестей не приняли бы воины — освободители Европы (1814), что они никак не согласились бы жить, пить, есть, гулять, плясать, веселиться и молиться за счет какого бы то ни было богача, будь он хоть какой знаменитый вельможа, будь он хоть какой простой гражданин и русский человек по преимуществу. Далее тоже говаривал Чаадаев, что ни один знаменитый вождь того времени не дозволил бы никакому оратору торжественно и во всеуслышание произносить похвалы своей честности и бескорыстию на службе. То и другое, прибавлял Чаадаев с грустной улыбкой, наши современники сочли бы оскорблением мундира, чтобы не сказать более».

По утверждению А. И. Дельвига, «было мало людей», на которых неудачи Крымской войны действовали бы так сильно, как на Чаадаева. Эти неудачи снова возвращали его к интонациям первого философического письма и усиливали критику славянофильских представлений. Авангард Европы очутился в Крыму, замечает он в письме к неизвестной даме, потому что в последнее время заметно стремление отказаться от серьезных и плодотворных идей западной цивилизации, принесших России государственное могущество. Адепты же новой национальной школы вознамерились «водворить на русской почве совершенно новый моральный строй, который отбрасывал нас на какой-то фантастический христианский Восток, придуманный единственно для нашего употребления, нимало не догадываясь, что, обособляясь от европейских народов морально, мы тем самым обособляемся от них и политически, что раз будет порвана наша братская связь с великой семьей европейской, ни один из этих народов не протянет нам руки в час опасности».

И конечно же, как нередко в последние годы, взгляд Петра Яковлевича снова и снова обращается к далекой молодости, словно пытаясь замкнуть круг, в котором продолжала драматически биться его мысль. «Нет, тысячу раз нет — не так мы в молодости любили нашу родину. Мы хотели ее благоденствия, мы желали ей хороших учреждений и подчас осмеливались даже желать ей, если возможно, несколько больше свободы; мы знали, что она велика и могущественна и богата надеждами; но мы не считали ее ни самой могущественной, ни самой счастливой страной в мире. Нам и на мысль не приходило, чтобы Россия олицетворяла собою некий отвлеченный принцип, заключающий в себе конечное решение социального вопроса, — чтобы она сама по себе составляла какой-то особый мир, являющийся прямым и законным наследником славной восточной империи, равно как и всех ее прав и достоинств, — чтобы на ней лежала нарочитая миссия вобрать в себя все славянские народности и этим путем совершить обновление рода человеческого; в особенности же мы не думали, что Европа готова снова впасть в варварство и что мы призваны спасти цивилизацию посредством крупиц этой самой цивилизации, которые недавно вывели нас самих из нашего великого оцепенения… Я верю, недалеко то время, когда, может быть, признают, что этот патриотизм не хуже всякого другого».

В приведенных строках Чаадаев возражает не только, скажем, Тютчеву или отдельным славянофилам, но и собственным убеждениям, не столь уж отдаленным по времени. Наступивший исторический момент, повлиявший на особенности его духовного настроения, определил новое, частично возвратное, направление его мысли.

В это же время произошло событие, на которое почти все возлагали большие надежды, но вопреки общему мнению расцениваемое Чаадаевым иначе. После смерти Николая I в 1855 году на престол вступил Александр II, отменивший многие, дискредитировавшие власть в предшествовавшее царствование, указания и готовый к благотворным реформам. Чернышевский замечал в письмах к отцу: «Люди, которые, по всей вероятности, довольно основательно могут судить о делах, говорят, что все действия нового императора отличаются благоразумием и «верным тактом», как принято выражаться. От него надеются много доброго… Государь деятельно занимается внутренними улучшениями по гражданской части. Все единогласно признают в нем самое искреннее и мудрое стремление к тому, чтобы улучшить администрацию, и все единодушны в привязанности и признательности к нему».

Менее благодушно был настроен Хомяков, не ждавший

скорых перемен и считавший, что характер грядущего правления будет зависеть от того, «кто первые подадут голос: честные или бездушные… Велика ответственность на всех и на каждом».

В новой обстановке подал свой голос и Чаадаев. Историк С. М. Соловьев так передает обсуждение возможных перспектив России двумя старыми приятелями-противниками, которым уже не суждено будет увидеть то или иное их осуществление. «Как-то я зашел к Хомякову. Тот надеялся по-своему: «Будет лучше, — говорил он, — заметьте, как идет ряд царей с Петра, — за хорошим царствованием идет дурное, а за дурным — хорошее. Притом, — продолжал Хомяков, — наш теперешний царь — страстный охотник, а охотники всегда хорошие люди: вспомните царя Алексея Михайловича, Петра II». В разговорах с Хомяковым я обыкновенно улыбался и молчал; Хомяков точно так же улыбался и трещал. «А вот, — продолжал он, — Чаадаев никогда со мной не соглашается, говорит об Александре II: разве может быть какой-нибудь толк от человека, у которого такие глаза». И Хомяков залился своим звонким хохотом. Вот как главы двух противоположных московских кружков отзывались о новом главе России».

Это мнение Петр Яковлевич высказал и А. И. Дельвигу за две недели до смерти, когда после заключения парижского мира государь приехал в Москву. По случаю великого поста генерал-губернатор Закревский не мог дать в его честь бал, замененный раутом, на котором присутствовал и Чаадаев. Когда Дельвиг столкнулся с ним и спросил, почему он так грустен, Петр Яковлевич, отметив плачевный исход Крымской войны, указал также на Александра II и сказал: «Взгляните на него — просто страшно за Россию. Это тупое выражение, эти оловянные глаза».

Немалую роль в оценке грядущего царствования играло присущее Петру Яковлевичу соединение позы умеренного фрондерства и страсти противоречить общему мнению. Подобное сочетание вкупе с искренними сужениями приводило иной раз к тому, что даже часто общавшимся с ним людям трудно было разобраться, идет ли речь о намеренном розыгрыше окружающих или об очередном изменении даже самых заветных убеждений «басманного философа». Хорошо знавший последнего Дельвиг писал, что незнание «потребностей народа и привычка к оппозиции довели его до того, что с воцарением Александра II, когда начали ходить слухи об освобождении крестьян, он мне неоднократно говорил, что намерен запереться дома и изредка видеться с близкими людьми, чтобы заняться сочинением, в котором он докажет необходимость сохранения крепостного права. К чести Чаадаева постигшая его в начале 1856 года смерть

помешала ему написать это сочинение, если только он действительно намерен был осуществить свои слова».

28

Жизнь Петра Яковлевича, вобравшая в себя противоречия разных поколений и сменявшихся идейных направлений, на шестьдесят втором году завершалась, как и протекала, в драматической двойственности и загадочности, свойственным самому течению бытия. Смерть, прерывавшая трагедию чаадаевского сознания, бессильного обнять всю полноту «божественного действия» и окончательно раскрыть «тайну времени» и «сфинкса русской жизни», явилась последней загадкой его одинокого, несмотря на «философию всеединства», существования.

Еще в 1855 году, в тяжелый для России и для него самого месяц сдачи Севастополя, Чаадаев составил завещание, в котором просил прощения у всех друзей и приятелей в том, в чем мог вызвать их неудовольствие, и у брата «в огорчениях, невольно ему причиненных». Брату же поручалась выплата оставшихся долгов, а племяннику предназначались все бумаги и рукописи. Петр Яковлевич выразил также желание отпустить на волю служившего у него мальчика Егора и упокоить свой прах завещал рядом с женщинами, более всех любившими его и более всего согревавшими его «ледяное существование», — рядом с Авдотьей Сергеевной Норовой, или Екатериной Гавриловной Левашевой, или Анной Михайловной Щербатовой.

Как известно, в кризисные минуты Чаадаев заводил разговор с близкими ему людьми и родственниками о возможности скоропостижной смерти и даже о самоубийстве, а в последнее время носил в кармане рецепт на мышьяк. По свидетельству Бодянского, он «всегда желал умереть не лежа и не обезображенным мучениями от болезни». Как бы дополняя это свидетельство, Свербеев упоминает о предчувствии Петром Яковлевичем внезапной кончины. «Мало того жить хорошо, надо и умереть пристойно», — говаривал он мне и еще недели за две или три повторил то же, прибавив: «Я чувствую, что скоро умру. Смертью моей удивлю я вас всех. Вы о ней узнаете, когда я уже буду на столе». Такое странное и страшное предвещание меня напугало (я же давно замечал в нем какое-то нравственное н умственное раздражение и знал ему причину), так напугало, что я решился спросить его: «Ужели вы, Петр Яковлевич, способны лишить себя?..» Он не дал мне договорить, на лице его выразилось негодование, и он отвечал: «Нисколько, а вы увидите сами, как это со мной будет».

Известные факты последних недель жизни Чаадаева не

позволяют судить о том, как «это» произошло. В последней декаде марта 1856 года хоронили скончавшегося на руках наемной прислуги Вигеля, пожелавшего незадолго до смерти нанести визит Петру Яковлевичу, который, прослышав такое желание, сам изъявил готовность первым посетить Филиппа Филипповича. Но ни тот, ни другой не ехали. «Наконец, — вспоминал впоследствии М. А. Дмитриев, — Вигель занемог и вскоре умер. Чаадаев действительно сделал ему визит первый; но поклонился уже его тлену. Нынче обоих их нет на свете; смерть примирила соперников».

Через несколько дней после похорон Вигеля Лонгинов видел Петра Яковлевича, беседовавшего с С. А. Соболевским, в полном здравии в Английском клубе, а затем А. И. Дельвиг встретил его 30 марта на уже упоминавшемся рауте у Закревского. Увидев Дельвига, Чаадаев стал отдавать ему деньги, когда-то занятые у него, а тот, как он пишет в мемуарах, сказал: «Да зачем же здесь? Видите, мне и положить некуда: надо расстегиваться». — «Нет, нет, возьмите, а то, может быть, больше не увидимся». В мрачном настроении он говорил, что дни его сосчитаны, что он чувствует приближение смерти».

В начале апреля с Петром Яковлевичем виделся у С. П. Шипова Бодянский, отметивший в дневнике, что Чаадаев дурно себя чувствовал и ушел из гостей против обыкновения рано, в одиннадцать часов вечера. В страстной понедельник, оказавшийся последним приемным днем «басманного философа», в его ветхий флигель заехал Лонгинов. Хозяин, показавшийся последнему не совсем здоровым, но бодрым, встретил его словами: «Вот он, друг настоящий, и сегодня приехал, когда верно никто не будет». Действительно, на этот раз никто больше не приехал, и разговор почему-то зашел о Пушкине, во время которого Лонгинов попросил у Чаадаева разрешение списать дарственную надпись поэта на экземпляре «Бориса Годунова». В среду они снова виделись мельком в полумраке закрывавшегося до конца недели Английского клуба, где Петр Яковлевич пожаловался своему молодому другу и почитателю на сильную слабость и отсутствие аппетита.

А на следующий день началось стремительное увядание, казавшееся Жихареву «одним из самых поразительных явлений этой жизни, столько обильной поучениями всякого рода… Со всяким днем ему прибавлялось по десяти лет, а накануне, и в день смерти, он, в половину тела согнувшийся, был похож на девяностолетнего старца».

Врач запрещает Петру Яковлевичу выезжать, но тоска и привычное желание прогуляться на свежем воздухе заставляют

его превозмочь себя и покинуть свою «Фиваиду». Он по обыкновению едет обедать к Шевалье, где к нему подходят Соболевский и Лонгинов.

Оба они старались скрыть тягостное впечатление, произведенное на них «живым мертвецом», едва проглотившим ложку супу, и завели разговор о последних светских новостях. Чаадаев же рассказывал им о своей простуде, мучительных желудочных коликах, а после их ухода еще долго полулежал в кресле, закинув голову, пока кто-то из знакомых не окликнул его.

Вернувшись в новобасманный флигель вечером, Петр Яковлевич велел слуге пригласить священника Николая Александровича Сергиевского. Он любил беседовать с этим протоиереем, обладавшим, несмотря на молодость, обширными познаниями в богословии, философии, психологии, логике. Впоследствии Сергиевский станет профессором Московской духовной академии и Московского университета, протопресвитером Успенского собора. Сейчас же он уже почти два года исполняет обязанности приходского священника в церкви Петра и Павла, и за это время Чаадаев весьма коротко сблизился с ним.

Но не для философской беседы нужен ему теперь отец Николай. «Чаадаев встретил его словами о своей болезни, — пишет Свербеев. — Священник сказал, что до сего дня ожидал увидеть П. Я-ча в церкви и тревожился, не болен ли он; ныне же решился и сам навестить его и дома предложить ему всеисцеляющее врачество, необходимое для всех. Все мы, сказал он, истинно больны и лишь мнимо здоровы. Чаадаев сказал, что боится холеры и, главное, боится умереть от нее без покаяния; но что теперь он не готов исповедаться и причаститься… На другой день, в великую субботу, после обеда, священник поспешил к больному. Чаадаев был гораздо слабее, но спокойнее, и ожидал святыню: исповедался… удаляющемуся священнику сказал, что теперь он чувствует себя совсем здоровым…»

После ухода священника Петр Яковлевич приказал закладывать пролетку, а тем временем стал пить чай и заговорил с Шульцем о своих хлопотах за него перед Закревским. Почувствовав за чаепитием внезапную слабость, он едва перешел из одной комнаты в другую, где его усадили на диван, а ноги положили на стул. Пульс уже почти совсем не бился, и приехавший доктор объявил хозяину дома, что жизнь его квартиранта подходит к концу.

Когда врач уехал, Шульц, явившийся единственным свидетелем его последних минут, вошел к умирающему жильцу, продолжавшему несколько несвязно говорить о его деле. Затем

Петр Яковлевич заметил, что ему становится легче и что он должен одеться и выйти, так как прислуге необходимо сделать уборку к празднику. Сказав, пишет Жихарев, Чаадаев «повел губами (движение всегда ему бывшее обыкновенным), перевел взгляд с одной стороны на другую — и остановился. Присутствующий (Шульц. — *Б. Т.*) умолк, уважая молчание больного. Через несколько времени он взглянул на него и увидел остановившийся взгляд мертвеца. Прикоснулся к руке: рука была холодная». Спустя два часа навестить больного и поздравить его с наступающим праздником приехал Хомяков, но застал старого приятеля на кресле с запрокинутой головой.

Чаадаев скончался 14 апреля 1856 года, за несколько часов до первого полуночного удара в большой кремлевский колокол.

В разгар пасхального торжества москвичи узнают о его смерти. Потрясенный внезапной кончиной Петра Яковлевича, которого он видел еще несколько дней назад, Шевырев сообщал о ней Погодину, отвечавшему: «Как поразил ты меня известием о смерти Чаадаева. Удар что ли? Вот наша жизнь! Черкни мне два слова, что знаешь. Где хоронят? Верно, в Девичьем монастыре».

Большой некролог, написанный для «Московских ведомостей», цензура не пропустила в печать из-за якобы найденных в нем нежелательных намеков и сравнений. 17 апреля газета поместила лишь скупое сообщение о кончине «одного из московских старожилов, известного почти во всех кружках нашего столичного общества». Указывались также время и место погребения Петра Яковлевича, которого ждала могила, вырытая прямо возле церкви Донского монастыря, рядом с захоронениями Авдотьи Сергеевны Норовой и ее матери Татьяны Михайловны.

А для него уже не было времени, которое перемалывало в своих жерновах государства, судьбы, идеи и за убыстряющимся бегом которого в XIX веке он явно не поспевал. Еще в 1855 году умер Грановский. В этом году оно унесет из жизни братьев Киреевских, через несколько лет Хомякова и Константина Аксакова. Уйдут люди с их тревогами и надеждами, спорами и предчувствиями. А время беспрерывно будет раскрывать все новые и новые стороны своей бесконечной тайны и, не переставая, показывать, как разрешаются их сомнения и чаяния, в какой степени сбываются или не сбываются их пророчества. В историческом гуле движения России и Европы, всего человечества, как выражался Чаадаев, к «неисповедимым судьбинам» и «непредсказуемой развязке» их имена и думы порою станут забываться и стираться из памяти. Но в годы спокойного осмысления пережитых катаклизмов, всю трагичность которых они не могли просто предвидеть, духовный опыт этих

людей, их несомненные ошибки и верные догадки, их совестливый поиск ответов на вопросы, кто прав и кто виноват, трудно переоценить при выборе путей на новых поворотах истории. И время извлекает из забвения их имена, оживляет их личности, вовлекает их идеи в свои собственные споры и надежды. К числу таких имен относится и имя Петра Яковлевича Чаадаева, подлинное осмысление драматической судьбы которого и для современников, и для потомков окажется небесполезным уроком.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА П. Я. ЧААДАЕВА

1794, 27 мая — В Москве, в семье отставного подполковника Якова Петровича Чаадаева, родился сын Петр.

1808–1811 — Петр Чадааев учится в Московском университете.

1812, 12 мая — Зачислен подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк.

1812, июнь — 1814, март — В составе Семеновского, а затем Ахтырского гусарского полка участвует в Отечественной войне и в заграничных походах русской армии.

1812, 10 сентября — Приказом по Семеновскому полку Чаадаев произведен в прапорщики.

1816, апрель — Переведен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк, квартировавший в Царском Селе.

Июнь — июль — Знакомство с Пушкиным в доме Карамзина.

Август — сентябрь — Чаадаев произведен в поручики.

1817, декабрь — Переезжает в Петербург и назначается адъютантом к командиру гвардейского корпуса И. В. Васильчикову.

1819 — Получает звание ротмистра.

1820, 21 октября — Отправляется на конгресс Священного Союза в Троппау для доклада Александру I о волнениях в Семеновском полку.

1821, февраль — Выходит в отставку.

Июнь — июль — Дает согласие на предложение И. Д. Якушкина вступить в общество декабристов.

1822, май — Раздел наследства между Петром и Михаилом Чаадаевыми.

1823, 6 июля — Отъезд Чаадаева в трехгодичное путешествие по Англии, Франции, Швейцарии, Италии, Германии.

1826, 17 или 18 июля — Чаадаев задержан и обыскан в Брест-Литовске при возвращении в Россию.

10 сентября — Встречается с Пушкиным на квартире у С. А. Соболевского в Москве и слушает авторское чтение «Бориса Годунова».

4 октября — Уезжает в подмосковное имение тетки А. М. Щербатовой в Дмитровском уезде.

1828–1830 — Работает над циклом «Философических писем».

1831 — Появляется в Английском клубе после длительного затворничества, просит Пушкина содействовать публикации

философических писем, пишет статью о польском восстании.

1832 — В одиннадцатом номере журнала «Телескоп» печатаются философские афоризмы Чаадаева и его размышления о египетской и готической архитектуре. В Опекунском совете продается по третьей закладной его последнее имение.

1833 — Переезжает в дом Левашевых в Москве, на Новой Басманной, где будет безвыездно жить до самой кончины. Делает попытки напечатать философические письма и поступить на государственную службу.

1834, июль — Знакомится с Герценом в доме М. Ф. Орлова.

1835 — Пытается опубликовать философические письма в «Московском наблюдателе».

1836, май — Последняя встреча Чаадаева и Пушкина.

Сентябрь — Выход в свет пятнадцатого помора журнала «Телескоп», где напечатано первое философическое письмо.

Октябрь — ноябрь — Обыск, допрос и высочайшее наказание Чаадаева в связи с публикацией норного философического письма и запрещением издания «Телескопа».

1837 — Чаадаев пишет «Апологию сумасшедшего». Знакомится с Белинским.

1843–1845 — Чаадаев посещает публичные лекции Грановского н Шевырева в Московском университете.

1845 — Переводит на французский язык статью Хомякова «Мнения иностранцев о России».

1847, 29 апреля — Пишет послание Вяземскому с изложением собственного мнения о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».

1848, июнь — август — Обсуждает в московском обществе статью Тютчева «Россия и революция».

1850 — Оспаривает положения статьи Тютчева «Папство и римский вопрос с русской точки зрения».

1856, 14 апреля — Кончина Чаадаева.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания сочинений П. Я. Чаадаева

Чаадаев П. Я. Нечто из переписки N. — «Телескоп», 1832, № 11.

Чаадаев П. Я. Философические письма к г-же ***. Письмо первое. — «Телескоп», 1836, № 15.

Чаадаев П. Я. Философические письма и Апология сумасшедшего. — В кн.: *Щербатов М. М.* О повреждении нравов в России. М., 1908.

Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. Т. 1–2. М., 1913–1914.

Чаадаев П. Я. Философические письма. Казань, 1906.

Чаадаев П. Я. Письма из-за границы к брату (1823–1826). Варшава, 1912.

Чаадаев П. Я. Отрывок из исторических рассуждений о России — «Вестник Европы», кн. I–IV, 1918.

Чаадаев П. Я. Воскресная беседа сельского священника Пермской губернии, села Новых Рудников. — «Вестник Европы», кн. I–IV, 1918.

Чаадаев П. Я. Неопубликованная статья. — «Звенья». М.—Л., 1934, т. III–IV.

Чаадаев П. Я. Два письма С. П. Жихареву. — В кн.: *Жихарев С. П.* Записки современника. М., 1934, т. 2.

Чаадаев П. Я. Неизданные «Философические письма». — В кн.: «Литературное наследство». М., 1935, т. 22–24.

Чаадаев П. Я. Три неизданных письма. — «Звенья». М.—Л., 1935, т. V.

Чаадаев П. Я. Неотправленное письмо к А. И. Тургеневу. — «Русская литература», 1969, № 3.

Tchadaief Pierre. Oeuvres choisies, publiées pour la première fois par le Père Gagarin. Paris — Leipzig, 1862.

Tschaadajew Peter. Schriften und Briefe. Mun., 1921.

Chaadaev P. Lettere filosofiche sequite dall'Apologia di un pazzo et da una lettera a Schelling.Baro, 1950.

Chaadaev P. Philosophical Letters Written to a Lady and his Apologia of a Madman — «Forschungen zur osteuropäischen Geschichte». Berlin, 1966, vol. XI.

Chaadaev P. The Major Works of Peter Chaadaev. London, 1962.

Tchaadaev Pierre. Lettres philosophiques adressées à une dame. Paris, 1970.

Архивные источники, касающиеся жизни и творчества В. Я. Чаадаева

В рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом) фонды № 3, 50, 93, 250, 309, 334, 496.

В рукописном отделе ГБЛ фонды № 41, 69, 103, 219, Авт, 3, Елаг. 4, М. 2233 б~в, М. 3820, М. 5185, М. 6016, М. 6962, М. 6966, М. 6972, Пог. (11) 8, 11, 12, 20, 29, Полт. (12, 52, 61), ОР. (54–56).

В ЦГАЛИ фонды № 10, 40, 87, 129, 130, 141, 191, 195, 208, 236, 390, 441, 472, 546, 553, 1386.

В ЦГАОР фонды № 109, 239, 279, 635.

В ЦГВИА фонды № 28, 36.

Литература о П. Я. Чаадаеве

Адрианов С. Примечание к переписке П. Я. Чаадаева. — В кн.: С. Ф. Платонову ученики, друзья и почитатели. Спб., 1911.

Асмус В. О новых «философических письмах» П. Я. Чаадаева. — В кн.: Литературное наследство, т. 22–24. М., 1935.

Берелевич Ф. И. П. Я. Чаадаев и декабристы. — Ученые записки Тюменского гос. пед. и-та, т. 5. Тюмень, 1958.

Бобров Е. Шеллинг и Чаадаев. — В кн. г Философия в России, вып. IV. Казань, 1901.

Герцен А. И. Былое и думы. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 9. М., 1956.

Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев, жизнь и мышление. Спб., 1908.

Голицын Н. В. Чаадаев и Е. А. Свербеева (Из неизданных бумаг Чаадаева). — «Вестник Европы», кн. I–IV, 1918.

Григорьян М. М. Чаадаев и его философская система. — В кн.: Из истории философии, вып. 2. М., 1958.

Дельвиг А. И. Мои воспоминания, т. I. М., 1912.

Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев (из воспоминаний современника)., — «Вестник Европы», 1871, № 7, 9.

Кирпичников А. И. Чаадаев по новым документам. — «Русская мысль», 1896, № 4.

Лебедев А. А. Чаадаев. М., 1965.

Лемке М. К. Чаадаев и Надеждин (по неизданным материалам). — «Мир Божий», 1905, № 9—12.

Лонгинов М. Н. Воспоминание о П. Я. Чаадаеве. — «Русский вестник», 1862, № 11.

Плеханов Г. В. П. Я. Чаадаев. — «Современный мир», 1908, № 1.

Рудаков Л. И. Проблема времени в философии истории Чаадаева. — В кн.: Философские аспекты проблемы времени. Л., 1980.

Свербеев Д. Н. Воспоминании о Петре Яковлевиче Чаадаеве. — В кн.: Записки Дмитрия Николаевича Свербеева, т. 2. М., 1899.

Смирнова З. В. П. Я. Чаадаев и русская общественная мысль первой половины XIX века. — «Вопросы философии», 1968, № 1.

Стасов В. В. П. Я. Чаадаев (биографический очерк). — «Русская старина», 1908, № 1–2.

Филиппов Л. Религиозная утопия Чаадаева и современные теологи. — «История СССР», 1961, №. 6.

Фих Б. М. П. Я. Чаадаев в Бресте. — «История СССР», 1958, № 1.

Формозов А. А. Пушкин, Чаадаев и Гульянов. — «Вопросы истории», 1966, № 8.

Черепанов Л. Соотношение истины и нравственности в «философических письмах» Чаадаева. — В кн.: Актуальные проблемы истории философии народов СССР, вып. 4. М., 1977.

Чистяков В. К биографии Петра Яковлевича Чаадаева. — «Русская старина», 1907, № 8.

Шаховской Д. Чаадаев на пути в Россию в 1826 году. — В кн.: Литературное наследство, т. 19–21, М., 1935.

Шаховской Д. Якушкин и Чаадаев. — В кн.: Декабристы и их время. М., 1932.

Шкуринов П. С. П. Я. Чаадаев (жизнь, деятельность, мировоззрение). М., 1960.

Cavaion. Letteratura e acculturazione in Russia (Un protagonista: Pietro Caadaev). Firenze, 1971.

Falk H. Weltbild Peter J. Tschaadajews nach seinen acht «Philosophischen. Briefen». München, 1954.

Kemball R. J. Chaadaev's «Lettres philosophiques» and «Apologie d'un fou». — «Studies in Soviet Thaught», t. 8, 1968.

Koyré A. Russia's place in the wold: Peter Chaadayev and the Slavophils. — «Slavonic Review», vol. V, 1927.

Lavrin J. Chaadaev and the West. — «The Russian Review», t. XXII, 1963.

Mc Nally R. T. Chaadaev's Evaluation of Western Christian Churches. — «The Slavonic and East European Review», t. XLII, N 99, 1964.

Mc Nally R. T. Chaadayev and His Friends (An Intellectual History of Peter Chaadayev and His Russian Contemporaries). Tallhassee, Florida, 1971.

Moskoff E. A. The Russian Philosopher Chaadaev, his Ideas and

his Epoch. New Jork, 1937.

Quenet Ch. Tchaadaev et les lettres philosophiques. Contribution à l'étude du mouvement des idées en Russie. Paris, 1931.

Scheibert P. Neue Texte von Peter Jakovievic Caadaev, — «Zeitschrift für Slavische Philologie», t. XXVIII, N 1, 1959.

Schelting A. V. Russland und Europa im russischen Religionsphilosophie. Bern, 1948.

Schullze B. P. J. Caadaev, erster russischer Geschichtsphilosoph, über die Eucharistie. — XXXV Congreso Eucaistico Jnternacional. Barcelona, 1952.

Winkler M. Peter Jakovievic Caadaev. Ein Beitrag zur russischen Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin, 1927.

Иллюстрации

П. Я. Чаадаев.

М. М. Щербатов.

ДОНЪ ПЕДРО

ПРОКОДУРАНТЕ,

ИЛИ

НАКАЗАННОЙ БЕЗДѢЛЬНИКЪ

КОМЕДІЯ,

СОЧИНЕНІЯ

Калдерона де ла Барка.

Съ Гишпанскаго на Россійскій языкъ переведена

въ Нижнемъ Новѣгородѣ.

Съ Указнаго Дозволенія.

МОСКВА,

Въ Университетской Типографіи

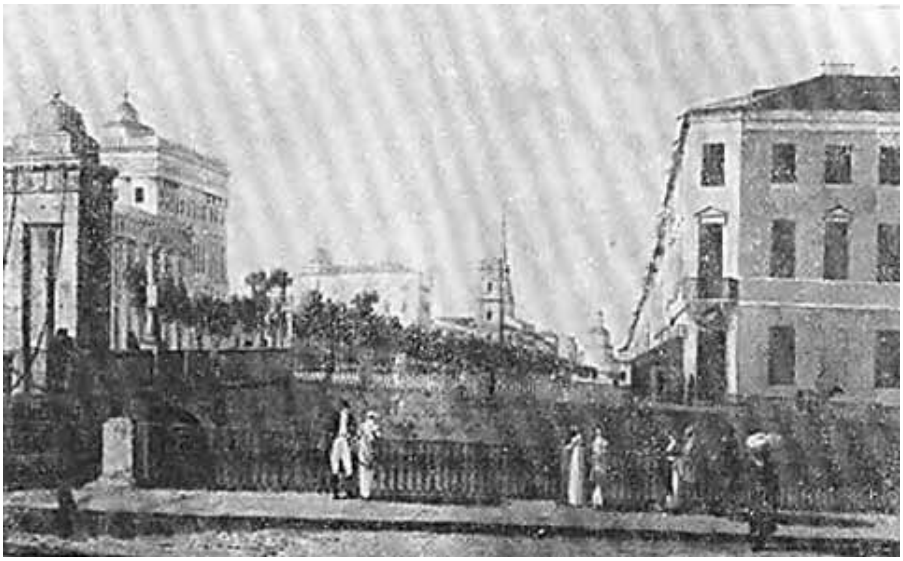
у Римера и Клаудія.

1794

Титульный лист комедии, сочиненной Я. П. Чаадаевым (отцом П. Я. Чаадаева).

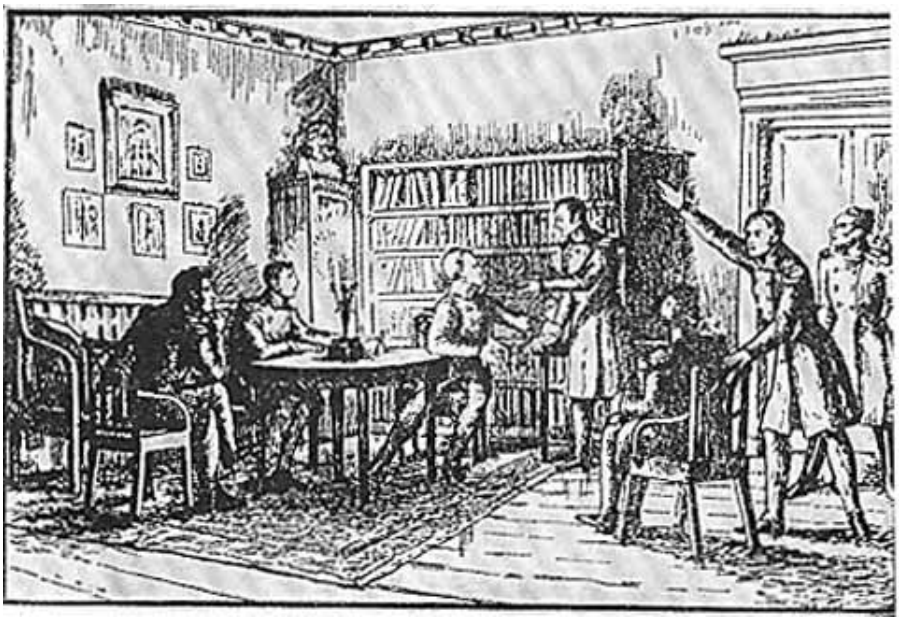
Дом Д. М. Щербатова (дяди П. Я. Чаадаева), купленный М. П. Погодиным.

Здание Московского университета.

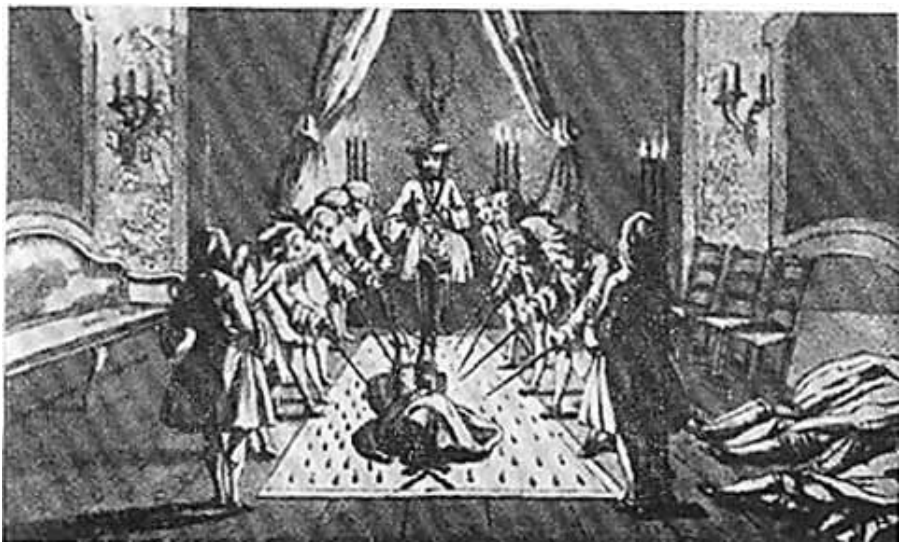


Вид Петербурга.

Бородинская битва. Фрагмент панорамы Ф. Рубо.



Совещание декабристов.



Масонское собрание.

Н. И. Тургенев.

С. И. Тургенев.

И. Д. Якушкин.

М. И. Муравьев-Апостол.

Н. М. Карамзин.

А. С. Пушкин.

А. С. Грибоедов.

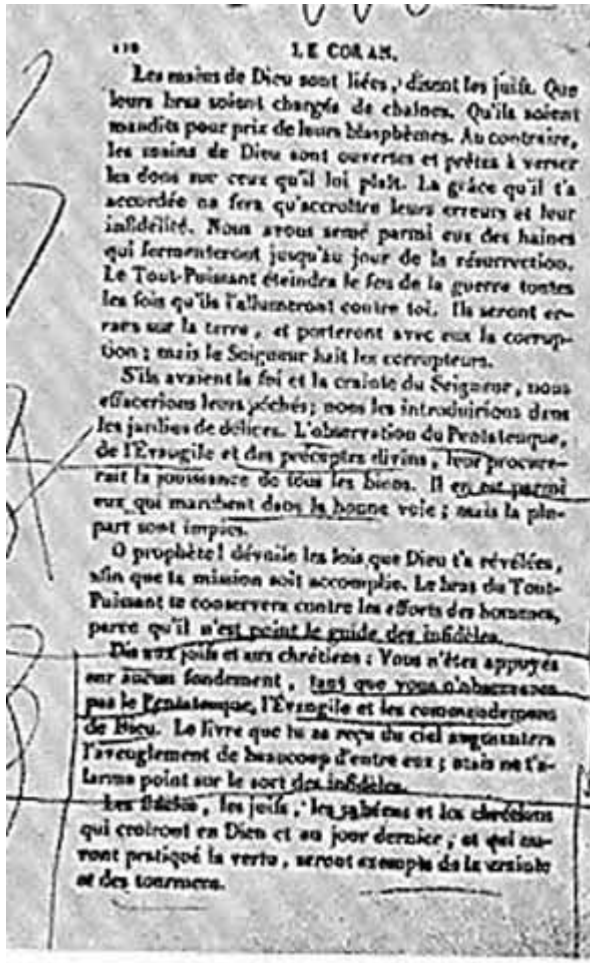
П. А. Вяземский.

Вид Лондона.

Вандомская колонна в Париже.

Рим. Площадь и собор св. Петра.

Рим. Колизей.



118 LE CORAN.

Les mains de Dieu sont liées, disent les juifs. Que leurs bras soient chargés de chaînes. Qu'ils soient maudits pour prix de leurs blasphèmes. Au contraire, les mains de Dieu sont ouvertes et prêtes à verser les dons sur ceux qu'il lui plaît. La grâce qu'il t'a accordée ne fera qu'accroître leurs erreurs et leur infidélité. Nous avons semé parmi eux des haines qui fermenteront jusqu'au jour de la résurrection. Le Tout-Puissant éteindra le feu de la guerre toutes les fois qu'ils l'allumeront contre toi. Ils seront errans sur la terre, et porteront avec eux la corruption; mais le Seigneur hait les corrupteurs.

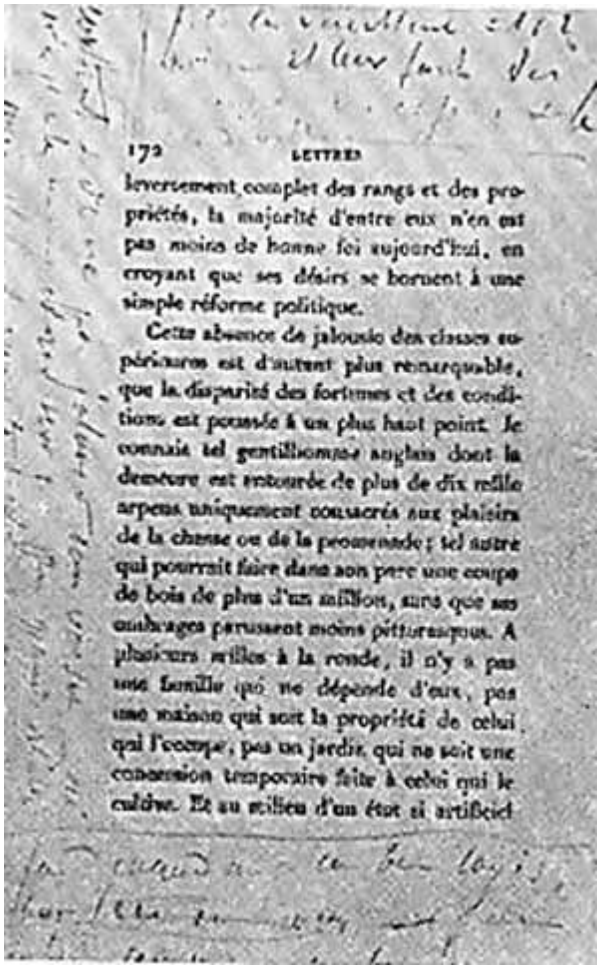
S'ils avaient la foi et la crainte du Seigneur, nous effacerions leurs péchés; nous les introduirions dans les jardins de délices. L'observation du Pentateuque, de l'Évangile et des préceptes divins, leur procurerait la jouissance de tous les biens. Il en est parmi eux qui marchent dans la bonne voie; mais la plupart sont impies.

O prophète! dévoile les lois que Dieu t'a révélées, afin que ta mission soit accomplie. Le bras du Tout-Puissant te conservera contre les efforts des hommes, parce qu'il n'est point le guide des infidèles.

Dis aux juifs et aux chrétiens: Vous n'êtes appuyés sur aucun fondement, tant que vous n'observerez pas le Pentateuque, l'Évangile et les commandemens de Dieu. Le livre que tu as reçu du ciel augmentera l'aveuglement de beaucoup d'entre eux; mais ne t'alarme point sur le sort des infidèles.

Les fidèles, les juifs, les sabéens et les chrétiens qui croiront en Dieu et au jour dernier, et qui auront pratiqué la vertu, seront exempts de la crainte et des tourmens.

Характерные для П. Я. Чаадаева пометы в Коране.



172 LETTRES

bouleversement complet des rangs et des propriétés, la majorité d'entre eux n'en est pas moins de bonne foi aujourd'hui, en croyant que ses désirs se bornent à une simple réforme politique.

Cette absence de jalousie des classes supérieures est d'autant plus remarquable, que la disparité des fortunes et des conditions est poussée à un plus haut point. Je connais tel gentilhomme anglais dont la demeure est entourée de plus de dix mille arpens uniquement consacrés aux plaisirs de la chasse ou de la promenade; tel autre qui pourrait faire dans son parc une coupe de bois de plus d'un million, sans que ses ombrages parussent moins pittoresques. A plusieurs milles à la ronde, il n'y a pas une famille qui ne dépende d'eux, pas une maison qui soit la propriété de celui qui l'occupe, pas un jardin qui ne soit une concession temporaire faite à celui qui le cultive. Et au milieu d'un état si artificiel

Характерные для П. Я. Чаадаева записи на полях книги госпожи де Сталь «Письма об Англии».

Усадьба Норовых в Надеждине (с наброска Авраама

Сергеевича Норова).

П. Я. Чаадаев в своем кабинете.

Е. А. Свербеева.

Е. Н. Орлова.

П. Я. Чаадаев.

А. И. Тургенев.

М. Ф. Орлов.

Д. В. Давыдов.

Ф. Ф. Вигель.

А. А. Закревский.

А. С. Норова.

Е. Г. Левашева.

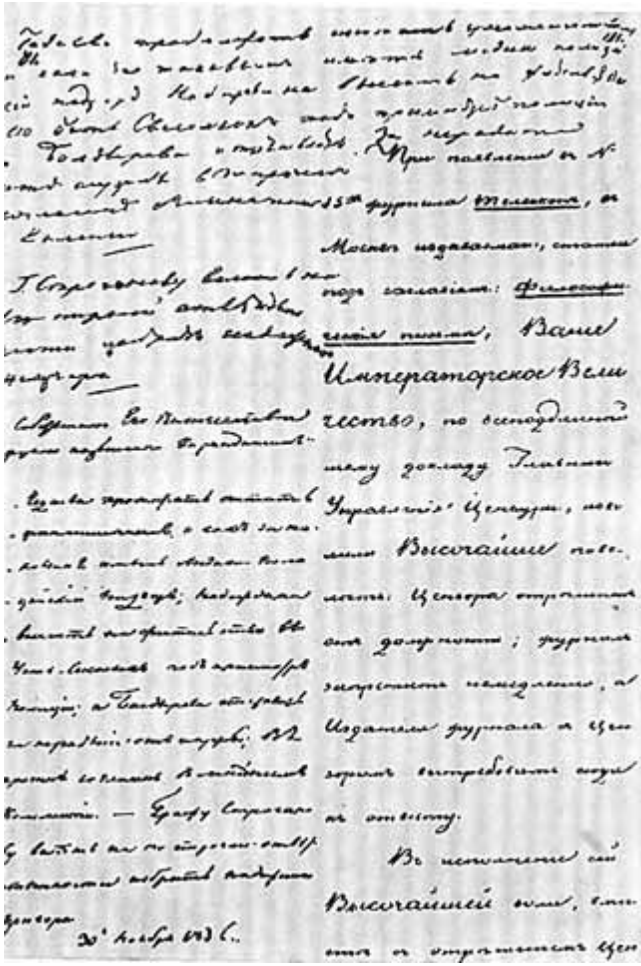
П. Я. Чаадаев.

Английский клуб, ныне Музей Революции СССР.

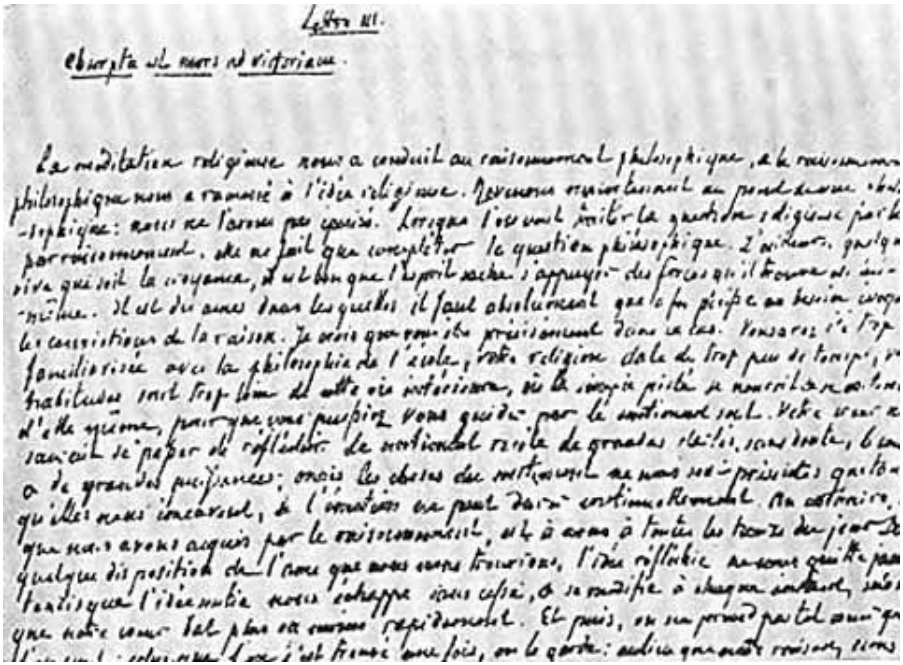
П. Я. Чаадаев в салоне З. А. Волконской.

Обложка журнала «Телескоп», в котором было опубликовано первое философическое письмо.

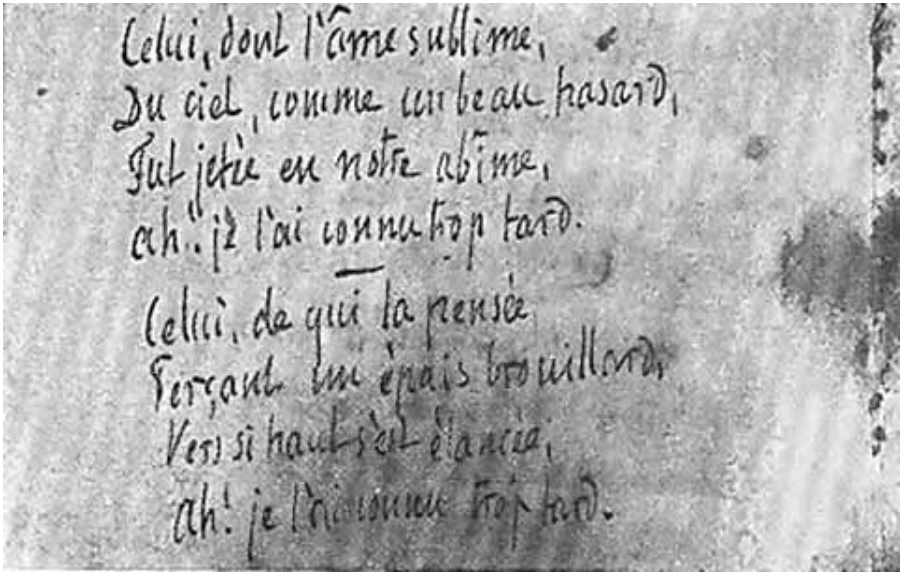
Предписание С. С. Уварова о запрещении печатных отзывов на публикацию первого философического письма.



Высочайшая резолюция, предписывающая наказание автора издателя и цензора первого философического письма.



Автограф рукописи третьего философического письма.



Автограф стихотворения из архива П. Я. Чаадаева.

П. Я. Чаадаев в тоге. Рис. Э. Дмитриева-Мамонова.

ФИЛОСОФИЧЕСКІЯ ПИСЬМА

КЪ ГЖЪ ***

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

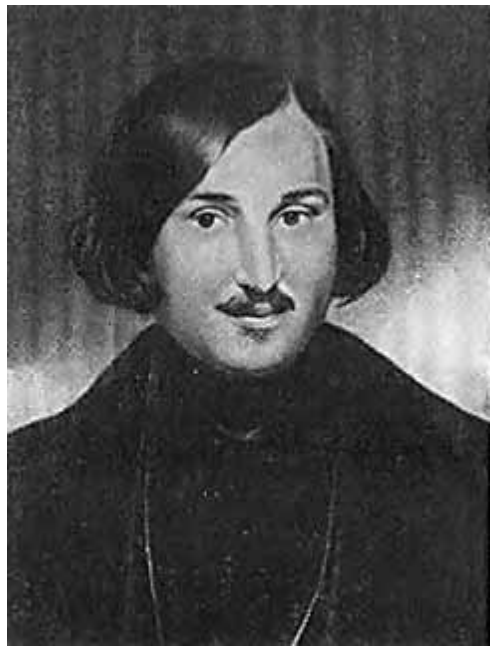
Absorpta est mors ad victoriam.

Бесѣда наша о религіи нечувствительно перешла въ философическое разсужденіе, а оно привело насъ снова къ религіи. Теперь обратимся опять къ философическому воззрѣнію, котораго мы не лишимся, потому-что философическое разсматриваніе религіи увеличиваетъ самую философію. Какимужъ какъ ни сильна вѣра, не худо имѣть разсудку возможность опираться на свои собственныя силы. Есть души, для которыхъ вѣрованіе необходимо должно сливаться съ убѣжденіемъ. Мнѣ кажется, вы принадлежите именно къ этому разряду. Вы

Первая страница верстки третьего философического письма.

П. Я. Чаадаев. Литография 40-х годов с надписью А. И. Герцена: «Виктору Ивановичу Касаткину от друга Чаадаева А. Герцена. 18 марта 1866 г.».

А. С. Пушкин.



Н. В. Гоголь.

И. В. Киреевский.

А. С. Хомяков.

Ю. Ф. Самарин.

К. С. Аксаков.

В. Г. Белинский.

М. А. Бакунин.

Т. Н. Грановский.

А. И. Герцен.

Ф. И. Тютчев.

П. Я. Чаадаев.

Ф. В. И. Шеллинг.

В. А. Жуковский.

С. П. Шевырев.

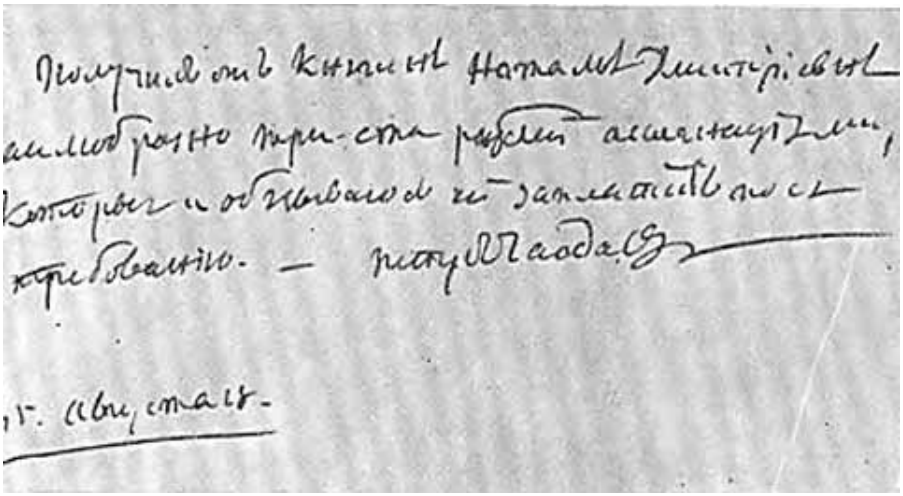
М. П. Погодин.

Н. И. Надеждин.

Ф. Н. Глинка.

Москва середины XIX века.

Заседание революционного клуба в 1848 году.



Долговая расписка Л. Я. Чаадаева.

Силуэт П. Я. Чаадаева, выполненный П. В. Киреевским.

Донской монастырь. Фотография В. Исаченкова.

Могила П. Я. Чаадаева. Фотография В. Исаченкова.

П. Я. Чаадаев. Автолитография Ю. Селиверстова.

notes

Примечания

1

Знаменательно, что в 1908 году были изданы в одном томе трактат «О повреждении нравов в России» деда и «Философические письма» внука. «Сочинение Щербатова, — говорилось в редакционном введении, — было первой попыткой философии русской истории, и это еще более выдвигает его интерес. Много лет спустя эту попытку повторил П. Чаадаев…»

2

О целесообразном способе определения величины ущерба для установления состава преступления и вынесения обвинения *(лат.)*.

3

Так падет Наполеон *(франц.)*.

4

Ничто против законов, ничто против религии, ничто против добрых нравов *(лат.)*.

5

Красавец Чаадаев *(франц.)*.

6

Прощайте, господин либерал *(франц.)*.

7

Очень звучное звание *(франц.)*.

Человеческий род *(франц.)*.

9

Благо всего человечества и отдельных индивидов *(франц.)*.

Исследования *(франц.)*.

11

Общительность *(франц.)*.

12

Косвенные исследования *(франц.)*.

13

Помилуй нас *(лат.)*.

14

Городу и миру *(лат.)*.

15

Все огорчения, которые вам причиняю *(франц.)*.

Теперь вы можете вырваться на свободу *(франц.)*.

17

О высота! *(итал.)*.

18

Цитата из «Тартюфа» Мольера.

19

Большой обед *(франц.)*.

В полном составе *(франц.)*.

21

Свое любимое Я *(нем.)*.

22

Ученой женщины *(франц.)*.

23

Бюро ума и поэзии *(франц.)*.

Этим все сказано *(франц.)*.

25

Повидайте г-жу Свербееву *(франц.)*.

Господь с вами *(лат.)*.

27

В доме *(англ.)*.

Исповедание веры *(франц.)*.

29

Это слишком затянулось; надо покончить с этим фарсом *(франц.)*.

Самопроизвольно *(франц.)*.

31

По влечению *(франц.)*.

И наоборот *(лат.)*.

33

Во главе *(франц.)*.

Во многих смыслах *(франц.)*.

35

Городу и миру *(лат.)*.

36

Вы мертвецки пьяны *(франц.)*.

37

Весенний *(франц.)*.

Налетом *(франц.)*.